

УДК 1

ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ОСНОВЫ
ТЕОРИИ
РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА 1974

ҚР БҒЖМ А. Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының кітапханасы
Ізв. № _____

Коллективная монография представляет собой материалы по проблемам современной психолингвистики. В книге освещаются вопросы общей теории речевой деятельности, принципиальные методы ее изучения с учетом лингвистических, психологических и математических подходов. В ней делается попытка очертить контуры общей теории речевой деятельности.

Ответственный редактор
доктор филологических наук
А. А. ЛЕОНТЬЕВ

...Изучение потока речи без гипотез о механизме его порождения не только малопродуктивно, но и не интересно.

А. Н. КОЛМОГОРОВ

ОТ РЕДАКТОРА

Предлагаемая читателю книга — коллективная монография, подготовленная в 1968—1971 гг. Группой психолингвистики и теории коммуникации Института языкознания АН СССР. Еще в 1968 г. ее проспект был опубликован в «Материалах Второго симпозиума по психолингвистике» (М., «Наука», 1968) и в ходе этого симпозиума (4—6 июня) был обсужден и получил одобрение. Затем началась авторская работа, результатом которой и явился данный том.

Предлагаемая книга «полифункциональна», и таких функций мы сами усматриваем в ней три. Во-первых, это попытка изложить нашу позицию, позицию советской психолингвистики и — более узко — московской психолингвистической школы по ряду кардинальных вопросов. Такая позиция у нас есть, и она с большей или меньшей ясностью и полнотой проведена в большинстве глав данной книги. В этом отношении представляются основными главы 1, 5, 8 и 23. Естественно, что в такой работе, как данная, трудно было избежать расхождения по вопросам, принципиально менее существенным; но мы, безусловно, не расходимся друг с другом в главном. Мы надеемся, что в книге проявит себя та школа, которая объединяет если не всех, то большинство ее авторов. В психологическом отношении это школа Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева (автор первой главы) и А. Р. Лурия. В лингвистическом — это школа И. А. Бодуэна де Куртене и Л. В. Щербы.

Во-вторых, важной функцией книги является функция своеобразного справочника, и недаром у авторов она сокращенно называется «компендиумом». В этом отношении важнейшая задача книги — изложить (по возможности, в более сжатой форме) все необходимые сведения как теоретического, так и конкретного (фактического и библиографического) характера, необходимые при комплексном исследовании речи, т. е. при подходе к ее изучению не с узколингвистической, узкопсихологической и т. п. точек зрения, а с учетом ряда смежных дисциплин. Необходимость в подобном издании типа компендиума связана прежде всего с интенсификацией исследований по теории и методике обучения языку, патологии речи, массовой коммуникации и неко-

торых других, проводимых пока без достаточного знания не только теоретической проблематики смежных дисциплин, но даже и просто основной литературы по ним. Таким образом, книга может быть широко использована, скажем, лингвистами для того, чтобы войти в курс психологической проблематики языка и речи, или, напротив, социологами, чтобы получить необходимую информацию о точке зрения лингвиста на язык. Мы старались, чтобы книга была в этом смысле ориентирована многосторонне.

В-третьих, книга задумана в известной мере как учебная и должна восполнить недостаток печатных источников по целому ряду проблем, которыми приходится заниматься в наше время студентам и аспирантам. Например, глава 5 отражает материал спецкурса по введению в языкознание для студентов-психологов, прочитанного в 1970 г. на факультете психологии МГУ. Некоторые главы даже сознательно построены в расчете прежде всего на «педагогическое» использование — например, глава 8.

Монография делится на шесть частей. Первая содержит характеристику речевой деятельности как объекта. Вторая ставит различные проблемы, связанные с моделированием в науке отдельных сторон этого объекта. Третья посвящена психолингвистике, рассматриваемой здесь как часть теории речевой деятельности, анализируются ее предмет, методы, излагаются основные модели и экспериментальные результаты. Четвертая часть касается таких проблем теории речевой деятельности, которые носят в той или иной мере социологический характер. В пятой части излагаются некоторые важнейшие приложения теории речевой деятельности. В шестой, заключительной части подводятся важнейшие итоги изложенному ранее. В конце книги читатель найдет сводную библиографию.

Книга подготовлена к печати редакторским коллективом в составе: А. А. Леонтьева, А. Е. Ивановой, Ю. А. Сорокина, Н. В. Уфимцевой и А. М. Шахнаровича. В этой работе приняли активное участие также Б. Х. Бгажноков, А. В. Скворцова, В. А. Новодворская, Л. А. Дергачева, Е. Ф. Тарасов.

Авторский и редакторский коллективы приносят благодарность всем, кто прочел книгу в рукописи и помог сделать ее лучше.

Мы писали эту книгу долго и трудно. Многие идеи, положения, даже отдельные понятия, с которыми встретится в ней читатель, выкристаллизовались в ходе научных дискуссий и являются достоянием целого научного коллектива, чье бы имя ни стояло под той или иной главой или ее частью. Это касается в особенности глав 2, 12, 16 и 22.

Книга готова и «отчуждена» от всех тех, кто ее делал. Она начала свой путь к читателю. Пусть читателю будет так же интересно ее читать, как нам — ее писать. И нам остается только надеяться, что читатель сможет найти в ней хотя бы столько же полезного для себя, сколько получили мы в процессе совместной работы над этой книгой.

А. А. Леонтьев

Часть I

ОНТОЛОГИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Важность категории деятельности не требует доказательства. Достаточно напомнить столь часто цитируемые в нашей литературе слова Маркса о том, что «главный недостаток всего предшествующего материализма... заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно». Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, не только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает «действительной, чувственной деятельности как таковой» [К. Маркс, 1955, 1].

Не иначе, разумеется, обстояло дело и во всей домарксистской психологии. Так же обстоит дело в буржуазной психологии, которая развивается вне марксизма, и в настоящее время.

Внесение в психологическую науку категории деятельности (Tätigkeit) в ее последовательно марксистском понимании имеет поистине ключевое значение для решения таких капитальных проблем, как проблема сознания человека, его генезиса, его исторического и онтогенетического развития, проблема его внутреннего строения. Оно, наконец, единственно открывает возможность создать единую научную систему психологических знаний.

О деятельности, о проблеме сознания и деятельности в нашей психологической литературе говорится немало. Однако как и сама категория деятельности, так и проблема сознания и деятельности часто трактуются совершенно по-разному. Необходимо поэтому обстоятельно разобрать основные вопросы, которые в этой связи возникают.

Первый вопрос, на котором я остановлюсь, это — вопрос о значении категории деятельности для понимания детерминации психики, сознания человека.

В психологии известны два подхода к этой большой проблеме. Один из них постулирует прямую зависимость явлений сознания от тех или иных воздействий на рецепирующие системы чело-

века. Подход этот с классической, так сказать, ясностью нашел свое выражение в психофизике и в физиологии органов чувств прошлого столетия. Главная задача, на которую были направлены усилия исследователей, состояла в том, чтобы установить количественные зависимости ощущений как элементов сознания от физических параметров раздражителей, воздействующих на органы чувств. Таким образом, исходной для этих исследований служила следующая принципиальная схема: «раздражитель→субъективное переживание».

Как известно, психофизические исследования внесли очень важный вклад в учение об ощущениях, но известно также, что исследования эти закрепляли субъективно-эмпирическое понимание ощущений и логически неизбежно приводили к выводам в духе физиологического идеализма.

Нужно заметить, что тот же самый подход и, соответственно, та же самая принципиальная схема сохранились и в дальнейших исследованиях восприятия, в частности — в гештальтпсихологии. Наконец, в бихевиоризме, т. е. применительно к исследованию поведения, он выразился в знаменитой схеме «стимул — реакция», которая до сих пор остается исходной для позитивистских психологических концепций, более всего распространенных сейчас в зарубежной психологии.

Ограниченность подхода, о котором идет речь, состоит в том, что для него существуют, с одной стороны, вещи, объекты, а с другой — пассивный, подвергающийся воздействиям субъект. Иначе говоря, подход этот отвлекается от того содержательного процесса, в котором осуществляются реальные связи субъекта с предметным миром, — от его деятельности. Такое отвлечение допустимо и даже необходимо, но только в границах абстрагирующего эксперимента, имеющего своей целью выявить некоторые свойства элементарных структур и функций, участвующих в реализации тех или иных психических процессов. Достаточно, однако, выйти за эти узкие границы, как тотчас же обнаруживается несостоятельность этого подхода, что и заставляло прежних психологов привлекать для объяснения психологических фактов особые силы — такие, как активная апперцепция, внутренняя интенция, или воля, и т. п., т. е. все же апеллировать к активности субъекта, но только представленной в ее идеалистически интерпретированной, мистифицированной форме.

Существуют многие попытки преодолеть теоретические трудности, создаваемые в психологии тем «постулатом непосредственности», как называет его Д. Н. Узнадзе, который лежит в основе рассматриваемого подхода. Так, подчеркивается, например, что эффекты внешних воздействий определяются не непосредственно самими воздействиями, а зависят от их преломления субъектом. С. Л. Рубинштейн в свое время выразил эту мысль в формуле о том, что внешние причины действуют через внутренние условия. Можно, однако, интерпретировать эту формулу по-разно-

му — в зависимости от того, что подразумевается под внутренними условиями. Если подразумевается изменение внутренних состояний субъекта, то этим в сущности не вносится ничего нового. Ведь любой объект способен изменять свои состояния и соответственно по-разному обнаруживать себя во взаимодействии с другими объектами. На размягченном грунте будут отпечатываться следы, на слежавшемся — нет, голодное животное будет реагировать на пищу, конечно, иначе, чем сытое; а у человека, научившегося читать, полученное им письмо вызовет, конечно, другое поведение, чем у человека неграмотного. Другое дело, если под внутренними условиями понимаются особенности активных со стороны субъекта процессов. Но тогда главный вопрос заключается в том, что же представляют собой эти процессы, опосредствующие воздействия предметного мира, отражающегося в голове человека.

Принципиальный ответ на этот вопрос состоит в том, что это — процессы, осуществляющие реальную жизнь человека в окружающем мире, его общественное бытие во всем богатстве и многообразии его форм, т. е. его деятельность.

Выводя это положение, необходимо сразу же уточнить его: речь идет именно о деятельности, а не о той динамике нервных физиологических процессов, которые ее реализуют. Динамика, структура и язык, который описывает, с одной стороны, мозговые процессы, а с другой — деятельность субъекта, не совпадают между собой. И это особенно очевидно, когда мы имеем в виду деятельность человека, человеческие целенаправленные действия.

Итак, в проблеме детерминации психики, сознания субъекта мы стоим перед следующей альтернативой: либо принять точку зрения «аксиомы непосредственности», т. е. исходить из схемы «объект — субъект» (или, что то же самое, «стимул — реакция»), либо исходить из схемы, включающей между ними третье соединяющее их звено — деятельность субъекта (и, соответственно, ее средства и способы), звено, которое опосредствует их взаимосвязи, т. е. из схемы «субъект — деятельность — объект».

В самой общей и вместе с тем заостренной форме альтернативу эту можно представить так: либо мы встаем на ту позицию, что сознание непосредственно определяется окружающими вещами, явлениями, либо на позицию, утверждающую, что сознание определяется бытием, которое, по словам Маркса, и есть не что иное, как процесс реальной жизни людей.

Но что такое «реальная жизнь людей»?

Бытие, жизнь каждого человека складывается из совокупности или, точнее, из системы, иерархии сменяющих друг друга деятельностей. Именно в деятельности и происходит переход или «перевод» отражаемого в субъективный образ, в идеальное; вместе с тем в деятельности совершается также переход идеального в ее объективные результаты, в ее продукты, в материальное. Взят

тая с этой стороны деятельность представляет собой процесс, в котором осуществляются взаимопереходы между противоположными полюсами: субъект—объект.

Высказанные мною положения о деятельности являются весьма общими, можно сказать, абстрактными. Однако за ними стоит огромное богатство конкретного, открывающееся перед науками о человеке и обществе.

Психология человека имеет дело с деятельностью конкретных индивидов, протекающей или в условиях открытой коллективности — среди окружающих людей, совместно с ними и во взаимодействии с ними, или с глазу на глаз с окружающим миром — будь то перед гончарным кругом или за письменным столом. В каких бы, однако, условиях и формах ни протекала деятельность человека, какую бы структуру она ни приобретала, ее нельзя рассматривать как изъятую из общественных отношений, из общества. При всем своем своеобразии, при всех своих особенностях деятельность, отношения человеческого индивида, реализуемые в его деятельности, представляют собой лишь инфраструктуру в системе отношений общества; а это значит, что вне системы этих отношений деятельность индивидуального человека не может существовать и что она определяется тем конкретным местом, которое данный индивид занимает внутри этой системы.

Положение это едва ли может считаться дискуссионным, и если оно здесь подчеркнуто, то лишь потому, что столь распространенные сейчас в психологии позитивистские концепции всячески навязывают, наоборот, идею противопоставленности индивида обществу. Дело в том, что общество выступает в этих позитивистских, натуралистических концепциях лишь как его внешняя среда, к которой индивид приспособляется, адаптируется, как объект его приспособления.

Кстати говоря, парадоксальный на первый взгляд факт состоит в том, что эта позитивистская концепция полностью сохраняется и в современной западной социальной психологии. Она выступает в ней лишь в другой одежде. Отсюда и возникает, в частности, характерный для нее, глубоко чуждый марксизму, социально-психологический редукционизм. Это — не более чем оборотная сторона той же медали.

Итак, психология имеет дело с процессами деятельности человеческого индивида, осуществляющими его жизнь в обществе, лучше сказать, внутри общества. Поэтому-то процессы эти необходимо несут в себе особенности этой жизни.

Еще в ранних своих работах Л. С. Выготский выдвинул, как известно, мысль, что специфически человеческие высшие психологические функции имеют принципиальную структуру трудовой деятельности, т. е. являются орудийно и общественно опосредствованными. Это был важнейший шаг к утверждению в психологии категории деятельности как системы процессов, осуществляющих общественные, изначально практические связи человека.

Последнее является очень важным принципиально. Ведь психология всегда, конечно, изучала некую деятельность — например, деятельность мысли, воображения, внимания и т. п., т. е. те внутренние процессы, которые подпадают под декартовскую категорию *cogito* — категорию, как известно, достаточно широкую. Только такая внутренняя деятельность и считалась психологической, — единственно входящей в поле зрения психолога. Таким образом, психология полностью отключилась от изучения практической, чувственной деятельности.

Если внешняя деятельность и фигурировала в прежней идеалистической психологии, то лишь как выражающая деятельность внутреннюю — деятельность сознания, как стоящая в односторонней зависимости от нее. Происшедший же на рубеже нашего столетия бунт бихевиористов против этой менталистской, как ее стали называть, психологии лишь углубил кризис: только теперь деятельность отлучали, наоборот, от сознания.

Но что же мы разумеем, когда мы говорим о деятельности?

Если иметь в виду деятельность человека, то можно сказать, что деятельность есть как бы молярная единица его индивидуального бытия, осуществляющая то или иное жизненное его отношение; подчеркнем: не элемент бытия, а именно единица, т. е. целостная, не аддитивная система, обладающая многоуровневой организацией. Всякая предметная деятельность отвечает потребности, но всегда опредмеченной в мотиве; ее главными образующими являются цели и, соответственно, отвечающие им действия, средства и способы их выполнения и, наконец, те психофизиологические функции, реализующие деятельность, которые часто составляют ее естественные предпосылки и накладывают на ее протекание известные ограничения, часто перестраиваются в ней и даже ею порождаются.

Может ли, однако, так понимаемая деятельность быть предметом изучения психологии?

Ее различные стороны могут служить предметом изучения разных наук. Сейчас для нас важно лишь одно: что деятельность не может быть изъята из научного психологического изучения и что перед психологией она выступает как процесс, в котором порождается психическое отражение мира в голове человека, т. е. происходит переход отражаемого в психическое отражение, а с другой стороны, как процесс, который в свою очередь сам управляется психическим отражением.

Рассмотрим самый простой процесс: процесс восприятия упругости предмета. Это — процесс внешне-двигательный, с помощью которого я вступаю в практический контакт, в практическую связь с внешним предметом, и который может быть даже непосредственно направлен на осуществление практического действия, например на его деформацию. Возникающий при этом образ — это, конечно, психический образ, и соответственно он является бесспорным предметом психологического изучения. Но беда заклю-

чается в том, что для того, чтобы понять природу образа, я должен изучить процесс, его порождающий, а это в данном случае есть процесс внешний и практический. Хочу я этого или не хочу, соответствует или не соответствует это моим теоретическим взглядам, я все же вынужден включить в предмет моего психологического исследования практическое действие.

Однако сама по себе констатация необходимости для психологического исследования проникать в предметную деятельность не решает еще проблемы. Дело в том, что можно рассуждать иначе. Можно считать, что внешняя предметная деятельность хотя и выступает в психологическом исследовании, но лишь как обнаруживающая тот внутренний психический процесс, который ею управляет, и что, таким образом, в действительности психологическое исследование движется, не переходя в плоскость изучения самой предметной деятельности. Это — очень важное соображение, важное уже потому, что оно как бы заостряет проблему.

С этим соображением можно было бы согласиться, но только в том случае, если мы допустим однозначную зависимость предметного действия от управляющего им представления или от его мысленной психической схемы, которая либо подкрепляется его результатом, либо нет. Но ведь это — не так. Предметная деятельность наталкивается на сопротивляющиеся человеку внешние предметы, которые отклоняют, изменяют и обогащают ее. Иными словами, в деятельности происходит как бы размыкание круга внутренних психических процессов — навстречу, так сказать, объективному предметному миру, властно врывающемуся в этот круг, который, как мы видим, вовсе не замыкается.

Для того чтобы возможно более упростить изложенное, мы взяли для анализа самый грубый случай: порождение слепка-ощущения элементарного свойства вещественного предмета в условиях практического контакта с ним. Не трудно, однако, понять, что в принципе так же обстоит дело в любой человеческой деятельности, даже в такой, как, например, деятельность воздействия человека на других людей.

Итак, введение в психологию категории предметной деятельности ведет не к подмене предмета психологического исследования, а к его демистификации. Психология неизменно включала в предмет своего исследования внутренние деятельности, деятельности сознания. Вместе с тем она долгое время игнорировала вопрос о происхождении этих деятельностей, т. е. об их действительной природе. Перед психологией вопрос этот был поставлен, как известно, Сеченовым, который придавал ему принципиальное значение. Сейчас, в современной психологии, положение о том, что внутренние мыслительные процессы происходят из внешних, стало едва ли не общепризнанным. Идею интериоризации внешних процессов — правда, в грубо механистическом ее понимании — мы находим в начале века у бихевиористов; конкретные исследования этого процесса в онтогенезе и в ходе функционального

развития были предприняты у нас Л. С. Выготским, а в зарубежной психологии — Пиаже и рядом других авторов. При всем несходстве общетеоретических позиций, с которых велись эти исследования, в одном пункте они сходятся: первоначально внутренние психические процессы имеют форму внешних процессов с внешними предметами; превращаясь во внутренние, эти внешние процессы не просто меняют свою форму, но подвергаются и известной трансформации, обобщаются, становятся более сокращенными и т. д. Все это, конечно, так, но нужно принять во внимание два положения, которые представляются капитально важными.

Первое заключается в том, что внутренняя деятельность есть подлинная деятельность, которая сохраняет общую структуру человеческой деятельности — в какой бы форме она ни протекала. Утверждение общности строения внешней, практической, и внутренней, умственной деятельности имеет то значение, что оно позволяет понять постоянно происходящий между ними обмен звеньями, — так, например, те или иные умственные действия могут входить в структуру непосредственно практической, материальной деятельности, и, наоборот, внешнедвигательные операции могут обслуживать выполнение умственного действия в структуре, скажем, чисто познавательной деятельности.

В современную эпоху, когда на наших глазах происходит единение и взаимопроникновение этих форм человеческой деятельности, когда исторически возникшая противоположность между ними все более стирается, значение этого положения очевидно.

Второе положение состоит в том, что и внутренняя деятельность, деятельность сознания, — как и любая вообще предметная человеческая деятельность, — тоже не может быть выключена из общественного процесса. Достаточно сказать, что только в обществе человек находит и предмет потребности, которой эта его деятельность отвечает, и цели, которые он преследует, и средства, необходимые для достижения этих целей.

Еще одна трудная проблема, которую следует затронуть, это — проблема непсихологического содержания внутренней психической деятельности, да и вообще всякой деятельности.

Один из пороков субъективно-эмпирической психологии состоял в том, что, опираясь на критерий субъективности, она, с одной стороны, отбрасывала все внешнедвигательные процессы как не психологические, с другой — включала в предмет психологии такие процессы, как, например, логические или математические операции. Поэтому в главах о мышлении в старых учебниках психологии излагалось главным образом содержание элементарной формальной логики. Нет надобности доказывать сейчас глубокую ошибочность такой психологизации логики. Сами по себе логические операции так же не составляют психологического содержания, как технологические операции пиления, сверления и т. п. Они входят в психологический процесс мышления,

но именно в качестве непсихологических его звеньев. Это стало особенно очевидным в наше время, когда получили распространение вычислительные, логические машины, выполняющие экстернизированные операции такого рода. Но что мы называем операциями? Это те фиксированные способы, с помощью которых осуществляются действия и которые существенно входят в их структуру. По своему происхождению это — их продукт; исторически — продукт общественной практики; онтогенетически — продукт усвоения и специфической трансформации действий, в результате которой живое и всегда пристрастное, полное для субъекта смысла, действие как бы умирает: так же, как умирает живая, вновь формирующаяся функция организма в его морфологии, в органах, которые она для себя создает...

Когда мы рассматриваем операции, изолируя их из деятельности человека, они выступают как процессы непсихологические. Напротив, системный и генетический анализ открывает их как осуществляющие деятельность психологическую. Повторим еще раз: как изоляты операции подлежат изучению в математике, логике, языкознании и т. д.; как звенья в структуре деятельности индивида — они необходимо входят также и в психологическое ее изучение.

До сих пор речь шла о деятельности в общем, о собирательном значении этого понятия. Реально же мы всегда имеем дело с отдельными деятельностями, каждая из которых отвечает определенной потребности субъекта, стремится к предмету этой потребности, угасает в результате ее удовлетворения и воспроизводится вновь — может быть, уже в других условиях и по отношению к изменившемуся предмету.

Отдельные деятельности можно различать между собой по какому угодно признаку: по их форме, по способам их осуществления, по их эмоциональной напряженности, по их временной и пространственной характеристике, по их физиологическим механизмам и т. д. Однако главное, что отличает одну деятельность от другой, состоит в различии их предметов. Ведь именно предмет деятельности и придает ей определенную направленность. По принятой нами терминологии, предмет деятельности есть ее действительный мотив. Само собой разумеется, что он может быть как вещественным, так и идеальным; как данным в восприятии, так и существующим только в воображении, в мысли.

Итак, отдельные деятельности отличаются по своим мотивам. Понятие деятельности необходимо связано с понятием мотива. Деятельности без мотива не бывает; «немотивированная» деятельность — это не деятельность, лишенная мотива, а деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом.

Основными «образующими» отдельных человеческих деятельностей являются осуществляющие их действия. Действием мы называем процесс, подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, т. е. процесс, подчиненный со-

знательной цели. Подобно тому, как понятие мотива соотносительно с понятием деятельности, понятие цели соотносительно с понятием действия.

Возникновение в деятельности целенаправленных процессов действий исторически явилось следствием перехода к человеку, к обществу, основанному на труде. Деятельность участников совместного труда побуждается его продуктом, который первоначально непосредственно отвечает потребности каждого из них. Однако возникающее при этом простейшее техническое разделение труда необходимо приводит к выделению как бы промежуточных, частичных результатов, которые достигаются отдельными участниками коллективной трудовой деятельности, но которые сами по себе не способны удовлетворять их потребности. Их потребность удовлетворяется не этими «промежуточными» результатами, а долей продукта их совокупной деятельности, получаемой каждым из них в силу связывающих их друг с другом отношений, возникших в процессе труда, т. е. отношений общественных.

Легко понять, что тот «промежуточный» результат, которому подчиняются трудовые процессы человека, должен быть выделен для него также и субъективно — в форме представления. Это и есть выделение цели, которая, по выражению Маркса, «как закон» определяет способ и характер его действий.

Выделение целей и формирование подчиненных им действий приводит к тому, что происходит как бы расщепление прежде слитых между собой в мотиве функций. Функция побуждения, конечно, полностью сохраняется за мотивом. Другое дело — функция направления. Действия, осуществляющие деятельность, побуждаются ее мотивом, но являются направленными на цель. Допустим, деятельность человека побуждается пищей; в этом и состоит ее мотив. Однако для удовлетворения потребности в пище он должен выполнять действия, которые непосредственно на овладение пищей не направлены; например, цель действий — изготовление орудий лова. Применит ли он в дальнейшем изготовленные им орудия сам или передаст их другим участникам охоты и получит часть общей добычи — в обоих случаях то, что побуждает его деятельность, и то, на что направлены его действия, не совпадают между собой; их совпадение представляет собой лишь специальный, частный случай.

Выделение целенаправленных действий в качестве образующих человеческой деятельности естественно ставит вопрос о связывающих их внутренних отношениях. Как уже говорилось, деятельность не является аддитивным процессом. Соответственно, действия — это не особые «отдельности», которые включаются в состав деятельности. Человеческая деятельность существует как действие или цепь действий. Например, трудовая деятельность существует в трудовых действиях, учебная деятельность — в учебных действиях, деятельность общения — в действиях (актах) об-

щения и т. д. Если из деятельности мысленно вычестъ действия, ее осуществляющие, то от деятельности вообще ничего не остается. Это же можно выразить и иначе: когда перед нами разворачивается конкретный процесс — внешний или внутренний, — то со стороны мотива он выступает в качестве деятельности человека, а как подчиненный цели — в качестве действия или системы, цепи действий.

Вместе с тем, деятельность и действие представляют собой подлинные и притом не совпадающие между собой реальности. Одно и то же действие может осуществлять разные деятельности, может переходить из одной деятельности в другую; оно, таким образом, обнаруживает свою относительную самостоятельность. Обратимся снова к грубой иллюстрации: допустим, что у меня возникает цель — прибыть в пункт А, и я это делаю; понятно, что данное действие может иметь совершенно разные мотивы, т. е. реализовать совершенно разные деятельности. Очевидно, конечно, и обратное, а именно, что один и тот же мотив может порождать разные цели и, соответственно, разные действия.

В связи с выделением понятия действия как важнейшей «образующей» человеческой деятельности нужно принять во внимание, что сколько-нибудь развернутая деятельность предполагает достижение ряда конкретных целей, из числа которых некоторые связаны между собой жесткой последовательностью. Иначе говоря, деятельность обычно осуществляется некоторой совокупностью действий, подчиняющихся частным целям, которые могут выделяться из общей цели; при этом специальный случай состоит в том, что роль общей цели выполняет осознанный мотив, превращающийся благодаря его осознанию в мотив-цель.

Одним из возникающих здесь вопросов является вопрос о целеобразовании. Это очень большой психологический вопрос. Дело в том, что от мотива деятельности зависит только зона объективно адекватных целей. Субъективное же выделение цели, т. е. осознание ближайшего результата, достижение которого осуществляет данную деятельность, способную удовлетворить потребность, опредмеченную в ее мотиве, представляет собой особый, почти неизученный процесс. В лабораторных условиях или в педагогическом эксперименте мы всегда ставим перед испытуемым, так сказать, «готовую» цель; поэтому самый процесс целеобразования обычно ускользает от исследователя. Пожалуй, только в опытах, аналогичных по своему методу известным опытам Хоппе с определением уровня притязаний, этот процесс обнаруживается достаточно отчетливо — по крайней мере, со своей количественно-динамической стороны. Другое дело в реальной жизни, где целеобразование выступает в качестве важнейшего момента формирования той или иной деятельности субъекта. Сравним в этом отношении развитие научной деятельности, например, Дарвина и Пастера; сравнение это не только поучительно с точки зрения существования огромных различий в том, как происходит

субъективное выделение целей, но и с точки зрения самого процесса их выделения.

Прежде всего в обоих случаях очень ясно видно, что цели не изобретаются, не ставятся субъектом произвольно. Они даны в объективных обстоятельствах. Вместе с тем осознание целей (или «принятие» целей, которые ставятся перед субъектом извне), представляет собой отнюдь не автоматически происходящий и не одномоментный акт, а относительно длительный процесс опробования целей действием и их, если можно так выразиться, предметного наполнения, в результате чего может происходить также сдвиг мотива на цель и само действие. Другая важная сторона процесса целеобразования состоит в конкретизации целей, в выделении условий, в которых она дана. Но на этом следует остановиться особо.

Всякая цель — даже такая, как «достичь пункта А», — объективно существует в некоторой предметной ситуации. Конечно, для сознания субъекта цель может выступить в абстракции от этой ситуации. Но его действие не может абстрагироваться от нее — даже только в воображении. Поэтому помимо своего интенционального аспекта (что должно быть достигнуто), действие имеет и свой операционный аспект (как, каким способом это может быть достигнуто), который определяется не самой по себе целью, а предметными условиями ее достижения. Иными словами, осуществляющее действие отвечает задаче; задача это и есть цель, данная в определенных условиях. Поэтому действие имеет особую сторону, особую его «образующую», а именно способы, какими оно осуществляется. Способы осуществления действия мы называем операциями.

Термины «действие» и «операция» часто не различаются. Однако в контексте анализа деятельности их четкое различение совершенно необходимо. Действия, как уже было сказано, соотносительны целям, операции — условиям. Допустим, что цель остается той же самой, условия же, в которых она дана, изменяются; тогда меняется только и именно операционный состав действия или (и это — крайний случай) действие может оказаться вовсе невозможным, и задача остается неразрешенной. Наконец, главное, что заставляет особо выделять операции, заключается в том, что операции, как правило, вырабатываются, обобщаются и фиксируются общественно-исторически, так что каждый отдельный индивид обучается операциям, усваивает и применяет их.

В особенно наглядной форме несовпадение действий и операций выступает в орудийных действиях. Ведь орудие есть материальный предмет, в котором кристаллизованы именно способы, операции, а не действия, не цели. Например, можно расчленить вещественный предмет при помощи разных орудий, каждое из которых определяет собой способ выполнения данного действия. В одних условиях более адекватными будут, скажем, операции резания, а в других операции пиления; при этом предполагает-

ся, что человек умеет владеть соответствующими орудиями — ножом, пилой и т. п. Так же обстоит дело и в более сложных случаях. Допустим, например, что перед человеком возникла цель графически изобразить какие-то найденные им сложные зависимости. Чтобы сделать это, он должен применить тот или иной способ построения графиков — осуществить определенные операции, а для этого он должен уметь их выполнять. При этом безразлично, как, в каких условиях и на каком материале он научился этим операциям; важно другое, а именно, что формирование операций происходит совершенно иначе, чем целоеобразование, чем порождение действий.

Действия и операции имеют разное происхождение, разную динамику и разную судьбу. Генезис действия лежит в обмене деятельностями, «интрапсихологизация» которого и порождает действие. Всякая же операция есть результат преобразования действия, происходящего в результате его включения в другое действие и наступающей его «технизации». Самой простой иллюстрацией этого процесса может служить формирование операций, выполнения которых требует управление автомобилем. Первоначально каждая операция, например переключение передач, формируется как действие, подчиненное именно этой цели и имеющее свою сознательную «ориентировочную основу» (П. Я. Гальперин). В дальнейшем это действие включается в другое действие, имеющее сложный операционный состав, — например в изменение режима движения автомобиля. Теперь переключение передач становится одним из способов его выполнения — операцией, его реализующей, — и оно уже не может осуществляться в качестве целенаправленного сознательного процесса. Его цель уже реально не выделяется и не может выделяться водителем; для него переключение передач психологически как бы вовсе перестает существовать. Он делает другое: трогает автомобиль с места, берет крутые подъемы, ведет автомобиль накатом, останавливает его в заданном месте и т. п. В самом деле: эти операции могут вообще не касаться водителя и выполняться вместо него автоматом. Судьба операций — рано или поздно становиться функцией машины.

Тем не менее операция все же не составляет по отношению к действию никакой «отдельности» — как и действие по отношению к деятельности. Даже в том случае, когда операция выполняется машиной, она реализует действие субъекта. У человека, который решает задачу, пользуясь счетным устройством, действие не прерывается на этом экстрацеребральном звене; как и в других своих звеньях, оно находит в нем свое воплощение. Выполнять операции, которые не осуществляют никакого целенаправленного действия субъекта, может только потерявшая управление, «сумасшедшая» машина.

Итак, в общем потоке деятельности, который образует человеческую жизнь в ее высших, опосредствованных психическим

отражением, проявлениях, анализ выделяет, во-первых, отдельные деятельности — по критерию различия побуждающих их мотивов. Далее выделяются действия — процессы, подчиняющиеся сознательным целям. Наконец, это — операции, которые непосредственно зависят от условий достижения конкретной цели.

Эти «единицы» человеческой деятельности и образуют ее макроструктуру. Особенности анализа, который приводит к их выделению, состоят не в расчленении живой деятельности на элементы, а в раскрытии характеризующих ее отношений. Такой системный анализ одновременно исключает возможность какого бы то ни было удвоения изучаемой реальности: речь идет не о разных процессах, а скорее о разных плоскостях абстракции. Этим и объясняется, что по первому взгляду невозможно судить о том, имеем ли мы дело в каждом данном случае, например, с действием или с операцией. К тому же деятельность представляет собой в высшей степени динамическую систему, которая характеризуется постоянно происходящими трансформациями. Деятельность может утратить мотив, вызвавший ее к жизни, и тогда она превратится в действие, реализующее, может быть, совсем другое отношение к миру — другую деятельность; наоборот, действие может приобрести самостоятельную побудительную силу и стать особой деятельностью; наконец, действие может трансформироваться в способ достижения цели, в операцию, способную реализовать различные действия.

Динамизм, подвижность структурных единиц деятельности выражается, с другой стороны, в том, что каждая из них может становиться более дробной или, наоборот, включать в себя единицы прежде относительно самостоятельные. Так, в ходе достижения выделившейся общей цели может происходить выделение промежуточных целей, в результате чего целостное действие дробится на ряд отдельных последовательных действий; это особенно характерно для случаев, когда действие протекает в условиях, затрудняющих его выполнение с помощью уже сформировавшихся операций. Противоположный процесс состоит в укрупнении структурных единиц деятельности. Это — случай, когда объективно достигаемые промежуточные результаты перестают выделяться субъектом, созаваться им в форме целей.

Перед невооруженным глазом процесс дробления или укрупнения единиц деятельности — как при внешнем наблюдении, так и интроспективно — достаточно отчетливо не выступает. Удалось, однако, найти лабораторный метод, позволяющий исследовать этот процесс, пользуясь строго объективными временными и моторными индикаторами [Гиппенрейтер, 1973].

Выделение в деятельности образующих ее «единиц» имеет первостепенное значение для решения ряда капитальных проблем. Одна из них — уже затронутая проблема единения внешних и внутренних по своей форме процессов деятельности. Принцип

или закон этого единения состоит в том, что оно всегда происходит, точно следуя «швам» описанной структуры.

Существуют отдельные деятельности, все компоненты которых являются существенно внутренними; такой может быть, например, познавательная деятельность. Более частный случай состоит в том, что внутренняя деятельность, отвечающая познавательному мотиву, реализуется существенно внешними по своей форме процессами; это могут быть либо внешние действия, либо внешнедвигательные операции, но никогда не отдельные их части. То же относится и к внешней деятельности: некоторые из осуществляющих внешнюю деятельность действий и операций могут иметь форму внутренних, умственных процессов, но опять-таки именно и только как действия или операции в их неделимости. Теоретическое основание такого, прежде всего фактически необходимого положения вещей лежит в природе процессов так называемой интериоризации и экстериоризации, в результате которых развитая деятельность приобретает реализующие ее внутренние и (так сказать, вторично) внешние звенья; ведь никакая интериоризация или экстериоризация отдельных элементов деятельности вообще невозможна. Это означало бы собой не трансформацию процессов деятельности, а их деструкцию.

Деятельность субъекта опосредствуется и регулируется психическим отражением реальности. То, что в предметном мире выступает для субъекта как мотивы, цели и условия его деятельности, должно быть им так или иначе воспринято, представлено, понято, удержано и воспроизведено его памятью; это же относится к процессам его деятельности и к самому субъекту — к его состояниям, свойствам, особенностям. Таким образом, анализ деятельности приводит нас к традиционным темам психологии. Однако теперь логика исследования оборачивается так: проблема психических проявлений человека превращается в проблему их происхождения, их порождения жизнью.

Первая психическая реальность, открытая человеком, это феноменальный мир его сознания. Потребовались века, чтобы освободиться от отождествления психического и сознательного. Удивительно то многообразие путей, которые вели к их различению — в философии, в психологии, в физиологии; достаточно назвать имена Лейбница, Фехтнера, Фрейда, Сеченова и Павлова.

Решающий шаг состоял в утверждении идеи о разных уровнях психического отражения. С точки зрения исторического подхода это означало признание существования психики животных и появление у человека качественно новой ее формы — сознания. Возникли новые вопросы: о той объективной необходимости, которой отвечает возникающее сознание, о том, что его порождает, и об его внутренней структуре.

Сознание в своей непосредственности есть открывающаяся человеку картина мира, в которую включен и он сам, его действия и состояния. Перед неискушенным человеком наличие у

него этой субъективной картины не ставит, разумеется, никаких теоретических проблем; перед ним мир, а не картина мира. В этом «реализме» его заключается настоящая, хотя и наивная правда. Другое дело — отождествление психического отражения и сознания; это — не более чем иллюзия интроспекции. Осознание отражаемого отвечает некоторой новой жизненной необходимости, не существующей у животных; говоря словами Гегеля, их внутреннее не проявляет себя как внутреннее: принадлежа царству природы, животное существо не открывает своей души самому себе.

Необходимость сознания возникает лишь в результате формирования специфической для человека продуктивной деятельности. Продукт деятельности как результат, который еще только должен быть получен, актуально не существует. Поэтому он может управлять деятельностью лишь в том случае, если он представлен в голове субъекта в такой форме, которая позволяет сопоставлять его с исходным материалом (предметом труда) и его промежуточными преобразованиями. Более того, психический образ продукта как цели должен существовать для субъекта так, чтобы он мог действовать по отношению к этому образу — видоизменять его в соответствии с наличной задачей. Образы, представления, отвечающие этим условиям, и суть создаваемые образы, создаваемые представления.

Хорошо известный в психологии и бесчисленное число раз воспроизведенный в лабораторных условиях факт состоит в том, что человек способен осуществлять сложные приспособительные внешнедвигательные процессы, управляемые предметами обстановки, вовсе не отдавая себе отчета в наличии их образа в его голове; он обходит препятствия и даже манипулирует вещами, как бы «не видя» их.

Другое дело, если нужно сделать или изменить вещь по образцу или изобразить некоторое предметное содержание. Когда я выгибаю из проволоки или рисую, скажем, пятиугольник, то я необходимо сопоставляю имеющееся у меня представление с предметными условиями, с этапами его реализации в продукте, внутренне примериваю одно к другому. Такие сопоставления, примеривания требуют, чтобы мое представление выступило для меня как бы в одной плоскости с предметным миром, не сливаясь, однако, с ним. Особенно ясно это в задачах, для решения которых нужно осуществлять «в уме» взаимные пространственные смещения образов объектов, соотносимых между собой (например, мысленное поворачивание фигуры, вписываемой в другую фигуру).

Гораздо более сложным является вопрос о «механизме» порождения явлений сознательного отражения, сознания. Конечно, объяснение этих явлений не может исходить ни из старой идеи о существовании внутри нашего черепа некоего таинственного наблюдателя-гомункулуса, созерцающего картину, отражаемую моз-

говыми процессами, ни из столь же наивной гипотезы об особом внутреннем самосвечении, которое непостижимым образом испускается мозгом. Объяснение природы явлений сознания лежит, по-видимому, в тех же особенностях человеческой деятельности, которые создают его необходимость.

Трудовая деятельность запечатлевается в своем продукте. Происходит, говоря словами Маркса, переход деятельности в форму покоящегося свойства; при этом регулирующий деятельность психический образ (представление) воплощается в предмете — ее продукте. Теперь, во внешней, экстериоризованной форме своего бытия, этот исходный образ сам становится предметом восприятия: он осознается.

Процесс осознания может, однако, реализоваться лишь в том случае, если предмет выступит перед субъектом именно как запечатлевший в себе образ, т. е. своей идеальной стороной. Выделение, абстрагирование этой стороны первоначально происходит в процессе языкового общения, в актах словесного означения; словесно означенное и становится осознанным, а сам язык становится субстратом сознания.

Выразим это иначе. Люди в своей общественной по природе деятельности производят и свое сознание. Оно кристаллизуется в ее продуктах, в мире человеческих предметов, присваиваемых индивидами, хотя никакой физический или химический анализ их вещественного состава не может, разумеется, в них обнаружить его — так же, как он не может его обнаружить и в человеческом мозге. За субъективными явлениями сознания лежит действительность человеческой жизни, предметность человеческой деятельности.

Конечно, указанные условия и отношения, порождающие человеческое сознание, характеризуют лишь условия его первоначального становления. Впоследствии, в связи с выделением и развитием духовного производства, обогащением и технизацией языка, сознание людей освобождается от своей прямой связи с их производственной деятельностью. Круг сознаваемого все более расширяется, так что сознание становится у человека всеобщей, универсальной формой психического отражения.

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В предыдущей главе была дана общая характеристика тому пониманию деятельности, которое свойственно советской психологической школе Л. С. Выготского. Теперь нам предстоит конкретизировать некоторые из высказанных ранее положений применительно к речи (речевой деятельности).

Если вслед за Марксом видеть сущность деятельности в опредмечивании видовых свойств и способностей общественного человека («особых человеческих сущностных сил») в «предметах природы» [К. Маркс, 1956]¹, то к числу последних (Маркс имеет здесь в виду, если пользоваться его же выражением, «общественную действительность природы»), в которых выступают в опредмеченном виде эти «сущностные силы», следует причислять и язык. Поэтому даже если брать язык в его предметном бытии как общественное явление, он есть единство двух сторон. С одной стороны, он есть продукт специфической, адекватной ему деятельности; он — то, в чем эта деятельность опредмечивается. Точнее было бы сказать, что в языке как общественном достоянии, как элементе общественно-исторического опыта, опредмечиваются развивающиеся в индивидуальном порядке (хотя и под воздействием общества) и непосредственно испытывающие на себе воздействие социальной среды речевые умения отдельных носителей языка. С другой стороны, он есть объективная основа речевой деятельности индивида.

Индивид, во-первых, сталкивается с языком в его предметном бытии, усваивая язык: язык для него выступает как некоторая внешняя норма, к которой он должен принаравливаться и в последовательном приближении к которой (в меру психофизиологических возможностей ребенка на каждом этапе) и заключается смысл развития детской речи [см. Appel, 1907; А. А. Леонтьев, 1965а]. Усвоение языка есть, пользуясь словами Маркса, превращение его из предметной формы в форму деятельности и затем — формирование соответствующих умений, соответствующей (речевой) способности. Особенно ясно этот процесс виден при

¹ У деятельности есть и другая сторона — в ней проявляются, реализуются возможности человека; лишь в деятельности возможна социализация биологических задатков и формирование способностей.

усвоении неродного языка. Во-вторых, он постоянно ориентируется на систему и норму речи и в самом процессе речи, контролируя тем самым понимаемость, информативность, выразительность, вообще — коммуникативность своей речи (это и есть суть проблемы культуры речи; см. главу 20). В этой двусторонности языка, в его двойной соотнесенности с речевыми процессами лежит, по-видимому, ключ к проблеме эволюции языка. Это отметил еще в 20-х годах видный советский языковед Е. Д. Поливанов [Поливанов, 1968, 95—96].

Маркс, говоря, что язык «имеет чувственную природу» [К. Маркс, 1956, 596], тем самым отнюдь не утверждает, как это нередко считается, что язык есть явление материальное. Напомним первый тезис о Фейербахе: «Главный недостаток всего предшествующего материализма... заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно» [К. Маркс, 1955, 1]. Ср. также в «Немецкой идеологии» критику Марксом Фейербаха за то, что тот рассматривает человека лишь как «чувственный предмет», а не как «чувственную деятельность» и «никогда не достигает понимания чувственного мира как совокупной, живой, чувственной деятельности составляющих его индивидов» [К. Маркс и Ф. Энгельс, 1955, 44]. Таким образом, ключ к пониманию места языка в жизни и деятельности общественного человека лежит в марксовой идее «чувственной деятельности», адекватной объективным свойствам языка как предмета, в трактовке языка не только как закономерного звена системы фиксированных отношений индивида к реальной внечеловеческой и человеческой (общественной) действительности (таков обычный философский подход к языку), но и как средства, орудия активной познавательной и продуктивной деятельности человека в этой действительности.

Возникает вопрос, какая именно деятельность адекватна свойствам языка как предмета, для какой деятельности он, по словам Маркса [К. Маркс, 1956, 590], является «материалом». По-видимому, это, с одной стороны, деятельность познания, т. е. прежде всего такая деятельность, которая заключается в «распредмечивании» действительности при помощи языка (поскольку мы понимаем под познанием расширение круга знаний и умений индивида) или в решении с помощью языка же познавательных задач, выдвигаемых ходом общественной практики (поскольку мы имеем в виду расширение фонда знаний и умений общества в целом). С другой — это деятельность общения, коммуникативная деятельность.

Под деятельностью общения не следует понимать простую передачу от одного индивида к другому некоторой информации. Коммуникация есть не только и не столько взаимодействие людей в обществе, сколько — прежде всего — взаимодействие лю-

дей как членов общества, как «общественных индивидов» (К. Маркс). Применительно к первобытному человеческому коллективу можно сформулировать эту мысль так: речь есть не столько общение во время труда, сколько общение для труда. Одним словом, речь не «прилагается» к жизни и совместной деятельности общества, социальной группы, а является одним из средств, конституирующих эту деятельность. Речь по существу своему — не дело индивида, не дело изолированного носителя языка: это прежде всего внутренняя активность общества, осуществляемая им через отдельных носителей языка или, точнее, при их помощи. Другой вопрос, что речь может использоваться индивидом, так сказать, в несобственных функциях.

В чем же ее основная функциональная нагрузка, в чем социальный смысл коммуникации? В том, что она обеспечивает любую другую деятельность, имея непосредственной целью либо овладение этой деятельностью («распредмечивание»), либо планирование этой деятельности, либо координацию ее. Это может быть непосредственное соотнесение действий членов производственного коллектива, выработка для них общих целей и общих средств. Именно в этом смысле Т. Слама-Казаку говорит о «языке труда» [Т. Slama-Cazacu, 1964; Т. Slama-Cazacu, 1968]. Это может быть обмен информацией (скажем, в ходе научной дискуссии), необходимый для того, чтобы теоретическая деятельность ученого была опосредована обществом, чтобы он был на уровне науки и отвечал на запросы общества и т. д. (Ср.: «Мое всеобщее сознание есть лишь теоретическая форма того, живой формой чего является реальная коллективность» [К. Маркс, 1956, 590]).

Возвращаясь к деятельности познания, следует отметить, что это — не пассивное восприятие внешних свойств предметов и явлений действительности и даже не просто «проекция» на них индивидуально значимых, усвоенных в индивидуальном опыте функциональных характеристик (примерно так дело обстоит только у животных). Это — специфическое взаимодействие человека как субъекта познания и объективной действительности как его объекта при помощи языка. Специфика этого взаимодействия в первую очередь в том, что язык выступает как система общезначимых форм и способов вещественно-предметного выражения идеальных явлений. Язык обеспечивает возможность для символа или знака «быть непосредственным телом идеального образа внешней вещи» [Ильенков, 1962, 224]. В этом смысле он служит своего рода «мостиком», связывающим опыт общества, человеческого коллектива, и деятельность, в том числе опыт индивида — члена этого коллектива, и представляет собой явление идеально-материальное (идеальное в своем виртуальном аспекте, как часть общественно-исторического опыта, идеально-материальное в своем актуальном аспекте, т. е. для каждого отдельного

индивида, как способ, орудие отражения действительности в идеальной форме). Именно такое понимание явствует из известной формулы «язык *есть* практическое <...> действительное сознание» [К. Маркс и Ф. Энгельс, 1955. 29]. Для Маркса виртуальное сознание становится реальным, «действительным» в языке (речевой деятельности; слово «язык» у Маркса, как и во всей классической философии XIX в., нетерминологично), обретает в нем свое «тело».

Как вскользь уже отмечалось, соотношение деятельности общения и деятельности познания представляет чрезвычайно важную проблему, по существу центральную не только для философской и психологической, но и для лингвистической трактовки языка и речевой деятельности. Основной, важнейшей отличительной чертой, отделяющей речевую деятельность от других, нечеловеческих или не специфически человеческих видов коммуникации и в то же время охватывающей все варианты ее реализации, будет то, что Л. С. Выготский назвал «единством общения и обобщения». Напомним его высказывания по этому поводу: «Общение, не опосредствованное речью или другой какой-либо системой знаков или средств общения, как оно наблюдается в животном мире, делает возможным только общение самого примитивного типа и в самых ограниченных размерах. В сущности, это общение, с помощью выразительных движений, не заслуживает даже названия общения, а скорее должно быть названо заражением. Испуганный гусак, видящий опасность и криком поднимающий всю стаю, не столько сообщает ей о том, что он видел, а скорее заражает ее своим испугом.

Общение, основанное на разумном понимании и на намеренной передаче мысли и переживаний, непременно требует известной системы средств... Для того чтобы передать какое-либо переживание или содержание сознания другому человеку, нет другого пути, кроме отнесения передаваемого содержания к известному классу, к известной группе явлений, а это... непременно требует обобщения... Таким образом, высшие присущие человеку формы психологического общения возможны только благодаря тому, что человек с помощью мышления обобщенно отражает действительность» [Выготский, 1956, 50—51].

Единство общения и обобщения осуществляется в знаке (см. в этой связи главу 7, а также [Леонтьев А. А., 1965а, 1969 г и др.]). В сущности, речевая деятельность есть частный случай знаковой деятельности, как язык есть одна из знаковых систем; но важно подчеркнуть, что это не просто знаковая система *sui generis*, а первичная знаковая система. Точно так же речевая деятельность является основным видом знаковой деятельности, логически и генетически предшествуя остальным ее видам.

Речь может занимать в системе деятельности различное место. Она может выступать как орудие планирования речевых или

перечевых действий, соответствуя, таким образом, первой фазе интеллектуального акта — фазе ориентировки и планирования. В этих двух случаях характер планирования совершенно различен. В первом случае это программирование речевого высказывания, по-видимому [Жинкин, 1964, 1967; Леонтьев А. А., 1969а], в неречевом субъективном коде. Во втором случае это именно формулирование плана действий в речевой форме. Эти две функции речи в планировании деятельности нельзя смешивать, как это часто делается [Баев, 1966, 313—314 и др.]. Видимо, в подобном смешении играет значительную роль то, что оба вида планирования нередко называются одинаково «внутренней речью». (Можно [Леонтьев А. А., 1967б, 1969а, 157—159] предложить различать «внутреннюю речь», «внутреннее программирование» и «внутреннее проговаривание».)

Речь может выступать в третьей фазе интеллектуального акта — именно, как орудие контроля, орудие сопоставления полученного результата с намеченной целью. Это обычно происходит в тех случаях, когда акт деятельности достаточно сложен, например, когда он имеет целиком или почти целиком теоретический характер (как это нередко бывает, скажем, в деятельности ученого). Однако основное место, занимаемое речью в деятельности, соответствует второй фазе интеллектуального акта. Это речь как действие, речь как коррелят фазы исполнения намеченного плана.

Хотя название настоящей монографии, равно как и название данной главы содержит словосочетание «речевая деятельность», это словосочетание, строго говоря, не терминологично. Речевая деятельность, в психологическом смысле этого слова, имеет место лишь в тех, сравнительно редких, случаях, когда целью деятельности является само порождение речевого высказывания, когда речь, так сказать, самоценна. Очевидно, что эти случаи в основном связаны с процессом обучения второму языку. Что же касается собственно коммуникативного употребления речи, то в этом случае она почти всегда предполагает известную неречевую цель. Высказывание, как правило, появляется для чего-то. Мы говорим, чтобы достичь какого-то результата. Иными словами, речь включается как составная часть в деятельность более высокого порядка. Позволим себе заимствовать уже использованный ранее [Леонтьев А. А., 1969а, 135] пример. Я прошу у соседа по столу передать мне кусок хлеба. Акт деятельности явно не завершен: моя потребность будет удовлетворена лишь в том случае, если сосед действительно передаст мне хлеб. Тот же в принципе результат может быть достигнут и неречевым путем (я встал и достал кусок хлеба сам). Таким образом, чаще всего термин «речевая деятельность» некорректен. Речь — это обычно не замкнутый акт деятельности, а лишь совокупность речевых действий, имеющих собственную промежуточную цель, подчиненную цели деятельности как таковой.

Однако эта совокупность тоже организована определенным образом, она не представляет собой линейной цепи действий, последовательно осуществляемых на основании некоторой априорной программы или эвристической информации. Организация этой совокупности, которую мы и называем здесь речевой деятельностью и которая в типичном частном случае сводится к отдельному речевому действию, как и организация любого действия, входящего как составная часть в деятельностиный акт, в некоторых существенных чертах подобна организации деятельностиного акта в целом — постольку, поскольку мы под действиями понимаем «относительно самостоятельные процессы, подчиненные сознательной цели» [Леонтьев А. Н., Панов Д. Ю., 1963, 415]. Во всяком случае речевое действие предполагает постановку цели (хотя и подчиненной общей цели деятельности), планирование и осуществление плана (в данном случае внутренней программы), наконец, сопоставление цели и результата, т. е. является разновидностью интеллектуального акта.

Будучи психологически действием, речевое действие должно обладать и всеми характеристиками, присущими любому действию. Очевидно, что оно характеризуется собственной целью или задачей. Какова эта цель, эта задача? Наиболее общее представление о ней мы дали в начале этой главы, анализируя сущность процесса общения. Более подробный анализ различной функционально-целевой направленности речи будет дан в главе 16 («Функции и формы речи»). Далее, речевое действие определяется общей структурой деятельности и тем местом, которое оно занимает в деятельности вообще и по отношению к другим речевым действиям — в частности. В этом отношении особенно интересно было бы иметь точные данные о различных типах взаимодействия речевых действий внутри неречевой деятельности, например, о функциональных типах диалога. К сожалению, таких работ очень мало; можно упомянуть цикл исследований Дж. Джаффи (Jaffee, 1967, 1970), некоторые другие американские работы, обобщенные в статье С. Московичи [1967], а в нашей стране, например, работы А. Р. Балаяна [1970 и др.] и В. Г. Гака [1969]. Наконец, речевое действие, как и любое действие, представляет собой своего рода взаимодействие общих характеристик деятельности и конкретных условий и обстоятельств ее осуществления. Это взаимодействие отражается уже в самом появлении речевого действия, но особенно ясно оно в связи с тем, что одно и то же в психологическом отношении речевое действие может осуществляться на базе различных речевых операций. См. подробнее об этом в главе 3.

Какова наиболее общая операционная структура речевого действия? Оно включает в себя, во-первых, звено ориентировки. Ориентировочная основа речевого действия описана нами ниже, в главе 3. Надо только сказать, что в различных видах речевых действий эта ориентировочная основа может быть различ-

ной. К сожалению, вопрос этот совершенно не исследован. Но очевидно, что даже в одной и той же коммуникативной ситуации (например, если мы описываем какие-то события, происходящие перед нашими глазами) возможны различные типы ориентировки, которая будет одной, если ребенок рассказывает маме о том, что видит в окно, и совсем другой, если радиокомментатор излагает то, что происходит на футбольном поле. Характер ориентировки, по всей видимости, зависит прежде всего от места речевого действия в общей системе деятельности. Умения, связанные с ориентировочной основой действия, так же могут быть сформированы, как и любые другие умения, и являются плодом процесса интериоризации.

Далее речевое действие включает в себя звено планирования, или программирования. Как уже отмечалось, программа речевого действия существует обычно в неязыковом, вернее, несобственно языковом (лишь сложившемся на языковой основе) коде. Н. И. Жинкин называет его «предметно-изобразительным» или «кодом образов и схем», см. [Жинкин, 1964, 1967 и др.]. С психологической стороны, вероятно, было бы уместно соотносить этот код с исследованными М. С. Шехтером [Шехтер, 1959] вторичными образами или «образами-мыслями» (см. также [Леонтьев А. А., 1969а, 160]). Вообще этот код, насколько можно судить, близок к кодам, используемым мышлением. Ср. у А. Эйнштейна: «Слова, или язык, как они пишутся или произносятся, не играют никакой роли в моем механизме мышления. Психические реальности, служащие элементами мышления, — это некоторые знаки или более или менее ясные образы, которые могут быть «по желанию» воспроизведены и комбинированы. Конечно, имеется некоторая связь между этими элементами и соответствующими логическими понятиями... Обычные и общепринятые слова с трудом подбираются лишь на следующей стадии...» [Эйнштейн, 1967, 28].

«Образы-мысли» — это лишь внешняя оболочка элементов программы. Но, по-видимому, кроме того, в чем закрепляется основное содержание будущего высказывания, должно быть и то, что закрепляется, т. е. мы должны поставить вопрос о психологической природе самого этого содержания. Следует думать, что программа имеет смысловую природу (в понимании смысла психологами школы Выготского). О психологической сущности понимаемого так смысла см. [Леонтьев А. Н., 1947; 1965, 25—31, 27, 223—227, 28, 29], а также ниже, в главе 12 (о смысловой природе программы ср. также [Леонтьев А. А., 1969а, 161 и след.], [Леонтьев А. А., 1967б]).

Далее от программы мы переходим к ее реализации в языковом коде. Здесь мы имеем ряд механизмов, в совокупности обеспечивающих такую реализацию. Это механизмы: а) выбора слов, б) перехода от программы к ее реализации, в) грамматического прогнозирования, г) перебора и сопоставления синтаксических вариантов, д) закрепления и воспроизведения граммати-

ческих «обязательств». Параллельно с реализацией программы идет моторное программирование высказывания, за которым следует его реализация. Один из вариантов конкретного взаимодействия всех этих механизмов изложен в [Леонтьев А. А., 1969а]. Более детально некоторые грамматические (синтаксические) и лексические (семантические) аспекты порождения и восприятия речи описаны соответственно в главах 12 и 13.

Подводя итоги сказанному в настоящей главе, укажем, что ее основной задачей было, с одной стороны, вскрыть наиболее общую философско-психологическую специфику коммуникативной деятельности, с другой — конкретизовать общие положения, касающиеся всякой деятельности, на материале речи и продемонстрировать ее «видовой» характер по отношению к деятельности как «роду». В последующих главах многие высказанные здесь общие соображения будут дополнены и конкретизированы.

ФАКТОРЫ ВАРИАНТНОСТИ РЕЧЕВЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Выше (в главе 1) введено психологическое различие действия и операции. Наиболее общее различие между ними заключается в том, что действие независимо от конкретных условий, в которых протекает деятельность, в то время как система операций, образующих это действие, варьируется в зависимости от изменения этих условий. Для выполнения одного и того же действия в разных случаях (в зависимости от разных условий деятельности) требуется, следовательно, разный набор операций.

Далее (глава 2) мы конкретизировали эти понятия применительно к речевой деятельности. Мы установили, что речевое действие, как и любое другое: а) характеризуется собственной целью или задачей (промежуточной по отношению к деятельности в целом и подчиненной цели деятельности); б) вообще определяется структурой деятельности в целом и в особенности теми речевыми и неречевыми действиями, которые предшествовали ему внутри акта деятельности; в) имеет определенную внутреннюю структуру, обусловленную взаимодействием (1) тех его характеристик, которые связаны со структурой акта деятельности и общи для многих однотипных актов деятельности, и (2) тех конкретных условий и обстоятельств, в которых это действие осуществляется в данном случае, в данный момент.

Таким образом, в настоящей главе нам предстоит прежде всего раскрыть те факторы, те характеристики, которые одинаково существенны при выборе любого действия, и конкретизировать их применительно к выбору именно речевого действия. Затем нам необходимо будет остановиться на тех факторах, которые влияют на выбор отдельных операций внутри речевого действия, и проанализировать, как они сказываются в изменении операционной структуры этого действия.

Применительно к речевому действию можно говорить в первом случае о факторах, обуславливающих речевую интенцию или речевое намерение, а во втором — о факторах, обуславливающих реализацию речевой интенции. Естественно, что речевое намерение соотносимо только с содержанием речевого действия, с его психологической ролью внутри деятельности как целого. К конкретно-языковому оформлению высказывания (включая и семантический аспект его, в частности выбор отдельных слов и слово-

сочетаний) и, в частности, к выбору языка, на котором будет осуществляться высказывание, речевая интенция отношения не имеет. Не имеет она отношения и к степени отработанности речевого действия (если мы имеем дело с речью на неродном языке). Все эти вопросы относятся к реализации речевой интенции.

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ РЕЧЕВУЮ ИНТЕНЦИЮ

Хотя понятие речевой интенции употребляют в психологии (а равным образом и в лингвистике) достаточно часто, явного определения ему, как правило, не дается: оно принадлежит к числу тех научных понятий, которые берутся из «обиходной речи» и переносятся в систему науки в неизменном виде.

Речевая интенция не тождественна семантической стороне речевого высказывания: эта последняя формируется уже на последних этапах порождения высказывания как результат выбора и сочетания конкретных лексем. Она не тождественна также внутренней программе речевого высказывания: внутренняя программа есть результат опосредствования речевой интенции системой субъективных «смыслов» (см. выше, главу 2). Но она не тождественна и мысли: по мнению автора настоящей главы, мысль есть сам процесс опосредствования речевой интенции смыслами. Это не значит, что мысль всегда есть программирование: мысль может реализоваться по-разному, в разных конкретных формах, в зависимости от психологической ситуации. Например, она может выступать как процесс понимания чужого высказывания. (Ср. у Дж. Миллера: «Для нас, по-видимому, существенно провести некоторое различие между интерпретацией высказывания и пониманием его, так как пониманию обычно способствует нечто иное сверх лингвистического контекста, связанное с этим конкретным высказыванием. Муж, встреченный у двери словами: «Я купила сегодня несколько электрических лампочек», не должен ограничиваться их буквальным истолкованием: он должен понять, что ему надо пойти в кухню и заменить перегоревшую лампочку» [Миллер, 1968, 249]). Она может выступать как оперирование элементами зрительного восприятия, как «визуальные перцептивные действия», см. [Зинченко, 1970] и т. д.

В таком понимании мысли мы присоединяемся к Л. С. Выготскому, который писал: «... Мысль не есть нечто готовое, подлежащее выражению. Мысль стремится, выполняет какую-то функцию, работу... Мысль есть внутренний опосредствованный процесс. Это путь от смутного желания к опосредствованному выражению через значения, вернее, не к выражению, а к совершению мысли в слове» [Выготский, 1968, 190]. Мысль, следовательно, есть процесс оперирования с субъективным кодом смыслов; но она не равна, конечно, ни самому коду, ни правилам этого оперирования, «грамматике мысли», которая может быть различной, ни «сообщению», которое формируется из единиц это-

го кода (внутренняя программа речевого высказывания и есть один из вариантов такого «сообщения»).

Очень важно подчеркнуть, что мышление не сводится исключительно к оперированию кодом вербальных смыслов. Это положение прекрасно развил в своих работах Э. В. Ильенков [Ильенков, 1966].

Из сказанного видно, что речевая интенция предшествует в порождении всем этим не совпадающим с ней моментам. Она — то, что Выготский в цитированном выступлении называл «чувствованием задачи», «смутным желанием». Попробуем теперь раскрыть те факторы, которые ее формируют (см. также [А. А. Леонтьев, 1969а, стр. 145 и след.]).

а) М о т и в а ц и я. Вообще говоря, речевое действие обычно направляется не одним мотивом, а системой мотивов. Однако внутри этой системы всегда можно выделить доминирующую мотивацию, подчиняющую себе иерархически более «низкие», побочные мотивы [Анохин, 1966]. Эта доминирующая мотивация и является одним из важнейших факторов формирования речевой интенции. Если взять в качестве примера ситуацию, в которой человек, сидя за многолюдным столом, не может дотянуться до хлебницы и вынужден просить передать хлеб, то здесь доминирующей мотивацией будет, вероятно, чувство голода (учитывая, что человеческие потребности предметны [А. Н. Леонтьев, 1966], точнее было бы сказать — потребность в хлебе, желание получить кусок хлеба, конкретизованное в восприятии этого куска).

Будем рассматривать введение факторов, обуславливающих речевую интенцию (и — далее — ее реализацию), как последовательное сужение круга речевых высказываний, возможных в том или ином конкретном случае. Тогда до введения доминирующей мотивации мы имеем бесконечное множество таких высказываний, полную «свободу» выражения. Вводя фактор доминирующей мотивации, мы тем самым сужаем общее количество возможных речевых действий до такого конечного множества, которое может в конечном счете обеспечить удовлетворение нашей потребности — в данном случае привести к насыщению.

б) О б с т а н о в о ч н а я а ф ф е р е н т а ц и я. Как и термин «доминирующая мотивация», этот термин принадлежит П. К. Анохину. Под ним следует понимать «совокупность всех тех внешних воздействий на организм от данной обстановки, которые вместе с исходной мотивацией наиболее полно информируют организм о выборе [точнее было бы: об условиях выбора.— Авт.] того действия, которое более всего соответствует наличной в данный момент мотивации» [Анохин, 1966]. Иначе говоря, это — то, что создает в организме «нервную модель обстановки» (П. К. Анохин), «модель прошедшего-настоящего» (Н. А. Бернштейн).

Обстановочная афферентация не тождественна ситуации в целом. Дело в том, что, как мы увидим в дальнейшем, в ситуации

имеются и элементы, влияющие на способ конкретной реализации речевой интенции, на операционный состав речевого действия. С другой стороны, в обстановочную афферентацию может входить не только объективная ситуация, имеющаяся к началу деятельности и независимая от этой деятельности, но и ситуация, уже преобразованная в результате предшествующих — речевых — действий.

в) Вероятностный опыт. Этот фактор связан с выдвинутым Н. А. Бернштейном понятием «модели будущего» («Образ результата» у Миллера — Прибрама — Галантера [Миллер, 1965]). Моделирование будущего «возможно только путем экстраполяции того, что выбирается мозгом из информации в текущей ситуации, из «свежих следов» непосредственно предшествовавших восприятий, из всего прежнего опыта индивида, наконец, из тех активных проб и прощупываний, которые относятся к классу действий, до сих пор чрезвычайно суммарно обозначаемых как «ориентировочные реакции...» В любой фазе экстраполяции мозг в состоянии лишь наметить для предстоящего момента своего рода таблицу вероятностей возможных исходов» [Бернштейн, 1966, 290].

Механизм подобного экстраполирования или, как мы будем говорить далее вслед за И. М. Фейгенбергом, «вероятностного прогнозирования» деятельности сводится к следующему. «Организм «помнит», что ситуация А обычно предшествовала ситуации В или, что то же, что появление именно ситуации В после ситуации А наиболее вероятно. И вот, возникновение ситуации А является сигналом для подготовки системы организма к реакции, адекватной такой ситуации В, условная вероятность возникновения которой вслед за А является максимальной... Чем шире круг событий, одинаково часто следовавших в прошлом вслед за А (т. е. чем более неопределенным является прогноз), тем более широкий круг физиологических систем мобилизуется в ответ на сигнал А. Такая преднастройка к действиям в предстоящей ситуации, опирающаяся на вероятностную структуру прошлого опыта, может быть названа вероятностным прогнозированием» [Фейгенберг, 1966, 127—128].

Применительно к речевой деятельности принципиальная роль и конкретная реализация вероятностного прогнозирования изучена слабо. В этой связи можно указать на работы И. А. Зимней, Р. М. Фрумкиной и ее школы [Фрумкина, 1971, Вероятностное..., 1971] и другие исследования, главным образом патопсихологического характера. Известную роль здесь играет недооценка вероятностных факторов речеобразования и речевосприятия в современной американской психолингвистике «миллеровского» (трансформационного) направления (см. ниже главу 12).

г) Задача действия. Вероятностное прогнозирование обеспечивает выдвижение каких-то исходов, наиболее вероятных в данной ситуации моделей, которые наиболее целесообразно реа-

лизовать при данных условиях. Но необходимо произвести выбор среди предоставляемых возможностей и принять определенное решение. Иначе говоря, действующий (в нашем случае говорящий) человек должен превратить вероятность одного варианта, одного исхода в единицу, аннулировав вероятности всех других вариантов, всех других исходов. Он это и делает, соотнося «модель будущего», результаты вероятностного прогнозирования, с задачей действия. А эта последняя связана с нашим представлением о структуре и цели деятельности в целом. Иными словами, это ограничения, налагаемые на выбор действия деятельностью как целым.

Роль этого фактора в организации деятельности особенно ясно выступает при анализе так называемого внушенного гипнотического поведения. Во время сеанса гипноза мы можем внушить пациенту, что когда он проснется, ему следует поступить тем или иным образом — скажем, пойти в соседнюю комнату и там разорвать газету на две половинки. Этим мы как раз и навязываем ему задачу действия. И человек начинает бессознательно подстраивать под эту навязанную ему задачу всю логику своего поведения. Он строит его так, что навязанный исход оказывается наиболее вероятным.

Прежде чем перейти к реализации речевой интенции, следует оговориться, что возможны такие случаи, когда в основе выбора действия лежит не только опыт, но в первую очередь текущая оценка значимости того или иного действия. Происходит своего рода «нащупывание».

Что является конечным результатом действия перечисленных здесь факторов (не исключено, что они не исчерпаны нами)? Какова та функция, к изменению которой приводят изменения в перечисленных аргументах? Здесь, конечно, еще рано говорить о речевом высказывании как таковом: само речевое высказывание еще не появилось. Даже с его содержательной стороной мы еще не имеем дела, поскольку еще не произведен отбор лексем. Видимо, здесь можно говорить только о программе речевого высказывания, об отборе и организации единиц субъективного «смыслового» кода (см. выше, главу 2). Описанные факторы влияют как раз на этот аспект речепроизводства.

ФАКТОРЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ РЕЧЕВОЙ ИНТЕНЦИИ

Ранее мы, последовательно сужая круг возможных речевых действий, дошли до такого положения, когда мы имеем с психологической стороны одно речевое действие, т. е. действие, программируемое одинаково независимо от его конкретного операционного осуществления (мы, естественно, имеем в виду смысловой, содержательный аспект единиц кода программирования). Од-

нако при тождестве программы, при психологическом тождестве действия, оно может реализоваться различно в лингвистическом и психолингвистическом отношении. Здесь важно подчеркнуть, что некоторые факторы, обеспечивающие такое различие в психолингвистическом плане, в то же время не учитываются лингвистом, например степень владения языком.

Факторов этого рода может быть очень много, и, описывая некоторые из них, мы тем самым не претендуем на абсолютную полноту изложения.

а) Язык. Поскольку совершенно несущественно с психологической стороны, на каком языке мы выразим необходимое содержание, и независимо от выбора конкретного языка речевое действие останется тождественным самому себе, по-видимому, следует относить конкретно-языковую вариантность высказывания за счет операционного состава речевого действия.

Анализируя этот операционный состав, можно видеть, что речевые операции распадаются на два довольно четко определенных типа. Это, во-первых, универсальный компонент речевого действия — такого рода операции, которые общи для любого речевого действия независимо от языка — типа отбора, сочетания и т. д. Это, во-вторых, неуниверсальный компонент — операции, различные в различных языках. Со своей стороны, такие операции распадаются на типологически общие (прослеживаемые в языках с разной конкретной структурой) и типологически уникальные (свойственные одному или нескольким языкам). Выявление всех этих разновидностей речевых операций представляет огромную важность для научного обеспечения оптимального обучения иностранным языкам (см. [Зимняя и Леонтьев, 1969]).

б) Степень владения языком. Этот фактор выступает в двух случаях: когда говорящий еще не полностью овладел родным языком (т. е. в речи ребенка или подростка, или человека, в силу тех или иных причин не выработавшего у себя умений общения в некоторых ситуациях — ораторская речь, разговор по телефону) и когда мы имеем дело с речевым действием на неродном языке. О первом случае см. [А. А. Леонтьев, 1970б, глава I], о втором — [Зимняя, 1967] и др. Суть этого фактора в том, что в зависимости от степени владения языком говорящий выражает одно и то же содержание более или менее удачно (в коммуникативном отношении, т. е. более понятно, выразительно, красиво), более или менее правильно (с ошибками или без таковых), в более или менее обычном режиме (например, с соблюдением характерного для данного языка темпа речи и ритмической организации произносительных единиц). См. об этом также [Воронин, 1970].

в) Функционально-стилистический фактор. Он определяет выбор оптимальных языковых и речевых средств из ряда потенциальных возможностей, предоставляемых языком. Строго говоря, это не один фактор, а по крайней мере три. Во-

первых, это фактор, определяющий выбор вида речи в зависимости от целевой направленности конкретного высказывания. Во-вторых, это фактор, определяющий выбор формы речи (устная — письменная, диалогическая — монологическая и т. д.) в зависимости от условий общения. В-третьих, это собственно функционально-стилистический фактор, определяющий традиционный (для данного языка) выбор стилистических средств в соответствии с социально отработанной ситуацией: мы говорим стилистически различно на совещании и в коридоре (см. главы 16 и 18).

г) Социолингвистический фактор, который вернее было бы назвать социально-психологическим. Он определяет, как и предыдущий, выбор возможностей из числа предоставляемых языком, но выбор этот происходит на несколько ином основании: здесь существенна шкала социальных отношений, соотношение социальной ценности или «роли» говорящего и его собеседника — независимо от всех прочих признаков ситуации. Наиболее характерный пример действия такого фактора — это иерархия принятых во всех европейских языках обращений-апеллятивов типа «Ваше Величество», «Ваше Высочество» и т. д. [Ervin, 1970].

д) Аффективный фактор, обеспечивающий вариантность высказывания в связи с различной его экспрессивной нагрузкой, в то же время не кодифицированной в виде формы речи или функционального стиля.

е) Индивидуальные отличия в речевом опыте. Здесь мы имеем в виду то, что лингвистически одно и то же высказывание может для одного говорящего выступать как творческое, формируемое заново, а для другого — в силу случайных причин — как совокупность стереотипов или сплошной стереотип. Вообще сюда относятся различия эвристических, используемых говорящим при построении или восприятии высказывания [А. А. Леонтьев, 1969а].

ж) Речевой контекст. Говорящий может выбрать те или иные слова или конструкции исключительно потому, что они только что были употреблены в чужой или в его собственной речи (или наоборот: известно, например, что частотные прилагательные вызывают антонимическую ассоциацию [Deese, 1965, стр. 105—106], которая может сказаться и в построении очередного высказывания).

з) Речевая ситуация в той мере, в какой мы не охватили ее ранее при перечислении других факторов.

Заключая настоящую главу, отметим, что при рассмотрении указанных факторов мы полностью абстрагировались от того, что в обычной речевой деятельности мы имеем дело не с изолированным речевым высказыванием, а с организованной совокупностью таких высказываний. Это ограничение было введено для простоты рассуждения. Снятие его принципиально ничего не изменило бы, но сильно затруднило бы наш анализ.

Часть II

МЕТОДОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Глава 4

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Прежде чем охарактеризовать систему основных понятий и категорий, с которыми лингвистическая наука подходит к речевой деятельности, необходимо дать общую характеристику самого моделирования, ибо в этой области пока нет полной ясности.

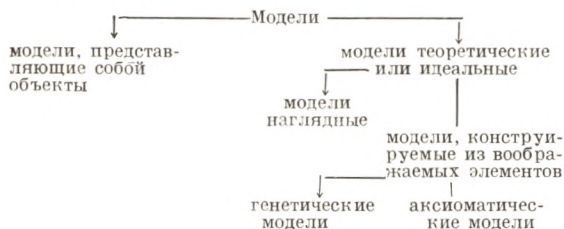
Неопределенность понятий модели и моделирования связана прежде всего с тем, что авторы, пишущие по этому вопросу, неправомерно переносят данные, взятые из опыта одних наук, на другие, поспешно генерализуя свои понятия и выводы. Естественно, нет оснований сомневаться в законности существования логики науки как обобщающей «наднаучной» дисциплины и общей теории моделей как части этой дисциплины; однако необходимо ясно понимать, что в методологии конкретно-научного исследования идет от общих закономерностей теории познания, а что — от специфики объекта (или предмета, или метода) данной науки. Вот этого-то понимания нередко не хватает авторам, анализирующим понятие модели (ср. [Чжао, 1965]).

Модель определяется в современной логике науки как «такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объекты исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [Штофф, 1966, 19]. Следовательно, моделирование не есть любое отображение объекта в модели. Таким образом, структура модели всегда двойственна: она зависит от моделируемого объекта и — в не меньшей мере — от способа моделирования. Можно считать, что, моделируя реальный объект, мы как бы конструируем другой — реальный или воображаемый объект, изоморфный данному в каких-то существенных признаках. А то новое, что мы узнаем при этом об объекте, — это такие его черты, которые «автоматически» переносятся в модель, когда мы сознательно отображаем в ней другие его черты и особенности.

Применяемые в науке модели могут быть разделены на две группы. «К первой группе относятся модели, представляющие собой объекты..., именно физические свойства которых позволяют использовать их в качестве моделей» [Зиновьев и Ревзин, 1960, 85]. Вторая группа — модели теоретические или идеальные. Они в свою очередь могут быть разделены на модели наглядные, элементы которых имеют какое-то сходство с элементами моделируемого объекта, и модели знаковые или логические, не имеющие внешнего сходства с моделируемым объектом. Оба последних термина («знаковые» и «логические») не представляются удачными, и, видимо, целесообразно вслед за Ю. А. Ждановым [Жданов, 1963] говорить в этом случае о моделях, конструируемых из воображаемых элементов.

Далее, модели этого типа могут иметь по крайней мере двоякую логическую структуру безотносительно к тому, что именно моделируется и является ли модель математической или собственно логической, т. е. представляет собой систему вербальных или иных высказываний. Эти два вида моделей соотносятся соответственно с генетическим и аксиоматическим методами построения научной теории [Садовский, 1962; Смирнов, 1962; ср. А. А. Леонтьев, 1965а, 43—45]. Ср. также различие «модели I» и «модели II» у С. Я. Фитиалова [Фитиалов, 1959].

Таким образом, основную классификацию моделей можно представить следующим образом:



Существуют и другие классификации, отличающиеся от данной (см., напр., [Веников, 1964; Морозов, 1969]), но данная представляется наиболее приемлемой под интересующим нас углом зрения.

Нередко (см., напр., [Бурлакова и др., 1965]) понятие модели применительно к языку излишне сужается. Так, объявляясь единственно научными аксиоматические модели или только математические модели. Однако это, по-видимому, неправомерно. Всякое достаточно правильное, т. е. отвечающее определенным требованиям к адекватности, и эвристически значимое описание языка есть его логическая модель и подчиняется общим закономерностям моделирования.

Моделирование объекта еще не есть его познание и не является единственным средством такого познания. (Этот факт — гипотетичность любой модели — весьма часто недооценивается ис-

следователями, приписывающими моделям исчерпывающую гносеологическую значимость). Оно всегда представляет собой лишь один из компонентов более общей теории объекта или группы объектов и прежде всего требует дополнения экспериментом, с помощью которого мы верифицируем нашу модель, устанавливаем ее эвристическую ценность. «Модель сначала изображает возможную связь явлений, возможный ход событий, возможную структуру. Последующая экспериментальная проверка и дополнительные исследования показывают, насколько модель отражает действительную связь или структуру явлений» [Штофф, 1961, 62]. Эксперимент может быть как реальным (например, в моделях, представляющих собой объекты), так и мысленным [Фролов, 1961, 49] — случай, который мы имеем при моделировании речевой деятельности (о лингвистическом эксперименте см. [А. А. Леонтьев, 1965а, 60 и след], а также ниже — главу 9).

До этого места, говоря об «объекте» моделирования, мы употребляли это слово не терминологически. Теперь попытаемся раскрыть понятие объекта в его отличии от понятия предмета исследования. Сразу же отметим, что эти понятия различаются далеко не всеми исследователями — прежде всего потому, что не в любой науке они необходимы (здесь мы как раз сталкиваемся с тем случаем, когда специфика объекта вносит поправки в логику научного исследования). Однако они в последние годы получили широкое теоретическое обоснование [Садовский, 1966, 180—183 и др.; Лекторский, 1967, 49; Щедровицкий, 1964, 14—18] и все чаще вводятся лингвистами при анализе проблем их науки [Кодухов, 1967; Перетрухин, 1968 и др.].

Когда говорят, что ряд наук (в нашем случае — языкознание, физиология и психология речи и т. д.) имеют один и тот же объект, это означает, что все они оперируют одними и теми же индивидуальными событиями или индивидуальными (конкретными) объектами. Однако процесс научной абстракции протекает в этих и других «речеведческих» науках по-разному, в результате чего мы строим внутри теоретической системы различные абстрактные объекты, т. е. логические модели. Каждый из них построен под определенным углом зрения и прежде всего функционально отличен от других абстрактных объектов.

В каком соотношении находятся конкретные (индивидуальные) и абстрактные объекты? Конкретный объект является представителем абстрактного объекта; с другой стороны, абстрактный объект есть то, над чем считаются данными и осуществляемыми элементарные логические действия. Так, говоря о «звуке *а*», мы тем самым утверждаем нечто о множестве реально произнесенных или произносимых звуков, объединенных представлением абстрактного объекта «звук *а*». Это утверждение мы относим к абстрактному объекту и в то же время не забываем, что оно верно и относительно каждого конкретного представителя этого объекта — каждого индивидуального звука *а*.

Совокупность конкретных объектов научного исследования — это и есть объект той или иной науки. Абстрактная система объектов или совокупность (система) абстрактных объектов образует предмет этой науки.

Из сказанного выше очевидно, что объект может быть тождествен у разных наук, как это и происходит в нашем случае. Предмет же специфичен для науки, это — то в объекте, что «видит» в нем специалист в определенной области — лингвист, психолог, физиолог, логик и т. д. Само собою разумеется при этом, что принципиально возможна и теория самого объекта. Ниже мы остановимся на этом вопросе применительно к исследованию речевой деятельности.

Тем объектом, с которым имеют дело лингвист и другие специалисты по речи, и является речевая деятельность в том ее понимании, которое предлагается выше (гл. 2). Иначе говоря, конкретными объектами, с которых начинается путь научной абстракции в «речеведческих» науках, являются речевые акты или — в той системе, на которую мы опираемся — речевые действия. (Безусловной ошибкой надо считать часто встречающееся утверждение, что лингвист имеет дело с текстами. Текст есть уже модель, абстрактный объект; другой вопрос, что мы можем ограничивать круг исследования и не рассматривать в системе той или иной науки путь, приведший нас к этому абстрактному объекту. Но сама проблема остается, и лингвист не имеет права делать вид, что он не знает о первичности объекта, с которым работает).

Пока что мы не разграничивали последовательно лингвистическую модель и абстрактный объект. На самом деле между ними можно провести достаточно четкую границу. Лингвистическая модель лишь тогда становится абстрактным объектом, когда мы знаем, что она соответствует действительности, когда она верифицирована и стала из гипотезы частью научной теории. Однако и здесь неточно говорить о модели как об абстрактном объекте. Дело в том, что даже в рамках одной науки, под определенным, уже достаточно узким углом зрения, мы можем построить множество моделей, в равной мере отвечающих действительности. Например, один и тот же язык можно описать разными способами, так что описания не будут тождественными; любой лингвист это хорошо знает и нередко испытывает трудности, пытаясь «перевести» на язык привычной ему модели описание, сделанное при помощи иной модели (скажем, выполненное американским дескриптивистом). Но даже внутри одного научного направления язык можно описать (и он в действительности описывается) по-разному в зависимости от конкретной задачи описания (моделирования).

Таких задач много, и так называемая «теоретическая грамматика» того или иного языка эвристически, как модель речевой деятельности, ничем не «полнее» и не «правильнее», чем, скажем,

алгоритм автоматического анализа или синтеза того же языка при машинном переводе, если оба они правильно отражают свойства объекта. Каждая из этих моделей оптимальна для определенной цели: будучи заложена в счетно-электронную машину, самая лучшая теоретическая грамматика окажется бесполезной. «Теоретическая» грамматика тоже оптимальна лишь с определенных точек зрения — прежде всего с точки зрения удобства интерпретации соответствующей модели на «стыках» ее с другими моделями того же объекта. (Это выражается, в частности, в интуитивном ощущении соответствия или несоответствия этой модели нашему представлению о языке, в конечном счете — нашей языковой способности). Другой характерный пример — учебная грамматика языка, которая может быть специализирована для знающих или не знающих этот язык и для носителей разных языков, и т. д. Если взять более узкую модель, например, модель словарного состава (лексикона) того или иного языка, обычно называемую «словарем» этого языка, то здесь уже совершенно очевидно, что возможны очень различные словари, в равной мере отражающие особенности словарного состава данного языка. (О множественности моделей языка см. также [А. А. Леонтьев, 1965а, 46—47; Климов, 1967] и др.).

«Абсолютной» модели, и в частности абсолютной модели языка (речевой деятельности), не бывает. Всякое описание, всякая модель объекта «покрывает» его лишь частично, «освещая» в нем то, что важно с определенной точки зрения. Исчерпывающее описание — это не реальная модель, а совокупность всех возможных моделей, т. е. чисто теоретическое допущение. Отсюда — важный тезис об отсутствии абсолютных критериев в оценке той или иной модели¹, подробно рассмотренный (применительно к теоретическим вопросам машинного перевода) И. А. Мельчуком [Мельчук, 1962, 154—155].

Абстрактный объект есть обобщение множества возможных моделей данной предметной области (конкретных объектов), инвариант этих моделей. Дело в том, что все эти модели уже по определению (так как имеют эвристическую значимость) обладают инвариантными характеристиками, остающимися неизменными при переходе от одной модели к другой. Эти-то характеристики и могут быть объединены понятием абстрактного объекта и соответствуют предмету данной науки. (Можно для простоты отождествлять набор всех верифицированных моделей объекта с системой абстрактных объектов, что не вполне корректно). Применительно к языку эту мысль четко сформулировал Ч. Хоккетт: «Фонологической структурой языка является то, что остается инвариантом при всех возможных трансформациях от одной исчерпывающей фонемизации к другой» [Hockett, 1949, 51].

¹ Естественно, что при этом требование соответствия модели моделируемому объекту, как самоочевидное, выносится за скобки.

Из сказанного можно заключить, что лингвист, говоря о языке, имеет дело как раз с инвариантом всех моделей речевой деятельности, построенных под определенным углом зрения, специфичным для лингвистической науки. Что это за угол зрения? Иначе говоря, чем лингвистическое моделирование отличается от любого другого?

Из сказанного выше о деятельности вообще и речевой деятельности в частности видно, что деятельность нельзя охарактеризовать как что-то полностью детерминированное во всех своих конкретных проявлениях, нельзя рассматривать ее как жесткую систему, работающую по заранее данному точному плану. Если воспользоваться образом, действующий человек не напоминает собою маятник, каждое движение которого в любую сторону заранее регламентировано. Деятельность опирается на фиксированную систему ориентиров и осуществляется под влиянием известных константных факторов, так или иначе направляющих эту деятельность, но сама по себе она пластична и в значительной мере зависит от случайных условий. Если брать эту проблему в онтогенетическом ее аспекте, рассматривая формирование деятельности, то можно сказать, что и это формирование двусторонне: одна и та же заданная для усвоения социальная ценность может быть усвоена различными путями и способами. Лучшим примером является овладение ребенком школьными знаниями и соответствующими умениями.

Все сказанное относится и к языку. Рассматривая речевую деятельность как сложную иерархию действий и операций, мы можем выделить в ней известные константные моменты, без которых невозможно и бессмысленно само речевое общение. Иначе: одним из важных ограничений, налагаемых на вариантность речевой деятельности, является соответствие структуры продукта этой деятельности некоторым заранее известным требованиям, обеспечивающим достаточное единообразие интерпретации этого продукта различными членами данного языкового коллектива. Эти требования не связаны непосредственно с психологическими и физиологическими закономерностями порождения этого продукта (текста); последние образуют своего рода фон для первых, позволяя выбрать один из многих вариантов, принципиально допускаемых психофизиологической структурой порождения. Какой вариант будет выбран, какие требования окажутся реализованными — зависит уже не от психологии и физиологии, а от социологии, от того языкового коллектива, в который входит говорящий (и вообще от той иерархии социальных групп, в которую он входит как член общества). В социологическом или социально-психологическом смысле система языка есть частный случай социальной нормы, обеспечивающей единообразие социального поведения членов группы (см. ниже, гл. 20).

Лингвистика и моделирует в речевой деятельности то, что непосредственно не диктуется ее психофизиологической струк-

турой, а относится к вариантности внутри представляемых этой структурой возможностей, — вариантности, определяемой системой социальных норм. А внутри этой системы лингвистическое моделирование образует, так сказать, «нижний» этаж, — язык диктует речевой деятельности ее «тонкую структуру», а именно — способы организации этой деятельности внутри отдельного высказывания. Все же прочие действующие нормы связаны с теми или иными способами манипулирования уже сформированными высказываниями. (Мы отвлекаемся сейчас от некоторых маргинальных случаев, не вполне укладывающихся в данное противопоставление).

Если опять-таки обратиться к онтогенезу, то и здесь система языка образует известную исходную платформу, ориентировочную основу, от которой отталкивается ребенок, формируя у себя речевую способность. Это — тот идеал, к которому ребенок бессознательно стремится, то обобщенное представление о том, как надо говорить, к которому он подстраивает свою речь. Таким образом, и здесь язык выступает как частный случай социальной нормы.

Естественно, что для адекватной интерпретации способов построения или организации речевого высказывания лингвистическая наука должна была выработать систему методов, приемов и понятий, позволяющих наиболее корректно описать процессы такой организации. Ввиду большой разноголосицы в этих вопросах (существует множество лингвистических направлений, часто весьма различно интерпретирующих одни и те же факты), представляется целесообразным изложить основную проблематику современной лингвистики не путем описания структуры лингвистических моделей, а путем выделения тех наиболее общих противопоставленных друг другу категорий, тех антиномий, на основе которых возможны и действительно существуют различные конкретные модели описания языка. Все эти общие категории в той или иной форме выступают во всех направлениях современной лингвистики, но получают в них различную интерпретацию и им приписывается разная значимость.

Таких основных лингвистических антиномий можно указать семь. Наименее их для экономии места при помощи соответствующих лингвистических терминов: А. Язык — речь; Б. Этнический — эмический; В. Система — норма; Г. Синтагматика — парадигматика; Д. Синхрония — диахрония; Е. Активный — пассивный; Ж. Дескриптивный — прескриптивный. Кроме того, можно выделить три антиномии, коренящиеся более непосредственно в сущностных свойствах языка: З. Устный — письменный; И. Общий — диалектный; К. Литературный — нелитературный.

Эксплицитное противопоставление языка и речи обычно приписывается одному из основоположников современного теоретического языкознания Ф. де Соссюру, развивавшему свою концепцию в университетских курсах по общему языкознанию, позднее обработанных и изданных в виде монографии его учениками [Соссюр, 1933].

Впрочем, идея такого противопоставления была популярна в лингвистике и ранее. Так, ее можно найти у И. А. Бодуэна де Куртенэ (см. об этом [Березин, 1968, 109 и след.]), у Г. Штейнталя и даже у В. Гумбольдта.

Однако интерпретация этих понятий и прежде всего понятия «язык» была очень различной в разных направлениях лингвистики. (Следует с самого начала оговориться, что употребление термина «язык» далеко не всегда предполагает коррелированное с этим понятием понятие речи. Достаточно сослаться на явно глобальный, — включающий и язык в собственном смысле, и речь, — смысл этого термина в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса). Прежде всего она была различной внутри психологии и языкознания. Для психологов язык, пользуясь словами Штейнталя, — «не покоящаяся сущность, а протекающая деятельность» [Steinthal, 1871, 85], система бессубстанциональных процессов. В лингвистике конца XIX — начала XX в., в особенности в так называемых младограмматической и социологической школах, язык рассматривается в первую очередь как застывшая система, взятая в абстракции от реальной речевой деятельности. Другой вопрос, что у младограмматиков это — система психофизиологических навыков в голове каждого отдельного индивида, а для социологической школы — «идеальная лингвистическая форма, тяготеющая над всеми индивидами данной социальной группы» [Вандриес, 1937, 224] и реализующаяся у каждого из этих индивидов в виде пассивных «отпечатков» — таких же индивидуальных систем речевых навыков. Наряду с понимаемым так языком выступает в разных формах процесс его реализации. Таким образом, между психологией и лингвистикой образовалось своего рода историческое размежевание предмета исследования, прежде всего и диктующее различие языка и речи в современной науке.

Если, однако, попытаться вскрыть актуальное основание для разграничения языка и речи, а не просто следовать за существующей традицией, окажется, что дизъюнкция языка и речи производится не по одному, а по нескольким основаниям, обычно не разграничиваемым и более того — остающимся имплицитными. В качестве подобных «координат» выступают чаще всего отношения «социальное — индивидуальное» и «потенциальное — реальное». Оба эти отношения были разграничены Соссюром (см. [Godel, 1957]), но смешаны Ш. Балли и А. Сепье, готовившими к

изданию «Курс общей лингвистики». Первое из них мы находим в работах таких лингвистов и психологов, как О. Есперсен, Г. де Лагуна, А. А. Реформатский; второе — у Л. Ельмслева, Р. Якобсона, А. И. Смирницкого.

Можно, однако, пойти по иному пути, не интерпретируя априорно заданные категории, а формулируя их на основе принятых принципов. Попытаемся выделить те главнейшие принципы, которые существенны для различных наук, изучающих речевую деятельность, те оппозиции, которые должны быть положены в основу выделения категорий типа категорий языка и речи. Для психолога такой важнейшей оппозицией является противопоставление механизма и процесса (ср. физиологическое устройство глаза и процесс зрения). Но с другой стороны, речевой механизм не является заранее и раз навсегда данной, «вложенной» в человека системой готовых элементов: при овладении языком он переходит из предметной формы в форму деятельности и лишь затем «застывает» в виде речевого механизма. Таким образом, вторым важным для психолога противопоставлением является противопоставление языка в предметной форме и языка как процесса. Аналогичны подходы к этой проблеме у лингвистов, правда, ограничивающихся как правило различением предмета и процесса, логиков (формы мышления и формы знания), философов. В целом представляется наиболее оправданным вслед за Л. В. Щербой выделять не две (язык и речь), а три соотносенные друг с другом основные категории: язык как предмет, язык как процесс и язык как способность.

Однако главная проблема здесь не в количестве категорий, а так сказать, в их качестве. Для многих авторов язык и речь суть категории, различие которых абсолютно и конечно, — это как бы две рядоположенные субстанции. Для других это разные способы интерпретации одного и того же материального объекта, — того, что мы называем в настоящей книге «речевой деятельностью», способы, зависящие от нашего подхода к этому объекту. Мы безоговорочно присоединяемся к последнему пониманию. (Конечно, читатель понимает, что как сама возможность, так и разные способы интерпретации единого объекта отнюдь не зависят от нашей доброй воли, а диктуются объективными свойствами речевой деятельности и состоянием науки).

Следовательно, противопоставление языка и речи в его традиционной форме не вполне корректно. Более подробное рассмотрение этого вопроса см. [А. А. Леонтьев, 1965а] и [А. А. Леонтьев, 1969д]. Анализ проблемы «язык — речь» с других точек зрения см. прежде всего в материалах конференции «Язык и речь» [Тезисы, 1962], в работах [Андреев и Зиндер, 1963] и [Звенищев, 1968, 94—111].

ЭМПИЧЕСКИЙ — ЭТИЧЕСКИЙ

Проблема, обозначенная в заголовке параграфа противопоставлением этих терминов, гораздо старше, чем сами термины. Эти последние принадлежат К. Л. Пайку [Pike, 1967, 37] и образованы от слов «фонемика» и «фонетика». Под «эмпическим» подходом понимается такой подход, который учитывает значимые различия в речевом поведении; «этический» подход трактует речевое поведение как целостный комплекс, как внешнюю реализацию, в которой не разграничено значимое и незначимое. (Ср. фонетический подход к звучащей речи как к результату действия артикуляции или как к акустическому объекту и подход к ней с точки зрения фонемики, или фонологии). Что касается проблемы, то она была эксплицитно поднята несколькими десятилетиями раньше В. Матезиусом в его статье о потенциальности языковых явлений [Матезиус, 1967], а по существу она выступает задолго до Матезиуса во всех сколько-нибудь значительных теоретических исследованиях по лингвистике. Ср., например, противоположение значимых и незначимых звуковых различий у П. Пасси, Винтелера, П. К. Услара и И. А. Бодуэна де Куртенэ в «дофонемный» период его деятельности [А. А. Леонтьев, 1963].

С общеметодологической точки зрения эта проблема тождественна проблеме варианта и инварианта. В сущности, речь идет о том, насколько внутренняя структура языка диктует единообразие его конкретного проявления в текстах и в речевой деятельности вообще, а в той мере, в какой такого диктата нет, — чем обусловлено появление той или иной конкретной реализации.

Чаще всего рассматриваемая проблема отождествляется с проблемой языковых единиц. Действительно, проблема единиц языка в методологическом ее аспекте прежде всего связана с идеей инвариантности. Однако здесь мы имеем дело, так сказать, с пересекающимися множествами; точно так же, как вопросом об инварианте не исчерпывается проблематика единиц языка, этой последней нельзя исчерпать круг приложений идеи инварианта в исследовании речевой деятельности. Это тем более очевидно, если мы обратим внимание на тот факт, что в речевой деятельности человека возможны в принципе разные виды инвариантности — наряду с инвариантностью статической, которая только и выступает в проблеме лингвистических или языковых единиц, еще и динамическая инвариантность, касающаяся процессов, а не застывших сегментов. Этот вид инвариантности в особенно явной форме выступает в таких (маргинальных) сферах исследования языка, как, например, теория функциональных стилей. Вообще недостаточно представление проблемы варианта — инварианта как соотношения инвариантных единиц языка и вариантных единиц текста, как бы широко мы ни рассматривали круг факторов, обусловливающих эту вариантность.

По-видимому, необходимо ввести понятие иерархии уровней инвариантности (или, что то же, уровней вариантности), соот-

ветствующих различным принятым в языковом коллективе нормам (в социопсихологическом понимании последнего термина). На каждом из этих уровней возможно функциональное отождествление материально различных элементов. Чем дальше мы уходим от формальной характеристики языковых единиц в области употребления, тем, с одной стороны, большее многообразие форм возможно в рамках идентичной функции и, с другой стороны, тем более генерализован принцип функционального объединения. Ниже нам придется столкнуться с некоторыми из форм такого объединения. Иначе говоря, понятие инварианта и варианта в известной мере зависит от нашей точки зрения на речевую деятельность, от уровня, на котором мы производим функциональный анализ этой вариантности (инвариантности).

СИСТЕМА — НОРМА

Противопоставление системы и нормы было последовательно проведено Э. Косериу. Система того или иного языка в его понимании — это совокупность языковых явлений, которые выполняют в языке определенную функцию (например, применительно к фонологическому уровню — прежде всего функцию смысловоразличения) и могут быть представлены в виде сети противопоставлений (структуры). Норма же языка — это совокупность языковых явлений, которые не выполняют в языке непосредственной различительной функции и выступают в виде общепринятых (традиционных) реализаций. См. в этой связи [Косериу, 1963; Coseriu, 1952, 1954, 1969].

Приведем конкретные примеры из области фонетики (фонологии). Как известно, корреляция согласных по твердости — мягкости не распространяется в русском литературном языке на шипящие и *ц* (система). Однако некоторые из шипящих (*ж*, *щ*) и *ц* во всех положениях звучат как твердые согласные: *жир*, *щес'т'*, *цеп'* и т. д.; другие, не соотносительные с ними (по транскрипции Р. И. Аванесова — *ш:'*, *ж:' ч'*) во всех положениях реализуются как мягкие: *иш:'ѣ*, *даж:'а*, *ноч'* и т. д. (норма)². В русском языке существует корреляция согласных по звонкости — глухости, имеющая функциональную нагрузку, т. е. служащая для различения (система). Однако в конце слова (и в некоторых других позициях) происходит нейтрализация этой корреляции, г. е. оглушение звонких (норма). То, что явление нейтрализации фонематических противопоставлений (как, впрочем, и всякое позиционное чередование) следует отнести к области нормы, а не системы, ясно из того, что позиционное чередование, являясь общим достоянием всех говорящих, не носит в то же время императивного характера; если вместо нормального *в'еш:'ѣ ал'ек*

² Эта норма нередко нарушается в русской речи нерусских, например азербайджанцев, что дает эффект акцента: *ж'ир*, *ш'ес'т'*.

мы произнесем *в'еш: 'uj ol'eg*, это не нарушит понимания, хотя и произведет несколько странное впечатление.

Явления нормы располагаются в двух планах или, образно говоря, в двух измерениях. Во-первых, константным может считаться отдельное слово. Во-вторых, константной может считаться совокупность слов, образующая словарный состав языка. Таким образом, сравнение двух норм может быть как качественным (то, а не иное звучание), так и количественным (в таком, а не ином числе слов). Однако независимо от измерения мы всегда имеем дело в норме не с голыми абстракциями фонем, морфем и др., а со словом в его целостности. Норма — это всегда система словоформ.

Естественно, что сравнение двух систем обязательно протекает в одном «измерении» и может быть только качественным.

Как нам уже приходилось отмечать выше, фонологические корреляции мы находим в совершенно идентичной форме в речи любого носителя данного языка. Здесь не может быть сомнения в «правильности» или «неправильности». Между тем ряд явлений фонетической нормы — скажем, характер редукции гласного или степень ассимиляции — варьируются от говорящего к говорящему. *Рад'илс'а* или *рад'илса*, *ван'з'ит* или *ванз'ит*, *лиса* или *ли'са* — эти различия несущественны для общения, не несут никакой коммуникативной нагрузки. Поэтому-то в языковой практике и возникает проблема нормализации, по существу своему внеязыковая и обычно решаемая либо статистическим путем, либо путем апелляции к тому или иному «языковому авторитету» (см. гл. 20).

Хотя явления нормы и не образуют никаких функциональных противопоставлений, — это система идентификаций, а не оппозиций, не структура, — можно говорить об известной функциональной нагрузке явлений нормы. Эта нагрузка связана с противопоставлением одной нормы другой норме, одной системе реализаций другой системе реализаций. Так, противопоставление разных степеней редукции может служить для различения стилей речи; с другой стороны, противопоставление одной нормы другой норме может отражать социальную дифференциацию языкового коллектива [А. А. Леонтьев, 1965а, 136—139].

Применительно к фонетике понятие нормы как продукта усреднения наиболее типичных фонетических особенностей речи индивидов (или нормы как «совокупности константных звуковых элементов независимо от их функции» [Coseriu, 1954, 74]) не является открытием Э. Косериу. В неявной форме это понятие встречается во многих фонетических и фонологических работах, особенно у лингвистов, принадлежащих к Пражской школе. Развивая взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ, близко подошел к идее нормы Г. Улашин, противопоставивший «субъективную систему на основе... субъективного акустически-артикуляторного единства» и «объективизированную систему на основе внутренне-

го, функционального единства». Наконец, понятие нормы встречается в работах представителей «фонометрического» направления, на которых мы не имеем возможности остановиться. См., напр. [Zwigner и Zwigner, 1936]. Однако лишь Э. Косериу последовательно разграничил явления системы и нормы, выделив вместо двух традиционных ветвей учения о звуках речи (фонетика и фонология) три самостоятельные дисциплины — алофонетику, нормофонетику и фонологию. Алофонетика имеет дело с индивидуальным говорением, нормофонетика — с общеязыковой «системой» реализаций, фонология — с функциональной системой или структурой.

Утверждая вслед за Э. Бейсенсом [Buysens, 1949], что «язык есть система отождествлений и различий», Косериу считает, что «так называемая проблема субстанции совпадает с проблемой лингвистического тождества»³. При этом отношение негативной и позитивной функций языковых явлений (отношение различения и тождества) соответствует отношению системы и нормы.

Таким образом, оперируя понятием системы, мы имеем дело с системой противопоставлений. Система противопоставлений, или структура, присуща языку как общественному явлению, как абстракции; в «индивидуальном языковом сознании» она просто воспроизводится в неизменном виде. Говоря о норме, мы имеем дело с совокупностью тождеств (идентификаций) или констант. Эти тождества⁴ образуют некоторое взаимосвязанное единство лишь внутри речевой деятельности; будучи спроецирована в план абстрактного языка, норма вторична, в то время как система в этом смысле первична.

В советской научной литературе идея различения системы и нормы была подхвачена и развита рядом лингвистов, в том числе Н. Д. Арутюновой [1961], Н. Н. Коротковым [1963], А. А. Леонтьевым [1962] и [1965a], Г. В. Степановым [1964], а затем и многими другими.

Следует особо упомянуть развиваемое Ю. С. Степановым (см., напр., [Ю. С. Степанов, 1966]) противопоставление системы, нормы и индивидуальной речи, несколько отличное по интерпретации. Наконец, укажем, что проблема нормы может ставиться и как проблема культуры речи; о соотношении этого и изложенного здесь понимания см. [Костомаров и Леонтьев, 1966], а также ниже (глава 20).

³ С психологической точки зрения концепция Бейсенса — Косериу, выдвигающая на первый план лингвистические тождества, представляется более удовлетворительной, чем традиционное учение о чисто различительной функции элементов языка (Трубецкой, Jakobson и др.). См. по этому поводу [А. А. Леонтьев, 1961]. Заметим, кстати, что в истории учения о фонеме разработка учения о тождествах предшествовала разработке учения о дифференциальной функции фонем.

⁴ Говоря о тождествах, мы имеем в виду как тождество явления с самим собой, так и тождество общих элементов в разных явлениях; это разграничение (см. [Coseriu, 1954, 581]) для нас здесь несущественно.

СИНТАГМАТИКА — ПАРАДИГМАТИКА

Это различие, как и многие другие, было в эксплицитной форме введено Ф. де Соссюром [Соссюр, 1933]. Сущность его сводится к следующему. Все связи между единицами языка (в их конкретной текстовой реализации) или элементами текста двояки. Во-первых, это связи перехода во времени: произнося слово *стол*, мы последовательно произносим четыре сегмента — *с*, *т*, *о* и *л*, находящиеся в синтагматических отношениях друг к другу. Во-вторых, это связи, определенные потенциальной возможностью взаимозамены. Так, в рассматриваемом случае мы могли бы, заменяя гласную, получить слова *стал* или *стул*. В этом случае *о*, *а* и *у* оказываются в парадигматических отношениях.

Такой, наиболее распространенный подход, однако, недостаточно отражает внутреннюю специфику организации языка. Представляется важным поставить вопрос не о внешней, касающейся лишь закономерностей лингвистического описания, категориальной системе, а прежде всего о внутренних структурных основаниях для выделения такой системы. С этой точки зрения возникает понятие парадигмы и парадигматика ограничивается не любой возможностью субституции, а лишь значимыми противопоставлениями, взаимосвязанными альтернативами, входящими в один альтернативный ряд (см. об этом понятии [Бернштейн, 1956]; [Бернштейн, 1962]). В этом случае *о*, *а* и *у* в приведенном примере не образуют парадигмы, но, скажем, *о* и *а* (точнее *л*) в *стол* и *стола* такую парадигму образуют.

Несколько менее ясен вопрос о реальной базе для определения синтагматики. Здесь, видимо, целесообразно задаться проблемой: существуют ли именно линейные закономерности организации языковых единиц, т. е. такие случаи, когда только порядок появления тех или иных элементов значим, релевантен? Безусловно, да. Можно указать по крайней мере на два таких случая.

Во-первых, организация звуков в составе слога и слогов в составе фонетического слова; известно, что существуют языки, в которых возможность появления того или иного класса звуков в той или иной (особенно, финальной) позиции в слове крайне ограничена; с другой стороны, существуют весьма строгие ограничения на сам алфавит позиций. (Теоретический анализ этой проблематики и богатый конкретный материал см. в работах В. В. Шеворошкина, напр. [Шеворошкин, 1969]).

Во-вторых, синтагматические связи единиц релевантны на уровне синтаксиса. По существу можно говорить о двух параллельных системах синтаксиса — «лексемном» и «морфемном» [А. А. Леонтьев, 1965а]. По-видимому, эта мысль принадлежит А. В. де Грооту, разделившему «последовательность слов» и «синтаксис» как две самостоятельные структуры, находящиеся в разных языках в различных соотношениях [Groot, 1949, 54—56]. Дальнейшее развитие этой мысли находим у Л. Теньера, который

исходит из противопоставления «структурного порядка» и «линейного порядка» [Tesièrè, 1959]. Ср. также понятие «логотактики» у С. Левина [Levin, 1963], типологические соображения П. Мериджи, высказанные им еще в 30-х годах [Meriggi, 1933], и др. Очень специфическое и в то же время принципиально новое освещение (ибо оно является по своему существу динамическим, это идея развертывания, а не простого линейного порядка) получила проблема релевантности лексемного синтаксиса в работах В. М. Павлова [1958, 1960] и др.

Интересные проблемы возникают, если мы в поисках основания для противопоставления синтагматики и парадигматики обратимся к специальным формам речевого общения, в особенности — к спонтанной мимической речи. Оказывается, в ней существуют универсальные закономерности организации содержательных элементов. Ср. в этой связи [А. А. Леонтьев, 1965а, 203, 205], а также ниже, гл. 12.

Совершенно другой подход развивается в рамках морфемного синтаксиса. Сейчас создано несколько логических систем лингвистического описания, где противопоставляется этап нелинейной схемы и этап линейного развертывания этой схемы. Можно сослаться на обобщающую работу Г. Карри, различающего «тектограмматику» и «фенограмматику». Это «два уровня грамматики: первый, где мы имеем изучение грамматической структуры самой по себе, и второй, который так относится к первому, как морфофонетика к морфологии» [Карри, 1965, 112]. Иначе эти две ступени определяются как два различных типа формальных систем — система абстрактных объектов (ob systems) и синтаксические, или конкатенативные, системы (syntactical or concatenative systems). В первых связи между символами лишены пространственных характеристик, во вторых они связаны при помощи линейной операции конкатенации, или сочленения. Близкую параллель этому разграничению можно найти в понятиях фенотипической и генотипической ступеней порождающей грамматики, введенных С. К. Шаумяном и положенных им в основу созданной им совместно с П. А. Соболевой аппликативной порождающей модели [Шаумян, 1965; Шаумян и Соболева, 1963; 1969]. Далее, сходные идеи высказываются в последнее время сторонниками так называемой «стратификационной грамматики» (см. об этом [Арутюнова, 1969]). Детальный анализ необходимости подобных двух этапов в порождении синтаксической структуры текста дал Д. С. Уорт [Уорт, 1964]. Ср. также [А. А. Леонтьев, 1969а].

Различение синтагматики и парадигматики, основанное, помимо логических, на психологических и психопатологических соображениях, можно найти в ряде работ Р. Якобсона (сошлемся лишь на самую популярную из них [Jakobson and Halle, 1956]). Якобсон употребляет термины «выбор» (selection) и «сочетание» (combination) и стремится дать их психологическое наполнение, обращаясь к различным типам афазий. Однако собственно психо-

логического анализа он не дает, ограничиваясь лишь феноменологическим описанием. Такой анализ можно найти в фундаментальном исследовании А. Р. Лурия «О двух видах синтетической деятельности коры человеческого мозга». Здесь, между прочим, указывается, что идея «симультанности», противопоставленной «сукцессивности», применительно к психической деятельности не вполне корректна: «На самом деле, в первом случае речь идет о синтезе отдельных (пусть сукцессивно поступающих) элементов в одновременные (симультантные) пространственные схемы, а во втором — о синтезе отдельных элементов в последовательные ряды» [Лурия, 1963, 70]. А. Р. Лурия приходит к выводу, что различие категорий типа синтагматики — парадигматики коренится в различии физиологической обусловленности соответствующей деятельности, в «преимущественном участии разных мозговых систем, в осуществлении двух основных видов синтетической деятельности» [Лурия, 1963, 110].

Анализ возникающей в этой связи психолингвистической проблематики можно найти в статьях И. А. Зимней [1969], и Т. В. Рябовой [1967].

СИНХРОНИЯ — ДИАХРОНИЯ

Под синхронией в лингвистике понимается категория, соответствующая изучению языка в его бытии в данный момент, вне исторического изменения. Диахрония — категория, соответствующая изучению языка в его движении, изменении (обычно от прошлого к настоящему).

Противопоставление синхронии и диахронии ведет свое начало от «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра. Оно возникло как закономерная реакция на методологическую крайность младограмматиков, признававших научным лишь историческое изучение языка. Учение Соссюра о синхронии и диахронии сводится к следующим основным положениям. Язык есть система, все части которой могут и должны рассматриваться в их синхронической связи. Предмет синхронической лингвистики — «логические и психологические отношения, связывающие сосуществующие элементы и образующие систему, ... как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием». Предмет диахронической лингвистики, напротив, «отношения, связывающие элементы в порядке (исторической) последовательности, не воспринимаемой одним и тем же коллективным сознанием, — элементы, заменяющиеся один другим, но не образующие системы» [Соссюр, 1933, 103]. Диахронический подход несовместим с синхроническим, и наоборот; их противопоставление носит абсолютный и бескомпромиссный характер. Синхронический аспект важнее диахронического, так как для говорящих только он — подлинная реальность. Сущность диахронического изменения — в сдвиге отношения между «означающим» и «означаемым» языкового знака. Диахроническая лингвистика, однако, не сводится к констатации

сдвига синхронических единиц: синхронические единицы не совпадают с единицами изменения, или диахроническими единицами. Диахронический закон императивен, но не всеобщ; синхронический — всеобщ, но не императивен. Возможно «прямое» и «обратное» направление движения вдоль диахронической оси: первое есть направление языковой эволюции, второе отражает ход мысли исследователя, реконструирующего факты истории языка.

Из числа последователей Соссюра лишь Ш. Балли принял его точку зрения на синхронию и диахронию почти без критики. Большинство же, разделяя взгляды Соссюра по другим вопросам, в то же время отрицает абсолютность противопоставления синхронии и диахронии. Например, по А. Сешэ, все вопросы, связанные с обусловленностью существования и эволюции языка (*langue*) психологическими, социальными и биологическими факторами, относятся к панхронической «лингвистике речи» (*parole*); таким образом, на долю синхронической лингвистики остаются только логические отношения, связывающие элементы языка. Э. Бейссенс доказывает, что противопоставление синхронии и диахронии покрывается противопоставлением «внутренней» и «внешней» лингвистики, и предлагает различать функциональную и этиологическую («причинную») лингвистику. Это различие перекликается с различием «системы» и «нормы» у Э. Косерну, который считает синхронию лишь способом описания языка.

Пражский лингвистический кружок (Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и др.), соглашаясь с основным тезисом Соссюра, в то же время вслед за Бодуэном де Куртенэ считает, что «диахроническое изучение не только не исключает понятия системы..., но, напротив, без учета этих понятий является неполным». С другой стороны, и «синхроническое описание не может целиком исключить понятия эволюции» [Тезисы Пражского..., 1967, 18]. Это мнение разделяется большинством современных языковедов.

Русским языковедам с самого начала было чуждо гипертрофирование противопоставления синхронии и диахронии (само это противопоставление, безусловно, оправдано как методический прием). Так, И. А. Бодуэн де Куртенэ (независимо от Ф. де Соссюра) разделил «законы равновесия языка» и «законы исторического движения языка», относя изучение первых к задачам «статики», изучение вторых — к задачам «динамики». При этом Бодуэн считал «статику» лишь частным случаем «динамики», утверждая, таким образом, примат диахронии перед синхронией. Диахроническим изменениям, по Бодуэну, в той же мере присуща системность, как и синхронно взятым фактам языка. Он предлагал выделять при диахроническом подходе к языку две взаимно дополняющих одна другую дисциплины, которые названы им (применительно к фонетической стороне языка) исторической и динамической фонетиками. Историческая фонетика занимается

констатацией фонетических изменений на уровне общезыковой системы, динамическая фонетика изучает причины и условия этих изменений, оставаясь на уровне «индивидуальных языков». Логическим развитием этой идеи Бодуэна является подразделение фонологии на теорию фонем как синхронических тождеств («знаков слов») и теорию фонем как элементов системы противопоставлений (Э. Бейссенс, А. В. де Гроот), частично связанное и с концепцией Ф. де Соссюра.

Успешную попытку преодолеть противопоставление синхронического и диахронического аспектов мы находим у Л. В. Щербы, Е. Д. Поливанова и Г. О. Винокура. Все эти лингвисты правильно искали единство синхронии и диахронии в социальной природе языка: «системы действуют, рождаются и разлагаются не в безвоздушном пространстве, а в определенной общественной среде, жизнь которой регулируется общими законами исторического процесса», — указывал Г. О. Винокур [Винокур, 1959, 215]. Однако конкретный механизм эволюционного процесса в языке остается до сих пор неясным.

Для того чтобы полностью преодолеть абсолютность противопоставления синхронии и диахронии, необходимо обратиться к достижениям современной логики науки. Если мы сделаем это (см. напр. [Грушин, 1961]), то окажется, что ограничиваться противопоставлением синхронии и диахронии некорректно. Возникает несколько нетождественных противопоставлений, лингвистами обычно смешиваемых. Остановимся на этих вопросах несколько подробнее.

Всякое историческое исследование языка (как и любого другого объекта) имеет дело не с внешней связью явлений, не с «отношениями, связывающими элементы в порядке последовательности» (Ф. де Соссюр), а с внутренним строением самого исторического процесса, развитием объекта как системы. Процесс развития может быть охарактеризован с точки зрения его составляющих — элементов, связей и зависимостей объекта, участвующих в процессе. Составляющие процесса делятся на образующие (то, что развивается) и условия процесса. Сопоставляя лишь образующие процесса в начальном и конечном его пунктах, мы получаем представление о сущности процесса; привлекая также и условия, мы получаем представление и о механизме процесса. Под этим углом зрения можно разделить диахронический подход (исследование только образующих, т. е. регистрация происходящих изменений) и подход исторический (исследование процесса в целом, учет и его причинной стороны). Это разделение мы и находим в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ.

Составляющие процесса бывают двух типов. Одни из них даны нам непосредственно — это эмпирические или внешние составляющие целого. Другие могут быть вычленены лишь в результате анализа внешних — это внутренние составляющие. К ним

относятся, в частности, все связи и зависимости. Воспроизводя историю объекта в модели, мы можем брать ее на уровне внешних составляющих (эмпирическая история объекта) или на уровне внутренних составляющих (структура развития объекта). Иными словами, эмпирическая история языка — это последовательность текстов, а структура развития — эволюция языковой системы. Строго говоря, мы никогда не имеем дела с последовательностью текстов — мы изымаем из них и рассматриваем отдельные слова, формы слов, аффиксы, звуки. Когда мы констатируем, что слово *кот* раньше звучало *kotu*, это и есть исследование на уровне эмпирической истории.

«...Логический метод... в сущности является не чем иным, как тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от мешающих случайностей» [Энгельс, 1959, 497]. Не вскрывая внутренних закономерностей строения нашего объекта, мы можем исследовать его историю лишь на уровне эмпирической, внешней истории. Различие логического и исторического путей исследования лишь в конечной модели, но отнюдь не в принципиальном пути рассуждения. Всякое историческое исследование языка предполагает, таким образом, теорию языка. Что же собой представляет такая теория языка, которая должна удовлетворять потребностям исторического исследования? Она должна вскрывать структуру языкового процесса, т. е. давать исчерпывающую характеристику как элементам, так и связям и отношениям, в которые они вступают. На современном этапе развития языкознания этому требованию удовлетворяет скорее «структурная» лингвистика, чем лингвистика «традиционная». «Структурная лингвистика выдвигает определенные гипотезы о структуре языка, которые должны проверяться экспериментально. Важнейшим лингвистическим экспериментом, поставленным самим развитием человеческого общества, является история языка» [Ревзин, 1965, 59]. Такая теория языка должна, однако, выходить за пределы совокупности образующих историко-языкового процесса и брать язык в таких границах, в которых мы могли бы полностью учитывать все факторы, обуславливающие его развитие. Иными словами, мы должны выйти за пределы языка как такового и иметь дело с речевой деятельностью. Подобная трактовка исторического процесса в современной лингвистике дается Э. Косериу, который подчеркивает системный характер самой деятельности, создающей язык. Таким образом, полноценное историко-лингвистическое исследование предполагает: а) различение истории и диахронии, истории и развития, б) раскрытие структуры объекта (языка), в) анализ в качестве объекта не языка как такового, а речевой деятельности.

Подробный анализ проблемы диахронии (истории, развития) в намеченном здесь аспекте см. [А. А. Леонтьев, 1969д]. Более широкое изложение проблематики синхронии и диахронии см. [Климов, 1972], а специальный анализ развития языка

как объекта [Климов и др., 1970]. Кроме того, проблемы синхронии, диахронии и истории языка детально рассмотрены также в [О соотношении, 1960], [Будагов, 1965] и [Косерпу, 1963].

АКТИВНЫЙ — ПАССИВНЫЙ

Начнем с точки зрения И. И. Ревзина. Он предлагает различать аналитические и обратные по отношению к ним синтетические модели «в зависимости от того, исходим ли мы из множества отмеченных кортежей (аналитическая модель) или получаем отмеченные кортежи в результате некоторых операций (синтетическая модель или, как иногда говорят, модель порождения)». Далее И. И. Ревзин указывает, что эти два вида моделей соответствуют двум возможным видам лингвистического описания, а именно: один путь — от речевых фактов к системе языка, а второй — от системы языка к речевым фактам. «В какой-то мере они соответствуют и двум аспектам акта коммуникации: слушанию («анализ») и говорению («синтез»)). Кроме того, обоим типам моделей противопоставляются «распознающие модели». Это такой тип моделей, «в котором считаются заданными и множество отмеченных кортежей и система порождения и рассматривается процесс перехода от кортежей к системе, а именно исследуются способы такого перехода в минимальное число «шагов»» (Ревзин, 1962, 12). В понимании И. И. Ревзина, как видно из сказанного, аналитические и синтетические модели обратны друг другу, а модель порождения отождествляется с синтетической. Но это понимание весьма уязвимо в нескольких пунктах.

Во-первых, обратимость лингвистических моделей бывает разного качества. Первый из них — обратимость в понимании И. И. Ревзина, т. е. возможность перейти от Б к А при данных правилах перехода от А к Б. Но очевидно, что с интересующей нас точки зрения сам факт такой возможности без дополнительных ограничений, наложенных на характер используемых правил, представляет весьма малый интерес, ибо трудно допустить, что при порождении и восприятии речи могут быть использованы принципиально различные психофизиологические механизмы. Скорее наоборот (по крайней мере, такова господствующая сейчас точка зрения). Таким образом, для нас интересен другой тип обратимости, где модели обращены не только по общему направлению и конечным результатам, но и — хотя бы частично — по конкретным шагам, по используемым на определенных этапах единицам и операциям. Но именно эта сторона И. И. Ревзина как раз и не интересует.

Во-вторых, даже в таком узком понимании аналитическая и синтетическая модели все же в принципе не являются обратными друг другу. Аналитическая модель имеет дело с потоком речи как материалом для анализа; чтобы разобраться в этом

материале, лингвисту (или слушающему; не будем их здесь противопоставлять) необходимо в качестве первого шага или шагов выделить в этом потоке речи лингвистически релевантные черты, преобразовать его в текст и далее работать с ним. Если же рассматривать как исходный материал текст или корпус текстов, это совершенно не соответствует никакой психолингвистической реальности. С другой стороны, совершенно неясно, можно ли приравнивать друг к другу материал анализа и исходный материал для синтеза. Вообще психолингвисту (а также психологу, физиологу и вообще всякому не «чистому» лингвисту и нелингвисту) нечего делать с текстом как таковым.

В-третьих, и самая изощренная лингвистическая модель, будь она аналитической или синтетической, никогда не будет отражать психологической или психолингвистической реальности уже по той причине, что речевая деятельность, как мы стремились показать выше, — это всегда система значимых операций, качественно определенных элементарных действий, в то время как даже процессуальная или претендующая на процессуальность лингвистическая модель типа трансформационной есть всегда система переходов от одного качественного состояния к другому. В модели языка мы имеем дело с единицами и операциями над ними; в модели речевой деятельности — с единичными операциями или операционными единицами, некоторыми предпосылками их осуществления и некоторыми функционально, но не формально-лингвистически определенными промежуточными и конечными состояниями. Задача, скажем, говорящего — не построить определенное (в смысле формальной структуры или даже семантического инварианта) высказывание, но добиться решения определенной невербальной задачи. Поэтому форма высказывания может весьма свободно варьироваться, и говорить в данном случае о его формальной или содержательной инвариантности можно лишь условно. «Модель для говорящего» и «модель для слушающего» (ср. [Хоккетт, 1965], [Успенский, 1967] и т. д.) — явное недоразумение⁵.

Мы взяли здесь для анализа взгляды И. И. Ревзина как наиболее детально и систематично изложенные. Основное же содержание разбора справедливо *mutatis mutandis* и в отношении любой другой формализованной модели языка, да и вообще любой собственно лингвистической модели языка.

Правда, общеизвестно введенное Л. В. Щербой различение активной и пассивной грамматики именно на лингвистической основе, имеющее, казалось бы, и психологическую значимость. Постараемся, однако, разобраться в критериях, используемых Щербой. Ярче всего его позиция изложена в последней статье «Очередные проблемы языковедения», где говорится, что в актив-

⁵ См. в этой связи также главы 2 и 6. В отношении недостатков «грамматики для слушающего» ср. также [А. А. Леонтьев, 1969а] и ниже, гл. 12.

ном синтаксисе «рассматриваются вопросы о том, как выражается та или иная мысль», а при пассивном «приходится исходить из форм слов, исследуя их синтаксическое значение» [Щерба, 1958в, 21]. В другой, тоже посмертно изданной работе Щерба дает следующие определения: «Пассивная грамматика изучает функции, значения строевых элементов данного языка, исходя из их формы, т. е. из внешней их стороны. Активная грамматика учит употреблению этих форм» [Щерба, 1947, 84].

Следовательно, для Щербы главным и основным критерием «активности» — «пассивности» является то, идем ли мы от форм к их содержанию или от содержания к формам. Иными словами, в активной грамматике мы уже имеем некоторое лингвистическое содержание, и конечным звеном пассивной является опять-таки это содержание. Причем содержание это — языковое; но в реальном порождении, конечно, не происходит перехода от содержания языковых форм к самим этим формам. «Содержание», выступающее начальным звеном порождения, — это нечто совсем иное, как мы стремились показать выше⁶.

Одним словом, существующее в лингвистике противоположение активного и пассивного мало плодотворно с точки зрения теории речевой деятельности и прежде всего почти совершенно irrelevantно соотношению психолингвистического порождения и восприятия речи. К тому же и внутри самой лингвистики нет единства в понимании указанных категорий.

ДЕСКРИПТИВНЫЙ — ПРЕСКРИПТИВНЫЙ

В отличие от других лингвистических антиномий, эта не всегда осознается самими лингвистами. Едва ли не единственными отечественными авторами, четко поставившими проблему дескрипции — предскрипции, являются Г. О. Винокур [1929а; 1929б] и В. Г. Костомаров [Костомаров, 1970; Костомаров и Леонтьев, 1966].

Совершенно не случайно имена обоих этих авторов тесно связаны с теоретической проблематикой культуры речи. Действительно, именно культура речи чаще всего сталкивается с абстрактно-оценочным взглядом на язык или речь: правильно — неправильно, плюс — минус, так можно — так нельзя. Между тем такой подход глубоко не научен. Это не означает, что мы предлагаем отказаться от конкретных рекомендаций практического порядка напротив. Но такого рода рекомендации («говори так-то») должны опираться не на вкусовые критерии и не на абстрактно-лингвистические суждения, а на конкретный анализ возможности (употребительности) и характера функционирования данного явления при различных социальных и психологических

⁶ Подробнее см. [А. А. Леонтьев, 1970б]. В методике преподавания иностранного языка существует противопоставление рецепции и продукции, близкое к нашей антиномии. Ср. [З. М. Цветкова, 1966].

условиях, в различных речевых ситуациях. Проводя такой анализ, мы вскрываем тенденции развития данного явления, устанавливаем временную и, так сказать, пространственную (насколько широко оно распространено и сужается или расширяется сфера его употребления) динамику этого развития. Только в этом случае мы имеем право высказывать практические рекомендации, они должны являться конечным звеном нашего рассуждения.

Другая область, в которой антиномия «описание — предписание» играет значительную роль, — это проблема обучения языку. Очевидно, что без предписания (нормализации) здесь в принципе нельзя обойтись. Однако и здесь необходимо четко различать описание, констатацию состояния и — с другой стороны — оценки и рекомендации относительно употребления. Мы можем, допустим, отметить, что в русском языке имеется стилистический слой, включающий слова типа «рожа», «жрать», «сволочь». Иностранному учащийся не может не знать о существовании слов этого типа. Однако он должен отдавать себе отчет в том, что применение этих слов в общении крайне ограничено (можно сказать, специализированно), а для него как для иностранца, пожалуй, и вовсе невозможно. Иными словами, он должен знать факторы, позволяющие и, напротив, запрещающие употребление данного явления; иначе говоря, предписание в этом случае выступает в форме прямой функциональной характеристики данного явления. Более подробно о различии описания и предписания см. также [Пешковский, 1922].

УСТНАЯ РЕЧЬ — ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Нет сомнения, что понимание письма лишь как одного из возможных способов кодирования звукового языка справедливо, если рассматривать их отношение в генетическом плане. Ни один лингвист не будет отрицать ни исторического приоритета устной речи перед письменной, ни того, что в онтогенезе ребенок начинает с овладения устной речью и лишь на ее основе овладевает письменной. Рассуждая подобным образом, Ф. де Соссюр, однако [Соссюр, 1933], не сумел последовательно приложить к исследованию письма свою систему антиномий и, в частности, категории синхронии и диахронии, что с успехом сделал Бодуэн несколькими годами раньше в книге «Об отношении русского письма к русскому языку» [1912]. Если же при исследовании письменной речи мы откажемся от привнесения генетических соображений, то придем к выводу, что в мозгу взрослого грамотного человека на равных правах сосуществуют две языковые подсистемы⁷; автономия письменной подсистемы, между

⁷ Их сосуществование аналогично тому виду билингвизма, который Л. В. Щерба охарактеризовал как владение «смешанным языком с двумя терминами» [Щерба, 1958б, 48]. Каждая из используемых подсистем «креолизована» в смысле Вяч. Иванова [Вяч. Вс. Иванов, 1961а].

прочим, явствует из того, что в языковом коллективе всегда есть группа, владеющая только письменной речью,— это грамотные (на данном национальном языке) глухонемые (ср. [Шубин, 1959, 45—46]). С другой стороны, в некоторых языках, например, китайском, возможны тексты, доступные и предназначенные лишь для зрительного понимания: приведем в качестве примера цитируемый Чжао Юань-Жэнем [Yen, 1955, 65—66] рассказ о господине Ши, который ел львов, а также так называемые «палиндромы», описанные акад. В. М. Алексеевым, см., напр., [Алексеев, 1932 и 1950]. Но и в европейских языках можно усмотреть доказательства структурной автономности письменной речи — это прежде всего несовпадение номенклатуры и границ структурных единиц и устной и письменной речи, образующее возможность и целесообразность описательной грамматики письменной формы того или иного языка. Примером такой грамматики является [Волоцкая и др., 1964]; о теоретических вопросах, связанных с нею, см. также [Николаева, 1961].

Развернутая концепция языковой подсистемы, обслуживающей письменную речь, была создана лингвистами Пражской школы А. Артимовичем и Й. Вахеком. Первый из них [Пражский., 1967] впервые четко сформулировал проблему, второй эксплицировал основные понятия. Он ввел, в частности, понятие «письменного языка» («норма, или лучше — система графических... средств, признаваемых за норму внутри определенного коллектива. Письменные высказывания представляют собой, напротив, отдельные конкретные реализации названной нормы» [Вахек, 1967, 524]), противопоставив его графике как таковой. По Вахеку, «письменная и устная нормы должны рассматриваться как рядоположенные величины, которые не подчинены какой бы то ни было высшей норме и связь между которыми объясняется лишь тем обстоятельством, что они выполняют комплементарные функции в использующем их языковом коллективе» [Вахек, 1967, 531]. В более поздней работе Вахек понимает письменный и устный языки соответственно как две функционально специализированные системы знаков, которые могут быть реализованы в различных субстанциях [Вахек, 1967, 535].

Понятия, введенные Вахеком, весьма плодотворные для своего времени, для современного языкознания недостаточны. Начнем с того, что Вахек все же неправомерно тесно связывает специфику письменной и устной формы или нормы⁸ языка с графической и соответственно фонетической субстанцией. Эта связь обычна, но не обязательна. Возможны такие типы письменной речи, которые структурно в большей или меньшей степени аналогичны устной речи; эти переходные типы объединяются под общим названием «транскрипции». С другой стороны, мыслима устная речь,

⁸ В отличие от Вахека, предпочитающего второй термин, мы считаем более подходящим первый и в дальнейшем употребляем только его.

построенная на модели письменной. Известным приближением к такому типу может считаться корректорское чтение при считке [Каменецкий, 1959, 80]. По терминологии Э. П. Шубина [1959, 53], мы имеем здесь дело с «несобственно устной» и «несобственно письменной» речью. Далее, у него нечетко противопоставлены различные критерии, по которым можно разделить устную и письменную речь.

Прежде чем попытаться предложить такие критерии, дадим рабочее определение основных понятий. Письменность языка можно определить как совокупность специфических функциональных средств письменной речи, т. е. графических элементов, которые могут быть использованы для семантического выделения и (или) противопоставления единиц плана содержания. Письмо — общее понятие, так относящееся к понятию конкретной письменности, как испанский термин *lingua* (язык как общая категория) относится к термину *idioma* (конкретный язык, например, испанский). Письменная речь — форма речи, а) реализуемая в графической субстанции и б) обладающая определенной структурной организацией, отличающейся от организации устной речи. Письменная форма языка — подсистема языка, обеспечивающая такую структурную организацию. Не всякая письменная речь, по-видимому, требует существования письменной формы языка. Наконец, можно поставить вопрос о соответствующем функциональном стиле; см. об этом в дальнейших главах.

Таким образом, можно выделить следующие критерии: а) характер субстанции; б) наличие специфических функциональных средств на уровне письменности; в) наличие специфической структурной организации письменной (устной) речи (комбинация); г) наличие специфической подсистемы языка, обслуживающей эту организацию (отбор); д) существование определенной функционально-стилевой специализации.

К сожалению, если теория письменности разработана относительно полно (см. указанные выше работы, особенно книгу З. И. Волоцкой и других, где приведена и обширная библиография), то другие аспекты письменной речи нуждаются в более детальном исследовании с позиций современной лингвистики.

ОБЩЕЯЗЫКОВЫЙ — ДИАЛЕКТНЫЙ

В такой обнаженной форме данная антиномия выступает крайне редко. Обычно говорят отдельно о так называемых «территориальных диалектах» и о так называемых «социальных диалектах». Литература по тем и другим весьма обширна. Из теоретических трудов по территориальным диалектам укажем [Жирмунский, 1956], [Coseriu, 1956], [Эдельман, 1968], [Вопросы теории, 1964]; по социальным [Жирмунский, 1936], [Шор, 1926], [Вопросы социальной лингвистики, 1969].

В настоящем параграфе охватить теоретическую проблемати-

ку, связанную с понятием диалекта, крайне трудно. Поэтому ограничимся тем, что укажем на некоторые методологические аспекты, получившие в литературе, на наш взгляд, недостаточное освещение.

Во-первых, укажем на то, что практически не существует в абсолютном смысле общезыковых элементов. Всякий говорящий, всякий носитель языка ведет себя по отношению к общезыковому фонду избирательно. Весь вопрос в том, на основе каких критериев этот выбор происходит, вообще чем он детерминирован. Эта детерминация может в своей основе быть: а) социологической, б) социально-психологической, в) личностной (индивидуально-психологической), г) ситуативной в широком смысле, т. е. связанной с той или иной референтной областью, д) функциональной, т. е. связанной с включением в ту или иную типовую деятельность. Применительно к детерминации типа а), т. е. когда носитель языка выбирает свое «языковое лицо» в силу независимой от его воли и не осознаваемой им принадлежности к определенной социальной группе, мы чаще всего и говорим о территориальных диалектах, так как группы этого рода, резко разделенные внутри общества, соответствуют чаще всего различным территориальным объединениям. Сюда же относятся гораздо более редкие различия возрастных и других демографических групп. Что же касается детерминации типа б), то здесь мы имеем несколько потенциальных возможностей, из которых носитель языка более или менее сознательно выбирает, подчеркивая свою принадлежность к одной группе, заведомую «непринадлежность» к другой и т. д. Характер критериев избирательности здесь совершенно иной. Социальные диалекты связаны именно с этим типом детерминации. (Дальнейшие критерии мы здесь не анализируем).

Во-вторых, из сказанного выше следует различие «социально-го диалекта» и профессиональной речи, — вещей, обычно смешиваемых.

В-третьих, что касается «территориальных диалектов», следует указать на одну связанную с характером детерминации особенность. Мы имеем в виду то, что диалектная норма имеет несколько измерений. Она — по крайней мере в современных обществах — никогда не является исключительно территориальной. Человек, говорящий на «горизонтальном», территориальном диалекте, тем самым относит себя к определенной «вертикальной» группе; да он и не будет во всех случаях говорить на диалекте, а постарается, приехав в райцентр, в область или в Москву, минимально отличаться от окружающих в речевом отношении. Кроме того, территориально-диалектная норма всегда соотносена и с демографией — с возрастным расслоением в первую очередь.

Наконец, в-четвертых, укажем на одну особенность детерминации типа б), отличающую «социальные диалекты» от всех других видов языкового группирования. Это сознательная ориента-

ция на образец не только в отношении языковой формы высказывания, но и в отношении содержания. Лишь здесь мы имеем регламентацию не только того, как говорить, но и того, что говорить.

Подводя общий итог, можно лишь констатировать, что проблема диалекта в лингвистике пока ставится и решается абсолютно без учета данных конкретной социологии, социальной психологии, да и психологии вообще. Видимо, предстоит известный перелом в этой области, и надо надеяться, что он недалек. От «внешней» социологии лингвистике давно пора перейти к социологии «внутренней».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ — НЕЛИТЕРАТУРНЫЙ

Проблема «литературного языка» широко известна и разработана довольно подробно [Виноградов, 1946, 1967]; [Гухман, 1959]. Однако, как и в предыдущем случае, есть ряд существенных проблем, нуждающихся, на наш взгляд, в специальном рассмотрении.

Мы укажем здесь на три подобные проблемы.

Одна из них есть проблема литературной нормы как своего рода «социального диалекта», с одной стороны, т. е. как показателя принадлежности к определенной социальной группе, и как функционально-стилистической категории — с другой (т. е. литературная речь не только противопоставлена нелитературной, например, просторечной, но и, скажем, разговорной). Занимая известную позицию в обеих иерархиях, литературная речь является как бы точкой их пересечения, равнодействующей двух сил, и в этом смысле является — хотя и в разных своих признаках — нормой в социологическом смысле. Каковы эти «нормативные» признаки литературной речи? Иными словами, каковы дифференциальные признаки, позволяющие противопоставить друг другу а) различные стили речи, б) различные «социальные диалекты»? Чаще всего вопрос этот решается простым обращением к номенклатуре языковых средств («литературная» — «нелитературная», скажем, просторечная лексика; разные «стили языка»). Это некорректно, во всяком случае применительно к стилям речи. Вопрос остается далеко не ясным. Думается, что очень многое в специфике литературного языка следует отнести именно за счет этой его «двусторонности».

Вторая проблема есть соотношение литературного языка с языком литературы. На эту тему написано очень много, но и здесь вопрос темен. При его решении чаще всего не учитывается различная социологическая и социально-психологическая функция литературы в различных обществах и вообще ее статус в системе культуры.

Наконец, третья проблема — это соотношение литературного языка со школьным обучением родному языку. Ранее мы затра-

гивали этот вопрос [Костомаров и Леонтьев, 1966], ср. в этой связи также соображения А. М. Пешковского [1922].

В заключение настоящей главы мы считаем целесообразным дать краткий очерк основной литературы по теоретическим вопросам языкознания, существующей к настоящему времени и доступной читателю с разным уровнем владения языковедческой проблематикой. Мы упоминаем здесь лишь самые общие работы, дающие сводную картину онтологии языка и состояния современной лингвистики.

Наиболее элементарное освещение основ языкознания можно найти в учебниках Р. А. Будагова [1958], А. А. Реформатского [1967], Б. Н. Головина [1966]. Также вводный, но более сложный характер имеют пособия Ю. С. Степанова [1966], Б. И. Коссовского [1968 и 1969]. Из других «Введений в языкознание», изданных на русском языке, можно рекомендовать книгу В. Н. Петрухина [1968].

Из более фундаментальных общих книг по теории языкознания, принадлежащих советским ученым, следует назвать трехтомное «Общее языкознание», уже неоднократно цитированное нами в настоящей главе [Общее языкознание, 1970, 1972, 1973]. К сожалению, пока других книг этого класса нет.

Материалы по истории мирового языкознания (важнейшие сведения и первоисточники) собраны в двухтомнике В. А. Звегинцева [1964 и 1965]. Лучший общий курс истории языкознания до XX в. принадлежит датчанину В. Томсену [1938]. Развитие советского языкознания описано в двух сборниках, выпущенных к 50-летию Советской власти [Советское языкознание, 1967; Теоретические проблемы, 1968].

Из числа общих курсов языкознания, переведенных с иностранных языков, можно назвать, кроме классического «Курса» де Соссюра [1933], книги Э. Сепира [1931], Ж. Вандриеса [1938], Г. Глисона [1959], А. Мартинэ [1963]. В книге [Блумфилд, 1968] собрана огромная библиография по всем основным вопросам языкознания. Своеобразной «энциклопедией» лингвистики является и переведенный на русский язык сборник статей лингвистов Пражской школы [Пражский, 1967]. Общий обзор ряда направлений современного языкознания дан в книге «Основные направления структурализма» [1964].

Некоторые аспекты «математической» лингвистики освещены в сборнике «О точных методах исследования языка» [Ахманова и др., 1961]. Полезна также обзорная книга Ю. Д. Апресяна [1966].

Существуют достаточно полные обзоры всей вышедшей после 1918 г. на русском языке лингвистической литературы общего характера [Общее, 1965].

Все языки СССР описаны в издании «Языки народов СССР» [1966—1968]. По другим языкам мира единственная обзорная работа имеется лишь на французском языке [Les langues, 1952].

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЯ РЕЧИ

Проблема соотношения понятий «речь» и «речевая деятельность» вызывает к жизни неуклонной тенденцией их полного или синонимического замещения, в основу которого положена «трактовка «глобальной речи» как определенного вида деятельности, а именно, как речевой деятельности» [А. А. Леонтьев, 1969д, 25]. Естественно, что в плане психологического анализа когнитивно-коммуникативной деятельности человека небезынтересно ответить на вопрос, существует ли полная синонимия между этими двумя понятиями, и, если нет, то что следует понимать под каждым из них и в каком соотношении они находятся¹. Исходным при анализе этой проблемы является определение речи как способа формирования и формулирования мысли посредством языка². Подобное определение основывается, во-первых, на положении о том, что «проблема речи с точки зрения психологии — это прежде всего проблема общения посредством языка» [Рубинштейн, 1959, 103]. Второй посылкой является (в наиболее общей формулировке) положение, что «язык не есть то же самое, что

¹ Следует при этом отметить, что содержание понятия «речевая деятельность» значительно варьирует даже у крупнейших авторов. Так, у Н. С. Трубецкого, вслед за Ф. де Соссюром, речевая деятельность определена как то, что неразрывно объединяет «язык» и «речь», «которые могут рассматриваться как две взаимосвязанные стороны одного и того же явления — «речевой деятельности» [Трубецкой, 1960, 7]. Согласно А. А. Леонтьеву, анализировавшему работу Р. Годеля, сам Ф. де Соссюр трактовал речевую деятельность как единство «языка» и «языковой способности», при котором «речевая деятельность (язык + языковая способность) противопоставлена речи как потенция и реализация» [А. А. Леонтьев, 1969д, 13]. В работах Л. В. Щербы «речевая деятельность» рассматривается как совокупность процессов говорения и понимания [Щерба, 1957]. Э. Косериу определяет «речевую деятельность» как «специфическое проявление человеческого поведения» [Косериу, 1963, 154]. Подробнее о многоаспектности понятия «речевой деятельности» см. [А. А. Леонтьев, 1969д, 10—17] (его собственное толкование этого понятия — стр. 25—29).

² Язык при этом понимается как системное единство «обозначаемого» и «обозначающего». В качестве «обозначаемого» язык представляет собой систему «объективно-общественных смыслов явлений» [А. Н. Леонтьев], отработанных и зафиксированных языковых значениях. В качестве «обозначающего» язык является иерархической системой единиц, выражающих эти значения, и правил.

речь»³ [Косерпу, 1963, 151], и более того, что речь не только «манифестация», «действительность», «реализация» языка, но качественно своеобразное психическое явление, как «форма существования сознания (мыслей, чувств, переживаний) для другого, служащая средством общения с ним...» [Рубинштейн, 1940, 340]. Третьей предпосылкой исходного определения речи является положение о том, что «внешняя речь есть процесс превращения мысли в слово, материализация и объективизация мысли» [Выготский, 1934, 311] и что «в речи мы формулируем мысль, но, формулируя ее, мы сплошь и рядом ее формируем...» [Рубинштейн, 1940, 350]. На основе этих посылок речь и определяется как своеобразный, специфический человеческий способ формирования и формулирования мысли посредством языка как системы «объективно-общественных смыслов явлений», отработанных и зафиксированных в языковых значениях. Но формирование и формулирование мысли — это процесс, а «правильное понимание положения о мышлении как процессе предполагает, что мышление понимается как деятельность субъекта, взаимодействующего с объективным миром» [Рубинштейн, 1958, 27] и, следовательно, ставит вопрос о том, как должна рассматриваться речь в плане этого взаимодействия, в общей схеме деятельности человека, что понимается под термином «речевая деятельность». Сложность этой проблемы находит отражение в создавшейся в настоящее время ситуации, при которой, с одной стороны, активно и успешно разрабатывается теория речевой деятельности, а с другой, остается не снятым утверждение, что, «строго говоря, речевой деятельности как таковой не существует. Есть лишь система речевых действий, входящих в какую-либо деятельность — целиком теоретическую, интеллектуальную или частично практическую» [А. А. Леонтьев, 1969д, 27]. Очевидно, что решение этой проблемы возможно только в рамках анализа основных понятий самой теории деятельности⁴.

Теория деятельности, возникшая в противовес механистическим теориям элементаризма и функционализма, прежде всего утверждает активный характер взаимодействия организма с окружающей средой и опосредствующую детерминацию психики внешними воздействиями — «процесс деятельности выступает как форма активного взаимодействия человека с объективной действительностью, как фактор, опосредствующий детерминацию психических явлений воздействиями внешнего мира» [Шорохова, 1969, 35].

³ Различие языка и речи практически является общепризнанным (но см. [Г. В. Колшанский, 1964, 17]), хотя характер антиномии определяется каждым автором по-разному (см. «Язык и речь», 1962).

⁴ Следует при этом отметить, что «ни в психологии, ни в философии не существует четких и дифференцированных определений деятельности» [Анциферова, 1969, 57].

Вторым основополагающим для этой теории является всеобщность принципа этого взаимодействия при видоизменении его форм на протяжении всего эволюционного пути формирования сознания — «психика, психическая деятельность выступает для нас не как нечто прибавляющееся к жизни, но как своеобразная форма проявления жизни, необходимо возникающая в ходе ее развития» [А. Н. Леонтьев, 1959, 48]. И третьим, не менее важным положением этой теории является изменение характера законов, обуславливающих развитие психики человека, его психической деятельности — «если на всем протяжении животного мира теми общими законами, которым подчинялись законы развития психики, были законы биологической эволюции, то с переходом к человеку развитие психики начинает подчиняться законам общественно-исторического развития» [А. Н. Леонтьев, 1959, 202]. Это положение особенно важно для нас, так как, обуславливаясь законами общественно-исторического развития, деятельность человека реализуется в качественно новых, неизвестных животному миру формах — общественно-производственной и общественно-коммуникативной. Общественно-производственная деятельность в основном и определяется А. Н. Леонтьевым как ведущая деятельность (в таких формах ее проявления, как игра, учение, труд, творчество). При этом основополагающим служит положение, что «трудовая деятельность является основной и естественной формой человеческого бытия...» [Анцыферова, 1971, 75], ибо труд — «первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека» [Энгельс, 1961, 486].

При анализе общей схемы деятельности человека правомерно говорить о трех взаимообуславливающих, взаимосвязанных сферах деятельности: познавательной (индивидуально-психической), общественно-производственной и коммуникативно-общественной.

Предметом нашего дальнейшего рассмотрения является именно коммуникативно-общественная деятельность человека, но в силу того, что индивидуально-психическая неразрывно с ней связана, остановимся прежде на анализе последней. Индивидуально-психическая сфера или «психика получает свое значение и функционирует внутри системы созидательной деятельности. Включенная в нее психика составляет побудительную, регулирующую и контролирующую часть деятельности» [Анцыферова, 1971, 75].

Индивидуально-психическая сфера деятельности в свою очередь определяется совокупностью психических деятельностей, таких, как перцептивная, мнемическая, мыслительная, в основе которых лежит взаимодействие психических процессов, осуществляющих непосредственное или опосредствованное активное отражение предметов и явлений действительности в их связях и

взаимоотношениях⁵. Основная функция индивидуально-психической деятельности во всех ее проявлениях — ориентировочно-исследовательская, планирующая и корригирующая. Эта деятельность человека в плане синхронии может быть определена как совокупность высших специфически человеческих форм психической деятельности, таких, например, как «отвлеченное мышление», которые «являются общественно-историческими по своему происхождению, опосредствованными по своему строению и сознательными, произвольно-управляемыми по способу своего функционирования» [Лурия, 1971, 60].

Таким образом, обуславливаясь общественно-историческими законами развития, индивидуально-психическая деятельность либо входит составной частью в общественно-производственную и коммуникативно-общественную деятельность людей, либо является вспомогательной деятельностью⁶ в составе другой, более широкой деятельности, например слушание и понимание в деятельности общения, либо представляет собой самостоятельный вид деятельности, например индивидуально-творческую деятельность поэта, профессиональную деятельность мнемониста или перцептивную деятельность «слухача» и «аудитора — оператора».

С другой стороны, следует подчеркнуть, что специфика человеческой деятельности во всех ее проявлениях, обусловленная социально-историческими законами развития, тем самым опосредуется специфически человеческой формой отражения действительности — вербальным мышлением, языком — речью. Это утверждение одновременно предполагает и то, что «хотя языку принадлежит огромная, действительно решающая роль, однако язык не является демипургом человеческого в человеке» [А. Н. Леонтьев, 1959, 290] и не является тем «путеводителем по социальной действительности», той все определяющей силой, на милость которой отданы человеческие существа, каким представлял его Э. Сэпир. Опосредуя человеческую деятельность, речь, как способ формирования и формулирования мысли посредством языка, является основой, сущностью коммуникативно-об-

⁵ Психический процесс рассматривается нами как «клеточка» этого вида деятельности. Ср. определение ощущения: «элемент деятельности — поведения и необходимый компонент всего процесса жизнедеятельности» [Ананьев, 1960, 90] и далее: «психический процесс... сам по себе не осуществляет никакого самостоятельного отношения к миру и не отвечает никакой особой потребности» [А. Н. Леонтьев, 1959, 415].

⁶ Деятельность, имеющая самостоятельную мотивацию, определяется нами как самостоятельная деятельность; деятельность, мотив которой обусловлен результатом другой деятельности, определяется как вспомогательная деятельность. Так, например, чтение книги, мотивированное самим процессом чтения ради содержания, имеет результатом понимание или непонимание этого содержания. Перевод имеющихся ссылок на латинском мотивируется потребностью более глубокого понимания, деятельность перевода в таком случае рассматривается нами как вспомогательная.

публичной деятельности, деятельности общения⁷, при этом общение рассматривается как «необходимое и специфическое условие процесса присвоения индивидами достижений исторического развития человечества» [А. Н. Леонтьев, 1959, 289]. Основная цель вербального общения — обмен мыслями (сообщениями, информацией), который, в свою очередь, может рассматриваться как форма активного взаимодействия людей в процессе более широкой созидательной деятельности. Генетически содержание деятельности общения первоначально «относится к планированию, организации и управлению собственной деятельностью» [А. Н. Леонтьев, 1959, 24], а затем общение становится особым видом деятельности, имеющим собственную мотивацию, причем эта деятельность «вызывает определенные не менее реальные изменения в окружающей среде, чем материальная трудовая деятельность людей» [Анцыферова, 1969, 109].

Рассматриваемая нами форма коммуникативно-общественной деятельности — вербальное общение — представляет собой взаимодействие людей при помощи речи, как способа формирования и формулирования мысли посредством языка⁸. Но активный двусторонний характер этого взаимодействия служит только имплицитным теоретическим постулатом коммуникативных теорий (а в трансцендентальной теории коммуникации К. Фосслера он даже и не постулируется). Практически все эксплицитные схемы общения сводятся к схеме «говорящий — слушающий ($G_1 \rightarrow C_2$)», т. е. к схеме одностороннего, одностороннего коммуникативного акта, который только может рассматриваться как элементарный акт общения, но не само общение. В схеме $G_1 \rightarrow C_2$, находящей отражение в коммуникативно-семантических теориях (Ч. Моррис, А. Гардинер и др.) и теории знаковой ситуации (А. Шафф)⁹, присутствуют два человека (1 и 2), «один из которых использует какой-либо язык, чтобы передать другому свои мысли или чувства, а второй, замечая данные знаки данного языка, понимает их так, как думает его собеседник и соглашается с ним» [Шафф, 1963, 243], т. е. один из которых реально активен, а другой активен потенциально, внутренне¹⁰.

⁷ Коммуникативно-общественная деятельность включает все формы опосредованного взаимодействия людей — вербальную форму, жесты, мимику, пантомимические движения, голосовые реакции, условные знаковые системы и т. д. см., например, [Т. Шибутани, 1969, гл. 5; Якобсон, 1970].

⁸ Ср. положение Л. С. Выготского: «Речь — есть прежде всего средство социального общения, средство высказывания и понимания» [Выготский, 1934, 11], и поддерживающая это положение мысль В. А. Звегинцева, что «язык, хотя и принимает обязательное участие в деятельности общения, по своему назначению не является средством общения» [Мурыгина, 1970].

⁹ О соотношении понятий «общение», «коммуникация», «знаковая ситуация» см. [Слюсарева, 1967].

¹⁰ Термины «реальный» — «потенциальный» заимствованы из работы З. М. Мурыгиной, где они являются характеристикой участия партнеров

Взаимопонимание рассматривается при этом как необходимое условие общения — «одним из условий осуществления общения служит понимание друг друга» [Артемов, 1969, 41], переход же от понимания как результата одного элементарного акта ($G_1 \rightarrow C_2$) к другому ($G_2 \rightarrow C_1$), т. е. переход к взаимному общению, только имплицитруется¹¹. Если представить общение действительно как процесс обмена мыслями, то его схема должна выглядеть как $G_1 \leftrightarrow G_2$, в которой взаимопонимание, являющееся функцией ($G_1 \rightarrow C_2$) и ($G_2 \rightarrow C_1$), рассматривается в качестве условия процесса общения. Следовательно, говорение должно рассматриваться как само осуществление общения, как процесс внешнего выражения способа формирования и формулирования мысли посредством языка. Ясно, что при рассмотрении этих двух процессов — говорения и слушания — говорение (или производство речи) носит более самостоятельный, активный характер, тогда как слушание (понимание) выполняет вспомогательную роль условия общения. Теперь возникает основной вопрос нашего рассмотрения, являются ли эти процессы деятельностью. Из вышеприведенного анализа основных понятий теории деятельности со всей очевидностью следует позитивный ответ. Довод, что с «одной речью человеку делать нечего: она не самоцель, а средство, орудие, хотя и может по-разному использоваться в разных видах деятельности» [А. А. Леонтьев, 1969д, 27], не снимает вопроса, а только переводит его решение в плоскость иерархической структуры различных видов общей деятельности человека. Логика рассуждения приводит к следующему: если говорение и слушание определяются теми же характеристиками, что и любой другой вид деятельности, то и они могут рассматриваться как таковые.

Как известно, в качестве основных характеристик деятельности выступают такие, как наличие побудительно-мотивационной части (потребность — мотив — цель); предмет деятельности; соответствие предмета деятельности и ее мотива; наличие продукта или результата деятельности. Кроме этого, деятельность характеризуется планируемостью, структурностью, целенаправленностью (целесообразностью).

Проанализируем с этой точки зрения говорение (или производство речи). Говорение и филогенетически и онтогенетически возникает в результате того, что у людей появляется «потребность что-то сказать друг другу» [Энгельс, 1961, 289], эта

в отдельном акте коммуникации, представленном на семантическом уровне абстракции семиологической системы. Кстати, эта «абстрактная» схема наиболее действенно отражает динамику общения, как процесса активного взаимодействия [Мурыгина, 1970, гл. 1].

¹¹ Идея речевого общения как двустороннего процесса эксплицируется А. А. Холодовичем при введении таких характеристик языкового существования, языкового поведения, как «взаимная ориентированность» и «непосредственно наличная коммуникативность» [Холодович, 1967].

«потребность в речевом общении развивается на всем протяжении младенческого возраста...», и «если эта потребность не созрела, наблюдается и задержка речевого развития» [Выготский, 1934, 209]. Эта потребность, объективируемая в мотиве, осознается в цели говорения как определенном уровне воздействия¹² на других людей в сфере коммуникативно-общественной деятельности. Вторая составная часть деятельности¹³ — аналитико-синтетическая — представлена в говорении в виде свернутых, глубоко интериоризированных умственных действий по программированию и структурированию речевого высказывания. Аналитико-синтетическая часть процесса говорения лежит в основе той стороны деятельности, при которой, «используя социальные средства, знаки, мы планируем деятельность, ставя ее конечную цель и намечая средства ее осуществления» [Леонтьев А. А., 1969д, 26]. Исполнительная часть (или «фаза осуществления») говорения носит явно выраженный внешний характер и реализуется в артикуляции, которая представляет собой последовательность целенаправленных, целесообразных, структурированных, произвольно управляемых действий. Производство членораздельных звуков речи является функцией специально сформированного в процессе эволюции речевого аппарата. Сопоставительные исследования голосового аппарата обезьян и речевого аппарата человека выявили основные направления, по которым «неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась» [Энгельс, 1961, 289]. Так было отмечено, что «у человека надгортанник опустился значительно ниже. Ротовая и фарингальная полости соединились, образовав один сдвоенный рото-фарингальный резонатор» [Жинкин, 1960, 112], параллельно с этим развивалась способность модуляционных движений глотки, на которой основывается членораздельность и слоговое деление речевого потока.

Следующей, и одной из основных, характеристикой деятельности является, как известно, предмет деятельности. Говорение имеет свой идеальный предмет — выражение мысли, на что и направлена вызывающая говорение потребность. Продуктом, или результатом, говорения является ответное действие участника общения (вне зависимости от того, имеет ли это действие внешнее выражение или нет), т. е. то, что выражается «в реакциях, действиях, поведении общающихся людей»¹⁴. Следует отметить специфичность того, что продукт говорения воплощен в деятельности других людей, он сам как бы является связующим общение звеном.

¹² Об уровнях воздействия см. [Бельский, 1953; Ревтова, 1963; Элиашоте, 1968].

¹³ Эта часть деятельности выделена в соответствии с концепцией С. Л. Рубинштейна. Вместе с побудительно-мотивационной частью они составляют «подготовительную фазу» деятельности в теории А. Н. Леонтьева.

¹⁴ [Анцыферова, 1969, 109]. В качестве продукта говорения можно рассматривать также и само сообщение, текст.

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что говорение представляет собой самостоятельную, внешне выраженную деятельность в сфере коммуникативно-общественной деятельности людей.

Слушание (точнее можно сказать — смысловое восприятие речи) так же, как и говорение, характеризуется побудительно-мотивационной частью, но, в отличие от говорения, потребность слушания и соответственно его мотивационно-целевая сторона вызываются деятельностью говорения другого участника общения. Слушание является как бы производным, вторичным в коммуникации. Цель слушания, реализуемая в его предмете, — раскрытие смысловых связей, осмысление поступающего на слух речевого сообщения.

Аналитико-синтетическая часть слушания представлена полно и развернуто и составляет основу, сущность смыслового восприятия речи. Аналитико-синтетическая часть включает и исполнительную часть, которая выражается в принятии решения. Смысловое восприятие, как и любой другой вид индивидуально-психической деятельности, не планируется, не структурируется и характер его протекания произвольно не контролируется сознанием. Содержание процесса слушания задается извне. Все это позволяет говорить о слушании речи как о сложной, специфически человеческой перцептивно-мыслительно-мнемической деятельности. Интересно отметить также, что продукт (результат) слушания реализуется в другом виде деятельности того же человека (в отличие от говорения, где продукт реализуется в деятельности других людей). Этот продукт может и не носить внешневыраженного характера, представляя собой только то умозаключение, к которому пришел человек в результате слушания. Чаще всего в речевом общении продуктом слушания является ответное говорение.

Слушание, таким образом, может характеризоваться как вспомогательный вид индивидуально-психической деятельности, включенный в сферу коммуникативно-общественной деятельности человека. Представляя собой разные виды деятельности, говорение и слушание тем не менее объединены общностью предмета и речью как способом формирования и формулирования мысли посредством языка.

В говорении происходит выражение собственного способа формирования и формулирования мысли, т. е. говорение в известном смысле и есть речь, но только в одной из ее форм — внешней. При слушании имеет место анализ выражения способа формирования и формулирования мысли другого человека. Но и в том, и в другом виде деятельности способом ее является речь, в силу чего оба эти вида, с обязательным учетом их специфики, могут быть определены как виды речевой деятельности в общей сфере коммуникативно-общественной деятельности людей (ср. определение речевой деятельности у Л. В. Щербы).

Отметим также, что если семантической единицей всей сферы деятельности является поступок¹⁵, то в качестве единицы вербального общения выступает «речевой поступок», содержание которого соотносится В. А. Артемовым с коммуникативными типами предложения: «Данные ... свидетельствуют о том, что все, казалось бы почти бескрайнее, разнообразие речевых поступков делится на четыре основных класса, так называемые коммуникативные типы: повествование, вопрос, побуждение и восклицание» [Артемов, 1969; Жинкин, 1955].

Рассмотренный выше психологический аспект взаимоотношения «речь — речевая деятельность» бесспорно, отражает только одну грань этой сложной проблемы, но не без основания можно полагать, что именно он представляет собой ее стержневую линию.

¹⁵ «Поступок» — это действие, имеющее свое «обозначаемое» и «обозначающее». В качестве «обозначаемого» выступает то, что хотел человек выразить (вольно или невольно) своим действием; «обозначающим» является форма реализации этого действия.

ПРОБЛЕМЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящей главе ставится задача оценить применимость некоторых математических моделей, в частности, имеющих хождение в современной лингвистике, к моделированию речевой деятельности (речевых действий). Некоторые содержательные аспекты этой проблемы мы уже анализировали выше (гл. 2, 3, 4). Здесь же мы ставим себе основной задачей выяснить, насколько соответствуют сущностным характеристикам речи, речевой деятельности различные существующие математические модели языка.

Общезвестный ныне (и изучаемый в рамках так называемой «математической лингвистики»; впрочем, вслед за А. В. Гладким и И. А. Мельчуком [1969] мы считаем, что этот термин обычно употребляется некорректно) математический аппарат теории порождающих грамматик не адекватен свойствам речевой деятельности. Чтобы показать это, проследим ход мысли Гладкого и Мельчука, которые рассматривают следующую воображаемую ситуацию: «...Математик, совершенно незнакомый с лингвистикой, наблюдает речевое поведение людей... и пробует описать его. Это описание могло бы быть, например, таким. С одной стороны, наш математик видит, что содержанием речевой деятельности является передача различных желаний, чувств, представлений, мыслей и т. п. Все это он для краткости называет «планом содержания»... С другой стороны, он видит, что средством передачи, или выражения, содержания служат последовательности физических сигналов... которые он называет «планом выражения». Для математика естественно представлять себе и план содержания, и план выражения как... множества некоторых элементов, которые он называет, допустим, соответственно «смыслами» и «текстами»... Далее, наш математик замечает, что между смыслами и текстами имеется соответствие... Правила, определяющие, какие тексты соответствуют каким смыслам, и образуют по существу то, что в обиходе принято называть языком. Математик же усмотрит в этой системе правил... частный случай важнейшего понятия своей науки — отображения, или функции... При этом наш математик заметит, что данная функция является, по видимому, эффективно вычислимой (дается определение.—

А. Л.) ...; действительно, язык представляет собой некоторый регулярный способ эффективного получения текстов по заданным смыслам и обратно. Этот способ пока не известен математику-наблюдателю, но изучение речевого поведения людей приводит его к гипотезе, что такой способ, как-то «записанный» в мозгу носителей языка, безусловно, имеется» [Гладкий и Мельчук, 1969, 17—18].

Проанализируем это рассуждение. Из него явствует: а) что речевое поведение, или речевая деятельность, интерпретируется как преобразование некоторого готового содержания (согласно цитированным авторам, математик даже и «не пытается» дать определение этому последнему термину) по определенным правилам, в результате чего мы получаем некоторый фиксированный в плане выражения текст; б) описывающая это преобразование функция является эффективно вычислимой, или алгоритмической, т. е. «для нее указан вполне определенный способ, позволяющий для любого значения X найти за конечное число шагов значение (x)» [Гладкий и Мельчук, 1969, 18]; в) наконец, предполагается, что описывающая это преобразование функция, т. е. язык, как раз и «записана» в мозгу носителей языка в виде определенных правил перевода «смыслов» в «тексты».

Несомненна неприменимость всех этих трех утверждений к структуре психолингвистического порождения речи. Как мы многократно пытались показать [А. А. Леонтьев, 1965а, 1969а, 1970б], речевая деятельность не есть преобразование готового содержания: само это содержание в известном смысле «появляется» только на определенном этапе порождения высказывания и обусловлено предыдущими этапами этого порождения. Если же понимать содержание более строго, как план содержания текста, то это едва ли не одно из последних звеньев психолингвистического формирования высказывания. С другой стороны, в «конце» такого формирования лежит как раз не инвариант выражения, а инвариант содержания. Мы не строим предложение как совокупность или систему единиц выражения; речевая деятельность всегда есть средство разрешения известной проблемной ситуации и в этом качестве направляется представлением об эффективности, а не формальном тождестве высказываний [см. Леонтьев, Рябова, 1970; А. А. Леонтьев, 1969д]. Далее — как мы уже стремились показать в других работах — процессы, составляющие речевую деятельность, принципиально алгоритмизируемы далеко не все и далеко не полностью. Вообще для речевой деятельности, как и для других видов деятельности, по-видимому, мало применимы модели, которые построены на правилах преобразования исходных статических единиц типа сегментов текста (ср. [А. А. Леонтьев, 1969а, гл. 1]).

Таким образом, утверждения Гладкого и Мельчука, вероятно, вполне корректные в рамках теории порождающих грамматик, едва ли корректны в применении к исследованию не языка (или

текста), а речевой деятельности в ее внутренней специфике и принципиальной организации. Воображаемый математик незнаком не только с лингвистикой, но и с психологией. В удачных терминах М. М. Копыленко [1969], производство, с которым «работает» теория речевой деятельности, в том числе психоллингвистика, не должно смешиваться с порождением.

Сам И. А. Мельчук очень точно определил в одной из своих более ранних работ пределы применимости своего способа рассуждения: «Если... модель, функционируя, будет порождать в точности те же самые объекты, что и исследуемый механизм, то можно считать, что в интересующем нас отношении (разрядка наша.— А. Л.) наша модель адекватна и что, следовательно, наше описание верно» [Ахманова и др., 1961, 41]. Но дело в том, что, поскольку мы занимаемся реальным производством речи, нас интересует не факт появления той или иной языковой единицы, а процесс, приводящий к ее появлению. Этот аспект не описывается с достаточной полнотой и точностью математическим аппаратом теории порождающих грамматик. Между тем эта последняя то и дело высказывает претензии на то, чтобы быть универсальной формальной моделью языкового поведения¹.

Другая модель, претендующая на универсальность в трактовке речевого поведения,— это модель, разработанная в свое время К. Шенноном для описания процессов передачи сигналов по техническому каналу связи и в дальнейшем расширенная на общение всякого рода, в том числе примененная к анализу речевой деятельности. Речь идет о подходе к речевой деятельности с математическим аппаратом теории информации.

«Первые попытки изучения языка методами теории информации породили преувеличенные представления о широких перспективах, которые открывает эта теория для языкознания... Дальнейшие исследования привели к более трезвой оценке действительно существующих возможностей»,— указывала Е. В. Падучева еще в 1961 г. [Ахманова и др., 1961, 98].

Попытаемся, опираясь на современную литературу вопроса, очертить круг реальной применимости теории информации к анализу речевой деятельности на современном этапе исследования. Начнем с того, что вслед за Л. В. Фаткиным [Фаткин, 1964, 26—27] укажем как на важнейшее условие применимости теории

¹ Особую проблему здесь составляет взаимоотношение языковой компетенции (linguistic competence) и языковой активности (linguistic performance). Предполагается, что порождающая грамматика «образует структуру» (competence) и соответствует лишь «грамматическому знанию», но не его реализации в речевом поведении. См. в этой связи [А. А. Леонтьев, 1969а, 25—26, 94—95 и 214]. Наиболее точная характеристика взаимоотношений competence и речевого поведения дана в статье Я. Прухи и др. «К некоторым проблемам моделей языковой коммуникации»: «некоторые свойства ПГ имеют точку опоры в определенных психологических операциях» [1968, 17]. Но от этого до моделирования самих операций еще очень далеко.

информации на определенные свойства дискретного источника информации. Это, во-первых, конечное множество возможных сообщений, во-вторых, конечное число используемых символов, в-третьих, эргодичность (статистическая однородность), в-четвертых, стационарность.

Ни одно из этих четырех условий не выполняется в речевой деятельности (даже и при порождении текстов), — если мы будем рассматривать не формирование слов из звуков (букв), а формирование значимых сообщений из слов или других аналогичных единиц. Сообщений возможно практически бесконечное множество: если же оно и конечно, то не может быть оценено. Эта бесконечность образуется частично за счет факторов, не поддающихся, по крайней мере сейчас, вероятностно-статистической обработке. Число используемых символов конечно (словарь, тезаурус языка в принципе конечен). Однако: а) его точные границы неопределимы — мы можем оперировать в лучшем случае порядками; они к тому же лабильны, так как, помимо известной избирательности при усвоении лексических единиц, мы используем различные дополнительные субкоды; кроме того, мы одновременно включаем лексические единицы в разные информационные системы, приписывая им, кроме прямого значения, еще и дополнительные — так сказать, обертоны, не фиксированные в общем словаре языка и обусловленные групповой принадлежностью говорящего, ситуацией и другими плохо формализуемыми факторами; б) если рассматривать речевую деятельность в конкретной ситуации, окажется, что алфавит источника здесь гораздо меньше, чем словарь языка (выбор символов ограничен многими факторами), но границы его значительно менее определены (ср. данные Т. М. Дридзе о различных «семиотических типах» носителей русского языка, различающихся, в частности, по количеству и «качеству» используемых символов [Дридзе, 1969]) и, что самое главное, — они крайне изменчивы от одной ситуации к другой. Здесь мы отчасти переходим уже к следующему ограничению — к стационарности, которая заключается в том, что «свойства (как статистические, так и все другие) не только источника, но и получателя, передатчика, канала и приемника остаются во времени неизменными» [Фаткин, 1964, 27]. Это ограничение в речевой деятельности совершенно не выполнимо. Оно не только противоречит тому, что мы сейчас знаем об активном характере восприятия речи [А. А. Леонтьев, 1969а, 118—126; Миллер, 1968], но и не соответствует вообще нашим знаниям о процессе речевого общения². Что касается условия эргодичности («последовательности символов, создаваемые эргодическими источниками, обладают

² К тому же выяснилось, что даже такие «классические» информационные процессы, как восприятие и переработка сигналов оператором, нередко не соответствуют условию стационарности и требуют перестройки аппарата теории информации [Леонтьев и Кринич, 1964а и 1964б].

тем свойством, что их статистические характеристики... не меняются при переходе от одной последовательности к другой» [Фаткин, 1964, 27]), то оно тоже не выполняется: «что... касается частоты слов, то она обнаруживает значительные колебания от текста к тексту» [Ахманова и др., 1961, 123].

Развивая эту последнюю мысль, можно привлечь огромную современную литературу, показывающую весьма ограниченную применимость стохастических моделей к моделированию связных текстов (см. в этой связи [А. А. Леонтьев, 1969а, 41—51] и др.).

«Важнейшим условием применения теоретико-информационных мер количества информации является условие выполнимости операции кодирования» [Фаткин, 1964, 28]. Применительно к речевой деятельности (не языку!) это условие невыполнимо, так как оперативными единицами могут служить различные отрезки сообщений, и выделение исследователем таких единиц (как в порождении, так и — в особенности — в восприятии) наталкивается на практически непреодолимые трудности.

Наконец, язык, даже если и рассматривать его с точки зрения теории информации, не является простым кодом, но весьма сложной и трудно учитываемой иерархией кодов. Любая количественная характеристика информативности, какую мы могли бы дать сейчас или в не слишком отдаленном будущем, имеет очень мало общего с действительной значимостью данного сигнала для получателя: имеется лишь крайне ограниченное число ситуаций, в которых теория информации «работает», давая эвристически значимые и обеспечивающие предсказуемость результаты. (Напомним, что мы имеем в виду текст как совокупность слов или других значимых единиц, совершенно не затрагивая проблемы вероятностно-статистической организации последовательностей букв или звуков).

Итак, математический аппарат теории информации, по-видимому, в настоящее время не применим к моделированию речевой деятельности в целом. Другой вопрос, что он может с успехом быть использован для решения частных задач, особенно при изучении формальных (кодовых) аспектов языка; другой опять-таки вопрос, что и некоторые содержательные аспекты речевой деятельности могут быть с успехом интерпретированы на основе теории информации. Но степень применимости анализируемой модели к моделированию речевой деятельности во всех этих случаях оказывается крайне ограниченной.

Еще одной математической теорией, описывающей динамику поведения человека и потому потенциально применимой для моделирования речевой деятельности, является теория игр и, в частности, теория рефлексивных игр. Эта теория описывает, как известно, оптимальные действия человека в конфликтных ситуациях. Укажем на два частных случая, к которым она, по-видимому, применима. Это, во-первых, речевая деятельность в неопределенных условиях, когда по ходу ее осуществления мы меняем

стратегию, приспособлявая ее к условиям общения и, в частности, соотнося с данными обратной связи — т. е. производим своего рода нащупывание адекватного высказывания. (Место, занимаемое эвристическим принципом в процессах производства речи, позволяет высказать гипотезу, что в целом ряде психолингвистических экспериментов мы имеем ситуацию, в которой испытуемый как бы играет с экспериментатором в своеобразную рефлексивную игру и выигрывает). Второй случай — организация диалога. Однако оба случая не получили пока строгой интерпретации в терминах теории игр. Что касается ее применимости к более общим случаям, она крайне сомнительна.

В заключение мы остановимся еще на одной математической теории, которая, насколько нам известно, еще ни разу не была применена к моделированию психической деятельности человека, в том числе речевой. Мы имеем в виду теорию массового обслуживания (теорию очередей). Любопытным примером того, как могла бы «работать» эта теория применительно к речевой деятельности, может служить проблема множественности способов минимизации при передаче коммуникативно значимой информации. Такая минимизация или оптимизация в теории очередей определяется как уменьшение «времени ожидания». Согласно рассматриваемой теории [Гуд и Макол, 1962, 242], возможны четыре способа такого уменьшения. Первый: сделать постоянными «времена занятия», т. е. в нашем случае — уравнивать по внешним (временным или линейным) параметрам отдельные компоненты высказывания. Этот случай, по-видимому, соответствует интонационно-семантическому членению. Второй: сделать постоянным интервал входов (т. е. осуществлять высказывание в определенном временном режиме). Третий: уменьшение величины p , что означает уменьшение среднего числа входов в единицу времени или/и увеличение среднего числа выходов; для нашего материала это соответствует увеличению относительной протяженности оперативных единиц, т. е. тенденции к фразеологизации и к увеличению протяженности синтагм и дыхательных групп. Четвертый выход: введение добавочных каналов. В условиях еще большего дефицита времени и необходимости обеспечить максимальную усвояемость информации первый и второй способы дают ритмизацию высказывания, третий — появление стереотипных конструкций типа применяемых в массовой коммуникации, четвертый — включение мимики и жестикуляции. Ср. также такие случаи, как скандирование: «Мо-лод-цы!»

Судя по некоторым успешным попыткам моделирования деятельности (см., например, [Гельфанд и др., 1962]), ближе всего к искомому нами идеалу модели, которая была бы в наибольшей мере адекватна внутренней структуре и организации речевой деятельности, стоит так называемая теория оптимальных процессов, в последние годы выделившаяся в самостоятельную математическую область.

Теория оптимальных процессов применима к ситуациям, характеризующим многоступенчатость, т. е. необходимостью принимать определенное решение перед каждым шагом на пути к достижению конечной цели. Изложим основное содержание этой теории словами Ю. А. Розанова [1965, 133—134]: «Допустим, положение дел на k -м шаге описывается характеристикой x ... Допустим, состояние системы на следующем $(k + 1)$ -м шаге зависит от предыдущего состояния x и принятого решения, которое мы обозначим через u , т. е. состояние системы после принятия этого решения описывается характеристикой $y = f_{k+1}(x, u)$, являющейся функцией переменных x и u . Если обозначить x_k — состояние системы на k -м шаге, то при условии, что начальное состояние есть x_0 и конечная цель достигается на n -м шаге, весь процесс можно описать последовательностью $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, в которой каждое состояние x_k (кроме начального x_0) определяется предыдущим состоянием x_{k-1} и принятым на k -м шаге решением. Разные решения приводят к разным состояниям, другими словами, к разным процессам: $\{x\} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$. С каждым процессом $\{x\}$ естественно связать величину $F\{x\}$, характеризующую те выгоды (или потери), которые дает выбор данного процесса $F\{x\}$... Будем интерпретировать величину $F\{x\}$ как потери и называть функцией потерь ... Если $\{x'\}$ и $\{x''\}$ — два разных процесса, то, естественно, нужно отдать предпочтение тому процессу, с которым связаны меньшие потери, т. е. меньшее значение функции F ... Процесс $\{x^0\}$, для которого функция потерь принимает наименьшее значение: $F\{x^0\} = \min$, называется оптимальным».

Описанный случай является простейшим (детерминированным). Чаще всего наше решение u_k меняет не непосредственно состояние системы, но лишь «вероятности, с которыми на k -м шаге совершается переход из состояния x_{k-1} в одно из возможных состояний x_k . Это обусловливается тем обстоятельством, что состояние системы зависит не только от наших воздействий на нее, но и от множества других факторов, не поддающихся нашему анализу» [Розанов, 1965, 136]. В этом случае оптимальность процесса соответствует наименьшему среднему значению функции потерь.

Реальные физические процессы, изучаемые теорией оптимальных процессов, чаще всего не дискретны, а непрерывны, и решение их объединяется так называемым принципом максимума [Понтрягин и др., 1969, 11 и др.]. Очень важно, что теория описывает процессы с разным характером оптимальности — когда задана минимальная (в пространстве) траектория, или задана минимальность времени перехода из положения x_0 в положение x_1 и т. д.

Если мы обратимся к процессу производства речи, как он представляется в свете современной психолингвистики и психологии речи, то увидим, что этот процесс может быть интерпретирован как последовательность принятия решений или последовательность элементарных действий, представляющих собой в

каждом случае как бы результирующую нескольких факторов, обуславливающих данное действие.

Выше (гл. 3) мы уже пытались показать правомерность подобного «факторного» подхода применительно к психолингвистическому порождению или производству речи. Во всяком случае, речевая деятельность может быть представлена как совокупность оптимальных процессов в указанном выше смысле. Учитывая, что сама сущность речевой деятельности именно как деятельности заключается в оптимизации пути достижения поставленной цели по заданным параметрам [Бернштейн, 1966], можно полагать, что математическое моделирование речевой деятельности на основе теории оптимальных процессов в значительной мере отражает ее действительные сущностные характеристики и может быть — конечно, в случае, если конкретный математический анализ покажет правомерность подобного подхода, — рассмотрено как адекватное этим характеристикам.

Естественно, что описываемые теорией процессы не имеют в данном случае того физического смысла, который приписывается им в «классических» задачах теории оптимальных процессов. Здесь, как и во многих случаях, имеет место единство математической интерпретации при различии интерпретации физической. Если факт такого единства, т. е. применимости теории оптимальных процессов к нашему случаю, будет строго доказан, это будет означать серьезный шаг вперед в области моделирования не только речевой, но и всякой иной целенаправленной деятельности.

Подведем итоги. Ни одна из математических моделей языка, сколько-нибудь детально разработанных к настоящему времени, не адекватна сущностным характеристикам речевой деятельности. Ближе всего к ним, по-видимому, стоит моделирование на базе теории оптимальных процессов, но применение этой теории к речевой деятельности требует специального анализа ее аппарата и детального исследования самого процесса речевой деятельности под данным углом зрения.

ЗНАКОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Введение

В теории речевой деятельности знаковая проблематика предполагает прежде всего обсуждение вопросов о структуре (языкового) знака и системы знаков, о структуре знакового действия и системы знаковых действий, о содержании и формах соответствия системы знаков и системы знаковых действий.

Для анализа этих проблем отправной должна быть характеристика структуры знака. Такая характеристика прежде всего должна отражать разнообразие и неоднородность символических форм, определяемые особенностями их соотношений с речевым целым, текстом.

Несколько предварительных замечаний.

1. На каждом этапе развития лингвистики проблема знака решалась и решается, исходя из основных задач, стоящих перед лингвистикой на этом этапе ее развития.

Для теоретического языкознания сегодня ведущим, на наш взгляд, является изучение механизмов построения языка как совокупности взаимодействующих и упорядоченных по уровням структур знаковых действий, «сложной многоуровневой постройки, возглавляемой ведущим уровнем, адекватным смысловой структуре» речевого акта, постройки, где степень осознаваемости и степень произвольности растет с переходом по уровням снизу вверх [Бернштейн, 1966].

Здесь уместно и необходимо сказать о том, что именно знаковое действие как объект исследования отличает психолингвистику от психологии речи, изучающей индивидуальные механизмы речи вне их знаковой функции, и от экспериментальной лингвистики, устанавливающей психологическую и нейрофизиологическую объективность лингвистических единиц, но не исследующей их значимости для личности как члена коллектива.

Необходимой предпосылкой эффективного изучения внутренней структуры знакового действия и системы знаковых действий является такая экспликация понятия знака и символа, которая позволила бы объяснить социальную природу и системность речевого действия как феномена активности участников коммуникации.

2. Семиотика, наука о знаке, рассматривает системы различных символических средств как модели внешнего мира, строящиеся в процессе познавательной деятельности человека.

Знаковая проблематика теории речевой деятельности связана с изучением процессов конструирования моделей внешнего мира в процессе познавательной, шире — продуктивной деятельности человека.

Необходимая предпосылка эффективного анализа этой проблематики состоит в фиксации особенностей отношений знака к субъекту и объекту познания, ибо можно думать, что именно эти особенности отражают и определяют пути познавательной деятельности человека, изменения отношений между субъектом и объектом познания. Участники акта коммуникации совершенствуют не только знание о предмете сообщений, но и о самой коммуникативной ситуации, компонентами которой они являются. Поэтому знак и иные символические средства можно рассматривать как некоторые стандартные общепризнанные указания на пути изменения и овладения коммуникативной ситуацией.

Коммуникативная ситуация определяется реальным или мыслимым объектом — предметами обмена между активными участниками коммуникации: отправителями и получателями сообщений. Кроме того, возможны еще и пассивные участники: лица, с которыми взаимодействуют активные участники коммуникации, но которые в ней не участвуют.

Опосредуя отношения активных участников, символические средства выполняют коммуникативные функции, содержание которых — управление поведением активных участников акта коммуникации. Опосредуя отношение активных участников коммуникативной ситуации к пассивным участникам коммуникативной ситуации, символические средства выполняют магические функции.

Опосредуя отношение активных участников коммуникативной ситуации к предметам сообщения, символические средства выполняют познавательные функции: назывную, описательную (включая оценочную) и заместительную, связанную с обобщением, формированием абстракций. Далеко не каждое символическое средство наделено любой из этих познавательных функций. Символы, например, наделены только назывной и заместительной функцией. Иное — знак, который наделен всеми тремя функциями. Важно при этом, что, не отличаясь коммуникативными и магическими функциями, знак и символ различаются не только наличием — отсутствием описательной функции, но также и объемом и содержанием тех познавательных функций, которые являются общими для символа и знака: назывной и заместительной. Функциональное различие знака и символа должно найти свое выражение и в устройстве соответствующих символических форм. Эти различия и предстоит нам выяснить.

3. Естественный язык эффективен в условиях самых разнообразных ситуаций общения. «Среди целого ряда разнородных признаков... языка как знаковой системы особого типа... способность языка относить свои знаки к любой части человеческого опыта любого рода представляется наиболее важной...» [Булыгина, 1967]. Поэтому аналогия естественного языка с таким средством сигнализации, как, например, светофор (часто привлекаемая при обсуждении природы знака), обладает сомнительной ценностью: ведь подобные средства сигнализации призваны описывать конечное разнообразие ситуаций, которые, впрочем, с трудом, с большими натяжками можно было бы подвести под понятие коммуникативной ситуации.

4. Обычно говорят, что язык — это система знаков. Ниже мы попытаемся уточнить понятие знака так, чтобы стала ясной необходимость системности знака, обусловленная внутренне (в отличие от символа) присущей ему предикативностью, свойством быть обусловленным и обуславливать структуру включающего речевого целого, текста.

Предлагаемый ниже обзор и обобщение существующих точек зрения не претендуют ни на полноту, ни на всестороннее описание свойств символических средств и их роли для функционирования языка и коллектива, пользующегося языком. Цель более чем скромная: наметить некоторые подходы к изучению знаковых средств языка, которые возможно окажутся полезными для психолингвистического анализа факторов речевой деятельности и массовой коммуникации.

СВОЙСТВА СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА

Всем символическим средствам языка присущи следующие свойства:

1. Социальная апробированность, варьирующаяся от одних символических средств к другим в достаточно широком диапазоне [Ахманова, 1971]¹.

2. Дискретность, наличие границы [Лотман, 1970].

3. Различимость и воспроизводимость, по сложности сугубо меньшая, чем для обозначаемых реалий.

4. Выполнение социальных (обобщения и общения, вообще познавательных и магических) функций, указание на обозначаемые реалии, будь то мыслимые или реальные объекты, сами символические средства или нет [Пятигорский, 1962; Лотман, Пятигорский, 1968].

5. Устойчивая связь, сопряженность внешних и внутренних форм, в частном случае — их единство [Шпет, 1927].

¹ С этой точки зрения сугубый интерес представляет изучение псевдонимии, процессов терминологизации и детерминологизации, поэгического слова, информационно-поисковых систем и языков.

6. Субстанциальное несоответствие символических средств и обозначаемых ими реалий².

7. Способность к трансмутации одного набора символических средств в другой, у Л. Ельмслева: «Язык — это семиотика, на которую можно перевести все другие семиотики» [Ельмслев, 1960; Булыгина, 1970].

СИМВОЛ

Про символы можно предположить следующее:

1. Каждому предмету может соответствовать по крайней мере один символ.

2. Два предмета имеют один и тот же символ тогда и только тогда, когда между ними существует связь.

3. Символы двух предметов, между которыми существует связь, могут быть никак не связаны в данной символической системе.

Совокупность символов может передать только наличный состав предметов, принадлежащих ситуации, но не связи между ними. В том случае, если достаточно перечислить все предметы, дать номенклатурное, экстенциональное описание ситуации, можно обойтись только символами.

Символы не разложимы на компоненты, которые могли бы функционировать как символы. Поэтому они несопоставимы.

Описание ситуации только символами не предполагает какого-либо принципа аранжировки, который соответствовал бы аранжировке предметов, принадлежащих ситуации. Последовательность символов может соответствовать уникальному набору правил выбора и упорядочения символов, никак не сопоставляющему эту последовательность символов другим из тех же символов. Любая аранжировка символов внутренне, самими символами не определена.

Из сказанного ясно, что регулярное использование одних и тех же символов при описании ряда разных ситуаций предполагает существование в том же языке наряду с символами еще и иных символических средств, которые обеспечивали бы установление тождеств и различий употреблений символов в описаниях ситуаций. В этом отношении символы схожи со средствами языковой анафоры и антиципации, в частности с местоимениями. Такие символические средства должны быть сопоставимы, а потому обязаны быть разложимыми. Именно таковы знаки. Систематическое использование символики, отличающее, например, язык математики, предполагает использование наряду с символами еще и знаков. Эта гетерогенность — существенная особен-

² Это свойство, видимо, связано с третьим. Шкала субтанциональных соответствий символических средств и их денотатов (предельными точками которой являются иконы (образы и диаграммы) и символы), намеченная Ч. Пирсом, обсуждается Р. О. Якобсоном [1970].

ность формальных языков, избавиться от которой при их построении невозможно.

Даже при этих условиях использование символов (как следствие неспособности передать связи символизируемой реальности с другими, неспособности содержать указания на реалии, не обозначенные данным символом) отличается строгой регламентацией. Это выражается в стереотипности символов и формул, последовательностей символов, в стандартности устройства формул, в узкой, специализированной направленности сигнала, состоящего из символов. Социальное поведение при использовании символического кода — разновидность видотипического поведения.

Разновидностью символа является эмблема. От символа она отличается общепринятой конвенциональностью условий употребления, социальной регламентированностью формы плана выражения и плана содержания [Люсев, 1971].

Регулярным для естественного языка является использование такой разновидности символов, как имена собственные [Суперанская, 1973].

Для характеристики символов существенны условия перехода «символ → знак» и симметрического ему перехода «знак → символ».

Переход «символ → знак» (в частности, переход от имен собственных к нарицательным: *макинтош*, *квислинг* и т. п.) реализуется в ходе выделения в целом его части и обозначения связи референта с ему подобными и отличными по классу, в ходе снятия индивидуализирующих характеристик, т. е. в процессе перехода от уникального референта к классу референтов и системе, в которую он включен.

«Превращение нарицательного имени в собственное обозначает прежде всего утрату понятия и превращение слова в кличку.

... Если переход собственных имен в нарицательные не является обязательным, а зависит от конкретной ситуации и проявляется при надобности, то переход нарицательных в собственные — это регулярное явление: все собственные имена любого типа, за редкими исключениями придуманных кличек, — в прошлом нарицательные.

...Превращение собственного имени в нарицательное связано с наполнением слова понятием» [Реформатский, 1967].

ЗНАК

Знак есть некоторое обобщение символа, призванное фиксировать не только и не столько предмет действительности, сколько связи между предметами³.

Для единиц множества знаков можно предполагать справедливость следующих утверждений:

1. Утверждения 1 и 2 толкования понятия «символ».

³ Фиксация этих связей представляет собой основание внутренней формы знака, ср. в этой связи [Шпет, 1927].

2. Каждому знаку соответствует по крайней мере один символ.

3. Два предмета, между которыми есть связь, могут иметь каждый по такому знаку, что существует по крайней мере одна последовательность знаков — окрестность (= контекст) каждого из этих знаков, которая содержит оба знака.

4. Если имеется некоторая окрестность знака — последовательность знаков, содержащая этот знак, то знаки, содержащиеся в этой окрестности, относятся к предметам, между которыми есть связь.

Окрестности знака

Про окрестности знака можно предполагать следующее:

1. Каждая окрестность знака содержит по крайней мере один знак.

Окрестность знака, которая содержит только сам этот знак, тривиальна. Все иные окрестности нетривиальны. Множество окрестностей знака не исчерпывается тривиальной окрестностью знака. (Условие синтагматичности знака).

2. Каждая окрестность знака может быть знаком. Каждая окрестность такого сложного знака может быть окрестностью знаков — составляющих, обратное неверно. (Условие иерархии знаков и их контекстов).

3. Для двух произвольных знаков найдется такая окрестность, которая содержит один из них, но не содержит другой. (Условие 1. дифференцируемости (= делимости) знаков и 2. делимости окрестностей).

4. Множество окрестностей, содержащих данный знак, однозначно соответствует данному знаку, если оно содержит тривиальную окрестность. (Условие автономности знака).

5. Если множество окрестностей, содержащих данный знак, не содержит тривиальной окрестности этого знака, то это множество окрестностей может соответствовать более чем одному знаку.

6. Множество всех окрестностей, содержащих данный знак, содержит множество знаков для предметов, которые связаны с предметом, которому сопоставлен данный знак.

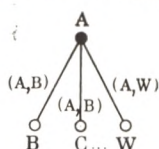
7. Множество всех окрестностей, содержащих данный знак двух предметов, может содержать такие два множества знаков, пересечение которых не содержит ничего, кроме данного знака.

8. Если два знака относятся к одному и тому же предмету, то множество окрестностей для одного из знаков содержится в дополнении ко множеству окрестностей для другого знака. (Условие парадигматичности знаков).

9. Пересечение множеств знаков, содержащихся в окрестностях двух знаков одного и того же предмета, содержит по крайней мере один такой знак, множество окрестностей которого включает первые два множества окрестностей.

Структура знака

В силу сказанного, знак — это такое единство плана содержания и плана выражения, где план содержания — двучастная организация имени называемого компонента ситуации A и совокупности $\Sigma(A)$ имен связей названного компонента ситуации с другими компонентами той же ситуации, неназванными данным знаком: $\Sigma(A) = (A,B), (A,C), \dots, (A,W)$. План содержания может быть представлен следующим деревом, где реб-



ра и зачерненная вершина — компоненты смысловой структуры знака, а незачерненные вершины — имена предполагаемых символических средств (символов или знаков)⁴.

Если план содержания знака обозначить X , а план выражения той же буквой без марровских кавычек, то структура знака $\sigma(A)$ — это тройка объектов вида

$$\sigma(A) = \langle 'A, \Sigma(A)', A \rangle$$

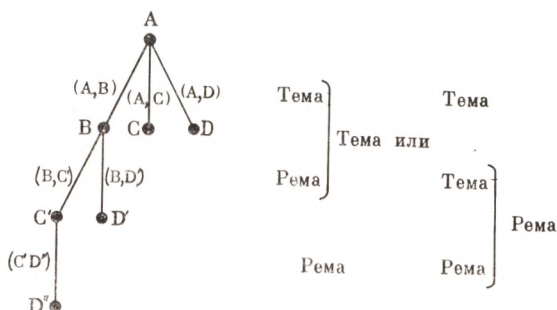
Знак — это прежде всего схема, «обобщенный принцип дальнейшего развертывания скрытого в нем смыслового содержания ..., перехода от обобщенно-смысловой характеристики предмета к его отдельным, конкретным единичностям» [Лосев, 1971] на основе реализации его валентностей.

Валентность — неотъемлемый, конституирующий атрибут знака: знак может быть реализован только в тексте, существование контекста — необходимое условие функционирования знака. Из приведенной характеристики внутренней структуры знака ясно, что каждый знак содержит в себе указание на его возможные контексты и является символом всех этих контекстов. Контекстная обусловленность единиц текста является отличительной чертой текстов естественных языков, отличительной чертой естественных языков в их оппозиции формализованным языкам логико-математического типа. В этой связи изучение контекстного варьирования лингвистических единиц и построение контекстно-связанных грамматик в рамках теории порождающих моделей представляется делом первостепенной важности.

Реализация знака предполагает замещение одной валентности (подчинение, линейная тактика развертывания) или нескольких

⁴ Если A и B — компоненты ситуации, а (A, B) — связь между ними, то связь знака $\sigma(A)$ с другими знаками — возможными обозначениями компонента ситуации B — и совокупность всех таких знаков называется валентностью. Ограничение совокупности таких знаков до одного единственного в тексте условимся называть замещением валентности.

валентностей (соподчинение, нелинейная тактика развертывания знака). Разумно думать, что не все знаки при каждом их использовании и не все использования каждого знака характеризуются замещением всех валентностей. Незамещенность одних связывает данный знак с предшествующей частью текста или с предыдущими текстами, незамещенность других обеспечивает построение на основе данного текста других текстов или продолжение данного текста (понимание текста). Валентность может быть замещена символом (безусловный останов развертывания), но может быть замещена и знаком. В последнем случае ограниченность текста [Лотман, 1970] требует особого механизма регуляции. Им может быть, в частности, механизм актуального членения, когда содержание темы⁵ строго включает содержание ремы, иначе, когда рема повторяет множество валентностей тем в редуцированном виде. Этот принцип регулярного развертывания знаков может быть пояснен схемой:



Дальнейшее усложнение схемы связано с тем, что валентности требуют своего замещения, но не накладывают никаких ограничений на вид замещающих знаков, а они могут быть простыми, состоящими из одного знака, но могут быть и сложными, представляющими собою нетривиальную окрестность знака, сочетание знаков.

Структура знака определяет необходимость текста, синтагматики. Но столь же очевидно, что структура знака определяет и необходимость парадигмы.

' $\Sigma(A)$ ' — необходимая принадлежность плана содержания знака $\sigma(A)$. План выражения знака, как и план выражения символа, ориентирован прежде всего на 'A'. В любом случае для большинства знаков нетипично присущее фразеологизмам обозначение внутризнаковыми средствами каких-либо связей 'A'. По-

⁵ В этой связи существенна гипотеза Н. Д. Арутюновой о том, что «те элементы, которые выполняют в высказывании идентифицирующую функцию, входя в состав темы, имеют денотативное значение. Напротив, слова, выполняющие в высказывании функцию ремы, сообщаемого, остаются обычно на сигнификативном уровне» [Кручинина, 1971].

Этому неотъемлемые и существенные характеристики $\sigma(A)$ остаются в самом $\sigma(A)$ необозначенными. Выход только один: размножить $\sigma(A)$ и каждой копии приписать указатель на его валентности, допустить возможность формообразования для знаков. Индексы эти могут не зависеть от $\sigma(A)$ или класса, которому принадлежит $\sigma(A)$. Если они к тому же еще и стандартны, то формы $\sigma(A)$ являются словоизменительными. В противном случае они являются словообразовательными. Предельный случай нестандартности индексов валентностей в их связанности с обозначением 'A' — супплетивизм.

Синтагматика и парадигматика, таким образом, имеют единое основание. Это же верно для словоизменения и словообразования. И в этом, и в другом случае — это формы согласовательных классов [Зализняк, 1966]. В зависимости от указанных факторов одни и те же формы знака в одном языке являются словоизменительными, а в другом — словообразовательными, в одном выражаются сочетаниями знаков, в других — одним знаком. Знаки могут специализироваться в роли индексов валентностей, в этом случае они полузнаменательны или вообще незнаменательны. Для обсуждаемой проблемы существенно заметить, что индексы словоизменительных и словообразовательных форм знака не являются знаками: они лишь символы (в системе языка символы второго порядка), символы принадлежности данному знаку его валентности. Ясно также и другое: подобные индексы вне знаков символическими средствами не бывают, они получают свое значение и значимость в знаке и через посредство знаков. Сами же знаки без этих индексов хотя и имеют значение, но не имеют значимости, не являются членами системы, ср. [Шпет, 1927; Смирницкий, 1954, 1955; Слюсарева, 1967]. Знак характеризуется своими валентностями. Если объектом знакообозначения является сама валентность, т. е. класс знаков, попеременно вступающих со знаком A в связь α , то знаком этого класса знаков может быть индекс этой валентности для знака A (особенно если он присущ многим знакам этого класса знаков). Оба процесса — образование индексов из знаков и образование знаков из индексов — давно известны лингвистике и получили названия грамматикализации и деграмматикализации.

«Высокоразвитые речевые системы человека аналогичны математической алгебре (может быть, это и создало возможность ее дальнейшей формализации до «логической алгебры» Буля и др.)... Для математической алгебры характерно наличие условных знаков — символов двух родов: номинативных символов (такими обычно служат буквы) и операторных символов, обозначающих функциональные отношения между первыми и те действия, которые надлежит над ними произвести ...

Это же наблюдается в структурной речи, свойственной человеку. Ее номинативные символы (имена, знаки качеств, причастные формы и т. д.) представляют собою условные фонемы или

графемы, обозначающие различные содержания в составе мыслительного процесса. Наряду с ними имеет место богатая лексика операторов-слов..., создающих между первыми смысловые функциональные отношения и превращающие речь-словник в речь — орудие познания мира и действия в нем.

Сами эти слова — операторы и этимологические операторы (связки, суффиксы, падежные формы и пр.) ничего не отображают и не несут никакой предметной нагрузки совершенно аналогично тому, как работают в алгебре знаки $+$, $-$, $\sqrt{}$ и т. п. Но может быть величайшим открытием на заре человеческого разума явились как раз эти операторы — слова и мысли» [Бернштейн, 1963].

Два основных вида отношений знаков

Если A и B знаки, а $T(A)$ — окрестность знака A , $T(B)$ — окрестность знака B и $T(A, B)$ — окрестность знаков A и B , то, следуя Ю. А. Шрейдеру [1971], можно описать наши представления о синтагматических и парадигматических отношениях знаков так.

Отношение $A \propto B$ называется парадигматическим, если по свойствам окрестности $T(A)$, содержащей знак A , можно судить о свойствах окрестности $T(B)$, полученной заменой A на B и некоторых обусловленных этой заменой преобразований.

Отношение $A \beta B$ называется синтагматическим, если из выполнения этого отношения следуют некоторые суждения об окрестностях вида $T(A, B)$, содержащих знак A и знак B одновременно.

Парадигматические отношения (синонимия, род — вид, часть — целое) находят выражение в дистрибуции элементов в тексте, синтагматические отношения (название объекта — название одного из характерных для него свойств, в том числе связей, возможных оценок и т. п.) — в сочетаемости элементов в тексте.

Оба приведенных определения предполагают необходимость связности, синтагматической и парадигматической непрерывности. Например, текст связан, если по осмотренной части текста можно делать правдоподобные предположения о неосмотренной части текста. В этой связи понятно, что грамматика текста обязана описывать не столько структуру текста, сколько возможные его изменения, в частности распространения.

Антиномии структуры плана содержания знака

Минимальный знак в плане содержания — это нерасчлененное обычно указание на референт A и пару референтов A и B (связь референта A с референтом B). Таким образом, знак — одновременно и пара, и член пары.

Разрешение этого противоречия — в необходимости взаимосвязанности синтагматики и парадигматики, словоизменения и слово-

образования, «наличия линии отбора и линии сочетания, связанного с этим наличия, наряду с элементарными знаками, знаков определенной иерархической структуры, состоящих из знаков меньшей степени сложности» [Булыгина, 1967].

Минимальный знак — это единство указания на неразложимое в данной системе (референт А) и составное целое (пара референтов А и В).

Разрешение этого противоречия — в членимости любого знака на части, сигнализирующие о целом, во-первых, о синтагматических и парадигматических условиях существования знака, во-вторых, членение на идентифицируемое и идентификатор, если подходить к языку с позиций динамического его описания. Иначе говоря, основной формой синтагматических отношений является подчинение, детерминация, идентификация, отношение операнда и оператора. В теории порождающих грамматик осознание этого факта реализовано в грамматике зависимостей [Мельчук, 1964; Гладкий, Мельчук, 1969] и аппликативной грамматике [Шаумян, 1965, 1971].

СОДЕРЖАНИЕ СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Предмет, сопоставленный символу, есть значение символа. Предмет, сопоставленный знаку, есть значение знака, денотативное, если это представитель класса, десигнативное — если это весь класс предметов. Функция, ставящая в соответствие знак и предмет, называется номинацией.

Нетривиальное множество всех окрестностей, содержащих данный знак, есть смысл этого знака. Функция, ставящая в соответствие знаку множество окрестностей, содержащих знак, называется коннотацией. Функция эта может быть задана экстенционально, может представлять перечень окрестностей, а может быть задана интенционально с помощью некоторого устройства, порождающего этот перечень (и только его) на основе данных о конституентах окрестностей (или их признаков), об их классах, о правилах их организации в окрестности. Подобные устройства изучаются теорией порождающих грамматик.

Знак разумен, если множество его окрестностей не исчерпывается самим знаком.

Функцию, ставящую в соответствие множество всех окрестностей, содержащих данный знак, и любое собственное подмножество этого множества, кроме тривиальной окрестности этого знака, назовем его содержанием. Знак, которому приписано содержание, является содержательным знаком. Содержательный знак допускает языковую абстракцию, переход от подмножества окрестностей к включающему его множеству.

Всякий содержательный знак разумен. Не всякий разумный знак содержателен.

Функцию, которая множеству всех окрестностей, содержащих данный знак, ставит в соответствие объединение непересекающихся собственных подмножеств этого множества, кроме тривиальных, назовем полисемией.

Знак, которому приписана полисемия, назовем многозначным. Всякий многозначный знак содержателен, но не всякий содержащий знак многозначен.

Непустое пересечение множеств окрестностей для данного знака a и для некоторого другого знака b , отличающегося от множества окрестностей по крайней мере одного из двух знаков, является составляющей смысла каждого из сопоставляемых знаков, скажем, составляющей смысла знака a (относительно знака b).

Функцию, которую ставит в соответствие смыслу знака a составляющую смысла знака b , назовем семантической предсказуемостью (семантическим согласованием, мотивацией) b по a . Мотивация b по a и a по b является перифразой, если составляющая смысла знака a (относительно b) и составляющая смысла b (относительно a) совпадают. Семантическим выводом b из a назовем любую такую последовательность мотиваций знаков $a_1, \dots, a_{n-1}, a_n, a_n \equiv b$, при которой каждое a_i мотивировано любым предшествующим a_{i-1} и составляющая смысла знака a_i (относительно знака a_{i-1}) и составляющая смысла знака a_{i-1} (относительно знака a_i) таковы, что 1) либо первая включает вторую (семантическое свертывание), либо вторая включает первую (преодоление семантического эллипсиса) и 2) для данной совокупности знаков различия составляющих минимальны. Вывод однороден, если для всех пар $\langle a_i, a_{i+1} \rangle$ он либо конденсация (=семантическое свертывание), либо устранение эллипсиса. Семантический квазивывод отличается от семантического вывода тем, что требуется согласование лишь a_i и a_{i+1} (а не a_i и любого предшествующего ему a).

Семантика символа — это его номинация, семантика знака — это еще и коннотация и, что особенно важно, организация его содержаний.

Исследование разумности знаков — это анализ и описание в виде грамматики (организации правил) предсказуемости по семантическим характеристикам данного знака семантических характеристик знаков, синтагматически и парадигматически связанных с первым. Основная проблема теоретической семантики на этом пути — проблема семантической интерпретации, установления содержания произвольных компонентов окрестностей знака (особенно непосредственно с ним не связанных), исходя из семантики этого знака, ср. [Weinreich, 1965; Шрейдер, 1965]. Исследование семантического вывода [Шаумян, 1971] представляется важнейшим условием адекватной теории содержательного знака. Вниманию и анализу подлежат обе формы семантического вывода: семантическое свертывание (конденсация) и преодоление семантического эллипсиса [Поливанов, 1927; Винокур, 1930; Могилевский, 1966; Иванов, 1962; Сапогова, 1968; Ахманова и др.,

1971; Леонтьева, 1965, 1967, 1968; Жолковский, Мельчук, 1965].

В связи со сказанным представляется целесообразным еще раз вернуться к валентности, теперь уже с точки зрения ее содержания. Валентность — реприза семантических компонентов знака. Разграничение обязательных и факультативных валентностей данного знака фиксирует неоднородность по значимости семантических компонентов знака. Упорядоченность валентностей, их совместимость друг с другом (или несовместимость), отношения предсказуемости одних валентностей по другим (необходимость существования и реализации одних валентностей для существования и реализации других) — все это вместе взятое отражает композицию, внутреннюю организацию знака как модель возможных его реализаций в тексте. В этой связи существенно моделировать не просто сентенциональность знака, но множественность его окрестностей, подчиняющуюся четким правилам, их организованность.

СИСТЕМНОСТЬ СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

Символические средства естественного языка или имеют валентности (знаки, признаки типа А), и/или замещают валентности знаков (знаки и символы, признаки типа Б). Оба типа признаков необходимы, если ведущей чертой естественных языков является контекстная связность единиц языка как членов текста. На основе этих признаков символические средства языка объединяются в классы и противопоставляются друг другу в пределах класса, образуют систему взаимосвязанных единиц. Знаки обладают как своими собственными признаками (признаки типа А), так и признаками, индуцированными другими знаками (признаки типа Б), место символа в системе языка задается только признаками типа Б.

Важно подчеркнуть, что в основу интерпретации признаков символических средств, определяющих их место в языковой системе, должен быть положен тот факт, что валентность, фиксируя связь референтов номинации, указывает на те их качества, которые в этой связи референтов и проявляются. Неудивительно поэтому, что семантический анализ текстов обнаруживает постоянную повторяемость в тексте одних и тех же семантических составляющих.

Рассматриваемые признаки символических средств естественного языка не имеют своего собственного выражения, это одноплановые сущности плана содержания символических средств языка, так называемые «фигуры плана содержания», а потому находятся за пределами арсенала двухплановых символических средств языка.

Признаки обоих типов конституируют содержание символических средств. Относительно системы о каждом из них

можно говорить как об организации (коллективе, иногда говорят еще о пучке) признаков, для данного знака, скажем, дифференциальных при его оппозиции одним знакам и символам, интегральных при его оппозиции другим знакам и символам.

Современность и тенденция к изоморфизму плана выражения и плана содержания символических средств, системность плана содержания двуплановых единиц языка определяют необходимость системности и их плана выражения. Именно это обстоятельство является источником и содержанием членимости плана выражения символических средств языка на одноплановые единицы плана выражения: фонемы и дифференциальные признаки. Это тоже «фигуры», но плана выражения.

«Подобно тому, как означающее какого-либо нового языкового знака ново только в том смысле, что представляет собой новое сочетание уже известных фонем (фигур выражения, которые в принципе могут в других случаях быть самостоятельными означающими), его означаемое является новым только в том смысле, что это новая комбинация уже известных семантических элементов, т. е. фигур содержания, способных в иных случаях быть означаемыми отдельных знаков» [Булыгина, 1967]. И фигуры плана выражения, и фигуры плана содержания определяют пространства реальных и потенциальных единиц плана содержания и реальных и потенциальных единиц плана выражения соответственно. Оба пространства независимы, каждое из них обладает своей метрикой. На паре этих пространств задано отображение одно пространства в другое, результат которого — множество знаков. Особенности этого отображения таковы, что между единицами плана содержания и единицами плана выражения существуют много-многозначные отношения. Это находит свое выражение в асимметрии плана содержания и плана выражения знаков, в синонимии и омонимии знаков.

Классная организация символических средств, наличие фигур плана выражения и плана содержания определяют возможность описать механизм использования символических средств с помощью правил, число которых меньше числа используемых символических средств и их сочетаний, во-первых; описывающих одинаково просто не отдельные факты, а их классы, внешне, а часто и по сути весьма различные, во-вторых.

АССОЦИАТИВНОСТЬ ЗНАКА

В противоположность символу знак всегда предполагает другие знаки. Знак ассоциативен. Основа ассоциаций по смежности — наличие непустого пересечения множеств окрестностей ассоциируемых знаков: чем меньше мощность дополнения в каждом множестве окрестностей к этому пересечению, тем значительней сила ассоциации. Основа ассоциаций по сходству — включение множества окрестностей одного знака во множество окрестностей

другого знака; чем больше различия в мощности этих двух множеств окрестностей, тем слабее ассоциация.

Семиологизация ассоциаций знаков приводит к символическим классификациям — наиболее примитивным результатам метаязыковой деятельности [Durkheim, 1963; Rigby, 1966; Turner, 1966; Вяч. Иванов, Топоров, 1965].

Представление об ассоциациях по сходству и по смежности получает более глубокую трактовку в теории тезаурусов — «множеств смысловыражающих элементов (слов, словосочетаний и т. п.) некоторого языка с заданными смысловыми отношениями» [Шрейдер, 1963, 1965, 1971].

НЕЧЛЕНИМОСТЬ СИМВОЛА И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ

Всякий символ соотнесен по крайней мере с одним предметом. Эта отнесенность символа к предмету и сам предмет и есть его значение.

При обозначении компонентов ситуации каждый такой компонент обозначается символом как целое, неделимое. Каждое значение символа не членимо и не сопоставимо ни с одним другим его значением, равно как ни с одним значением какого-либо иного символа, обозначающего предмет, отличный от данного или ему тождественный.

Каждый символ содержательно может относиться к одному и только к одному компоненту коммуникативной ситуации, хотя один и тот же компонент ситуации в силу несопоставимостей значений может иметь несколько символов. Совокупность символов знает равноименность, но не знает правил содержательного выбора, предпочтения одного символа по содержанию другому: ведь значения символов либо неразличимы, либо не могут быть различены, поскольку последнее предполагает сравнимость, а символам она не присуща. Поэтому перевод знака в символ автоматически ведет к утрате всех его различительных семантических признаков, кроме того единственного, который выделял ранее данный знак среди всех прочих, который был приметой этого знака и его значения.

Символ может быть сопоставлен по крайней мере одному предмету. В разных употреблениях символ может соответствовать и нескольким предметам. Но значения эти никак не могут быть объединены в силу их несопоставимости — символ не может быть многозначным. Символы могут быть омонимами. Но различить омонимы-символы нельзя.

Содержательная несопоставимость символов определяет невозможность разбить их на классы, организовать символы в содержательные категории. Поэтому символы не знают парадигматики и какой бы то ни было групповой различимости.

Несопоставимость содержания символов отрицает и какие-либо содержательные основания организации символов в цепочки. По-

строение цепочек символов задается извне, независимо от содержания каждого символа. Каждому инференциальному отношению цепочек соответствует определяющее его правило вывода, содержательно никак не связанное ни с содержанием цепочек, ни с правилами их построения. Грамматика символов не знает содержательных оснований, определяемых самими символами.

Нерасчлененность, неразложимость символов, невозможность их упорядочить по внутренним основаниям, упорядочиваемость символов только по внешним, заданным извне правилам затрудняет использование символов автоматом с конечной памятью, мощность которой незначительно больше этой совокупности символов. Это определяет и пути развития символики, прежде всего замещение цепочек символов отдельными символами с последующим усложнением грамматики за счет последовательного ряда надстроек. Оперирование с символической предполагает построение метаязыка.

Множество символов всегда ограничено. Это следствие содержательной нерасчлененности и упорядочения символов на основе внутренне не связанных с ними правил (как и сами причины этих особенностей символов) определяет отсутствие необходимости в различительных признаках формы символов, хотя у каждого из них могут быть компоненты формы. Важно то, что эти компоненты формы не служат ни различению, ни отождествлению символов. Их единственная функция — обеспечить успешное опознавание каждого из символов независимо от других. В отдельности символ сам по себе никак не имплицитно подразумевает системы символов.

Сопоставление предмета символу не является самоцелью символизации. При символизации важно отослать к ситуации, участник которой — обозначенный символом предмет. Поэтому либо сам символ должен указывать на ситуацию, либо организация символов должна содержать указания на связи предметов, характерные для ситуации.

В последнем случае грамматика могла бы быть совокупностью также символов, но тогда возникает проблема, «кто будет сторожить сторожа», если, конечно, ситуация не есть нечто уникальное, невоспроизводимое, не связанное ни с какими иными ситуациями.

Использование совокупности символов предполагает использование системы знаков.

ЧЛЕНИМОСТЬ ЗНАКА И ЕЕ СЛЕДСТВИЯ

Компоненты содержания знака — его значение и смысл. Не будь последнего, о членности знака нельзя было бы сказать ничего другого, кроме сказанного о членности символа. Кардинальное отличие знака от символа — передача знаком связей компонентов ситуаций — определяет обязательность смысла как ком-

понента содержания знака, передающего, фиксирующего взаимодействия компонентов ситуации. Смысл, по определению, предполагает сопоставимость знаков, а потому их членимость и в плане содержания, и в плане выражения. Итак, членимость — императивное свойство любого знака. Сопоставимость — другая сторона членимости — обеспечивает возможность для знака полисемии, отнесения знака к ряду разнородных предметов. Различия в способах фиксации связей предметов определяют различия смыслов и тем самым различия значений, к которым смыслы приписаны в качестве образательных атрибутов. Это определяет преимущественную идеографичность синонимии знаков (в отличие от абсолютности синонимии символов) и возможность существования грамматики синонимов, шире перифрастических средств языка. Сопоставимость знаков определяет возможность и их различения (отдельности и отделимости), и их отождествления, их единства и классности.

Сопоставимость делает символ знаком. Всякий знак и в плане выражения, и в плане содержания есть пучок различительных признаков, есть некоторая организация этих признаков. Организованная совокупность различительных признаков — вот что составляет отличие знака от символа, если сравнивать их внутреннее устройство.

Различительные признаки обеспечивают не только успешное опознавание, характеризацию знаков, их различение и отождествление. Они фиксируют границы варьирования содержания и формы знаков. Они создают возможность обогащения системы новыми знаками, обеспечивая вместе с тем самотождественность данной совокупности знаков и предсказания свойств целого по некоторой его части.

Мотивация знака его системой опосредована различительными признаками знаков. Иначе говоря, различительные признаки знаков — залог их системности. Автономия плана содержания и плана выражения знака определяет возможность независимой мотивации его формы и содержания. Импульс к созданию нового знака может идти и от означающего, и от означаемого. Одним из определяющих внутренних факторов развития системы знаков является тенденция к синхронизации, соответствию плана содержания и плана выражения знака.

Знак не может мыслиться в отрыве от других знаков. Все они вместе, и только вместе, призваны опосредовать ситуацию в человеческом общении.

Отсюда следуют два важных вывода.

1. Связанность знаков абсолютна.
2. Членораздельность знаков относительна и регулируется лишь групповой различимостью [Реформатский, 1933].

Теоретические следствия этих двух постулатов.

1. Тожество знаков есть ведущее начало в единстве тождество — различие, определяющем системную значимость знаков. Поэ-

тому основными формами существования знаков является синонимия и гиперзнаковые ситуации, с одной стороны, омонимия, нейтрализация и синкретизм — с другой. Основным законом существования знаков является их классная организация.

2. Относительность членораздельности и абсолютизм связности определяют ведущую роль синтаксической организации предложения в категориальном насыщении компонентов высказывания. Слова получают те грамматические категории, которые им приписывают образование и преобразование высказывания. В условиях, когда число знаков достаточно велико, а время выбора и аранжировки мало, классная организация определяет эффективность использования знаков. Последняя предполагает групповую различимость и необходимость правил выбора сначала среди групп знаков, а потом в пределах каждого из них. Различительные признаки (и плана выражения, и плана содержания знака) получают в этой связи новое качество: каждый из них — это тот или иной возможный путь снятия, ограничения неопределенности означаемого или означающего. Групповая различимость обеспечивает компактное, экономное хранение и использование знаков. Она предполагает парадигматику языка и правила выбора. Она требует уровней их организаций. В условиях групповой различимости всякая последовательность знаков строится как целое в несколько этапов, а не как одномоментное, симультанное сложение уже готовых единиц текста.

Из сказанного ясно, что грамматика множества знаков адекватна в той мере, в какой она учитывает наличие двойного членения знаков и в плане выражения, и в плане содержания, иерархическую классную организацию знаков, многоэтапность в построении знаков-высказываний, активный характер дифференциального, различительного признака как средства разрешения неопределенностей при многоэтапных, скоординированных и параллельных процессах построения знаков и их окрестностей, в частности как средства согласования содержаний и форм знаков, сопряженных в данном тексте, преодоления их избыточности и компенсации недоопределенного.

ФОРМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАКА

Двумя основными носителями знаковых функций в языке являются слово и предложение.

Каждому знаку можно приписать четверку чисел, каждое из них описывает число связей, нечетные — данного знака с ему подобными, четные — между составляющими знака, первая пара относится к плану содержания, вторая — к плану выражения. М. В. Арапов и Ю. А. Шрейдер доказали, что при некоторых естественных предположениях с ростом числа внешних связей, внешней сложности знака (числа связей знака с ему подобными), уменьшается число внутренних связей (внутренняя слож-

ность — расчлененность знака, число связей между его составляющими) и наоборот [Арапов, Шрейдер, 1970].

Естественно предположить, что предложение и слово (разумеется, в разной степени для разных слов и разных предложений) с этой точки зрения представляют собою два полюса: для слова в плане содержания внешняя сложность стремится к максимуму, внутренняя — к минимуму, в плане выражения внешняя сложность слова стремится к минимуму, внутренняя — к максимуму; для предложения в плане содержания внешняя сложность стремится к минимуму, внутренняя — к максимуму, в плане выражения внешняя сложность — также к минимуму, внутренняя — к максимуму. Зеркальная симметрия плана содержания и плана выражения слова противопоставлена параллелизму, точнее симметрии, по типу четности плана содержания и плана выражения предложения, большая сложность соответствия плана содержания и плана выражения для предложения — меньшей сложности подобного соответствия для слова, единообразие в принципах организации двух сторон знака для предложения — отсутствию этого единообразия для слова.

Большая внутренняя расчлененность предложения является условием адекватного отображения связей между компонентами ситуации (структуры обозначаемой ситуации), делает предложение основным средством наименования и описания ситуации (сообщения о ситуации как сложном целом). Ввиду этого теория номинации должна быть прежде всего синтаксической. Слово же специализируется в качестве средства называния компонентов ситуации, в том числе и других ситуаций, но уже как овестьствованных относительно ситуации, названной тем предложением, где используются слово — имя овестьствованной ситуации. Моделью предложения с именем — названием овестьствованной ситуации — является сложноподчиненное предложение и его эквиваленты, в том числе и простое предложение. Схемы подобных предложений можно рассматривать как простейшие модели текста. Выбор одной из эквивалентных схем предложения — знака ситуации второго порядка, т. е. ситуации, компонентом которой является другая, овестьствованная ситуация (при этом не имеющая в качестве своего компонента знака какой-либо другой ситуации), определяется тем, что представляют собою знаки компонентов ситуации.

Принадлежность знака-предложения тексту, наличие у него внешних связей (хотя бы и имплицитных) определяет различия знаков-описаний одной и той же ситуации. Это выражается и в том, что в зависимости от ситуаций, современных с данной, фиксируются разные связи одних и тех же компонентов этой ситуации (ср. понятие совместимых и несовместимых валентностей глагола). Различия предложений — описаний одной и той же ситуации могут сводиться и к различиям в оценке ориентации связей одних и тех же компонентов ситуации (ср. понятия ло-

гического ударения, залога). При описании одной и той же ситуации сообщения о ней в виде предложений могут отличаться из-за различий в оценке значимости одних и тех же компонентов ситуации по отношению к этой ситуации в целом и к другим ее компонентам (ср. понятия обязательной и факультативной валентности). Особенности связи данной ситуации с другими ситуациями фиксируются, наконец, средствами анафоры — репризы и пролепсиса, в частности модальными, временными и видовыми вариациями одной и той же структуры знака-предложения. Выражение модальности (в широком смысле слова включающей и вид, и время, и залог) является обязательным атрибутом предложения (в противоположность слову, которое если и фиксирует эти различия, то факультативно и редуцированно). Все сказанное фиксируется особенностями трансформационных и парадигматических вариаций, регулярных реализаций, дистрибутивных возможностей, различной значимостью разных типов предложений, описывающих одну и ту же ситуацию. Подробнее обо всем сказанном см. [Ильин, Лейкина и др., 1969; Шведова, 1970].

Расчлененность предложения обеспечивает возможность повторения информации о тех или иных компонентах ситуации, обозначенных самостоятельно, отдельными знаками или синкретично, в составе обозначений других компонентов ситуации. Воспроизведение, а подчас и дублирование обозначений одних и тех же компонентов ситуации и их связей друг с другом и с ситуацией в целом (обеспечиваемое расчлененностью предложения) определяет его семантическую непрерывность и в значительной степени однозначность, воспроизводимость по данному предложению других предложений или частей. Иное — слово, обычно не позволяющее воспроизвести широкий его контекст, допускающее несколько означаемых [Уфимцева, 1970]. Предложение обычно однозначно, слово обычно многозначно. Эта особенность слов позволяет знаку ситуации — слову зафиксировать принадлежность данной ситуации широкому классу ситуаций, у которых есть общие компоненты. Слово оказывается мощным средством обобщения, основой для выполнения языком функций средства культурно-исторической памяти общества, пользующегося данным языком. Предложение именует и сообщает, слово, участвуя в предложении и через его посредство, еще и обобщает. Предложение — необходимое условие для того, чтобы слово обобщало. Слово — необходимое условие для того, чтобы предложение сообщало.

Наличие шкалы знаков, отличных друг от друга по своей сложности (внешней и внутренней), оппозиция предложения («полного знака») слову («частичному» знаку), равноосновность и дополнительность предложения и слова по их знаковым функциям (вопреки и мнению де Соссюра, и мнению Бюлера), в основе которых лежит ориентация предложения на сообщение,

коммуникацию, и ориентация слова на обобщение — универсалии языка, отличающие его от других знаковых систем, где нет слова, а тем самым нет и предложения, где все знаки одновременно и предложения, и слова.

Представление о слове и предложении как основных единицах языка существенно при построении моделей и языка, и речевой деятельности (желательней и необходимее было бы говорить не о модели, а об упорядоченном наборе — их может быть несколько — моделей разной разрешающей силы. К сожалению, от реализации этой необходимости и психолингвистика, и лингвистика весьма далеки). Из сказанного ранее ясно, что в основу построения адекватных моделей языка должны быть положены понятия предложения — знака ситуации (события), слова — знака компонента ситуации и преобразований, связывающих предложение и слова. Опыт модели языка такого типа представляет собою аппликативная грамматика [см. Шаумян, 1965, 1971].

ЗНАК КАК ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СИТУАЦИИ, ОБОЗНАЧЕННОЙ ЗНАКОМ

Знаки существуют, поскольку каждый из них воплощает программу деятельности участников коммуникации в ситуации, обозначенной знаком. Деятельность человека как члена коллектива опосредована системой знаков; это залог и выражение ее социальности и продуктивности.

Продукт знаковой деятельности человека как члена социума — это — организация предметных действий, возможных уже у приматов, в специфическую для человека, в предметную, конструктивную, продуктивную деятельность, опосредующую отношение коллектива (и человека как члена коллектива) и предметной действительности, частью которой является и коллектив. Знаки обеспечивают эффективную координацию, ограничение степеней свободы совершаемого действия в условиях, когда число степеней свободы действия — компонента продуктивной деятельности — значительно возрастает из-за сложности ситуаций, в которые включается человек. Эта специфическая для человека организация действий в предметную деятельность (отражающую структуру действительности, адекватную этой структуре, отношению «социальный коллектив — предметная действительность») является содержанием знаковой деятельности, форма которой — организация (или организации) знаков в текст. Соучастниками этих знаковых действий могут быть знаки разной природы, разных уровней организации: языковые знаки и надстроенные над этой первичной семиотической моделирующей системой знаки вторичных моделирующих систем, кино, живописи, фольклора и т. п. Практическая жизнь человека, продуктивная дея-

тельность человеческого общества формирует и организует в единство отдельных все эти средства программирования предметной деятельности человека.

Система знаков как отражение действительности и отношения к ней общества определяется продуктивной деятельностью общества и фиксирует культурно-исторический, в том числе и производственный, опыт данного общества. Будучи производной от этого опыта, система знаков в то же время автономна по отношению к нему, обладает своими собственными внутренними законами функционирования, подлежащими познанию. Эти имманентные законы существования и функционирования систем знаков — предмет семиотики, внутренние законы существования и функционирования системы языковых знаков — предмет лингвистики, а в ее составе и психолингвистики.

Обладая внутренними законами существования функционирования, изменения, эволюции, знаковая система в каждый данный момент времени независима от коллективного субъекта речевой деятельности, объективна по отношению к нему, являет собою часть той действительности, с которой взаимодействует, которую преобразует, которую осваивает научно, теоретически и практически субъект речевой деятельности. Отношение общества к языку, искусственному или естественному, условия, способы и средства построения искусственных языков, искусственных знаковых средств сбора, хранения, преобразования и передачи информации, связь базиса и надстройки данного общества и языка, проблемы «языковой политики» и «культуры языка», в самом широком смысле этих терминов включают лингвистику, и особенно психолингвистику, в филологию и в науки, изучающие массовую коммуникацию. Освоение языка субъектом речевой деятельности, ограничения произвольности его знаковой деятельности, мотивация и стандартизация речевого действия на пути от знаковой интенции к знаковой деятельности составляет предмет взаимных интересов психолингвистики, теории обучения, педагогики и психологии.

Отношение знака к предметному содержанию знаковой ситуации, к системе знаков, которой он принадлежит, к социуму, который пользуется системой знаков, к действительности составляет содержание знака. Из сказанного ясно, что оно многокомпонентно, многопланово. Содержание знака не исчерпывается отображением структуры предметной действительности и места в ней субъекта знаковой деятельности, не исчерпывается значением знака, оно включает и образ знаковой системы, которой принадлежит знак. Вместе со значением образ знаковой системы образует смысл знака⁶. Изобразить сказанное можно так:

⁶ Недаром снятие ограничений, обязанных системе языка, например, при патологии речи, изменяет и значение знака, и предметный аспект знаковой деятельности, как и предметную деятельность вообще.

{ Отображение структуры предметной деятельности и места в ней субъекта речи }	{ Связи данного знака с другими, образ знаковой системы }	{ Отображение структуры предметной деятельности }
---	---	---

Нельзя не согласиться с высказыванием: «Мера участия и того, и другого — разная применительно к разным знакам, знаковым ситуациям, разным этапам формирования и владения механизмами речи» [А. А. Леонтьев, 1965а].

Подобная структура знака делает весьма правдоподобной гипотезу о том, что формирование знака, его вхождение в систему есть результат отбора «из множества потенциально релевантных признаков окружающей действительности ограниченного количества признаков, реально релевантных» с точки зрения семиологической системы [Леонтьев, 1965а].

Тогда знак одновременно и форма существования понятия — категории культурно-исторического опыта общества, и выражение соответствия этому кванту коллективного опыта индивидуального опыта носителя языка. В этом можно видеть основу единства обобщения и общения — двух императивов существования и функционирования знака.

Знак есть форма связи индивидуального и коллективного. Операционная сущность этой связи — в преодолении индивидуальных особенностей познающего субъекта, навязывания ему такой деятельности, которая по форме, по способу осуществления является деятельностью для себя, по содержанию же, по результатам — деятельностью для других.

Опосредованный системой знаков чувственный образ — результат социально значимой деятельности человека — всякий раз, для каждого отдельного человека первичен по отношению к знаковым механизмам его деятельности и его индивидуальному опыту. Но по отношению к воплощенному в системе знаков, управляющему индивидуальным опытом опыта коллектива, которому принадлежит субъект семиозиса, он вторичен. Только после его интериоризации и символизации на основе опосредования другими знаками он, пока еще не знак по сути, но уже в форме знака может быть экстериоризован, включен в систему знаков. Тогда он изменяет и коллективный опыт, и свою собственную сущность в направлении большей семиологичности⁷. Индивидуальный и социальный опыт находит воплощение в механизмах зна-

⁷ Здесь существенно заметить, что по мере превращения стимула деятельности в знак ситуации поведение становится все менее и менее зависимым от первоначально чувственно зафиксированных свойств объекта [Weinstein, 1942, 188 — 191]. Формирование знаков и символов, вовлечение чувственного в сферу символических форм служит формированию новых познавательных структур и позволяет выйти за пределы ограниченной комбинаторики чувственных данных типа фигура и фон, замещение, уподобление, сгущение и т. д.

ковой деятельности разных уровней, первый — в механизмах более низкого уровня, второй — в механизмах более высокого уровня, для которого характерна большая осознанность и произвольность знаковых операций⁸.

От чувственного опыта, опосредованного уже существующей системой знаков и варьирующих ее, индивидуальных механизмов знаковых операций, к его символизации, облечению в форму знака, и, наконец, к включению в систему знаков и семиологизации содержания — такова самая грубая схема компонентов знаковой деятельности и знаковых операций — знаковых действий.

Опосредованность речевой деятельности системой знаков — отличительная черта речевой деятельности. Внутренняя сторона этого опосредования — двойная функция языкового знака: общение и обобщение. Речь — это данный в процессе, расчлененный знак общения и обобщения.

Принцип знакового, опосредованного знаками, общения заключается в формуле «человек — вещь — человек», а не «человек — вещь» или «человек — человек». Особенность, подчеркиваемая этой схемой, — активное, деятельностное соотношение участников акта коммуникации и активное, деятельностное их отношение к предметной основе знаковой ситуации. Отражение деятельностной природы знаковой коммуникации — смыслообразующий характер языковых знаков.

Общение предполагает в качестве необходимости обобщение, т. е. выключение сообщаемого из конкретности, наглядности и включение его в мыслительные, смысловые, последовательно усложняющиеся и семантически обогащающиеся категориальные инвариантные структуры сообщения (сообщений). При этом принципе обобщения внутренняя структура знаковых операций (а) изменяется с изменением социального статуса участников коммуникации, во-первых, и влечет изменение их социального сознания, во-вторых; (б) во всех этих изменениях сохраняет свою специфику неизменной. В этой стабильности находит свое проявление структурность речевого действия.

Отсюда как существо абстрагирующего характера речевой деятельности две основные операции использования и преобразования знаков: интериоризация и экстериоризация в их взаимодействии и совместном влиянии на изменение структур сообщения (сообщений) в данном обществе. Процессы отчуждения внутренних ценностей, с одной стороны, обогащения личности на основе обобщения социального опыта прошлого, настоящего и будущего, с другой стороны, движут развитием знаковой струк-

⁸ Гиперсогласование механизмов этих уровней находим в несовпадении индивидуального и социального при шизофрении. Опосредованность новых символических форм деятельности уже существующей системой знаков обнаруживается ребенком в том, что игры-упражнения и символические игры (имитация сна) появляются уже после усвоения языка [Piaget, Inhelder, 1963].

туры речевой деятельности по пути ее интеллектуализации. В значении языкового знака всегда дано обобщение действительности через посредство зафиксированных в лингвистических единицах культурно-исторических, социальных ценностей. В процессе такого обобщения и то, что вне контекста бессмысленно, обретает свое значение.

Внутренняя структура знаковых операций (и ее развитие) и есть то, что разумно понимать под значением лингвистических единиц (и его развитием). Они определяют внутреннее совершение мысли в строящемся слове, ее развертывание, начинающееся с чувственной и логической мотивации и постановки задачи и свершающееся через отыскание (построение) некоторой конструкции значения в строящемся высказывании. В этом суть внутренней речи, на всех этапах ее свершения связанной с основной функцией знака — смыслообразованием.

Часть III

ПСИХОЛИНГВИСТИКА

Глава 8

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Эмпирическое (в том числе и экспериментальное) изучение аспектов речевой деятельности, относящихся к компетенции психолингвистики, осуществляется с момента ее возникновения с помощью целого ряда методов, позаимствованных из арсенала смежных наук — психологии, физиологии, лингвистики — и составляющих теперь совокупность методов психолингвистического исследования. Ниже будут рассмотрены важнейшие из этих методов, исходя из некоторых принципов характеристики эмпирических исследований деятельности, принятых в науке вообще. При этом здесь будет представлена одна из возможных трактовок указанных принципов и только тех из них, которые необходимы для понимания рассматриваемых нами вопросов.

Начнем с общей характеристики эмпирической стадии исследований в ее отличии от теоретической. Эмпирическое изучение действительности состоит в прямом получении данных с помощью органов чувств (невооруженных или вооруженных приборами) об имеющих место собственно изучаемых свойствах и отношениях вещей, процессов и состояний внешнего объективного мира, или в отражении как непосредственно данных собственно изучаемых свойств процессов и состояний внутреннего субъективного мира.

В том случае, когда прямое получение данных о собственно изучаемых свойствах явлений материальной и идеальной природы невозможно, тогда осуществляется их косвенное отображение с помощью рассуждения на основе отображаемых прямо других свойств тех же или свойств других объективных и субъективных явлений, связанных известным образом с подлежащими изучению свойствами.

Данные, полученные в эмпирических исследованиях, называются фактами (фактическим материалом). Факты, таким образом,

не просто стороны действительности (материальной или идеальной), а стороны действительности, отраженные прямо или косвенно.

В отличие от этого теоретическая стадия исследования состоит в анализе фактов с помощью рассуждения, в их систематизации, обобщении, и главное, в предсказании на основе этого новых фактов в виде гипотез, моделей, которые затем должны быть рано или поздно проверены в эмпирическом исследовании, и в случае их фактического подтверждения гипотезы становятся теориями.

Факты могут быть получены в самостоятельно проведенном эмпирическом исследовании или позаимствованы из исследований других авторов. Отдельные научные работы в связи с этим могут быть чисто эмпирическими (в частности, экспериментальными), в которых приводится методика получения фактов и их описание, либо чисто теоретическими — анализ фактов (полученных самостоятельно и другими авторами), выдвижение гипотез, моделей, либо (что чаще всего) смешанными — получение фактов и их анализ отдельно или вместе с фактами, полученными другими исследователями.

Из приведенных определений прежде всего видно, что эмпирическое изучение с косвенным отображением сторон действительности занимает промежуточное положение между эмпирическим изучением с прямым отображением свойств явлений и теоретической стадией изучения действительности. С одной стороны, эмпирическое изучение с косвенным отображением, так же как и эмпирическое изучение с прямым отображением, направлено в первую очередь на получение фактов, в отличие от их интерпретации, систематизации и т. д., но, с другой стороны, факты получают опосредованно на основе рассуждения и этим оно сходно с теоретической стадией и отличается от прямого получения фактов на основе чувственного отражения или непосредственного переживания. Первое обстоятельство, т. е. то, что косвенное отображение сторон действительности дает прежде всего факты, является основанием для традиционного отнесения его к разновидности эмпирического изучения.

Далее, как следует из определения эмпирической стадии изучения действительности, в процессе эмпирического исследования выделяются три основные процедуры: актуализация изучаемых явлений, их отображение и фиксация полученных фактов. Рассмотрим их более подробно.

Актуализация изучаемых сторон действительности есть их проявление как имеющих место вещей, процессов, состояний с их свойствами, отношениями и изменениями последних в результате взаимодействия с другими явлениями. При эмпирическом изучении тех или иных сторон субъективной и объективной действительности исследователь может воспользоваться их актуализацией, происходящей в некоторых условиях независимо от него,

но он может и специально организовывать актуализацию интересующих его свойств явлений путем создания и варьирования соответствующих условий; и в том и в другом случае актуализировавшиеся явления отражаются и фиксируются. Этим задается суть различий двух основных методов эмпирических исследований — наблюдения и эксперимента — соответственно. Специальная организация актуализации изучаемых свойств явлений в эксперименте часто требует от исследователя знания или умения вскрывать и использовать связи и взаимодействия изучаемых свойств процессов с другими свойствами тех же или других процессов, кроме того, она обычно связана с применением специальных (иногда очень сложных) средств актуализации.

Отображение свойств изучаемых явлений есть процесс их усмотрения и констатации исследователями (или испытуемыми, в случае психических явлений) прямо, т. е. с помощью органов чувств или на основе внутреннего усмотрения (рефлексии) непосредственных переживаний, либо косвенно, т. е. с помощью рассуждения, учитывающего связи между изучаемыми свойствами явлений и какими-либо другими свойствами тех же или других явлений.

Именно указанное различие в отображении изучаемых сторон действительности при их эмпирическом изучении является основанием для выделения двух основных видов методов эмпирических исследований: прямого и косвенного.

При прямом отображении свойств объективных и субъективных явлений могут также применяться разнообразные средства, расширяющие возможности органов чувств и рефлексии. Эти средства называются средствами отображения.

Фиксация фактов есть их описание в естественном языке или других знаковых системах, что составляет последнюю процедуру эмпирической стадии исследования и служит основой для перехода к стадии теоретической.

Средствами фиксации являются самые разные устройства, регистрирующие изучаемые показатели с дальнейшим выражением их в знаковых системах.

В разных эмпирических исследованиях применяются разные комбинации использования средств актуализации, отображения и фиксации. Часто они образуют единый комплекс средств, объединяемых в одной установке и образующих ее разные функциональные узлы.

Из трех рассмотренных выше взаимосвязанных процедур эмпирических исследований для характеристики последних наиболее существенной является отображение. Поэтому мы рассмотрим дополнительно к сказанному еще ряд вопросов, связанных с прямым и косвенным отражением свойств эмпирически исследуемых явлений, процессов и состояний материальной и идеальной природы.

Из сказанного выше ясно, что прямое отображение свойств объективных явлений осуществляется с помощью органов чувств и соответствующих сенсорных и перцептивных процессов, а прямое отображение свойств субъективных процессов и состояний осуществляется на основе внутреннего усмотрения, т. е. рефлексии. Особенности прямого отображения свойств объективных явлений и процессов связаны со спецификой различных классов (видов, типов) изучаемых объективных явлений. Сведения об этих особенностях составляют арсенал методических правил и предписаний по осуществлению прямых эмпирических исследований той или иной области объективной действительности. Конкретный состав их совершенно необозрим. Наиболее общие и очевидные соображения сводятся к тому, что прямое отображение в экспериментальных исследованиях свойств объективных процессов очень часто осуществляется с помощью специальных средств. В настоящее время и при наблюдении применение средств отображения становится широко распространенным. Ниже при рассмотрении методов эмпирических исследований объективных процессов, связанных с речью, мы опишем кратко некоторые из таких средств. Большую роль в организации прямого отображения играют правильно составленные протоколы записи индивидуальных показателей. Представленный в них (составленный заранее) перечень того, что подлежит отображению, является хорошим средством упорядочения отображения и помогает сделать его последовательным и систематичным. Вместе с тем они являются и средством фиксации полученных данных, которые затем подвергаются статистической обработке, являющейся самой первой процедурой теоретической стадии исследования.

Прямые методы исследования свойств психических процессов и состояний являются весьма широко используемыми. При всем недоверии к интроспекции со стороны многих исследователей, как методу, основанному на внутреннем отображении, недоверии, часто возникающем по недоразумению и терминологической путанице, прямые методы исследования остаются очень ценными, а иногда и единственными путями получения эмпирических данных о свойствах различных психических процессов и состояний.

При использовании прямого получения данных об изучаемых психических процессах желательно, хотя и мало практикуется, чтобы испытуемый, отображающий интересующие исследователя явления, был предварительно подготовлен и даже обучен такому отображению, чтобы он умел обращать внутреннее внимание на разные свойства и стороны психических явлений, имеющих место в процессе его активности, правильно выделял и фиксировал бы их. Это, как правило, делает самонаблюдение более продуктивным и менее пристрастным. (Так, например, поступали при изучении мышления психологи Вюрцбургской школы и получили при этом эмпирические факты непреходящего значения) [Ach, 1905].

Хорошим приемом организации прямого отображения свойств внутренних процессов является устная беседа исследователя с испытуемым в форме направленных вопросов и ответов, что, как правило, дает также возможность лучше уяснить содержание рефлексивного отчета испытуемого. Этому способствует также применение всякого рода средств отображения: вопросников, анкет, карточек, бланков и т. д. Очерчивая круг подлежащих наблюдению свойств явлений, направляя внимание в нужную сторону, хорошо составленные вопросники, бланки и т. п. являются действенным средством получения данных при рефлексии и в общем значительно превосходят по эффективности свободное отображение и отчеты. Вопросники и бланки одновременно являются хорошим средством фиксации фактов, которые затем легче поддаются обработке и анализу, что особенно важно для количественных и статистических подсчетов. В тех случаях, когда испытуемого просят отвечать не вербально, а, например, движением руки, но в строгом соответствии с тем, что непосредственно осознается и отображается, используются разные средства фиксации таких реакций (ключи, кнопки, связанные с пишущим устройством).

Важнейшим вопросом любых эмпирических исследований является проблема, вытекающая из того положения, что не всегда возможно прямо отображать собственно подлежащие изучению свойства явлений материального и психического мира. Это имеет место тогда, когда изучаемые свойства явлений либо вообще не могут быть отражены прямо сами по себе, либо это нежелательно по соображениям, связанным с необходимостью обеспечения беспристрастного и умелого получения фактов об изучаемой действительности.

Поэтому приходится осуществлять косвенное, опосредованное изучение одних сторон действительности через данные о других ее сторонах, связанных с изучаемыми и доступных прямому отображению. Возможность опосредования, следовательно, определяется наличием связей и зависимостей любых, подлежащих изучению свойств явлений от каких-то других свойств тех же или других явлений, которые могут быть отображены прямо, и искусство исследователя часто состоит в умении усмотреть и найти такие явления. В связи с этим полезно было бы иметь развернутую характеристику и даже классификацию видов связей и соответствующих им видов косвенного эмпирического изучения разных объективных и субъективных явлений, но их количество и разнообразие, вытекающие из количества и многообразия явлений материальной и идеальной природы, настолько велики, что сделать это очень трудно. Поэтому мы укажем лишь на некоторые очевидные виды опосредования, из которых мы и будем исходить в дальнейшем при описании косвенных методов эмпирического изучения речевой деятельности.

Изучение одних свойств психических процессов и явлений:

1) через связи с другими свойствами тех же психических процессов и явлений, или 2) через связи со свойствами других тоже психических процессов или явлений, или 3) через связи со свойствами объективных процессов и явлений.

Изучение одних свойств объективных процессов и явлений: 1) через связи с другими свойствами тех же процессов или явлений, или 2) через связи со свойствами других объективных процессов и явлений, или 3) через связи со свойствами психических процессов и явлений.

Таковы, так сказать, первичные виды опосредования. В косвенных эмпирических исследованиях могут быть использованы сочетания этих первичных видов, образующие комплексные методики, включающие две и более ступени опосредования на основе различных первичных видов опосредования.

Таким образом, можно условно выделить простые и сложные методики косвенного эмпирического изучения предмета. Схема простой методики такова: изучаемое свойство А процесса К отображается косвенно через свойство В того же процесса К или другого процесса М, а свойство В отображается прямо. Схема сложной комплексной методики будет: свойство А процесса К отображается косвенно через свойство В того же процесса К или другого процесса М, свойство В отображается также косвенно через свойство С Н того же процесса К или другого процесса М, а последнее свойство Н отображается прямо.

Типология косвенных исследований, основанных на нескольких ступенях опосредования, может быть дана лишь в очень развернутых и полных описаниях косвенных методов эмпирических исследований, и поэтому ниже при описании и иллюстрации даны характеристики только первичных видов опосредования, которые в приводимых работах применяются либо отдельно в простых методиках, либо в составе комплексных методик.

Совокупность процессов, обеспечивающих осуществление речевой деятельности, стороны которой изучаются психолингвистикой, включает как психические, так и объективные процессы. Как известно, различные речевые акты подразделяются условно на две группы или уровни: формальные и смысловые (содержательные). Формальный уровень составляет оперирование звуковыми формами речевых выражений, независимо от их значений (фонетический аспект), а содержательный уровень есть оперирование ими как значимыми выражениями (лексический и грамматический аспекты). Соответственно психические и объективные процессы, связанные с речью, делятся на имеющие место при осуществлении смысловых и формальных актов речевой деятельности. Подробнее состав групп психических и объективных процессов, связанных с речевой деятельностью, будет приведен ниже в соответствующих местах при рассмотрении методов их исследования.

При эмпирическом исследовании сторон субъективных и объективных процессов, лежащих в основе речевой деятельности на смысловом и формальном уровнях, актуализация изучаемых свойств происходит в различных речевых актах, таких, как порождение и понимание значимых высказываний, дополнение высказываний, заполнение пропусков во фразах, порождение и понимание более простых речевых выражений, ассоциирование речевых выражений, простых и составных, произнесение и восприятие звуков речи и их сочетаний и т. п. Иногда указанные процессы включаются в другую задачу, например, запоминание и воспроизведение речевых выражений, решение дискурсивных задач и т. п.

В качестве средств актуализации используются разные материалы и приборы для записи и воспроизведения речи (обычная письменность, тексты, магнитофоны, диктофоны), часто применяются для актуализации разнообразные тахистоскопы, дающие возможность варьировать время экспозиции речевого материала.

При описании методов эмпирического изучения механизмов речевой деятельности мы будем исходить из изложенных выше общих положений. Согласно этим положениям должны быть выделены и охарактеризованы прямые и косвенные методы эмпирического изучения субъективных и объективных процессов, составляющих механизм речевой деятельности, по следующей общей схеме.

1. Прямые и косвенные методы эмпирического исследования психолингвистических аспектов психических процессов, составляющих механизм речевой деятельности.

2. Прямые и косвенные методы эмпирического исследования сторон объективных процессов в механизме речевой деятельности.

Однако мы сделаем данную работу по несколько иной схеме, которая включает и указанную, но в общем соответствует принятой «рабочей» классификации психолингвистических методов эмпирического исследования речевой деятельности, основанной на дифференциации методов в зависимости от того, из каких дисциплин они позаимствованы, а также от природы предметов исследования и характера опосредования при косвенном способе изучения.

По этим критериям выделяются три основные группы методов эмпирического исследования психолингвистических аспектов речевой деятельности путем наблюдения и эксперимента: психологические, физиологические, лингвистические.

В итоге получается следующая схема.

1. Психологические методы, включающие прямые методы изучения психических процессов, лежащих в основе речевой деятельности, и косвенные методы их изучения через другие параметры тех же или других тоже психических процессов.

2. Физиологические методы, к которым относятся косвенные методы изучения психических процессов, обеспечивающих осуще-

ствление речевой деятельности через параметры связанных с ними физиологических процессов, а также прямые и косвенные методы изучения объективных процессов, связанных с речевой деятельностью.

3. Лингвистические методы аналогичны с этой точки зрения психологическим и отличаются от последних лишь теми конкретными субъективными сторонами механизма речевой деятельности, которые традиционно относятся к предмету лингвистики и изучаются соответственно с помощью лингвистических методов. Например, отнесенность речевых выражений к тем или иным содержаниям и система такой отнесенности в «языковом стандарте» [Леонтьев, А. А., 1965а] обычно считается лингвистической проблематикой в отличие от, скажем, процесса порождения и понимания речевых выражений, причисляемого к кругу психологических вопросов в области изучения речевой деятельности. Нужно отметить, что данная «рабочая» классификация групп методов в целом весьма не строга, но она является очень распространенной и поэтому мы будем описывать методы исследования речевой деятельности в психолингвистике в соответствии с данной классификацией.

Эмпирическое изучение речевой деятельности в психолингвистике разными методами проводится широким фронтом и поэтому может быть приведено достаточно большое количество примеров, иллюстрирующих тот или иной метод. Понятно, что из-за недостатка места здесь не может быть дана развернутая характеристика разных методов. Наше описание каждого выделяемого вида методик будет сводиться к кратким общим разъяснениям и одному примеру с указанием дополнительных источников, по которым можно более подробно познакомиться с приведенной методикой в работах аналогичного типа.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Итак, психологические методы есть методы прямого и косвенного изучения психических процессов, составляющих психологический механизм различных актов речевой деятельности.

Ведущими психическими процессами, выполняющими данную функцию, являются познавательные и мнестические процессы. К основным свойствам этих процессов относятся: длительность и порядок осуществления разных познавательных (сенсорных, перцептивных, умственных) и мнестических (запечатление, сохранение, воспроизведение) процессов; особенности их содержания, т. е. объем и характер информации, обрабатываемой в процессе реализации фонетических, лексических и грамматических компонентов речевых актов, адекватность этой информации; осознаваемость и неосознаваемость процессов, их продуктивный и репродуктивный характер, направленность познавательных процессов, т. е. внимание и его свойства (распределение и пере-

ключение). Имеется еще целый ряд свойств, которые за неимением места мы опускаем и ниже упоминать не будем.

Перейдем теперь к характеристике сначала прямых, а потом и косвенных методов изучения указанных психических процессов и их свойств.

Прямые методы. Эмпирическое изучение свойств психических процессов, лежащих в основе различных речевых актов, с использованием их прямого отображения является широко распространенным. Это относится к свойствам процессов, обеспечивающих оперирование как смысловыми выражениями, так и звуковыми формами речи. Все отмечавшиеся выше общие положения, касающиеся прямого отображения свойств психических процессов и явлений, справедливы в полной мере и для психических процессов, являющихся механизмом речи, и они так или иначе используются в конкретных методиках исследования этих процессов, основанных на прямом отображении.

Рассмотрим некоторые примеры методик, иллюстрирующие применение прямых психологических методов изучения разных свойств познавательных и мнестических процессов, на основе которых осуществляется речевая деятельность на смысловом и формальном уровнях.

Примером прямого изучения содержания когнитивных процессов в области семантики является методика «измерения значений», разработанная Ч. Осгудом и называемая методикой «семантического дифференциала». Суть ее состоит в следующем: испытуемому предъявляется карточка с 12 шкалами, задаваемыми антонимичными прилагательными с 6—7 градациями в каждой шкале. Например,

	+3 сильно	+2 средне	+1 слабо	0	-1 слабо	-2 средне	-3 сильно	
жаркий	—	—	—	—	—	—	—	холодный
легкий	—	—	—	—	—	—	—	тяжелый

Затем испытуемому даются слова или другие речевые выражения, которые он должен поместить в то или иное место каждой шкалы в соответствии со своей субъективной оценкой их значений, т. е. содержания познавательных процессов, обеспечивающих отнесение некоторой звуковой формы к определенному смыслу. На основе таких шкалированных оценок можно установить расположение слов в семантическом пространстве, расстояния между ними и ряд других отношений слов по прагматическому значению [Osgood, Suci, 1957; Галунов, 1968].

На прямом отображении особенностей содержания познавательных процессов, обеспечивающих осуществление важной разновидности актов речевой деятельности, основано изучение ассоциаций речевых выражений в так называемом ассоциативном эксперименте. Оно заключается в том, что испытуемый интро-

эффективно отображает и дает отчет о тех речевых выражениях (словах, сочетаниях слов, фразах), которые возникают у него в сознании при предъявлении некоторых ключевых выражений стимулов, т. е. о содержании познавательных процессов, лежащих в основе ассоциирования речевых выражений.

Существует много видов ассоциативного эксперимента, выделяемых по различным основаниям. Так, если испытуемому разрешается отвечать любыми ассоциативными реакциями, то такой эксперимент называется экспериментом на свободные ассоциации, если же на ассоциативные ответы накладываются ограничения (например, испытуемого просят называть только ассоциации существительные и т. п.), то такой эксперимент называется направленным ассоциативным экспериментом. С другой стороны, может быть дана инструкция сообщать только одно первое выражение, возникшее в сознании по ассоциации с ключевым, или последовательность этих выражений в течение некоторого времени. В первом случае ассоциативный эксперимент называется экспериментом на дискретные ассоциации, во втором — экспериментом на цепные ассоциации.

Изучение речевых ассоциаций как таковых является весьма распространенным. Здесь в первую очередь следует отметить работы по составлению словарей ассоциативных норм Кента и Розанова [Palermo., 1963], изучению различных вопросов о природе и характере речевых ассоциаций и их лексических и грамматических аспектов у Диза, Нобла и других авторов [Deese, 1965; Вудворте, 1950], исследованию особенностей вербальных ассоциаций у детей [Палермо, 1966], при патологии.

Примером прямого изучения сторон познавательных процессов, связанных с порождением и пониманием речевых выражений, может служить работа Б. В. Беляева, в которой исследовался вопрос о роли осознания разных компонентов порождающего процесса путем опроса испытуемых и собирания материала об их наблюдениях за тем, какие элементы они осознают, а какие осуществляют неосознанно при речи на иностранном языке [Беляев, 1965].

Прямые методы применяются также широко и при эмпирическом исследовании особенностей познавательных процессов, лежащих в основе оперирования звуковыми формами речевых выражений. Примером могут служить работы по изучению восприятия и распознавания характеристик звуков речи. Здесь в экспериментах испытуемым даются, например, на восприятие и различение звуки речи с наличием или отсутствием (в разной степени) различных акустических характеристик, и они должны давать отчет о том, что они слышат и различают, т. е. о содержании соответствующих сенсорных и перцептивных процессов.

Так, Харри [Harris, 1958] исследовала значение для восприятия целевых согласных такой характеристики, как нижняя граница полосы шума, и показала, что по этому параметру

хорошо различаются согласные *s* и *š* при их изолированном предъявлении. См. также [Шупляков, 1968; Зимняя, 1968].

Процессы памяти в области речевой деятельности изучаются в основном прямыми методами. Наиболее часто исследуемыми свойствами здесь также является содержание мнестических процессов, т. е. «что запоминается», в каком объеме, длительность хранения и т. п. Так, в работе Бренера [Brener, 1940] изучался объем кратковременной памяти в отношении значимых речевых выражений по следующей методике. Испытуемым предъявлялось разное количество различных речевых выражений в единицу времени. Затем их просили воспроизвести все выражения, которые у них сохранились в памяти. Были получены такие данные о среднем количестве удерживаемых в кратковременной памяти различных речевых выражений: абстрактные слова — 5,24 (при визуальном предъявлении), 5,58 (при звуковом предъявлении); конкретные слова — 5,76 (визуально), 5,86 (орально); простые предложения (в среднем 6 слов или 8 слогов) — 1,7.

Примером прямого изучения мнестических процессов, лежащих в основе речевой деятельности на формальном уровне, может служить работа Брауна и Мак-Нила [Braun, McNeill, 1965], в которой исследовался вопрос о том, как представлены в долговременной памяти звуковые (графические) формы слов, редко употребляемых в речи и относящихся к «пассивному» лексическому запасу. Для этого испытуемому предъявлялись определения редких слов, и он должен был назвать соответствующее слово. Если он оказывался в состоянии поиска, т. е. не владел им активно, так, что сразу не мог дать правильный ответ, но чувствовал, что знает слово и оно у него вот-вот всплывет в сознании, ему предлагалось в это время дать ответ о том, сколько, по его мнению, слогов в слове, какой начальный и конечный звук (буква), где ударение. Если он путем определения близких по значению слов искал другое слово, то результаты отчета оставались пригодными при условии, что испытуемый вспоминал слово, которое он действительно искал. Затем подсчитывалось среднее по многим словам и группам испытуемых, и было обнаружено, что, например, начальные элементы слов правильно вспоминаются в 56% случаев, конечные — в 52% случаев, средние — в 38% случаев, т. е. лучше всего у слов пассивного запаса в долговременной памяти представлены начальные и конечные элементы и хуже всего — средние. Это находится в соответствии с некоторыми общими закономерностями памяти (ретро- и проактивное торможение).

Такова краткая характеристика прямых психологических методов изучения речевой деятельности, применяемых в психолингвистике.

Косвенные методы. Напомним, что к группе косвенных психологических методов относятся обычно методы косвенного изучения психических процессов (особенно познавательных),

обеспечивающих осуществление некоторых видов речевой деятельности, на основе опосредования через связи между разными свойствами одних и тех же психических процессов и через связи между свойствами разных психических процессов, которые в свою очередь могут быть отражены прямо или косвенно.

Косвенные психологические методы исследования психических механизмов речевой деятельности весьма многообразны и дифференцируются они в основном по конкретным видам опосредования, которые в них используются, т. е. по тем конкретным свойствам изучаемых психических процессов и свойствам других психических процессов, которые используются в качестве косвенных индикаторов свойств изучаемых процессов.

Согласно общему правилу при косвенном изучении одних свойств познавательных процессов, лежащих в основе речи, используются другие их свойства и свойства других психических процессов, основным из которых является память. Косвенное изучение мнестических процессов в механизме речи осуществляется по такому же принципу.

Рассмотрим теперь примеры косвенных методик изучения психических механизмов речи с использованием разных способов опосредования. Начнем с методик, в которых данные об изучаемых свойствах познавательных процессов, лежащих в основе речи, получаются через отображение других свойств тех же процессов. Одним из свойств познавательных процессов, имеющих место при осуществлении разных речевых действий, часто используемых для косвенного изучения других свойств этих процессов, является длительность их осуществления. Так, в работе Д. Миллера изучается вопрос о том, по какому принципу производится порождение и понимание высказываний — по трансформационному или по принципу непосредственно составляющих, т. е. вопрос о порядке и количестве осуществления познавательных операций с грамматическими компонентами речевых выражений при их порождении и понимании. Для этого Миллером была разработана методика сопоставления предложений [Miller a. Ojemann McKean, 1964]. В экспериментах по этой методике испытуемый должен был в одной серии отыскать разные трансформы предъявленных ему предложений среди других фоновых фраз, а в другой серии опытов просто отыскивать предъявленные ему предложения без изменения их также в группе других высказываний. При этом измерялось время работы с предложениями в первой серии при осуществлении одной и двух трансформаций, и во второй серии без трансформаций. Далее высчитывались показатели длительности осуществления познавательных операций при одиночных и двойных трансформациях, и оказалось, что сумма времен, затрачиваемых на одиночные трансформации, близка к величине времени осуществления двойных трансформаций. На этом основании были сделаны выводы в пользу трансформационной модели порождения и понимания синтаксических компонентов высказываний,

см. также [Miller, 1962; Miller, Ojemann, 1964]; [Леонтьев А. А., 1969а; Ильясов, 1968].

Примером косвенного изучения структуры познавательных процессов, обеспечивающих осуществление речи на формальном уровне, также через использование параметра времени может служить одна из работ Л. А. Чистович. В эксперименте измерялось относительное время произнесения слогов внутри слова при различных положениях слова в синтагме и места логического ударения. Была установлена зависимость длительности произнесения слогов от указанных условий. Отсюда был сделан вывод о соотносимости моторных программ слов и синтагм [Чистович и др., 1965].

Другим часто используемым при косвенном изучении в качестве «посредника» параметром познавательных процессов, лежащих в основе речевой деятельности, является их правильность (точность, количество ошибок, характер ошибок).

Например, в работе Миллера и Айзарда [Miller, Isard, 1963] измерялось понимание предложений с соответствующими конструкциями по количеству правильно и ошибочно понятых предложений из общего числа предъявлявшихся предложений. Обнаруженное при этом возрастание числа ошибок с увеличением количества изменений места вставлений послужило основанием для вывода о трансформационной структуре грамматического порождения. Здесь по параметру правильности процессов, обеспечивающих понимание компонентов грамматической структуры высказываний, косвенно устанавливается порядок осуществления познавательных операций при грамматическом порождении, см. также [Варшавский, Литвэк, 1955; Miller, Nicely, 1955].

Правильность понимания речевых выражений может быть оценена прямо (испытуемый сообщает, как он понял предъявлявшееся выражение) или косвенно, для чего также имеется ряд путей опосредования (например, испытуемый выполняет какое-либо действие, опираясь на свое понимание содержания предъявлявшегося выражения и т. п.). Так, в работе Б. Мучника [1968] испытуемых просили закончить предложение, прерванное в определенном, интересующем экспериментатора месте, и по тому, как испытуемый заканчивает предложение, можно судить о характере понимания записанной на карточке части фразы, см. также [Jenkins, 1960; Элиава, 1966].

Часто косвенным показателем при изучении различных аспектов речевой деятельности выступает содержание познавательных процессов, являющихся механизмом речи. Особенно широко для этой цели используются особенности содержания познавательных процессов, лежащих в основе ассоциаций речевых выражений. В целом ряде работ получены данные о разных сторонах грамматической структуры порождающего механизма через выявление особенностей и характера ассоциаций различных речевых выражений, см. [Deese, 1965; Prentice, 1966; Clifton, 1965; Deese,

1962; Clark, 1965; Osgood, 1963; Chiff, 1959; Brown, Berko, 1960].

Как отмечалось выше, весьма активно применяется исследователями для косвенного изучения речи такая характеристика познавательных процессов, как внимание и его свойства.

На использовании особенностей распределения внимания основана, например, методика экспериментов, проводившихся в работе Трейсман [Treisman, 1964]. Как известно, при предъявлении двух разных высказываний на разные уши испытуемый выбирает и фиксирует в сознании лишь одно из них. Трейсман брала «отвергнутые» предложения и вводила в них слова, имеющие высокую вероятность в данном контексте. В этом случае «отвергнутые» предложения превращались в «выбираемые». Исходя из этого факта, автор делал вывод об использовании стохастических принципов в речевой деятельности, так как изменение вероятностных характеристик в высказываниях изменяло направление внимания в познавательных процессах, обеспечивающих выполнение данных речевых действий.

Вместо двух разных сообщений может быть использовано сочетание одного сообщения на одно ухо с щелчком на другое, как это сделано в работе Ладефогта и Бродбента [Ladefoged, Broadbent, 1960]. Авторы изучали возможность вычленения разных предсказуемых элементов высказываний. Для этого они предъявляли испытуемым текст или бессмысленную последовательность слов на одно ухо и щелчок на другое. Затем испытуемые давали отчет о том, в каком месте высказывания они слышали щелчки. Было обнаружено, что щелчки слышатся на границах сегментов, минимальной величиной которых является слово, т. е. только на границах таких сегментов, где распределение внимания соответствующих познавательных процессов дает возможность воспринимать и обрабатывать дополнительную информацию за счет снижения здесь объема перерабатываемой речевой информации, по-видимому, в связи с переключением на разные оперативные единицы. Отсюда делался вывод о вычленимости сегментов, начиная от слова и более. См. также (Garrett и др., 1966; Fodor, Bever, 1965].

Косвенным путем через особенности распределения внимания Н. И. Жинкин исследовал некоторые вопросы, связанные с природой смыслового и формального уровней речевого механизма. Методика состояла в следующем. При решении различных дискурсивных задач испытуемый должен одновременно производить постукивание рукой в определенном постоянном ритме. Было обнаружено, что в задачах, описание которых безусловно происходит с внутренним проговариванием слов, постоянный ритм постукивания не мог успешно совмещаться с переменным ритмом речедвижений, и здесь наблюдалось большое количество ошибок либо в ритме постукивания, либо в решении задач, так как это превышает возможности распределения внимания в познаватель-

ных процессах, обеспечивающих выполнение указанных действий. Однако были и задания, при работе над которыми и то и другое осуществлялось одновременно и успешно. Наличие последних дало основание автору сделать вывод о возможности перехода к невербальному предметно-схемному ходу (схемы, образы) в процессе речевой деятельности на смысловых уровнях, а также ряд выводов в отношении артикуляторной программы [Жинкин, 1960].

На использовании особенностей внимания в качестве косвенных путей получения информации об изучаемых свойствах познавательных процессов, лежащих в основе речи, основаны методики с применением шумовых помех.

Так, в эксперименте одной из работ Луцхиной испытуемые должны были воспринимать предложения в условиях шума [Луцхина, 1965а]. Согласно предэкспериментальной гипотезе, предполагалось, что, если принципы НС в трактовке В. Ингве имеют значение в речевой деятельности, то в условиях шума с его отвлекающим вниманием воздействием на соответствующие познавательные процессы, компоненты фраз, считающиеся по модели Ингве более глубокими, должны восприниматься хуже, чем менее глубокие компоненты, так как понимание последних связано с обработкой меньшего количества информации, чем понимание первых, и объем внимания позволяет осуществлять это более успешно при наличии дополнительной «шумовой» информации, чем при понимании более глубоких компонентов. Это предположение подтвердилось. В экспериментах было обнаружено, что глубина фразы (при равной длине) влияет на успешность восприятия обратным порядком, так что «глубокие» части фразы улавливаются слушателями намного реже, чем «мелкие». Таким образом, подтверждаются некоторые положения модели речевого механизма по Ингве. См. аналогичные работы (Postman, 1957; Miller и др., 1951; Miller, Nicely, 1955).

Некоторым специфическим, часто используемым, косвенным индикатором о ходе познавательных процессов в механизме речи на обоих ее уровнях являются паузы и задержки в произнесении высказываний. По этим задержкам можно судить, например, об изменениях в протекании соответствующих познавательных действий (например, переходах от автоматизмов к решениям и выбору), а по указанным изменениям в свою очередь судят о характере и структуре других, иногда более общих закономерностей протекания познавательных процессов, лежащих в основе речи. Это является уже примером двойного опосредования. В работе Голдман-Эйслер [Goldman-Eisler, 1961] изучалось распределение пауз при вербальной «интерпретации» и «простом» описании. Было установлено, что пауз больше в речи интерпретационной по сравнению с описательной. На этом основании делается заключение о значении статистических принципов в речи, так как лексические компоненты интерпретационной речи менее пред-

сказуемы, и потому паузы (как время, в течение которого происходят познавательные процессы по выбору соответствующего слова) должны быть больше. См. также [Goldman-Eisler, 19586; Psycholinguistics, 1965].

Этот же параметр был использован Л. А. Чистович при изучении структуры программы моторного порождения. В эксперименте измерялись колебания длительного порождения синтагм и пауз между ними. Оказалось, что колебания длительности пауз больше колебаний длительности синтагм. Автор считает в связи с этим, что паузы отражают остановку при порождении, связанную со сменой артикуляторных программ, и они не заданы в самих программах [Чистович и др., 1965].

Мы рассмотрели некоторые примеры косвенного изучения одних свойств познавательных процессов в механизме речи через другие свойства тех же процессов.

Группой других психических процессов, свойства которых очень широко используются при косвенном изучении свойств познавательных процессов, обеспечивающих осуществление речевых актов, являются мнестические процессы. Так, в целом ряде работ уже известная нам проблема о принципе построения структуры познавательных операций при грамматическом кодировании и декодировании исследовалась путем выявления особенностей запоминания речевых выражений в разных условиях и с различными грамматическими структурами.

Например, английский автор Уэлс [Wales, in press] изучал эту проблему на основе получения данных об успешности запоминания высказываний, расчлененных на три части в разных местах. Было установлено, что запоминание лучше, если членение высказываний совпадает с границами конститuentов, т. е. с границами оперативных комплексов познавательных процессов, обеспечивающих выполнение грамматических действий при формулировании и восприятии высказываний. На этом основании автор считает, что принцип непосредственно составляющих является значимым для грамматических аспектов речи.

В работе Д. Прентис [Prentice, 1966] испытуемые запоминали активные и пассивные предложения. Оказалось, что запоминание активно-утвердительных предложений легче, чем пассивно-утвердительных. Отсюда был сделан вывод в пользу трансформационной модели, так как это подтверждает, что пассивные предложения имеют более сложную структуру и включают больше познавательных операций, а это находится в соответствии с трансформационной моделью грамматического кодирования и декодирования. См. аналогичные работы [Mehler, 1963; Mehler, Miller, 1963; Johnson, 1965; Blumenthal, 1967; Martin, 1966; Clark, 1966].

Косвенное изучение самих мнестических процессов в механизме речи на основе различных типов опосредования также имеет место, хотя и не является широко распространенным. Наиболее

типичным методом опосредования здесь является изучение содержания и качества запоминания через показатели деятельности по усвоению материала. Примером могут служить работы по изучению методов обеспечения наиболее эффективного запоминания и усвоения грамматических, лексических и фонетических компонентов речи при обучении родному и иностранному языкам. См., например, [Айдарова, 1965; Жуйков, 1965; Журавлева, 1965].

На этом мы закончим характеристику психологических методов эмпирического исследования, применяемых в психолингвистике. Разумеется, многие конкретные виды методик за недостатком места остались здесь нерассмотренными, но знакомство с ними может быть осуществлено по тем дополнительным источникам, на которые мы ссылались.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как уже отмечалось, к этой группе традиционно относятся косвенные методы изучения свойств психических процессов, лежащих в основе речевой деятельности, через связанные с ними объективные процессы, а также прямые и косвенные методы изучения самих объективных процессов, имеющих место при осуществлении речевой деятельности.

В основном к указанным объективным явлениям и процессам относятся:

1) анатомическое строение и физиологические (электрофизиологические) процессы в нервной системе (центральной и периферической), являющиеся субстратом психических процессов, лежащих в основе а) смысловых и б) формальных компонентов речевой деятельности;

2) электрофизиологические процессы в мышцах, коже, сосудах и т. п., связанные также со смысловыми и формальными уровнями речевой деятельности через нервную систему;

3) движения органов артикуляции;

4) акустические характеристики звуковой материи речи.

Мы будем рассматривать физиологические методы исследования речевой деятельности в том порядке, в котором они были только что перечислены.

Методы исследования свойств психических процессов, на базе которых осуществляется речевая деятельность, через связанные с ними свойства физиологических процессов не являются очень широко применяемыми, хотя безусловно могут быть достаточно эффективным средством эмпирического исследования психических сторон речевого механизма и речевых процессов.

Основными объективными процессами, используемыми в методах данной группы, являются физиологические процессы, условно относимые нами к процессам, протекающим вне нервной системы. Безусловные, биологически предопределенные и условные,

формируемые прижизненно, связи указанных процессов с психическими и являются основой для косвенного изучения свойств последних.

Наиболее распространенный методический принцип рассматриваемой группы методик изучения психолингвистических аспектов речевой деятельности состоит в том, что по степени близости параметров различных условных или безусловных физиологических реакций в связи с теми или иными психическими речевыми процессами выявляются отношения между этими последними. При использовании в методике условных связей, они обычно формируются непосредственно до эксперимента в виде соответствующих условных рефлексов, а потом на их основе проводятся собственно экспериментальные серии опытов. Методики с использованием условнорефлекторных связей называются соответственно условнорефлекторными.

В качестве примера применения условнорефлекторной методики для изучения семантических связей между словами (или другими речевыми выражениями) может быть приведена работа Л. А. Шварц [1948; 1949; 1954]. Исследования проводились следующим образом: сначала вырабатывалась условная связь (условный рефлекс) некоторого слова, например «доктор», с фотохимической реакцией снижения чувствительности глаз путем многократного применения словесного раздражителя одновременно с засветом глаз. После этого в экспериментальных сериях испытуемым предъявлялись разные другие слова (синонимы, антонимы, обозначения родовых и видовых понятий и т. п.), и регистрировалась величина фотохимической реакции на эти словесные раздражители. Оказалось, например, что на слово «врач» фотохимическая реакция была точно такой же, как и на слово «доктор», на которое эта реакция была выработана. На другие синонимы реакции отличались величиной, что служило объективным критерием близости их по значению. Слова, близкие по звучанию, например «диктор», образованное на слово «доктор», условного рефлекса не вызывали. Аналогичные результаты были получены автором и при выработке сосудистых условных рефлексов. Имеется еще ряд работ такого рода с использованием условнорефлекторных методик для изучения свойств психических процессов на смысловых уровнях речевой деятельности, см. [Капустин, 1930; Трауготт, 1934; Смоленская, 1934; Котляревский, 1935; 1936; Фадеева, 1951; Красногорский, 1952; Волкова, 1953; Шастин, 1932; Матюхина, 1956].

Безусловными физиологическими реакциями, применяемыми для косвенного изучения психических механизмов речевой деятельности, чаще всего являются компоненты комплекса ориентировочных реакций (ЖР, расширение или сужение сосудов и т. п.).

Так, в известной работе О. С. Виноградовой и Н. А. Эйслер [Виноградова, Эйслер, 1959] для изучения отношений между словами наряду с условно-рефлекторной связью оборонительных со-

судистых реакций с изучаемыми словами использовались показатели безусловной ориентировочной сосудистой реакции. Это дало возможность получить более полные данные об отношениях изучаемых слов, которые выявились лишь с помощью безусловнорефлекторной методики. См. также [Виноградова, Соколов, 1957].

Другой большой группой физиологических методов изучения речевой деятельности являются прямые и косвенные методы исследования свойств всех видов физиологических и других объективных процессов, связанных с двумя ее уровнями. Мы рассмотрим, как всегда, сначала прямые, а потом косвенные методы эмпирического исследования свойств каждого из указанных видов объективных процессов.

Прямые методы. Исследование физиологических и других объективных процессов, лежащих в основе разных аспектов речевой деятельности, прямыми методами является в целом достаточно широко используемым, хотя это, конечно, в разной степени справедливо для разных, выделенных нами не очень строго, видов объективных явлений, связанных с речью. Так, к исследованию физиологических процессов в нервной системе это утверждение относится меньше всего, тем не менее и здесь имеются серьезные попытки прямого изучения этих процессов, связанных со всеми уровнями речевой деятельности. Примером может служить классическая работа канадского ученого Пенфилда и его сотрудников, в которой была сделана попытка всестороннего изучения анатомо-физиологического субстрата различных смысловых и формальных компонентов речи [Пенфилд, Робертс, 1964; Пенфилд, Джаспер, 1958].

Во время хирургических операций на мозге (операции производились над больными, страдающими эпилепсией, с целью удаления эпилептогенного очага), Пенфилд и его коллеги с помощью стимулирующих электродов производили раздражение различных зон коры мозга слабым электрическим током с напряжением 2—3 в. Одновременно с помощью записывающих электродов регистрировалась электрокортикограмма, которая позволяла следить за электрической активностью отдельных участков коры мозга. Операции производились под местным наркозом, у больных сохранялось сознание, и они могли разговаривать с хирургом. В ходе операции осуществлялись эксперименты, в которых больные испытуемые выполняли самые разнообразные речевые действия в условиях раздражения ряда зон левого полушария. Таким образом, были зарегистрированы раздражения, при которых становится невозможным произвольное называние предметов или их изображений, появляются аграмматизмы в речи, ошибки в понимании слов и грамматических конструкций, трудности в восприятии и произнесении звуков речи. Регистрируемая при этом электрокортикограмма дала ценнейшую информацию об электрофизиологических процессах, происходящих при осуществлении различ-

ных речевых актов. Большой материал был получен также и в отношении выяснения анатомических структур и зон коры, связанных с различными компонентами речевой деятельности. Работы такого рода единичны по понятным причинам.

Прямое изучение электрофизиологических процессов, которые мы условно обозначаем как процессы, протекающие вне нервной системы, наоборот, является основным методом их исследования в силу их доступности для отображения и регистрации с помощью соответствующих средств. Следует отметить также, что указанные процессы довольно интенсивно исследуются, особенно те, которые связаны с формальными уровнями речевой деятельности и в первую очередь с артикуляцией при произношении звуков речи.

Исследование данных процессов в связи со смысловыми уровнями не является столь распространенным.

Примером прямого изучения физиологических процессов вне нервной системы, связанных со смысловыми уровнями речевой деятельности, является работа Ю. А. Бурлакова и И. И. Богдановой. Авторы изучали динамику КГР при становлении речевых структур в процессе обучения иностранному языку. Авторы выделили три вида КГР: опережающие, возникающие до порождения фразы, приуроченные, имеющие место в момент начала речевого акта, и задержанные, возникающие после начала речевого акта с некоторой задержкой. По мнению авторов, опережающие КГР свидетельствуют о затруднении в «оречевлении» отдельных элементов структуры, приуроченная КГР свидетельствует уже об отсутствии внутриречевых затруднений, задержанные КГР связаны с затруднениями в элементах речевой структуры, с исправлением ошибок. Опережающая КГР, как установлено в исследовании, преобладает на начальных этапах становления речевых структур, приуроченная КГР — на средних этапах, а задержанная КГР — на начальных и заключительных этапах обучения [Бурлаков, Богданова, 1966].

Как уже отмечалось, имеется много примеров работ с прямым изучением физиологических процессов вне нервной системы, связанных с формальными уровнями речи. Исключительно распространенными здесь являются работы по изучению токов действия в мышцах органов артикуляции (как при громкой, так и при внутренней речи). Токи действия регистрируются с помощью датчиков, устанавливаемых на органах артикуляции (связках, языке, губах и т. д.). Например, в работах К. Фааборга-Андерсена [Faaborg-Andersen, 1957] применялись игольчатые электроды, которые вкалывались во внутренние и внешние мышцы гортани. Было обнаружено, что во время фонации речевых звуков не все мышцы гортани одинаково электроактивны. Это объясняется различной функцией данных мышц в механизме фонации. См. также [Faaborg-Andersen, Edfeldt, 1958]. Обзор работ такого типа дан в книге А. Н. Соколова [1968, стр. 131—134].

Прямое изучение движений органов артикуляции не имеет широкого применения, так как, несмотря на свою кажущуюся доступность, точная регистрация их пространственно-временных механических параметров является весьма затруднительной. Однако некоторые прямые методики здесь все-таки используются. Из них наиболее представительной является, по-видимому, методика кинорентгено съемки речевых органов во время фонации, примененная, например, Н. И. Жинкиным [1958]. Как видно из самого названия, методика основана на просвечивании органов артикуляции рентгеновскими лучами во время отсутствия, начала, хода и конца артикуляций разных звуков и их последовательностей с одновременной съемкой рентгенограмм на киноленту. Таким образом, были получены ценные данные о пространственно-временных характеристиках (т. е. положении и движении) органов речи при фонации. См. также [Лийв, Ээк, 1968; Moll, 1960; Ohman, Stevens, 1963].

Прямое изучение акустических характеристик речи, т. е. отображение их без трансформации в соответствующие электрические колебания, в настоящее время не практикуется совершенно.

Таковы кратко прямые методы изучения объективных процессов, связанных с речевой деятельностью.

Косвенное изучение объективных процессов, связанных с речевой деятельностью, также находит применение, поскольку, как отмечалось выше, прямое их изучение не всегда возможно либо по принципиальным, либо по техническим и другим причинам.

Так, вполне очевидно, что описанное выше прямое изучение процессов в нервной системе, связанных с разными аспектами речевой деятельности, предпринятое Пенфилдом и его сотрудниками, не может быть осуществлено в широких масштабах в более или менее стандартных и обычных для исследовательских лабораторий условиях. Это обстоятельство заставляет искать другие, более широко доступные косвенные методы исследования этих процессов. Следует признать, что пока надежные методики такого рода еще не созданы. В имеющихся методах косвенного изучения объективных процессов, связанных с речью, преобладают методы опосредования через свойства других объективных процессов, поэтому здесь будут представлены прежде всего такие методы. При этом нужно иметь в виду, что в некоторых конкретных случаях не легко отделить свойства одного и того же процесса от свойств других процессов. Многие исследователи пытаются использовать для цели косвенного получения данных о процессах в нервной системе, связанных с речевой деятельностью, характеристики ритмов электроэнцефалограмм, т. е. биотоков мозга. Например, в работе Кеннеди [Kennedy и др., 1952] описаны так называемые «каппа-волны», зарегистрированные в височной области мозга при речевых действиях на смысловом уровне, эти ритмы были названы Кеннеди «ритмами мышления». Гасто была также сделана попытка с помощью ЭЭГ исследовать

процессы в нервной системе при двигательной активности органов речи во время артикуляций (а также и при движениях руки). Здесь регистрировалась специфическая электроэнцефалографическая реакция депрессий ритма роландической извилины.

Исследования, аналогичные опытам Кеннеди и Гасто, в нашей стране проводились А. Н. Соколовым, который на основе своих экспериментов считает, что ЭЭГ не является достаточно специфичным показателем процессов в центральной нервной системе, связанных с различными уровнями речи, и поэтому не может быть достаточно однозначным средством их косвенного изучения [Соколов, 1968, 200]. Другими средствами косвенного изучения процессов в центральной нервной системе, которые обеспечивают осуществление артикуляции, являются токи действия мышц и параметры движений органов речи при произнесении звуков как результат соответствующих процессов в нервной системе. По поводу возможности использования ЭМГ в качестве косвенного индикатора характера процесса в нервной системе А. Н. Соколов пишет: «Хотя токи действия мышц непосредственно отражают только колебания потенциала, связанные с возбуждением концевых двигательных пластинок мышечных волокон, все же очевидно, что опосредованно они отражают всю систему нервной регуляции мышечного сокращения, включая и центральные воздействия на них со стороны коры мозга. Этим представлениям отвечает также факт наличия в двигательном анализаторе коры головного мозга как эфферентных, так и афферентных двигательных нейронов» [Соколов, 1968].

Указанное положение было использовано А. Н. Соколовым в его исследовании, в результате которого на основе обнаружения двух видов электроактивности речевой мускулатуры в процессе речемыслительной деятельности, тонической и фазической, был сделан ряд выводов относительно работы соответствующих центров в нервной системе. Вот что пишет об этом автор: «Тоническая электроактивность речевой мускулатуры является следствием общей сенсibilизации речедвигательного анализатора и всей связанной с ним системы других анализаторов. Фазическая же активность речедвигательного анализатора связана с самим процессом говорения, т. е. является результатом действия определенных второсигнальных связей, выбранных из общей совокупности всех других тонически возбужденных функциональных систем мозга» [Соколов, 1968].

Косвенные методы изучения электрофизиологических процессов вне нервной системы почти не применяются, так как параметры этих процессов легко доступны для прямой регистрации. Косвенное изучение движений органов речи при фонации является исключительно распространенным. При этом применяется большое количество разных и часто довольно сложных средств отображения и фиксации, с помощью которых реализуется обычно тот или иной принцип опосредования. Наиболее распространен-

ным принципом опосредования в данном случае является перекодирование пространственно-временных и механических параметров деятельности органов речи в электрические с регистрацией и последующей расшифровкой их. Наиболее полное использование указанного принципа при очень многостороннем косвенном исследовании артикуляции было осуществлено в работе Л. А. Чистович и ее сотрудников. Как указывается в работе, система применявшихся датчиков при комплексной регистрации артикуляторных и акустических параметров речи дала возможность одновременно и непрерывно получать в виде электрических сигналов основные показатели работы артикуляторного аппарата [Чистович и др., 1965].

Как уже указывалось выше, акустические характеристики звуков речи изучаются исключительно косвенным образом через преобразования механических звуковых колебаний в электрические и их последующий анализ. Для этой цели используются микрофоны (ларингофоны), магнитофоны, осциллографы, спектрографы звуковых частот и т. п. См., например, работы [Суханова, 1968; Орлов, Спиридонова, 1968; Бондарко, 1969]. Такова краткая характеристика методов исследования объективных процессов, связанных с речью, которые традиционно называются физиологическими.

Глава 9

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК МЕТОД ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель научного эксперимента — искусственно вызвать явление, подлежащее изучению, с тем чтобы, наблюдая за этим явлением, более глубоко и полно его познать. Эксперимент должен давать возможность более подробного наблюдения над объектом исследования иногда в условиях, максимально приближенных к естественным. Эксперимент при формулировании научной теории не только является методом проверки, верификации построенной модели и базой ее создания, но и позволяет обобщить частный случай исследования. Экспериментируя над единичными явлениями, исследователь должен осознавать каждое явление как частный случай общего, способ существования последнего.

Эксперимент является эмпирической базой научной теории и, следовательно, влияет на ее эвристическую ценность.

Сказанное в полной мере относится к лингвистическому эксперименту.

Лингвистический эксперимент наиболее широко применяется в двух областях науки: в языкознании и обучении языку (соответственно он называется лингвистическим и педагогическим).

Лингвистический эксперимент служит способом верификации построенной лингвистом модели. При помощи эксперимента лингвист определяет эвристическую ценность модели и в конечном счете гносеологическую ценность всей теории. Языковую модель (логическую модель) мы понимаем как «всякое достаточно правильное, т. е. удовлетворяющее определенным требованиям к адекватности, описание языка» [А. А. Леонтьев, 1965а, 44].

Педагогический эксперимент проводится с целью выяснения сравнительной эффективности отдельных методов и приемов преподавания языка. Он проводится в обычных условиях учебной работы. Кроме того, педагогический эксперимент может означать «испытание на практике какой-нибудь новой педагогической идеи — возможности ее осуществления, ее эффективности» [Рамуль, 1963]. Педагогическая идея в этом случае выступает как

модель познания учеником нового материала. Эксперимент в этом случае выступает как способ верификации модели.

Применительно к обучению языку педагогический эксперимент должен помочь ответить на вопрос, «функцией каких аргументов является результат нашего обучения» [А. А. Леонтьев, 1969а]. Последнее необходимо предполагает, чтобы педагогическому эксперименту предшествовал эксперимент психологический.

Эмпирическое (в нашем контексте это то же, что экспериментальное, вследствие совпадения этих понятий в практике лингвистического исследования) изучение языка строится на основе получения данных о функционировании системы живого языка в индивидуальной речевой деятельности его носителя. От эксперимента вообще такой эксперимент отличается тем, что лингвистика имеет дело с самими фактами, процессами, сторонами языковой системы, но не с их отображаемыми характеристиками. Иначе говоря, лингвистический эксперимент имеет дело всегда с изучением прямым образом отображаемых свойств явлений.

Эвристическая значимость лингвистического эксперимента определяется тем, насколько корректно он выявляет меру адекватности языковой модели.

Лингвистический эксперимент нашел широкое применение в практике диалектологических исследований. Диалектологи стоят перед задачей моделирования «микросистемы» языка, идя от частных случаев, отмеченных в живой речи, к построению некоторой модели данного диалекта. Верификация же модели производится в ситуации мысленного эксперимента, когда лингвист отождествляет себя с носителем языка (диалекта). О специфике мысленного лингвистического эксперимента см. ниже.

Имеется целый ряд методов экспериментальных диалектологических исследований, которые было бы справедливее назвать не методами, но приемами исследования. Диалектолог имеет дело, как правило, с носителями диалекта и разными способами получает от них информацию о разных сторонах языка¹. Однако наблюдения диалектолога весьма осложняются тем, что их практически нельзя повторить. Получив некоторый эмпирический материал, построив модель какого-либо говора, диалектолог часто лишен возможности проверить абсолютную правильность своей модели. Объясняется это тем, что устная речь «доступна наблюдению лишь в момент произнесения, когда осуществляется акт речи» [Аванесов, 1949, 263]. Этим, в частности, отличаются эксперименты над живыми языками от экспериментов над языками мертвыми (о наблюдении текстов и их анализе см. ниже, в следующей главе).

Главными приемами, используемыми диалектологами, являются беседа и опрос. В ходе живой беседы с носителями диалекта

¹ Случай, когда диалектолог имеет дело с текстами (записями, фольклором), мы не рассматриваем.

или в наблюдении за их беседой исследователь получает фонетический и морфологический материал. При сборе материала по лексике может применяться опрос. В ходе опроса выясняются названия ряда предметов быта и т. п. При этом ставятся вопросы: «Что это такое?» и «Как это называется?». Не рекомендуется задавать вопросы типа «Произносят ли у вас так-то?». Такие вопросы, помимо того, что они приводят к стереотипным ответам, причем не всегда верным, еще и создают определенную установку у носителя диалекта. Отрицательной стороной подобных вопросов является и то, что они апеллируют к «языковому чутью» носителей языка, и в ответе содержится субъективная оценка, которая не учитывается (так что не годятся не сами по себе вопросы, но их использование и интерпретация ответов).

Близка по приемам наблюдения и назначению к диалектологическим изысканиям и так называемая «полевая лингвистика». В широком смысле под этим названием объединяется совокупность приемов и способов работы с информантами при изучении бесписьменных языков. Предполагается, что в результате «полевых» экспериментов может быть составлена некоторая модель живого языка (см. в этой связи [Gudschinsky, 1965; Samarin, 1965; Wurm, 1967; Nealey, 1964]).

Л. В. Щерба, едва ли не впервые поставив проблему лингвистического эксперимента, писал о том, что исследователь живых языков, «построив из фактов этого материала некую отвлеченную систему», должен «проверять ее на новых фактах, т. е. смотреть, отвечают ли выводимые из нее факты действительности. Таким образом, в языкознание вводится принцип эксперимента» [Щерба, 1965, 368]. Как следует из этих слов Л. В. Щербы, методы лингвистического эксперимента тесным образом связаны с моделями. При эксперименте в диалектологических исследованиях лингвист имеет дело, как правило, с генетическими моделями [см. выше гл. 4], и это определяет приемы эксперимента. В «полевой лингвистике» могут верифицироваться не только генетические модели, но и аксиоматические.

Л. В. Щерба выделяет два вида эксперимента — положительный эксперимент и отрицательный эксперимент. При положительном эксперименте, «сделав какое-либо предположение о смысле того или иного слова, той или иной формы, о том или ином правиле словообразования или формообразования и т. п., следует попробовать, можно ли сказать ряд разнообразных фраз (который можно бесконечно множить), применяя это правило. Утвердительный результат подтвердит правильность постулата...» [Щерба, 1965, 368].

Если при положительном эксперименте строится правильная форма, высказывание и т. п., то при отрицательном эксперименте строится заведомо неправильное высказывание, а от информанта требуется отметить неправильность и внести необходимые исправления. Отрицательный эксперимент по своему строению — тот же

положительный, и между ними «нет принципиального различия и они зачастую дополняют друг друга» [А. А. Леонтьев, 1965а, 67].

Третий вид лингвистического эксперимента выделен А. А. Леонтьевым. Это альтернативный эксперимент, в ходе которого информант определяет тождество / нетождество предлагаемых отрезков. В связи с этим важно максимально объективизировать данные, полученные от информанта. Для этого Харрис предлагает информанту повторить то, что он уже сказал, или обращает к другому информанту вопрос «А вы бы так же сказали?» [Harris, 1960]. Однако такой вариант объективизации мало удачен. Более удачным представляется вариант, когда информанту задается стандартный вопрос — о тождестве или нетождестве предлагаемых отрезков речи, на который можно ответить однозначно — «да» или «нет». Однако и этот вариант эксперимента прямо апеллирует к языковому сознанию информанта. Наиболее естественными были бы данные, полученные не прямым путем — в максимально естественных условиях живой непринужденной беседы (снятой своего рода «скрытой камерой»). В ходе такой беседы происходит экстерниоризация психологически реальных элементов системы языка, они приобретают функциональную определенность. Кроме того, обратная связь, которая устанавливается при общении, позволяет по реакции собеседника объективизировать получаемые данные. В ходе беседы информант свободно оперирует слогами, словами, предложениями — реальными «квантами» потока речи. Психолингвистическая реальность этих «квантов» всегда одинакова (в отличие от реальности в сознании информанта фонемы, морфемы и т. п.), не зависит от уровня развития речевых умений и от условий обучения информанта родному языку.

Любопытный вариант предлагает А. Хили. Он описывает эксперимент с использованием двух информантов, помещенных спинами друг к другу. Перед одним лежит серия предметов, а другому молча показывают любой предмет такой же серии. Информант называет предмет, а его партнер должен выбрать аналогичный. Таким образом, построенный эксперимент «включает» не только систему порождения, но и систему восприятия. Вопрос тождества / нетождества отрезков речи объективируется, и появляется возможность (после ряда опытов) оценки правильности высказывания [Healey, 1964].

Задача исследователя состоит еще и в том, чтобы вскрыть и актуализовать все потенции языка. Только при соблюдении этого условия описание языка будет достаточно адекватным. При «полевом» же эксперименте, проводящемся традиционными методами работы с информантами, часто невозможно открыть «потенциальных порождающих возможностей языка, не находящихся по тем или иным причинам широкого применения в речи говорящих» [Кибрик, 1970, 160—161]. Живая беседа и в этом смысле оказывается весьма полезной: в непосредственном общении «обо-

рот» потенциальных возможностей языка значительно шире.

В цитированной работе Л. В. Щербы выделяются три аспекта языковых явлений. «Процессы говорения и понимания» составляют «речевую деятельность». Словари и грамматики языков составляют второй аспект — «языковую систему». «Совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке, в ту или иную эпоху жизни данной общественной группы составляет третий аспект языковых явлений — «языковой материал»².

Из этого следует необходимость включения в моделирование языка («языковой системы») двух других аспектов — «речевой деятельности» и «речевой организации». Если в модели эти три аспекта находят свое выражение, то в ходе лингвистического эксперимента должны верифицироваться языковые явления в единстве этих трех аспектов. (Иначе говоря, лингвист должен изучать язык, которым пользуется говорящий человек).

Традиционно проводимый лингвистический эксперимент ориентирован лишь на один из аспектов языковых явлений. Модель верифицируется на «индивидуальной речевой системе» как конкретном проявлении языковой системы без учета тех внутренних факторов, которые определяют в конечном счете саму «индивидуальную речевую систему».

Исследование триединства языковых явлений обязательно должно предполагать, помимо «языковой системы» и «языкового материала», еще и выяснение «индивидуальной речевой деятельности». Иными словами, следует найти пути и способы актуализации потенциальных возможностей языка по их функционированию в сознании говорящего. При этом собственно лингвистические данные могут не всегда совпадать с теми, которые получаются в результате психологического (точнее — психолингвистического) «поворота» эксперимента. В подтверждение сказанного можно привести эксперименты, проведенные Л. В. Сахарным в Перми по исследованию психологической реальности словообразовательных моделей. Эти эксперименты показали, что традиционное в лингвистике выделение семантически обобщенных классов слов не вполне соответствует конкретным семантическим типовым признакам при группировке их в сознании говорящего [Сахарный, 1970]. Как видно, при подобном «повороте» эксперимента выигрывает и лингвистика, ибо дополняется и уточняется картина «языковой системы». Таким образом, «... лингвистика... не может замкнуться в рамках языкового стандарта. Она должна изучать языковой стандарт, соотнося его как с языковым процессом, так и с языковой способностью» [А. А. Леонтьев, 1965а, 58].

Сказанное выше особенно важно применительно к мысленному эксперименту, под которым понимается такой вид лингвистиче-

² Ср. у А. А. Леонтьева соответственно: «языковая способность», «языковой процесс», «языковой стандарт» [А. А. Леонтьев, 1965а].

ского эксперимента, когда экспериментатор и испытуемый — одно лицо. Л. В. Щерба, описывая этот вид эксперимента, применил известный психологический термин «самонаблюдение» и писал, что «индивидуальная речевая система является лишь конкретным проявлением языковой системы, а потому исследование первой для познания второй вполне законно» [Щерба, 1931, 123]. Однако на индивидуальную речевую систему влияют внутренние и внешние факторы, под воздействием которых она не сводится к простой актуализации языковой системы. Элиминировать эти факторы (или учесть их) можно, только подготовив некоторые условия, сформулировав гипотезу и введя модель, подлежащую верификации. См. [Поливанов, 1928].

Чем большее внимание при проведении мысленного эксперимента уделяется процессу («говорения», формирования, организации) высказывания, тем выше мера адекватности лингвистического эксперимента. Недостаточное понимание того важного факта, что всякое обращение к «языковому сознанию», лингвистическая «интроспекция» есть разновидность лингвистического эксперимента и этот эксперимент должен быть организован по общим правилам, приводит нередко к недооценке места эксперимента в системе методов «классической» лингвистики и соответственно недооценке места психолингвистики в системе дисциплин современного языкознания.

АНАЛИЗ ТЕКСТОВ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УНИВЕРСАЛИЙ

Среди современных методов психолингвистических исследований наблюдение и анализ текстов представляется наименее специфическим и, как кажется, используется меньше других методов, описанных выше. Анализ текстов скорее даже противопоставляется как способ изучения чисто лингвистических явлений различным методам, свойственным собственно психолингвистике, например, экспериментальным исследованиям речевой деятельности, изучению детской речи, патологии речи и т. п. Впрочем, при изучении текстов иногда отмечается, что те или иные явления (особенно универсального свойства) имеют также психолингвистическую значимость. Рассмотрим несколько подробнее, какое место могут занимать исследования текста в работах по речевой деятельности и какие именно данные, извлеченные из текстов, представляют особый интерес для психолингвистики, уделив специальное внимание проблеме лингвистических универсалий.

В течение длительного периода развития науки о языке сведения о природе языка выводились в основном из текста. Анализ текстов лежит в основе заключений о наиболее существенных характеристиках естественных языков, отличающих их от других знаковых систем — о естественных языках как кодах с неограниченным количеством сообщений, о возможности перекодировки языковых сообщений из одной знаковой формы в другую (устная речь и письмо) [Булыгина, 1970, 150], о непрямом характере связи между последовательностью частей высказывания и относительной значимостью соответствующих референтов («диаграмматическая иконичность») и др.

Признаки, отличающие естественные языки от других знаковых систем, естественных и искусственных, являются, по-видимому, общими для всех естественных языков, независимо от лингвистической структуры каждого из них.

Известно, что явления и закономерности, присущие всем или большинству языков, принято называть универсалиями [Успенский, 1970, 10].

Универсалии представляют особый интерес для психолингвистики. Можно предположить, что общие для всех языков явления

или закономерности построения могут быть обусловлены не внутренней структурой каждого языка, которая бывает самой различной, а его общими свойствами как языка естественного. Иными словами, следует предположить, что по крайней мере в части случаев универсалиям можно найти психолингвистическое объяснение.

Универсалии часто отражают самые общие и «очевидные» особенности языка. Так, например, известно, что все языки имеют фонемы, во всех языках есть гласные, все звуковые системы естественных языков строятся на основе фонологических дифференциальных признаков и т. п. [Гринберг, Осгуд, Дженкинс, 1970, 34], языковое сообщение передается голосом и воспринимается слухом, языковый знак произволен и т. п. [Хоккетт, 1970]. Однако понятие универсалий выходит далеко за пределы простого перечисления общих для всех языков фактов. Под универсалиями в настоящее время понимается широкий круг явлений и свойств языка, начиная от таких общих для всех языков, как «открытость» или «традиция» [Новые универсалии..., 1969, 338], до довольно частных зависимостей внутри отдельных языковых уровней, например: «если существует каузативная морфема, выражающая пермиссивность, то такая же морфема выражает и фактитивность» (Universals..., 1966; Языковые универсалии..., 1970; Успенский, 1969; Языковые универсалии..., 1969).

С проблемой универсалий связывается и проблема универсальности структуры языка в целом, которая находит свое отражение в возможности (или невозможности) построения общих для разных языков моделей описания. В самом деле, если модели отражают внутренние свойства языков как знаковых систем (пока это не доказано ни для одной модели, хотя в принципе такие модели, бесспорно, могут быть получены), то они должны быть универсальны [Universals in linguistic theory, 1968]. При изучении универсалий встает ряд сложнейших вопросов, связанных с общей характеристикой языков как семиотических систем, с отношением естественных языков к другим знаковым системам, наконец, ряд вопросов, касающихся взаимоотношений универсальных свойств данного языка и его специфических особенностей, характеризующих каждый язык как уникальную систему.

Поиски универсалий ведутся, как правило, с чисто лингвистическими целями в связи с работами по лингвистической типологии¹. Анализируя тексты различных языков и извлекая из них сведения об универсальных для естественных языков явлениях, получая сведения о структуре лингвистических систем и особен-

¹ «Понятно, что если некоторое явление данного языка может быть обнаружено вообще во всех языках (то есть является универсальным) или может быть предсказано из наличия в данном языке какого-то другого явления, — то самый факт наличия этого явления в данном языке по необходимости тривиален (мало информативен)» [Успенский, 1970, 11].

ностях их реализации, исследователь чаще всего не ставит вопроса о психолингвистической значимости этих явлений. Между тем многие универсалии, в том числе мало информативные для лингвистики как таковой [Успенский, 1969, 35], представляют специальный интерес для психолингвистики. Они позволяют найти психолингвистическое обоснование явлениям, которые на первый взгляд кажутся «чисто языковыми». Как отмечали в свое время Дж. Гринберг, Ч. Осгуд и Дж. Дженкинс в известном «Меморандуме о языковых универсалиях», «широкое использование понятия «универсалия» будет весьма плодотворным с психолингвистической точки зрения. Все явления, встречающиеся в различных языках с частотой, выходящей за пределы случайности, могут представить интерес для психологии». В самом деле, многие универсалии могут быть истолкованы на основе психологии речевой деятельности. Так, например, приводившееся выше свойство языка — «диаграмматическая иконичность», которое бесспорно находит психологическое обоснование, лежит в основе различных грамматических универсалий, например, обнаруженных Дж. Гринбергом универсалий, связанных со структурой предложения (сочетание частей сложного предложения, порядок слов в предложении и т. п.). По-видимому, не всем универсалиям можно дать психолингвистическую интерпретацию; как известно, имеются универсалии, обусловленные социальными или культурными факторами [Гринберг, Осгуд, Дженкинс, 1970, 43]. Некоторые из универсалий — это особенно относится к импликациям внутри одного языкового уровня, — вероятно, обусловлены структурными свойствами данного языка, их связь с психологией речевой деятельности может быть только опосредованной (хотя в каждом отдельном случае утверждать это довольно затруднительно).

Как известно, целый ряд языковых универсалий довольно конкретного свойства предложил [Дж. Гринберг, 1970], выводя их на основе анализа 30 разнотипных языков. Эти универсалии касаются порядка значимых элементов и обнаруживаются на основе рассмотрения эмпирического языкового материала. Так, например, оказывается, что «в повествовательных предложениях с именным субъектом и объектом почти всегда преобладает порядок слов, при котором субъект предшествует объекту» (универсалия 1). «Если именной объект предшествует глаголу, то глагольные формы, подчиненные глаголу, также предшествуют ему» (универсалия 13). «Если местоименный объект следует за глаголом, то за глаголом следует также и именной объект» (универсалия 25). Возможность психолингвистической интерпретации таких универсалий во всяком случае не лежит на поверхности. Психолингвистическая обусловленность некоторых других универсалий Дж. Гринберга несколько более очевидна. Так, например, универсалию 34 («Нет языка, который, имея тройственное число, не имел бы двойственного. Нет языка, который, имея двой-

ственное число, не имел бы множественного»), по-видимому, можно связать с тем положением психолингвистики, неоднократно подтвержденным экспериментально, что более простые в структурном отношении явления генетически обычно предшествуют более сложным (что легко проверить также на речи детей и афатиков). Психолингвистическая трактовка универсалий, выведенных на основе эмпирического анализа языкового материала, требует специального исследования и контроля.

Данные, полученные на основе анализа текстов или другими способами, не раз подвергались различным видам экспериментальной проверки на психолингвистическую реальность². Нельзя сказать, чтобы результаты таких экспериментов были всегда однозначными. Здесь можно вспомнить трансформационные грамматики или модели НС, которые первоначально разрабатывались на различных текстовых моделях синтеза и анализа, а затем стали проверяться в эксперименте, с тем чтобы дать им психолингвистическое обоснование [А. А. Леонтьев, 1969а, гл. II]. Результаты экспериментальной проверки языковых моделей могут быть и отрицательными. Так, например, Л. Р. Зиндер и Л. В. Бондарко показали, что дифференциальные признаки фонем, на которых строятся фонологические системы всех языков, не являются психолингвистической реальностью [Зиндер, Бондарко, 1966].

Вопрос о психолингвистической реальности различных моделей описания языка и тем более о возможности их интерпретации на психологической основе остается спорным. Результаты психолингвистической проверки языковых моделей оказывались то положительными, то отрицательными в зависимости от того, как ставилась задача, насколько широко охватывался материал и т. п. Некоторые авторы относятся к результатам таких экспериментов, даже и тех, которые дали более или менее достоверный результат, довольно скептически, считая, что процесс порождения текста человеком столь сложен, что он не может быть однозначно описан ни одной из существующих языковых моделей [Universals in linguistic theory, 1968, 174].

Психологическое обоснование универсальных языковых моделей затрудняется и тем, что один и тот же текст может интерпретироваться по-разному с точки зрения моделей, как лингвистических, так и психологических, лежащих в основе его построения.

Наиболее простой и распространенный способ проверки психолингвистической реальности текстовых гипотез — это ссылка на детскую речь и нарушения речи при афазии, которая может использоваться, например, в тех случаях, когда определяется соотношение более простых или более сложных структур в языке;

² Мы не останавливаемся здесь на методиках, связанных с конструированием и реконструированием текста с целью исследования языковых явлений и их психолингвистического обоснования (ср., например, [Брудный, 1968], где рассматриваются различные приемы работы с текстами).

как известно, более сложные структуры дети приобретают позже, а при патологии речи те же структуры быстрее теряются (ср., например, [Вейнрейх, 1970, 204—205]).

Для психолингвистических объяснений тех или иных фактов или утверждений о психологической обоснованности языковых моделей предлагаются самые различные основания. Так, например, предполагается, что более или менее надежной основой для проверки психологической реальности языковых моделей следует считать исторические изменения языковых структур, которые в общем виде можно представить как добавление новых правил или упрощение существующих. Подвержен историческим изменениям и порядок грамматических правил. По мнению П. Кипарского, если уровни, правила и т. п., на основе которых строится грамматическое описание, когда-либо играли роль в исторических изменениях, то можно говорить об их психологической реальности. Такая точка зрения, хотя и не бесспорная, несомненно представляет интерес и заслуживает дальнейшей проверки [Universals, стр. 179].

Однако все эти утверждения позволяют судить скорее о самом факте психологической реальности лингвистического явления. Гораздо сложнее дать этому явлению причинное психологическое объяснение. Наиболее успешным оказывается психолингвистическое истолкование тех универсалий, которые следует считать скорее универсалиями речи, противопоставленными универсалиям языка. Как отмечает Б. А. Успенский, именно к сфере речи, а не языка, относятся, например, известные выводы (универсального характера) об ограничениях, накладываемых на количество определений в тексте (в связи с ограниченностью объема кратковременной памяти человека); о запрещениях в отношении пересечения стрелок в синтаксической структуре предложения (связанных с так называемым «свойством проективности») и т. д. [Успенский, 1970, 25].

При попытках психолингвистических объяснений речевых явлений необходимо, по-видимому, учитывать три аспекта: сам лингвистический факт, который может быть обнаружен на основе анализа текстов одного языка, его проверку на универсальность и его психолингвистическую интерпретацию. Очевидно, проверка на универсальность, полную или частичную, необходима, ибо факт, свойственный одному или немногим языкам и не имеющий хотя бы коррелятов в других языках, обусловлен, по всей вероятности, не психологическими, а внутриязыковыми факторами. (Следует, однако, учесть, что и независимое на первый взгляд явление может отражать универсальную тенденцию). В то же время гипотеза о психолингвистической обусловленности языкового факта может быть выдвинута и до проверки его на универсальность.

Блестящим примером психолингвистической интерпретации явления, извлеченного из текста одного языка и лишь в дальнейшем подвергнутого проверке на универсальность, является так

называемая гипотеза Ингве. Как известно, В. Ингве предположил существование прямой связи между фактом психологии — объемом кратковременной памяти и некоторыми особенностями синтаксической структуры английской фразы [Yngve, 1960; Ингве, 1965]. В. Ингве обнаружил, что синтаксис английского языка обладает рядом средств, которые позволяют автоматически удерживать высказывание в пределах, которые определены объемом кратковременной памяти (7 ± 2 единицы) [Миллер, 1964]. При этом оказалось, что если прогрессивные структуры фразы, которые требуют для своего расширения запоминания только одного символа, могут расширяться практически бесконечно, то иначе обстоит дело с регрессивными структурами. Последние, «становясь все более длинными, требуют все большего и большего запоминания» [Миллер, 1964] и ограничены приблизительно семью шагами, т. е. объемом кратковременной памяти. Как показал В. Ингве, для того чтобы избежать превышения предельной глубины регрессивных структур, английский язык пользуется различными средствами. Таким образом, В. Ингве предположил психологическое объяснение для целого ряда чисто лингвистических явлений, о психолингвистической интерпретации которых раньше не шла речь вообще³.

Гипотеза Ингве проверялась в дальнейшем в двух направлениях. С одной стороны, рассматривалась структура предложения на материале различных языков, с тем чтобы установить универсальность явления, которую предположил Ингве. С другой стороны, делались многочисленные и в целом успешные попытки доказать психологическую реальность гипотезы. [Ср., например, Ильясов, 1968; Луцких, 1965а]. Затем анализу были подвергнуты другие явления, уже не синтаксические, а морфологические, а именно слово и морфема, и было установлено присутствие указанной закономерности и в этих случаях. Так, В. А. Москович показал на материале разных языков, что максимальное количество морфем в словах естественных языков редко превышает семь [Москович, 1969]. Таким образом, гипотезу оказалось возможным сформулировать и в более общем виде, постулируя наличие связи между оперативной памятью человека и оптимальным и максимальным количеством единиц низшего уровня языка, которые могут содержаться в единицах высшего уровня [Москович, 1969]. Эта связь была обнаружена в самых различных ис-

³ В случае с регрессивными структурами речь идет не о том, как это специально подчеркивает Ингве (стр. 133), что более глубокие структуры имеются в языке, но не выбираются; таких структур вообще нет. Напротив, бесконечное продление прогрессивной структуры возможно, но практически не применяется. (Можно отметить, что хотя прогрессивные структуры в принципе бесконечны, в речи нормального человека они всегда ограничены более или менее определенным пределом. Напротив, речь с неограниченными прогрессивными структурами характеризует лиц с психическими отклонениями).

следованиях текста и в эксперименте. Так, например, в работах Л. А. Чистович было показано, что разборчивость фраз, превышающих размеры 7 слогов, при восприятии резко снижается [Чистович и др., 1965].

Как можно видеть, исследование языковых универсалий имеет большое значение не только для смежных областей психолингвистики и собственно психологии; оно, кроме того, глубоко связано с выявлением языкового аспекта человеческого поведения и потому столь важно для развития наук, связанных с изучением поведения. Изучение универсалий приводит к ряду эмпирических обобщений, касающихся языкового поведения; одни из них гипотетические, другие — окончательно установлены [Гринберг, Осгуд, Дженкинс, 1970, 42].

Можно привести еще один пример закономерности, на этот раз количественной, обнаруженной при наблюдении и анализе текста и в дальнейшем подвергнутой успешной проверке и на универсальность, и на психолингвистическую реальность. Эта закономерность известна как закон Ципфа, определяющий статистическую структуру распределения лексических единиц в тексте, где обнаруживается постоянная закономерная зависимость между частотой встречаемости слова в тексте и его местом в частотном списке [Zipf, 1949]. Закон Ципфа, выявленный при анализе текстов и подтвержденный на материале различных языков, затем подвергся проверке в психолингвистическом эксперименте с тем, чтобы выяснить, совпадают ли частоты, выявленные по текстам слов, букв и т. д., с теми субъективными частотами, которые содержатся в сознании говорящего. При этом были обнаружены интересные явления, связанные с природой отклонений субъективных частот от объективных [Фрумкина, 1966; Василевич, 1969]. Как и в случае с гипотезой Ингве, было предложено расширенное толкование этой закономерности. Она лежит в основе одного из фундаментальных положений Ч. Осгуда, которое гласит, что «на всех уровнях единиц языка соперничающие альтернативы будут организованы иерархически в терминах частотности встречаемости и с относительно низкой энтропией дистрибуции, приближающейся к функции Ципфа. Данные Гринберга об относительной частотности типов предложений, об относительной частотности суффиксации по отношению к префиксации и к инфиксации и т. д. на материале 30 языков дают начало такому анализу на уровне синтаксиса» [Osgood, 1966, 304]. И далее: «Все эти «универсалии» предполагают, что если человек должен много раз выбирать из ряда альтернатив, то он выбирает немногие альтернативы с очень высокой частотностью, а многие — очень редко. Это касается не только человеческого языка... Живой организм энтропичен по природе» [Osgood, 1966, 205].

Однако несмотря на некоторые успехи, достигнутые в психологической интерпретации извлеченных из текстов фактов, особенно фактов речи, большинство универсалий до сих пор не нап-

лю психолингвистического объяснения. Например, как известно, Ч. Хоккетт предложил целый ряд универсалий, которые отличают язык человека от языка животного [Ч. Хоккетт, 1970]. Психологическую обусловленность этих универсалий можно только предполагать *ipse facto* их универсальности. Конкретных психологических объяснений этим универсалиям до сих пор не дано. Подобных примеров можно привести множество. Так, например, известно, что во всех языках есть слог вида CV. «Мы были бы крайне удивлены, если бы кто-нибудь открыл язык без такого типа слога, однако мы не можем обосновать, почему дело обстоит именно так» [Гринберг, Осгуд, Дженкинс, 1970, 42].

Поиски психолингвистических объяснений языковых универсалий, обнаруженных на основе исследований текстов различных языков, представляют одну из интереснейших и в то же время сложнейших задач психолингвистики. Во многих случаях универсалии могут дать толчок дальнейшим исследованиям лингвистических фактов в текстах различных языков или позволяют поставить психолингвистический эксперимент. Так, например, в упоминавшемся уже «Меморандуме» отмечалось в связи с вопросом о диахронических универсалиях: «С психологической точки зрения эти универсалии интересны тем, что они помогают нам выделить явления, доступные экспериментальному изучению (например, наблюдаемая в истории языка неустойчивость плавных и носовых выдвигает интересные проблемы в области артикуляции и слухового восприятия, связанные с моторными навыками и особенностями восприятия вообще)». Ч. Осгуд, говоря о психолингвистических универсалиях, приводит в качестве примера следующее утверждение: «На всех уровнях языковой организации, там где имеются соперничающие средства для получения какого-либо критерия коммуникации, эти соперничающие средства будут связаны в обратном соотношении как компенсирующая система. Иными словами, если *x* и *y* суть альтернативные средства для достижения одной и той же коммуникативной цели, по мере того как роль *x* увеличивается, роль *y* уменьшается, и в одном языке с течением времени, и во многих языках синхронно. Поддерживая оптимальный баланс между различительными способностями говорящего и слушающего, сохраняется, например, отношение числа фонем к числу дифференциальных признаков, флексия компенсируется с порядком слов, инвентарь фонем с относительной длиной морфем» [Osgood, 1970, 306]. Очевидно, что универсалии такого рода предполагают дальнейшие исследования как лингвистического, так и психолингвистического плана.

Целый ряд универсальных гипотез, которые обнаруживаются при анализе текстов различных языков и требуют дальнейших лингвистических и психолингвистических исследований, предложил У. Вейнрейх [1970].

Так, например, У. Вейнрейх отмечает, что модальность в широком смысле слова присутствует в любом языке и может быть

предметом психолингвистических исследований. При этом модальность может проявлять себя самым различным образом — в структуре высказывания в целом и отдельных его частей, в вопросно-ответных структурах, различных модальных частицах и т. п. Столь же универсальна, а потому, вероятно, психолингвистически обусловлена, общая структура ситуации, которая отражается в дейктических знаках, общих для большинства языков. В универсальную структуру ситуации входит, по мнению У. Вейнрейха, отношение отправителя и получателя сообщения, время и место акта речи, идентичность или неидентичность акта речи. Именно эти элементы и отражаются в дейктических единицах разных языков (1—2-е лицо, указание на время посредством формы глагола и другими средствами, указательные демонстративы, анафора, рефлексивность, очевидность и т. п.). В то же время, такие элементы ситуации, как темп или громкость речи, ни в одном языке не учитываются [Вейнрейх, 1970, 175]. Универсальным, и, следовательно, психологически обусловленным, является отражение общей структуры ситуации, реализация ее в разных языках различается. Универсальным, согласно У. Вейнрейху, является также то свойство языков, что все они менее «логичны», симметричны и дифференцированы, чем могли бы быть, если бы их элементы использовались во всей системе единообразно. Однако этого не происходит. Такое явление можно предположительно объяснить психологическими свойствами — объемом памяти, внимания, способностью запоминать определенное количество информации, количеством усилий, необходимых для кодирования (Вейнрейх, 1970, 223]. Говорящего можно, пишет У. Вейнрейх, сравнить с человеком, сидящим в небольшом кабинете, где помещается только стол и стул. Чтобы достать книгу с верхней полки, он предпочитает влезть на стул или даже взгромоздить стул на стол, но не держать в кабинете стремянку. Подобными соображениями экономии объясняется неравномерное использование семантических возможностей языка [Вейнрейх, 1970, 224].

Вопрос о семантических универсалиях получил дальнейшее развитие в работах по синтаксической семантике. Приведенные в этих работах данные представляют интересный материал для психолингвистических исследований. Ср., например, [Universals..., 1968].

По-видимому, психолингвистическую значимость имеют все или большинство лингвистических универсалий, особенно неимпликативного свойства. Так, например, такие универсалии, как местоимения, присущие любому языку, наличие у местоимений трех лиц и двух чисел и т. п., обусловлены общими закономерностями устройства естественных языков. Однако отсутствие конкретной психологической интерпретации этих явлений, неумение ответить на вопрос — почему это именно так? — не позволяет в подобных случаях пойти далее самых общих утверждений, мало интересных как для лингвистики, так и для психологии (выше,

впрочем, проводился возможный путь истолкования этих фактов с точки зрения отражения структуры ситуации в языке).

Для формулировки значимых универсалий необходимы чрезвычайно детальные исследования отдельных языков. Не случайно отмечалось, что наших конкретных знаний семантических систем пока недостаточно для выявления универсалий [Вейнрейх, 1970, 194]. Однако в настоящее время уже обнаружено достаточно большое количество универсалий в области фонетики и фонологии, морфологии и синтаксиса [Успенский, 1969]. Многие из них, бесспорно, ждут исследователя-психолингвиста, ср., например, [Алиева, 1969].

Подведем итоги. Исследование и анализ текстов разных языков позволяет выявить факты, которые обусловлены, как можно предположить, не столько системой данного языка, сколько психолингвистическими свойствами его носителей. Эти явления, как правило, универсальны. Однако выявить такие факты еще не значит дать им психологическое объяснение. Далеко не всегда, а, напротив, чрезвычайно редко, такое объяснение пока что удастся найти. Рассматривая текст как материал для психолингвистических исследований, необходимо иметь в виду, что один и тот же текст с точки зрения психолингвистической, как, впрочем и с точки зрения чисто лингвистической, может интерпретироваться по-разному (ср. различные модели текста — НС, трансформационную и др. — и попытки их психолингвистической интерпретации). С другой стороны, вряд ли можно утверждать априори, что в основе порождения данного типа высказывания лежит та или иная психолингвистическая модель. Тождество лингвистическое еще не есть тождество психолингвистическое [А. А. Леонтьев, 1970а). Явление, обнаруженное при наблюдении и анализе текста, даже если его психолингвистическая природа предполагается, может считаться психолингвистической реальностью только после экспериментальной проверки. Естественно, что постановка эксперимента возможна только тогда, когда уже имеется определенная гипотеза о связи данного явления с психологическими данными. При этом экспериментальные субъективные данные могут не совпадать с объективными, выведенными из текстов, и требуют соответствующих поправок [Фрумкина, 1966; Василевич, 1969]. Поэтому к выводам психолингвистического характера, основанным на анализе текста, следует подходить в высшей степени осторожно. В то же время нельзя недооценивать возможностей, которые предоставляет текст для психолингвистических исследований на материале разносистемных языков, с точки зрения универсальных для естественных языков свойств.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИКИ

Одним из основных вопросов при анализе любой системы является вопрос о ее единицах.

Известно, что фонетические единицы, в отличие от единиц других уровней языка, не связаны непосредственно со значением, что делало бы осознание их говорящими очевидным. Поэтому вопрос о психологической реальности этих единиц, о том, являются ли они фактом языкового сознания носителей языка или конструируются исследователями, давно занимает лингвистов, но до сих пор не имеет решения.

Объективному исследованию фактов родного языка мешает интуитивное владение ими, которое не позволяет посмотреть на них, так сказать, «со стороны». А при исследовании звукового строя неродного языка дело осложняется еще и тем, что фонетисты осознают факты этого языка сквозь призму своих собственных языковых представлений, своего фонетического опыта. Путь для решения указанного вопроса можно найти лишь в том случае, если уметь сопоставить данные объективного анализа речевого потока со способами его лингвистического описания. Речь идет о нахождении соответствий между такими понятиями, как фонема и ее дифференциальные признаки, слог, слово, с одной стороны, и звуки речи и их физические свойства, просодические и суперсегментные характеристики и пограничные сигналы — с другой стороны. Свидетельством коррелированности этих понятий должно быть наличие психических эквивалентов этих единиц в языковом сознании говорящих.

Известно, что речевой поток ни акустически, ни артикуляторно не членится на отрезки, которые соответствовали бы фонемам. Об этом писал еще Э. Сиверс, подчеркивая абстрактность понятия «отдельный звук речи» [Sievers, 1885, 8]; об этом говорит и следующее высказывание Л. В. Щербы: «Здесь надо повторить то же, что было сказано о словах в связной речи и что является справедливым в еще большей степени: ничто не отделяет один звук от другого, с ним в речи соседящего; каждый звук непосредственно переходит в другой без каких-либо резких скачков, так что печатный текст, состоящий из отдельных букв, не дает в сущности истинной картины реального речевого процесса» [Грамматика русского языка, 1952, 12].

Это подтверждается и последними акустическими исследованиями. Так, Г. Фант пишет: «В результате подобной чисто акустической сегментации может быть получено некоторое число минимальных звуковых единиц, имеющих размер, равный размеру звука речи или меньший... Число таких последовательных во времени звуковых единиц, как правило, больше числа символов фонетической или фонематической транскрипции. При желании согласовать эту транскрипцию со спектрографическими записями исследователь вынужден следовать некоторым условным правилам соотношения акустических единиц с теми или другими графическими знаками» [Фант, 1964, 35].

Однако лингвисты часто забывают о сложности понятия «звук речи» и исходят из того, что он задан своими физическими характеристиками: «Любая речь,— читаем мы у П. С. Кузнецова,— состоит из некоторой последовательности звуков речи. Любой звук речи может быть ограничен от звука речи предшествующего и последующего... Несмотря на наличные артикуляторные и акустические переходы от одного звука к другому, такое разграничение проведет любой говорящий на данном языке, с большей степенью точности наблюдатель-лингвист, с еще большей степенью точности — прибор. Возможность выделения звука речи в речевом потоке я принимаю как всегда осуществимую» [Кузнецов, 1959].

Это ошибочное положение, хотя оно и не всегда формулируется настолько отчетливо, является исходным для многих лингвистических построений.

Поэтому необходимо всячески подчеркнуть, что когда мы говорим о звуках речи, выделяемых в виде сегментов речевого потока, то это не что иное, как отражение членения на языковые единицы-фонемы, производимого на основании языковых критериев. Членимость речевого потока на звуки речи не задана его физическими характеристиками.

Равным образом далеко не просто решается вопрос и о физических коррелятах дифференциальных признаков, которые подобно фонеме имеют лингвистическую природу.

Во-первых, описание фонемы набором ее дифференциальных признаков, кажущееся достаточным с лингвистической точки зрения (для языка как системы), не соответствует распределению ее физических характеристик как на уровне артикуляции и акустики, так и на уровне восприятия. Так, например, признак звонкости согласного в русском языке может быть охарактеризован с фонологической точки зрения как наложение голоса на прочие признаки глухого согласного: это дает основание считать оппозицию «глухие — звонкие» привативной. Однако артикуляторно звонкие отличаются сравнительно меньшей силой, что акустически выражается в ослаблении шумовых составляющих и в увеличении роли формантной структуры в звонких согласных. Таким образом, глухие и звонкие согласные можно рассматривать как

различающиеся по степени шума. Тогда противопоставление их как шумных сонантам, вполне оправданное с точки зрения фонетической, например, в русском языке, оказывается фонетически недостаточно обоснованным, и вместо привативного противопоставления на фонемном уровне на фонетическом получается скорее градуальное; в глухих, звонких и сонантах мы имеем разные степени признака шумности. Это проявляется особенно сильно в отдельных случаях реализации звонких фонем — а именно, в интервокальном положении, где соседство гласных вызывает появление сильно вокализованных элементов согласного (сонантизацию его). Воспринимаются такие согласные, если их выделить из слов, как сонанты или даже как гласные.

Факты такого рода имеют первостепенное значение при объяснении фонетических изменений, приводящих к фонологическим перестройкам.

Во-вторых, наиболее существенные с точки зрения восприятия характеристики некоторых дифференциальных признаков далеко не всегда совпадают по времени с сегментами, соответствующими фонемам. Яркий пример представляют признаки места образования взрывных согласных, обнаруживающиеся в характеристиках соседнего гласного (теория локусов), а для русского языка — еще и признаки мягкости согласных, также расположенные на соседних гласных.

В-третьих, один и тот же дифференциальный признак имеет несколько принципиально различных коррелятов на физическом уровне. Так, для русских мягких согласных характерно и изменение спектральной структуры (усиление частот в области 2000—3000 гц и ослабление в полосе 1000—2000 гц), и изменение временной структуры самих гласных (аффрикатизация взрывных согласных), и изменение соседних гласных (появление *i*-образных переходов). Эти корреляты обнаруживаются по-разному в разных типах согласных: губные смычные характеризуются *i*-образным переходом и незначительной аффрикатизацией, переднеязычные — сильной аффрикатизацией и *i*-образным переходом и т. д. Объединение этих разнородных явлений в один дифференциальный признак происходит на основании совпадения их функционирования; любой мягкий согласный чередуется с твердым перед передним гласным, например, при склонении имен существительных; ср: *vada*—*vad'e*, *gaba*—*gab'e*, *paḡa*—*paḡ'e* и т. п.

Если рассматривать дифференциальные признаки как лингвистические соответствия некоторым реалиям звуковой материи языка, то приходится признать их недостаточность для полной характеристики звуковой системы с точки зрения восприятия ее носителями языка. Еще в начале 30-х годов С. И. Бернштейн писал по этому поводу следующее: «... Круг звуковых признаков, которыми пользуются говорящие для различения слов, гораздо шире, чем тот минимум звуковых признаков, который достаточен

для этой цели и которым исчерпывается содержание фонемы... два упомянутых гласных являются оттенками единой фонемы *e*, а звуки *л* и *ль* представляют собой две разные фонемы. Разницы между этими согласными достаточно для различения пары приведенных слов; но говорящие, различая слова *мел* и *мель*, опираются на различие общего облика этих слов, зависящее в равной мере от разницы в согласных и в гласных» [Бернштейн, 1936, 106—107].

С. И. Бернштейн говорил о звуковом облике слова: если же развить его мысль применительно к фонемам, то мы приходим к понятию интегральных признаков [Яковлев, 1923], вся совокупность которых только и обеспечивает правильное восприятие (идентификацию) как отдельных фонем, так и речевого потока в целом. Интегральные признаки не следует представлять себе как нечто дополнительное по отношению к дифференциальным. Интегральными будут все признаки, характеризующие данную фонему, независимо от того, служит ли тот или иной из них для различения данной фонемы от другой или он не служит этой цели. Хотя интегральные признаки относятся к фонетическому, а не фонологическому аспекту рассмотрения, формируются они все же на основе наших фонологических представлений: различия между открытым и закрытым [е] в словах *мел* и *мель* замечаются потому, что они существенны для распознавания фонологически противопоставленных мягких и твердых согласных.

Здесь обнаруживается, что наиболее естественным отрезком речи при рассмотрении интегральных признаков является слог. Исследование слога с точки зрения восприятия его компонентов показывает, что в число интегральных признаков включаются не только собственные характеристики сегментов, соответствующих фонемам, и не только вызванные соседством этих сегментов их изменения, но и те различия между соседними звуками в пределах слога, которые зависят от собственных характеристик сочетающихся в слоге звуков (слоговые контрасты) [Бондарко, 1969]. Для русского языка, например, характерны следующие контрасты в пределах слога СГ, от степени выраженности которых зависит правильность опознания согласного и гласного:

- 1) контраст по наличию основного тона голоса (все слоги с начальными глухими согласными контрастируют по этому признаку с последующими гласными);
- 2) контраст по интенсивности (согласный, как правило, характеризуется меньшей интенсивностью, чем гласный);
- 3) контраст по длительности (акустическая длительность взрывных глухих согласных сильно контрастирует с длительностью даже самых коротких гласных);
- 4) контраст по формантной структуре (чем больше согласный отличается от гласного, всегда имеющего формантную структуру, тем лучше он опознается);

5) контраст по локусу (акустический коррелят различия по месту образования).

Все эти признаки используются при фонемной идентификации и с точки зрения самого характера процедуры их выявления едва ли могут быть названы признаками сегментных единиц, так как здесь явно присутствует сравнение последовательных во времени отрезков.

Реальность фонемы с точки зрения языкового сознания говорящих выражается в том, что многообразие физических характеристик и несоответствие артикуляторно-акустических и лингвистических признаков могут быть обнаружены только при специальном анализе, а для носителя языка этих проблем вовсе не существует.

Поэтому и в языковедении до второй половины XIX в. отсутствовало представление о многообразии физических признаков одной и той же звуковой единицы языка. Отсюда и неразличение понятий звука и буквы, которое наблюдается даже у самых выдающихся языковедов начала XIX в. Этим можно объяснить и высказывание П. С. Кузнецова о бесспорной выделительности звука речи; нужно только отметить, что П. С. Кузнецов, выступая здесь как лингвист-исследователь, по существу исходит из представлений наивного носителя языка.

Единицей, реальность которой для говорящего не вызывает сомнений, является в первую очередь слово. Единицы, подобные слову, являются знаками, в которых кроме плана выражения (звуковой стороны) имеется и план содержания (смысл, значение). Что касается морфемы, то реальность ее очевидна, так как она имеет и план содержания, и план выражения, но в отличие от слова она не выступает в речи как фонетически самостоятельная единица. Поэтому можно ограничиться словом как минимальной единицей, данной в речи непосредственно. Выделимость слова очевидна для всякого говорящего. Тем больший интерес приобретает вопрос о фонетических признаках слова. По-видимому (во всяком случае, для многих языков), моментом, цементирующим слово, является ударение. В связи с этим встает вопрос, во-первых, о способе выявления места ударения и, во-вторых — вопрос о фонетическом слове.

Необходимо подчеркнуть, что лингвистическая функция ударения состоит не в выделении ударного слога, а в объединении вокруг него всех частей слова. Таким образом, фонетическая целостность слова зависит не только от его ударного слога, но и от свойств его безударных частей, особенно слогаобразующих элементов их (гласных). Общая ритмическая структура слова, которая определяется числом слогов и местом ударения, может быть охарактеризована как интегральный признак, обеспечивающий его идентификацию говорящими.

Как показывают опыты по так называемой артикуляции [Чистович и др., 1965], ритмическая структура играет в восприя-

гий весьма важную роль. При сильном искажении передачи в условиях плохого тракта, когда звуковой состав слова совершенно не опознается аудитором, ритмическая структура, как правило, определяется им безошибочно. Об этом же свидетельствуют опыты по восприятию фильтрованной речи, описанные в книге «Речь. Артикуляция и восприятие» [Чистович и др., 1965]. Для восприятия предъявлялись магнитофонные записи фраз, пропущенные через один из фильтров анализатора СЗЧ с полосой пропускания от 906 до 1141 гц. «Наибольшее соответствие с переданными сообщениями обнаружилось по словесным ударениям. В коротких и длинных фразах соответственно 90% и 84% переданных словесных ударений были воспроизведены на правильном месте... Записанные фразы достаточно точно отражали ритмику чередования ударных слогов с безударными...» [Чистович и др., 1965, 202]. Поскольку она является последней характеристикой слова, сохраняющейся для слушающего при искажении речи, можно считать, что она является первым, или по крайней мере одним из первых признаков, с которого начинается идентификация слова.

О фонетическом слове приходится говорить в силу того, что в речи ритмическая характеристика не совпадает со словом как словарной языковой единицей. Обычно считают, что это происходит вследствие наличия в потоке речи таких слов, которые не несут на себе ударения и примыкают к соседнему (предшествующему или последующему) слову.

В действительности дело обстоит сложнее, так как в потоке речи происходит перестройка ритмической структуры гораздо чаще: так, в последовательности ударных и безударных слогов заударный слог может ритмически примыкать к ударному слогу следующего слова, превращаясь таким образом в предударный (напр., по ритмической структуре начало фразы *Гуси рис клевали* совпадает с началом фразы *Гусь ирис клевал*, так как и в том и в другом случае безударный слог [s'i] имеет одинаковые характеристики).

Единицей, высшей по отношению к слову, образующейся в процессе речи в соответствии со смыслом, вкладываемым говорящим, является синтагма. В отличие от слова, принадлежащего языку, синтагмы создаются в процессе речи, поэтому они не образуют такого теоретически исчислимого словаря, как фонемы, морфемы или слова. Бесспорно, что наиболее сильным признаком, объединяющим слова в синтагму, являются смысловые отношения, но имеются и связанные с этим фонетические признаки — в первую очередь синтагматическое ударение, которое, например, в русском языке характеризуется усилением ударности последнего слова в синтагме, а также и определенное мелодическое оформление.

Следующей единицей, обладающей фонетическими характеристиками, является фраза. Она может состоять из одной или не-

скольких синтагм, и единственным признаком, обязательным для фразы, а не для синтагмы, является законченность высказывания. Будучи единицей более высшего порядка, чем синтагма, фраза является основной с точки зрения намерения говорящего, поэтому слушающий легко может передать смысл услышанного, но далеко не всегда в состоянии сохранить исходную синтагматическую структуру и даже словесный состав. Принято считать, что фонетическим признаком, цементирующим фразу, является фразовое ударение — т. е. усиление одного из синтагматических ударений. Однако нужно сказать, что это скорее теоретическое предположение, чем реальное явление. По-видимому, не одно только ударение, а весь комплекс интонационных средств выполняет функцию организации фразы. Т. М. Николаева высказывает мысль о том, что контрастирование синтагм в потоке речи является способом организации интонационных единиц [Николаева, 1969]; в этом случае фразовое объединение должно достигаться соответствующими изменениями временных, мелодических и динамических характеристик синтагм, образующих данную фразу. При этом нельзя с уверенностью утверждать, что интонационные средства, объединяющие фразу, являются более сильными, чем смысловые. Это же в равной степени можно сказать и о средствах разграничения фраз.

Фонетические характеристики единиц типа слова, синтагмы и фразы также образуют некоторую систему (так называемых просодических или суперсегментных единиц), так как они обладают сами по себе определенной самостоятельностью.

Своеобразием этих единиц является их некоррелированность с единицами линейными (фонемами) в способах их выделения и описания. Трудно согласиться с теми лингвистами, которые выделяют в одну линию и сегментные, и суперсегментные единицы, называя их фонемами [Блумфилд, 1968; Bloch and Trager, 1942]. Совершенно очевидно, что выделение и осознание просодических явлений не может происходить тем же образом, что и выделение линейных единиц, которое обусловлено морфологической структурой языка, тогда как просодические единицы заключены в сегментных и могут быть лишь отвлечены от них, а не отделены. Практически неизвестно, существуют ли в языке единицы, которым бы соответствовали на фонетическом уровне такие явления, как просодемы, интонымы и т. д. Неудивительно поэтому, что существуют такие разные интерпретации одного и того же фонетического явления, как, например, ударение: если в большинстве работ оно описывается как суперсегментная единица, то для Якобсона и Халле ударные и безударные гласные являются разными фонемами. Довольно распространенное мнение о существовании двух различных подсистем гласных фонем — ударных и безударных — по существу также основано на «сегментном» понимании ударения. Идя таким путем при исследовании тоновых языков, нужно признавать наличие

такого числа подсистем фоном, сколько имеется различных тонов. Вопрос о существовании суперсегментных и просодических единиц (именно единиц, образующих некоторую систему) в настоящее время нельзя считать близким к разрешению. Сказанное относится и к тому, что сейчас принято называть интонационными контурами, интонами и т. п. Хотя, с одной стороны, число их в языке, по-видимому, ограничено, обнаружить их самостоятельность и системность их организации весьма трудно. Здесь речь идет скорее о способе описания соответствующих явлений, чем о выявлении единиц, существующих в языковом сознании носителей языка. Сложность при этом заключается еще и в том, что наряду с собственно языковыми (смысловыми) отношениями интонационные средства передают информацию и об эмоциональном отношении и даже о собственно индивидуальных особенностях говорящего. Не случайно поэтому, что разделить эти разные уровни при анализе тех или других интонационных конструкций практически не удается.

В цитированной уже работе Т. М. Николаевой приводится следующее определение интонымы: «...Интонома — это различаемая в языковом употреблении единица, передающая тип отношений между звуковыми единицами-синтагмами и представляющая собой связанный пучок значений отдельных просодических величин» [Николаева, 1969, 116].

К фонетическим характеристикам интоном разных типов, полученным Т. М. Николаевой на большом и удачно подобранном экспериментальном материале, остается добавить факты восприятия для того, чтобы доказать психологическую реальность типов интоном и их акустических характеристик. Но именно здесь и заключается основная трудность, о которой идет речь — а именно, невозможность получить эти типы «в чистом виде», независимо от сегментных единиц.

При фонетических исследованиях выбор аспекта (артикуляционного или акустического) по существу не является принципиальным. Это утверждение требует специального рассмотрения. Дело в том, что почти одновременно с возникновением фонетики как науки возникает и спор между сторонниками примата того или другого аспекта. Крайняя точка зрения, представленная Форхгаммером, сводится к тому, что нужно рассматривать эти два аспекта как две разные дисциплины — лалетику, занимающуюся артикуляциями, и фонетику, занимающуюся характеристиками звуков как таковых. Доводы сторонников важности того или другого направления кажутся достаточно убедительными, поскольку, с одной стороны, действительно звуки появляются лишь в результате определенных артикуляций произносительных органов, а с другой стороны — общение происходит при помощи звуков, а не при помощи артикуляций. Однако поскольку речь идет о единицах более высокого уровня, чем просто артикуляционные движения или звуковые колебания (если мы говорим о еди-

ницах языка), едва ли можно противопоставлять эти разные аспекты фонетических единиц. Так как мы говорим о языке как средстве связи между людьми (а эта его функция является ведущей), то и производящий речь, и воспринимающий сообщение представляют собой необходимые элементы данной системы связи. Таким образом, и по самим условиям коммуникации любой индивид артикулирует те или иные звуки только потому, что он воспринимает звуковые корреляты артикуляционных движений. Само обучение произносительным навыкам у ребенка происходит через акустические образы и под постоянным контролем (обратная связь). Поэтому в современных фонетических исследованиях основное внимание обращено именно на нахождение корреляций между указанными аспектами звуковых единиц (Фант, Фланаган, Сапожков). Наиболее систематически соотношение между артикуляционным и акустическим в речевом сигнале рассмотрено в широко известной ныне моторной теории восприятия речи. Сущность ее заключается в следующем. Акустические характеристики звуков речи таковы, что хорошая их опознаваемость кажется невероятной: и длительность звуков речи (в некоторых случаях не превышающая 20—30 мсек), и спектральные характеристики их, представляющие собой весьма неустойчивую, сильно варьирующую картину, делают трудно объяснимой идентификацию звуков слушающим с достаточно большой скоростью (10—12 звуков в секунду). Поэтому возникает предположение, что у слушающего имеется специфический способ описания и классификации речевых сигналов, основанный на связи поступающих звуковых стимулов с нервной активностью, обуславливающей соответствующие артикуляторные движения. В данном случае речь идет не о внутреннем проговаривании воспринимаемого отрезка, а только о моторных командах, служащих своеобразным кодом при восприятии речи: «Под моторным образом понимается программа движений или набор указаний относительно характеристик движений, содержащихся в этой программе... Создание программы отнюдь не обязательно предполагает, чтобы эта программа была реализована в форме внешних движений» [Галунов, Чистович, 1965, 424].

Таким образом, оба аспекта физического описания звуков речи оказываются в действительно неразрывном единстве. Экспериментально доказано, что при различных способах отключения артикуляторного аппарата (включая управляющие центры) восприятие речи становится затрудненным или вовсе невозможным. В ряде лингвистических работ связь между рассматриваемыми аспектами учитывается недостаточно или совсем не принимается в расчет. Либо вовсе отрицается обязательность звуко-артикуляторной субстанции языкового знака¹ (которая, как мы видели, является

¹ «...Нарушится ли коммуникативная функция естественного звукового языка, если его акустическая субстанция будет транспонирована в другие

единственным условием существования языка) [Шаумян, 1962], либо отдается предпочтение одному из аспектов — например, акустическому — который объявляется при этом достаточным для описания функциональных отношений в системе фонем [Панов, 1967].

Без сомнения, исследование одного из аспектов звукового строя должно рассматриваться не как результат пренебрежения к другому его аспекту: данные и об артикуляторной, и об акустической стороне речи являются во всех случаях лишь сведениями, необходимыми для исчерпывающего описания всего сложного комплекса явлений, наблюдающихся при речеобразовании и восприятии речи.

Преимущество, которое отдается в настоящее время изучению акустического аспекта, следует объяснять не принципиальными соображениями, а тем, что для этого имеются более совершенные и в то же время более доступные технические средства. Акустические данные могут быть достаточно хорошо соотнесены с соответствующими артикуляционными движениями — во всяком случае, известные зависимости вполне достаточны для получения основных фонетических представлений. Наиболее ярким примером в этом отношении являются акустическая теория речеобразования Г. Фанта и дихотомическая классификация дифференциальных признаков фонем Якобсона—Фанта—Халле, построенная на параллельном описании акустических, артикуляторных и перцептивных коррелятов дифференциальных признаков.

Как уже было сказано в начале этой главы, физические описания звуковых явлений в речи возможны только на лингвистической основе. Представления об акустическом или артикуляторном тождестве двух сигналов выводятся не из их физических свойств (очень сильно варьирующих от случая к случаю), а из их функционально-лингвистического тождества. Поэтому и авторы упомянутой дихотомической классификации оперируют лингвистическими понятиями — фонемами и дифференциальными признаками.

К сожалению, это дало повод к тому, что многие лингвисты механически перенесли рассмотренные Якобсоном — Фантом — Халле дифференциальные признаки на самые разнообразные звуковые системы без всякого соотнесения с реальной действительностью. Как пишет Г. Фант, эта теория стала интеллектуальной игрой в руках структурных лингвистов [Fant, 1967]. Многие считают достаточным подвести под дихотомическую классификацию систему фонем того или иного языка просто на основании чисто транскрипционных знаков, без какого-либо анализа звуковой стороны. Бессмысленность такого рода операций очевидна,

виды физической субстанции? Очевидно, что не нарушится» (подчеркнуто нами. — Л. Б. и Л. З.).

ибо никакой информации о способах организации акустических множеств в языке они не несут.

Важнее всего подчеркнуть, что дихотомическая классификация породила иллюзию, будто бы инвентарь фонем языка может быть выведен из матриц распределения дифференциальных признаков, полученных путем указанных операций. Хотя сами авторы дихотомической теории и предупреждали против ошибок такого рода [Якобсон и Халле, 1962], подчеркивая необходимость анализа конкретных фонемных противопоставлений, последующие работы показали, что эти предупреждения остались незамеченными. Вместе с тем теоретически очевидно, что не фонема определяется дифференциальными признаками, а дифференциальные признаки вытекают из фонемных противопоставлений. Критикуя дихотомическую классификацию, П. С. Кузнецов справедливо писал: «... каждый отрезок речи может быть описан акустически. Но ведь этого недостаточно, чтобы был выделен дифференциальный признак, так как под дифференциальным признаком понимается такой признак..., которым данный отрезок речи... отличается от другого отрезка речи» [Кузнецов, 1958].

Одним из наиболее убедительных свидетельств о тех или иных способах организации акустических множеств в конкретном языке являются факты восприятия.

Прежде всего нужно рассмотреть отношения между психоакустическим и лингвистическим аспектами в проблеме восприятия речевых сигналов и разграничить эти понятия. Как и всякий акустический сигнал, звук речи может быть описан набором простейших характеристик — таких, как длительность (время звучания), интенсивность, периодичность или аperiodичность, характер нарастания и характер спада звука и т. д. Известно, что в слуховом анализаторе человека имеются специальные отделы, ответственные за восприятие тех или иных параметров. Психоакустический аспект восприятия определяется в первую очередь теми возможностями и ограничениями, которые имеет слуховая система человека.

В частности, весьма существенными являются сведения о значениях порогов восприятия разных характеристик акустического сигнала [Bekeszy, 1929]. Так, если из данных психоакустики известно, что постоянная времени человеческого слуха — 30—50 мсек, то заведомо бесполезно искать перцептивные корреляты взрывных согласных, длительность взрыва которых не превышает 20—25 мсек; с другой стороны, если в психоакустическом опыте доказано, что при восприятии звука речи человек следит не за частотой форманты, а за изменением положения максимума в спектре, то с лингвистической точки зрения это довольно безразлично, так как и в том, и в другом случае речь идет об одних и тех же фонетических характеристиках. В общем можно сказать, что лингвиста должны интересовать только те сведения из психоакустики, которые очерчивают круг возможностей слу-

ховой системы: конкретные механизмы восприятия в значительной степени могут быть безразличны. Что касается исследования восприятия речевых звуков, то сведений по этому вопросу в психоакустике достаточно мало: практически очень долгое время занимались восприятием перечевых сигналов — чистых тонов, шумовых сигналов — и очень многие предположения относительно восприятия звуков речи построены на основе чисто психоакустических сведений.

В. К. Лабутин и А. М. Молчанов пишут об изучении восприятия речи следующее: «В настоящее время не существует ни достаточно полных экспериментальных данных, ни четких теоретических представлений, которые описывали бы комплекс преобразований, осуществляемых нервной системой при переработке речевых сигналов» [Лабутин, Молчанов, 1970, 168].

В последнее время появилось большое количество работ, посвященных исследованию механизмов восприятия собственно речевых звуков. Большая группа ученых, работающих в этом направлении, исследует восприятие синтезированных звуков [Федорова, 1969; Fant, 1967; Delattre, 1965]. Предпочтение, оказываемое синтезированным звукам, определяется тем, что исследователь имеет возможность управлять интересующими его параметрами. Однако нужно подчеркнуть, что результаты подобного рода опытов не могут считаться с лингвистической точки зрения окончательными, так как хотя эти результаты говорят очень много о том, что может делать человек при восприятии речеподобных стимулов, они почти ничего не говорят нам о том, как в действительности поступает человек при восприятии более богатого и сложного естественного речевого сигнала.

В отличие от психоакустической, с психолингвистической точки зрения существенно восприятие и различие тех или иных звуков именно как языковых единиц. Это тем более важно, что между воспринимаемыми единицами и единицами лингвистическими связь не непосредственная, а обусловленная целым рядом дополнительных обстоятельств. Звуковую единицу, которая воспринимается носителями языка и находится во взаимосвязанных отношениях с фонемой, называют эталоном или «психологической фонемой».

В исследовании, проведенном в ЛЭФ ЛГУ, было обнаружено, что носители русского языка различают 18 эталонов гласных [Вербицкая, 1965]. Это соответствует (акустически и артикуляторно) оттенкам гласных фонем а, о, і, е, ы в следующих фонетических позициях:

- 1) между твердыми согласными,
- 2) после твердого перед мягким,
- 3) после мягкого перед твердым,
- 4) между мягкими.

Все четыре позиции существенны для варьирования гласных а, о, е; гласные і и ы реализуются каждый в одном эталоне

независимо от позиции (заметим, что и число позиций для них меньше, так как *i* встречается только после мягких, а *ы* — только после твердых согласных).

Способность носителей русского языка различать эти звуковые единицы обусловлена, очевидно, не столько их физическими характеристиками, сколько их лингвистической значимостью, а именно специфическим способом реализации дифференциального признака мягкости согласных, наиболее выразительным фонетическим коррелятом которой является качество соседнего гласного. Психолингвистический характер эталонов обнаруживается с особенной четкостью, если учесть то обстоятельство, что другие изменения как гласных, так и согласных, не менее значительные по своему акустическому эффекту, практически не замечаются носителями русского языка, а если и замечаются (как, например, различие между огубленными и неогубленными согласными, предъявленными рядом), то фонетически не идентифицируются.

Интересны данные по фонемной идентификации и по различению оттенков одной фонемы, полученные в опытах по восприятию синтезированных гласных [Чистович, Кожевников, 1969]. Множество синтезированных гласных, спектральные характеристики которых изменялись от *i*-образного до *a*-образного, было представлено 12 разными стимулами. Оказалось, что испытуемые, которые были носителями русского языка, разбивают это множество на три подмножества, обозначая их через [i], [e] или [a]; они пользуются, следовательно, фонемной классификацией. Вместе с тем обнаружилось, что испытуемые замечают различие между разными [e], если физическая разница между ними увеличивается. Авторы пишут по этому поводу: «...субъективное расстояние монотонно возрастает с увеличением физической разницы между стимулами. Этого не могло бы быть, если бы информация о гласном, полученная при его восприятии, ограничивалась фонемным символом. Необходимо допустить, что человек способен на какое-то время запоминать не только фонему, выбранную на основании услышанного стимула, но и какие-то особенности звучания сигнала, назовем это условие тембральной информацией» [Чистович, Кожевников, 1969, 54].

С лингвистической точки зрения речь здесь идет о том, что испытуемые замечают различие между открытыми и закрытыми оттенками фонемы [e]. При рассмотрении этих фактов возникает ряд интересных для лингвиста вопросов, которые сводятся к выяснению отношений между замеченной в описанных опытах способностью «запоминать тембральную информацию» и реальным распределением таких характеристик в речи. Известно, что в абсолютном начале слова перед твердым согласным произношение открытого и закрытого [e] факультативно [i^{ta}] и [é^{ta}]; известно также, что изменения гласных в соседстве с мягкими согласными, приводящие к появлению более закрытого варианта [e] в слове [сеть] по сравнению с [e] в слове [цех], испы-

туемые — носители русского языка достаточно хорошо различают. Возможно, что существенным является следующее обстоятельство. Закрытый оттенок [е] является статистически преобладающим в речи, так как этот гласный чаще всего следует за мягким согласным. Это приводит к тому, что закрытый оттенок (вариант) гласного [е] становится равноправным с основным оттенком (открытым [е]), встречающимся в абсолютном начале и после твердых согласных.

Неразличение же разных «оттенков» гласного [а] (которым соответствуют стимулы с разным положением F1 и F2) объясняется не тем, что испытуемые «плохо слышат», а тем, что это различие не задано фонемными отношениями русского языка. Таким образом, процедура фонемной идентификации обусловлена не только и не столько особенностями работы слухового анализатора, но и теми ограничениями, которые накладываются системой фонем родного языка испытуемого.

Все эти соображения ведут к подтверждению реальности того понятия, которое уже давно существует в лингвистике под названием «языковое чутье». Будучи проекцией языковых отношений на поведение говорящего, «языковое чутье» может быть использовано как критерий для оценки истинности построений исследователя-фонетика (фонолога). Хорошим примером такой проверки является экспериментальное исследование реальности так называемых «пограничных сигналов» для носителей данного языка. Опыты, проведенные на материале русского языка, показали, что фонетические особенности звуков, оказывающихся на стыке слов, практически не используются слушающими для определения места границы между словами. Это ставит под вопрос применимость общей теории пограничных сигналов к фактам русского языка: если говорить о признаках границ слов, то нужно искать их не в фонетических характеристиках, а в гораздо более сильном факторе, которым является морфологическая и шире — смысловая сторона языка.

Сейчас едва ли кто-нибудь станет отрицать плодотворность исследования «языкового чутья» для выявления собственно языковых закономерностей и единиц. О значении его для выявления таких единиц, как фонема, оттенки, пограничные сигналы, речь шла выше. Для решения вопроса о выделимости дифференциальных признаков фонемы необходимо соответствующее изучение процессов лингвистического восприятия.

Не только выделимость дифференциальных признаков, но и их лингвистическая значимость может быть выявлена при исследовании восприятия. Так, например, трудный для лингвистического обоснования вопрос о маркированности одного из членов данного фонематического противопоставления может найти разрешение при привлечении психолингвистических фактов.

Велико значение психолингвистических исследований при решении разнообразных вопросов прикладной фонетики. В первую

очередь здесь следовало бы назвать проблему построения рациональной системы письма. Создание графики и орфографии, которые были бы простыми для усвоения пишущим и удобными для читающего, иными словами, которые были бы экономичными, безусловно, должно опираться на знание связей между устной и письменной формой речи, существующих в сознании людей, пользующихся этими формами.

Выбор того или иного принципа орфографии, который неизбежно встает как первый вопрос при попытках реформировать орфографию, не может считаться теоретическим лингвистическим вопросом. Поскольку дело идет о пользовании письмом самыми широкими массами людей, постольку те или иные решения должны выбираться не на основании изучения системы языка как таковой. Необходимо знать отражение этой системы в сознании говорящих. Весьма существенным моментом является то, что в отличие от устной формы речи, которая усваивается спонтанно без сознательных усилий со стороны усваивающего ее ребенка, письменная форма изучается сознательно с самого начала и до конца. Несомненно то, что письменная форма речи (в буквенном ее варианте) отражает звуковую сторону, однако вопрос о том, в какой степени система письма должна совпадать с фонемной системой, должен быть решен на основе специальных исследований психолингвистического характера. Так, например, сторонники морфологического принципа орфографии видят его преимущество перед фонетическим в том, что он дает возможность отразить тождество морфемы в ее письменном образе; считается, что это облегчает понимание текста. Однако в устной речи отсутствие звукового тождества морфем нисколько не препятствует осознанию их единства. Отдать предпочтение тому или другому принципу можно только на основе экспериментального исследования.

Более явная связь с психолингвистической проблематикой обнаруживается в новых сферах приложения фонетики. Прежде всего это относится к передаче информации через каналы связи. Давно уже было установлено, что качество этих каналов и аппаратуры не может быть оценено только на основании их технических характеристик. Это привело к созданию так называемого артикуляционного метода испытания, который сводится к изучению восприятия слушающим переданного через канал связи сообщения. Создание текстов для таких испытаний потребовало участия фонетистов, так как объективное испытание качества трактов должно проводиться на фонетически представительном языковом материале [Зиндер, 1951]. Представительность, в частности, определяется и вероятностным критерием. Отсюда — и потребность детального статистического исследования различных аспектов фонематической структуры речи [Зиндер, 1958]. Нужно сказать, что многие экспериментально-фонетические исследования были стимулированы потребностями техники связи, одной из за-

дач которой является экономное использование каналов связи. Способом такого экономного использования является передача компрессированной речи, т. е. такой речи, в которой сохранены лишь ее важнейшие акустические характеристики и отброшено то, что не оказывает существенное влияние на правильное восприятие ее. В связи с этим определение ценности тех или иных фонетических характеристик при восприятии речи человеком приобретает первоочередное значение.

В настоящее время всеми исследователями признается, что оптимизация каналов связи на основе чисто технических соображений по существу невозможна. Это же относится и к таким проблемам, как автоматический анализ и синтез речи, автоматическое распознавание речи.

Большинство исследователей стоит на той точке зрения, что принципиальное решение проблем автоматического распознавания речи возможно только при построении системы, учитывающей те операции, которые производит человек в процессе восприятия речи. И действительно, надо полагать, что механизм, выработанный в результате многовековой эволюции, обладает высокой степенью надежности: известно, что при самых разнообразных помехах на разных уровнях — от посторонних шумов и искажений и до пропусков целых значимых отрезков речи — общение при помощи звуковой речи является самым надежным и универсальным средством коммуникации.

При таком подходе вопрос о единицах фонетического описания и о соотношении физических характеристик речевого потока с лингвистическими понятиями приобретает особую остроту. Требования, поставленные специалистами в области автоматического распознавания к фонетистам-лингвистам, заставили последних более строго сформулировать основные определения и характеристики речевого потока, что, конечно, имеет важное значение не только для прикладных аспектов, но и для теоретических построений. Общее положительное влияние технической проблематики на фонетические исследования сказывается еще и в том, что в экспериментально-фонетических работах последних десятилетий стали использоваться достаточно совершенные технические средства анализа акустических, артикуляторных и перцептивных характеристик речевых сегментов разной длительности.

Существенное значение имело также и то, что фонетика во всех ее аспектах, включая и фонологический, обратилась к исследованию речевого поведения носителя языка. Это и сблизило современную фонетику с психолингвистической проблематикой.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИКИ

Само понятие грамматики не вполне точно определено в современной лингвистике. Наиболее часто она понимается как часть лингвистики, изучающая закономерности внутренней организации значащих единиц и отрезков текста из более мелких тоже значащих единиц (например, предложения или синтагмы из слов, слова из морфем). Именно так мы и будем интерпретировать ее в настоящей главе.

Очевидно, что в этом случае проблема психологической «реальности» грамматики распадается на две. Это, во-первых, психологическая реальность выявляемых лингвистом при анализе текста правил слово- и формообразования. Это, во-вторых, психологическая реальность правил построения целого высказывания из слов или более крупных «блоков», т. е. закономерностей синтаксической организации высказывания.

В свою очередь, психологические или психолингвистические проблемы синтаксиса отнюдь не однопорядковы. Начнем с того, что, по-видимому, существуют некоторые общие закономерности сочетания значимых элементов или единиц, не зависящие от грамматической структуры конкретного языка. Далее, если даже вывести этот «семантический синтаксис» «за скобки», грамматический аспект порождения (и, видимо, восприятия) высказывания обеспечивается целым рядом более или менее автономных психофизиологических механизмов, т. е. связанные с ним процессы далеко не гомогенны.

Каковы эти механизмы и что именно в синтаксисе они обеспечивают? На этот счет существуют различные мнения, которые частично будут затронуты нами в дальнейшем. Позиция московской психолингвистической школы (и автора настоящей главы в частности) будет также изложена ниже. Пока ограничимся констатацией того факта, что сложность и многообразие механизмов, обеспечивающих синтаксическую организацию высказываний, привели к появлению принципиально расходящихся друг с другом психолингвистических моделей порождения высказывания. В соответствии с традицией, начало которой было положено, кажется, Н. Хомским, мы рассмотрим их в следующей последовательности: а) экспериментальные исследования на основе стохастических (вероятностных) моделей порождения; б) эксперимен-

тальные исследования на основе моделей НС (непосредственно составляющих); в) экспериментальные исследования на основе трансформационных моделей. Затем мы проанализируем некоторые тенденции в дальнейшем развитии психолингвистических исследований грамматики в зарубежной и советской науке, а затем вкратце изложим свою принципиальную позицию.

Таким образом, настоящая глава распадается на следующие параграфы: 1. «Семантический синтаксис» и мимическая речь глухонемых; 2. Психолингвистические аспекты слово- и формообразования; 3. Стохастические модели синтаксической организации высказывания; 4. Модели на основе грамматики непосредственно составляющих; 5. Модели на основе трансформационной грамматики; 6. Некоторые новые тенденции в «психологии грамматики».

«СЕМАНТИЧЕСКИЙ СИНТАКСИС» И МИМИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ГЛУХОНЕМЫХ

По-видимому, если мы хотим выявить какие-то закономерности грамматической (синтаксической) организации высказывания, независимые от конкретного языка, нам необходимо найти такой вид речи или такую форму речевого общения, где бы полностью или хотя бы частично элиминировалось влияние языка. Конечно, при этом прежде всего приходит в голову «язык» глухонемых, или, выражаясь точнее, спонтанная мимическая речь глухонемых. Это уточнение необходимо потому, что в определенном возрасте, проходя обучение в специальной школе или общаясь со взрослыми глухонемыми, прошедшими такое обучение, глухонемые дети начинают «говорить» на мимическом «языке», по своей синтаксической и иной структуре и семантическим характеристикам приближенном к соответствующему звуковому языку. Таким образом возникает своего рода креолизированный «русско-жестовый» [Боскис и Морозова, 1939; Боскис, 1963], «голландско-жестовый» [Tervoort, 1953], «английско-жестовый» [Stokoe, 1960] и т. д. язык. Поэтому для нас интересен именно спонтанный «язык», формы общения, стихийно складывающиеся в детском коллективе¹. Здесь мы оставляем в стороне очень важный вопрос о семантической специфике «слова» в спонтанной мимической речи [Морозова, 1947], существенный и для понимания специфики «семантического синтаксиса», ограничиваясь лишь структурной характеристикой высказывания.

Итак, первое, что необходимо отметить, это отсутствие в «мимическом языке» жесткого членения мимических знаков на категории, соответствующие грамматическим классам. Правда, в пси-

¹ В сущности, такого «чисто жестового» языка не существует в природе, так как даже самые маленькие глухонемые дети уже получают какое-то обучение. Речь идет о преобладании определенной тенденции, а не об абсолютном исключении другой.

хике глухонемых, по-видимому, имеется какое-то обобщенное представление, внешне близкое к значению части речи; Р. М. Боскис и Н. Г. Морозова считают даже [1939, 19 и др.], что глухонемые дифференцируют предмет, действие и качество. Но такая близость обманчива, и это удачно показала А. Ф. Понгильская. Она поставила эксперимент, попросив учеников младших классов школы глухонемых разгруппировать данные слова по частям речи, руководствуясь вопросами об их предметном, качественном и т. д. значении. В частности, обнаружилось следующее: школьники erroneously относили к существительным обозначения потенциальных субъектов действия, например имена собственных и вообще имена лиц, но ошибались в «пограничных» случаях, когда соотносимость данного слова с субъектом конкретной ситуации и соотносимость с его грамматическим классом вступали в противоречие ([Понгильская, 1952]; см. об этом также [А. А. Леонтьев, 1969д, 171]). Далее, отмечено, что в «мимическом языке» «предметы, лица и действия, связанные в одном акте, изображаются однообразно; например, игла и портной могут быть изображены одним действием, которое производит рука при шитье» [Боскис и Морозова, 1939, 19]. «В мимическом языке в большинстве случаев отсутствуют особые обозначения действия и предмета — орудия действия: *топор*, *рубить*; предмета действия, признака предмета и действия, обозначаемых в русском языке однообразными словами (*чистый* — *чистить* — *чисто*; *храбрец* — *храбрый*); в ряде случаев отсутствуют особые обозначения действия и предмета, на который направлено действие (*доить* — *молоко*), действия и предмета, обозначающего место действия (*мыться* — *баня*)» [Понгильская, 1952, 16].

Это отсутствие грамматических классов в мимической речи глухонемых связано, как уже отмечалось только что, со второй ее чертой — ситуативностью. Мимическая «фраза» — это всегда высказывание, ситуативно связанное. Слов, обозначающих абстрактные понятия, в спонтанной мимической речи нет, а конкретные предметы, явления, действия обозначаются очень специфически — прежде всего путем изображения предмета или его части и имитации действия. «Примеры имитации действия: ...плавать — движение руками, соответствующее плаванию, прыгать — натуральное изображение прыжка или подскок пальцев руки. Имитация действий в качестве способа выражения характерна тем, что действия обозначаются очень мало обобщенно. Так например, не существует мимического знака для обозначения понятия «прыгать» вообще. Есть мимические знаки, обозначающие «прыгать на одной ноге», «прыгать на двух ногах», «прыгать, чередуя ноги» и т. д. Одним словом, имитируется каждая конкретная форма прыжка, и не существует обобщенного мимического знака для особенностей данного движения. Точно так же действие «ловить» изображается каждый раз по-иному в зависимости от того, к какому предмету относится это действие» [Бо-

скис и Морозова, 1939, 17]. Конкретность и ситуативность отражаются и на «грамматике» мимического высказывания. Во-первых, ситуация является ключом к отнесению данного жеста в класс обозначений предметов или обозначений действия. «Например, «нож» и «резать» изображаются одним и тем же движением, соответствующим действию — *резать ножом*. В процессе мимического разговора по контексту можно легко понять, о чем идет речь, — о ноже или соответствующем ему действии» [Боскис и Морозова, 1939, 19]. Во-вторых, ситуация позволяет опускать отдельные части мимического высказывания, ограничиваясь указательным жестом.

С указанными особенностями мимической речи связана и третья, более всего нас интересующая — это существование в спонтанной мимической речи своеобразного «универсального синтаксиса», фиксированной последовательности компонентов высказывания. «В конкретной, образной мимической речи для большей понятности сообщения необходимо, чтобы два предмета, между которыми происходит действие, были сообщены в первую очередь; лишь после того, как известно, между кем действие происходит, можно указать на само действие или отношение между предметами. Определения в мимической речи всегда выступают после того, как назван предмет или действие, к которому это определение относится. Мимически нельзя сказать: *Мальчик ел красное яблоко*. Мимически следует изобразить: *Мальчик яблоко красное кушать*» [Боскис и Морозова, 1939, 21].

Можно ли сказать, что это фиксированный порядок именно компонентов высказывания? Думается, что здесь мы имеем дело с оптимальной стратегией интерпретации описываемой ситуации, стратегией, соответствующей структуре внутренней программы речевого действия (см. о ней [А. А. Леонтьев, 1969а; А. А. Леонтьев, 1967б; Леонтьев и Рябова, 1970; Рябова, 1970, а также выше гл. 2 и наст. главу, ниже]). Если допустить, что в процессе семантико-грамматической реализации программы последовательно возникают текстограмматический этап, фенограмматический этап и этап синтаксического прогнозирования [А. А. Леонтьев, 1969а, стр. 207—213, а также ниже в данной главе], то спонтанная мимическая речь окажется своего рода преждевременным «выходом наружу» высказывания, миновавшего лишь текстограмматический и фенограмматический этап. (Но едва ли прямая экстерприоризация программы, как это допускается в [А. А. Леонтьев, 1967б, 13]).

Очень существенно, что та же последовательность компонентов высказывания возникает и в некоторых других случаях, например, в детской речи на досинтаксическом этапе ее формирования, в автономной речи и т. д.; см. в этой связи [А. А. Леонтьев, 1965а; А. А. Леонтьев, 1967б]. По-видимому, во всех этих случаях процесс программирования доминирует над другими факторами синтаксического построения высказывания.

Однако сам процесс программирования в этих случаях носит, несомненно, очень специфический характер: он, по всей видимости, выступает именно как фиксированная стратегия соотнесения и семантической «нагрузки» известных зрительных или зрительно-моторных (у глухонемых), зрительно-слуховых и т. п. образов, как фиксированная стратегия ориентировки в подлежащей обозначению ситуации и вычленения из этой ситуации будущих компонентов высказывания. (Таким образом, этап программирования здесь, вероятно, совпадает с этапом «речевой интенции» — ср. [Леонтьев и Рябова, 1970]).

Наконец, необходимо отметить еще один важный факт, не получивший до сих пор последовательного научного анализа на современном уровне. Мы имеем в виду факт структурных (а отчасти и семантических) параллелей между спонтанной мимической речью глухонемых (и аналогичными видами общения) и некоторыми случаями речевого общения на естественном звуковом языке в естественных условиях. В настоящей работе мы имеем возможность лишь зафиксировать несколько подобных параллелей, не претендуя на их адекватную интерпретацию. Это, во-первых, «размытость» и факультативность грамматических классов в некоторых языках, например, китайском и других изолирующих языках Юго-Восточной Азии [Коротков, 1968], папуасских языках [А. А. Леонтьев, 1974]. Это, далее, существование в ряде языков «логического» порядка компонентов высказывания, в частности — препозиции в высказывании «логического» субъекта. Ср. в этом плане [А. А. Леонтьев, 1969а, 208—210]. Быть может, не случайно, что папуасские языки, несущие на себе печать исключительной архаичности в целом ряде характеристик, пользуются почти исключительно порядком слов «субъект—объект—предикат». С другой стороны, тенденции «разговорного» синтаксиса носят тот же характер — см. напр. [Лаптева, 1968]. Это, в-третьих, прагматическая связанность высказывания во многих «архаических» языках, например в меланезийских [Malinowski, 1960; Malinowski. 1935], папуасских [А. А. Леонтьев, 1974 и др.]. В какой мере все эти особенности можно соотносить, скажем, с особенностями мимической речи — остается вопросом, но сам факт параллелизма несомненен. Кстати, как это отметил еще В. Вундт [Wundt, 1904, 211—214], сюда же тяготеют данные о *lingue franche*, общих языках, служащих для коммуникации разноязычных племен и народов.

Итак, независимо от грамматических особенностей конкретного языка существуют некоторые более или менее универсальные особенности организации высказывания, проявляющиеся в построении мимической речи глухонемых и в некоторых других аналогичных случаях. Кроме того, влияние этого «семантического синтаксиса» можно усмотреть и в некоторых характеристиках речи на обычных «звуковых» языках, особенно в тех из них, которые сохранили вообще много архаических особенностей.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЛОВО- И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

К сожалению, эта проблема почти не анализировалась, и по ней существуют лишь отдельные, изолированные работы. Их можно сгруппировать вокруг трех подпроблем.

1. Глубина слова и другие аспекты его морфемной структуры. Как установлено советским исследователем В. А. Московичем, существуют некоторые ограничения психологического характера, связанные с конечностью объема оперативной памяти человека («магическое число 7 ± 2 »), налагаемые на морфемную структуру слова. А именно, глубина (в смысле Ингве) и длина слова не могут превышать 7 ± 2 , т. е. 9, а в типовых случаях значительно меньше этого числа. «Как показывают многочисленные факты, наиболее благоприятным для носителей языка является интервал от 1 до 4 морфем и слогов, а менее благоприятным — от 4 морфем и слогов и выше. Частота слов глубиной и длиной от 1 до 4 морфем и слогов составляет в разных языках от 90% до 99,9% суммарной частоты всех слов. Дальше — от 5 до 9 морфем и слогов — уже начинает сказываться ограниченность объема оперативной памяти человека, и слова большой глубины и длины употребляются намного реже. Это находит экспериментальное подтверждение в психолингвистических опытах» [В. А. Москович, 1967, 28]. И далее: «... Данные, полученные при измерении глубины слов в текстах на разных языках, показывают, что количество тактов порождения слов лишь в редких случаях превышает максимум, равный объему оперативной памяти человека. Процесс порождения слов имеет во всех языках универсальный верхний предел, величина которого определяется характеристиками памяти человека» [В. А. Москович, 1967, 32].

Эти данные позволяют сделать допущение, что слова не являются конечной (минимальной) единицей решения в порождении высказывания. По-видимому, именно так понимает описываемые им факты и сам В. А. Москович. Нам, однако, представляется более оправданным другое допущение — а именно, что существуют две различные ситуации принятия решений. В первой из них (порождение высказывания) оперативной единицей является слово. Во второй (анализ словесной парадигмы) оперативная единица может быть различной в зависимости от грамматической структуры языка, специфики словообразовательной модели, наконец, от принятой системы описания языковых фактов (если мы опираемся не на «непосредственное» языковое чутье человека, а активно вырабатываем у него умения словообразовательного анализа). В этой-то второй ситуации морфема и является типовой «единицей решения». Было бы интересно оценить, сколько вариантов словообразовательной модели может охватить генерализацией носитель языка.

Существуют экспериментальные исследования, ставящие целью раскрыть психолингвистическую специфику механизмов сло-

вообразования в условиях, когда слово выступает как целое. По-видимому, бесспорно, что в этом случае оперативна словообразовательная модель. Примененный Л. В. Сахарным метод ассоциативного эксперимента открывает дальнейшие возможности исследования психолингвистической реальности словообразования (Л. В. Сахарный, 1970а; 1970б) и показывает, в частности, что словообразовательная «активность» носителя языка опирается в очень большой степени не на формально-грамматические, а на семантические признаки слов.

2. Морфемная структура слова и его синтаксическая функция. О том, что в качестве оперативной единицы в порождении высказывания выступает слово, в психолингвистике утверждается с самого начала. И уже с самого начала подчеркивается, что при этом «синтаксические морфемы» имеют, однако, самостоятельную функциональную значимость [Greenberg, 1965]. Мы имеем в виду теорию «нуклеусов» Дж. Гринберга. По Гринбергу, в предложении *the farmer killed the ugly duckling* налицо 9 морф и 7 нуклеусов: (the), (farm, er), (kill), (ed), (the), (ugly), (duck, ling). Эти мысли Гринберга получили дальнейшее развитие не только в «осгудовском» направлении, но и в трансформационной психолингвистической теории, где принято представлять «терминальную цепочку» (см. ниже) точно так же: John, admir-, ed, himself, in, the, mirror [Postal, 1968, 185], и др. (пример выбран буквально наугад).

Таким образом, практически во всех направлениях современной зарубежной психолингвистики возникает противоположение нуклеуса и синтаксического маркера (мы сознательно пользуемся терминами, взятыми из разных терминологических систем). Расхождения здесь касаются места этого противоположения в процессах порождения высказывания, так сказать, локализации его на том или ином шаге порождения.

3. Грамматические классы слов (части речи) как психолингвистическая реальность. По нашему мнению, следовало бы в этом подзаголовке заменить слово «реальность» на «нереальность». Выражаясь более точно, для порождения высказывания несущественна отнесенность слова к тому или иному грамматическому классу типа части речи. Единственно, что важно — это его синтаксическая функция, соотношенность его с тем или иным членом предложения.

По-видимому, сам факт деления слов на классы типа частей речи имеет факультативный характер. По крайней мере, имеется достаточно большое число языков, где это деление или практически невозможно (китайский), или неопределенно до крайности (индейские, папуасские). Иными словами, семантический компонент значения слова, соответствующий значению части речи («семантический маркер» части речи), видимо, не во всяком языке входит в систему значения слова, обозначающего соответственно предмет, качество, действие и т. п.

С другой стороны, очень характерно, что у ребенка с самого начала отнюдь не существует представления о системе семантических либо грамматических классов слов, соответствующих частям речи, т. е. об «обобщенных значениях» частей речи. Еще А. Н. Гвоздев отметил, что у детей «использование той или другой основы для образования разных форм не ограничивается какими-либо рамками более или менее близких по значению форм, например, пределами одной части речи... От основ каждой из основных частей речи зарегистрированы образования отдельных форм всех прочих частей речи» [Гвоздев, 1961, 464]. Приходящий в школу ребенок, как показывают специальные исследования [Жуйков, 1964; Трофимович, 1957 и др.], не способен правильно дифференцировать слова по частям речи, хотя он вполне владеет практически грамматической системой языка. Такие понятия, как «предмет», «действие», «признак», в применении к частям речи в школе усваиваются заново; при этом вырабатывается специальная методика их обнаружения по формальным признакам. Лишь владея алгоритмом опознавания части речи, например, умея ставить к данному слову формально-грамматические вопросы (типа *кто? что?*), ребенок может производить классификацию слов по частям речи. А «до овладения приемом постановки вопросов группировка существительных, глаголов и прилагательных может производиться школьниками на основе представлений о реальных фактах и ситуациях, возникающих на основе лексических значений слов... Группировка слов идет не в соответствии с их грамматическими разрядами... Она препятствует дифференцированию слов по грамматическим разрядам» [Жуйков, 1964]. Одним словом, употребляя слова в речи, строя высказывание, ребенок опирается отнюдь не на эксплицитное знание о распределении этих слов по грамматическим классам: это знание он получает от учителя, и оно «наслаивается» на имеющиеся уже у него умения; ср. также [А. А. Леонтьев, 1969 д, 168—170].

Каким же образом оперирует ребенок классами слов? По-видимому, у него имеется своя система «ключей», не совпадающая с лингвистическими признаками части речи. Это хорошо демонстрируется в случаях нарушения динамики речевого мышления при афазии, например, в случае, описанном А. Р. Лурия. Его больной «связно и грамматически правильно говорил» [Лурия, 1963, 329], но «непосредственное отнесение слов к той или иной грамматической категории для него совершенно недоступным; предъявленное слово не воспринималось им как имя существительное или глагол, как слово в прямом или косвенном падеже; оно не рождало у него соответственного «грамматического чувства», столь обычного у нормального субъекта» [Лурия, 1969, 323]².

² В качестве иллюстрации к тому же положению могут служить результаты использования слов различных частей речи в экспериментах по запоминанию [Cofer and Bruce, 1965; Koplin and Moates, 1968].

СТОХАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СИНТАКСИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ

«Стохастические теории коммуникации в общем случае предполагают, что множество элементов сообщения может быть репрезентировано при помощи дистрибуции вероятностей и что различные коммуникативные процессы (кодирование, передача и декодирование) заключаются в оперировании с этой априорной дистрибуцией и трансформировании ее — в соответствии с известными условными вероятностями — в апостериорную дистрибуцию» [Miller and Chomsky, 1963, 422]. Нас в настоящей главе не занимают проблемы, связанные с принципиальной возможностью и правоммерностью (или неправоммерностью) использования стохастических, или марковских, моделей в психолингвистическом моделировании; они отчасти анализируются в другой (15) главе данной книги. См. также (Фрумкина, 1971; Průcha, 1966) и др. Мы ограничиваемся анализом грамматических моделей с конечным числом состояний.

Грамматика с конечным числом состояний является моделью, дающей статистическое приближение к реальному тексту, лишь при условии, что «одному состоянию грамматики ставится в соответствие любая последовательность состояний из n слов, а вероятность появления слова x_i , когда система находится в состоянии s_i , равна условной вероятности появления x , если дана последовательность из n слов, которая определяет s_i » [Хомский, 1961, 241]. Но очевидно, что вполне возможно представить себе модель без подобных вероятностных закономерностей (хотя с точки зрения моделирования реальных речевых процессов такая модель, по-видимому, бессмысленна). Таким образом, вероятностная модель является частным случаем грамматики с конечным числом состояний.

Отсюда следует, что «грамматичность» сообщения абсолютно не тождественна общей его «правильности»³. Порождающая модель может порождать правильную последовательность состояний, но выбирать неправильную цепь слов. Для грамматики с конечным числом состояний важна цепь грамматических зависимостей, связывающих последовательные (во времени) состояния порождающего автомата или, что то же самое, последовательные (в тек-

³ Мы не затрагиваем в настоящей главе проблемы «грамматичности» и вообще различных аспектов и уровней правильности высказываний, считая эту проблему периферийной по отношению к проблематике и задачам психолингвистики. Думается, что она получила популярность лишь в результате распространения трансформационной грамматики. См. об этой проблеме [Drange, 1966; Quirk and Svartvik, 1966; Maclay and Sleator, 1960; Coleman, 1965]; [Ревзин, 1967]. Впрочем, эксперименты показывают, что для понимания речи «грамматичность» очень важна, в то время как конкретная синтаксическая форма (модель) в общем незначима [Danks, 1969].

сте) грамматические классы слов. См. об этой грамматике [Хомский и Миллер, 1962; Хомский, 1962].

На подобном или сходном представлении о связи грамматических классов в тексте покоится основная масса исследований по грамматическим классам ассоциаций. В сущности, уже известное в психолингвистике (введенное Д. М. Дженкинсом) различение парадигматических и синтагматических ассоциаций предполагает идею грамматического класса. Парадигматическая ассоциация (типа *стол — стул*) — это всегда ассоциация внутри одного грамматического класса, а синтагматическая (типа *небо — голубое*) — ассоциация между разными классами. При этом слова разных классов вызывают совершенно различное соотношение синтагматических и парадигматических ассоциаций и определенные грамматические «предпочтения». Конкретные данные на этот счет можно найти в [Deese, 1962; Deese, 1965; Палермо, 1966; Brown and Berko, 1960; Clifton, 1967], а также в наших обзорах [А. А. Леонтьев, 1969д, 50—51; А. А. Леонтьев, 1969а, 122—123].

Однако за пределами изучения ассоциаций идея грамматики с конечным числом состояний не находит и, видимо, в принципе не может найти распространения в современной психолингвистике по соображениям общего порядка⁴. Во-первых, есть классы грамматических конструкций, которые вообще не поддаются моделированию при помощи грамматики с конечным числом состояний; а это означает непригодность ее и для психолингвистики. Мы имеем в виду «гнездящиеся» (nesting) предложения, т. е. предложения, включающие в себя в качестве структурного компонента другие предложения. «Так как может быть неопределенно большое число гнездовых зависимостей (нет грамматического правила, запрещающего их) и их все нужно запомнить в правильном порядке одновременно, генератор предложений, производящий их по принципу «слева направо», должен иметь неопределенно большую память, то есть неопределенно большое число внутренних состояний. Но неопределенно большая память не всегда может быть в наличии в биологической системе» [Миллер, Галантер, Прибрам, 1965, 160—161]. Во-вторых, эта модель совершенно невероятна с точки зрения овладения языком, так как предполагает, что ребенок «должен выслушать 2¹⁰⁰ предложений, прежде чем он сможет говорить и понимать по-английски» [Миллер, Галантер, Прибрам, 1965, 158].

Все это совершенно справедливо и не вызывает сомнений. Дело, однако, в том, что указанные возражения верны лишь при одном непрременном условии: а именно, что человек оперирует в своей речевой деятельности только грамматикой с конечным числом состояний. Как только мы допустим, что он может исполь-

⁴ Хотя работы в этом направлении время от времени появляются. См. например интересную статью Штольца [Stolz, 1965].

зовать разные способы порождения в различных ситуациях, эти возражения снимаются. Более того: думается, что грамматика с конечным числом состояний может явиться оптимальным генератором высказываний по крайней мере в двух случаях. Первый из них — языки с «семантическим синтаксисом» (см. выше), например, спонтанная мимическая речь глухонемых. Быть может, это в какой-то мере справедливо и относительно звуковых языков с преобладанием лексемного или семантического синтаксиса, т. е. языков изолирующего строя типа китайского [А. А. Леонтьев, 1965а, 198]. Второй — это закономерность появления предложений внутри целого высказывания. О применимости здесь стохастических моделей говорит, в частности, Д. Уорт [Уорт, 1964, 56]. Думается, что это верно опять-таки при условии, что мы не придаем такому моделированию абсолютного характера. В частности, есть основания допустить, что у различных говорящих цепь предложений организуется по-разному в зависимости от уровня развития речевых умений говорящего. Если сначала преобладает стохастический принцип, то в дальнейшем возникает внутренняя организация высказывания.

По всем этим соображениям едва ли можно «с порога» отметить грамматику с конечным числом состояний как психолингвистическую модель. Правда, существующие попытки абсолютизировать ее (мы имеем в виду «грамматику для слушающего» Ч. Хокетта) едва ли справедливы: «Хокетт исходит из презумпции, что мы оперируем с грамматикой языка исключительно методом последовательных шагов на одном уровне, а прогнозирование происходит исключительно за счет выбора очередных альтернатив. Проблема перечевого и даже просто выходящего за пределы предложения контекста тоже не ставится... Модель Хоккетта исходит из устаревшего представления о тождестве структуры языка и структуры процессов переработки языковой информации, осознание ложности которого и привело к появлению психолингвистики...» [А. А. Леонтьев, 1969а, 60—61]. Изложение модели Хоккетта см. [Хокетт, 1965]. Но думается, что какой-то схожий принцип все же участвует в восприятии речи, хотя и сочетается с «анализом через синтез» (см. ниже). То есть, прав Хокетт, когда он допускает возможность «сохранить понятие лингвистического уровня в качестве простого линейного метода представления, но при этом допустить, что хотя бы один такой уровень порождается слева направо посредством механизма более мощного, чем марковский процесс с конечным числом состояний» [Хомский, 1962, 429].

Таким механизмом и является так называемая грамматика «непосредственно составляющих».

МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ГРАММАТИКИ НЕПОСРЕДСТВЕННО СОСТАВЛЯЮЩИХ

Идея модели НС заключается в применении так называемых правил деривации типа «вместо X подставить Y». Так, для порождения предложения *Талантливый художник пишет интересную картину* будут применены следующие правила: а) предложение → именная группа + группа сказуемого; б) именная группа → определение + определяемое; в) группа сказуемого → глагол + именная группа; г) определение → *талантливый*; д) определение → *интересную*; е) определяемое → *художник*; ж) определение → *картину*; з) глагол → *пишет*. Применяя эти правила в определенной последовательности, мы получаем «деривацию» (последовательность цепочек, каждая следующая из которых получена из предыдущих при помощи применения одного правила). Та цепочка, которая получается в самом конце, так и называется «терминальной», т. е. конечной. Деривацию можно представить себе и в виде так называемого «дерева НС», специального графа, изображающего синтаксическую структуру предложения. Здесь говорилось пока о неконтекстной грамматике НС; если мы введем контекстные ограничения, то в такой грамматике должны быть учтены и найти свое место также морфемы, однако не все, а лишь те, альтернатива внутри которых имеет синтаксическую значимость [Хомский, 1961]. (См. обо всем этом [А. А. Леонтьев, 1969а, 61—63; Апресян, 1966, и др.]).

Важнейшее отличие грамматики НС от грамматики с конечным числом состояний заключается в следующем. В модели НС порождение идет в двух направлениях: слева направо и «сверху вниз» (или «от вершины к основанию»), т. е. не только за счет последовательного появления компонентов, но и за счет их так называемого «расширения». То, что, скажем, первым шагом деривации будет вычленение сочетания *талантливый художник*, определяется нашим знанием структуры предложения в целом и никак не выводимо стохастическим путем.

На идее грамматики НС основано несколько циклов экспериментальных психолингвистических исследований. Это: а) цикл работ, восходящих непосредственно к идеям В. Ингве; б) цикл работ, связанных с именем Ч. Осгуда; в) цикл исследований Гарвардской школы и, наконец, г) цикл работ по «хезитациям».

А. Виктор Ингве исходит из допущения, что, чтобы получить высказывание, необходимо произвести порождение по НС в том порядке, который описан выше. Та часть психолингвистического порождающего аппарата, которая обеспечивает деривацию, называется у него «грамматикой». Она различна для разных языков. Но некоторые теоретически допустимые структуры в реальности невозможны, так как этому препятствует объем оперативной памяти человека (7 ± 2 символа) и другие общепсихологические факторы. Соответствующая этим ограничениям часть порождаю-

щего аппарата называется у Ингве «механизмом». См. о модели Ингве [Ингве, 1965; Yngve, 1960], а также [А. А. Леонтьев, 1969а, 63—64]. Среди введенных Ингве понятий особенную популярность получило понятие «глубины» предложения, т. е. количество левых «узлов» дерева НС или (в последних его работах) максимальное число «грамматических обязательств», которые мы должны удерживать в памяти, осуществляя порождение предложения [Ингве, 1965, 44].

Работы описываемого здесь направления можно разбить в свою очередь на три цикла. Упомянем, во-первых, исследования советского психолога И. М. Луцхиной. Она показала, что глубина фразы при равной длине прямо пропорционально влияет на порог восприятия (в условиях белого шума), т. е. чем больше глубина, тем выше порог (тем хуже воспринимается фраза) [Луцхина, 1965а]. В дальнейшем И. М. Луцхина пришла к выводу о том, что оперирование предложением зависит не только от его синтаксической структуры, но и от характера синтаксических связей, которые качественно неоднородны в психолингвистическом отношении [Луцхина, 1968б]⁵. Далее, во-вторых, имеется несколько интересных работ по применению грамматики НС для интерпретации явлений детской речи, на чем мы сейчас не будем останавливаться [Brown and Fraser, 1964; Menyuk, 1969]. В-третьих, это различные эксперименты, показывающие большую легкость запоминания при условии структуризации по НС [Wales, in print; Suci, 1967; Saporta, 1965], большую легкость восприятия [Schlesinger, 1968], зависимость успешности восстановления «отрезанной» части предложения от структуры его по НС [Forster, 1960; Forster, 1967; Forster, 1968]. Все эти работы (кроме работ по детской речи) связаны с восприятием, а не с порождением высказываний.

Б. «Осгудовский» цикл связан с теорией, выдвинутой этим автором в его известной президентской речи на годовом собрании Американской психологической ассоциации в 1963 г., опубликованной под названием «О понимании и создании предложений» [Osgood, 1963]. Теория эта сводится к тому, что стохастические закономерности определяют не столько элементы терминальных цепочек, сколько отдельные шаги порождения, операции. См. об этой модели [А. А. Леонтьев, 1969а, 65—72].

Основные экспериментальные исследования этого направления принадлежат Н. Джонсону [Johnson, 1965, 1966, 1969]. Его — надо сказать, очень изящные — эксперименты показали, в частности, что вероятность условных ошибок (transitional errors) при запоминании предложений зависит от его структуры по НС. Одна-

⁵ Одновременно с ней два американских автора провели интересное исследование, показав, что в сознании говорящего существуют стойкие семантические зависимости между синтаксически определяемыми членами предложения [Gumenik, Dolinsky, 1969; см. также: Suci, 1969, особенно же Levelt, 1939].

ко есть и попытки опровергнуть данные Джонсона [Marshall and Wales, in press]. См. о работах Джонсона также [А. А. Леонтьев, 1969а, 73—75]. Работы этого цикла посвящены как восприятию, так и порождению высказываний.

В. Говоря об исследованиях Гарвардской школы, мы имеем в виду цикл работ, принадлежащих Т. Биверу и его соавторам. В сущности, они были начаты английскими учеными П. Ладефогд и Д. Бродбентом, впервые использовавшими методику совмещения щелчка с текстом или бессмысленной последовательностью слов [Ladefoged and Broadbent, 1960]. «Классическая» работа, убедительно показавшая, что щелчок «сдвигается» к границам конституэнтов НС, принадлежит Биверу и Фодору [Fodor and Bever, 1965], см. также [Garrett, Bever, Fodor, 1966], [Harvard..., 1966]. Критику этих работ см. [Thorne and Wales, 1966]. Все эти работы касаются лишь восприятия речи.

Г. Пожалуй, об изучении «хезитаций», или речевых колебаний, в нашей литературе больше всего данных. Суть в том, что распределение, длина и характер заполнения пауз зависят (в числе других факторов) от синтаксической структуры предложения по НС. Классические работы по этому поводу принадлежат Маклею и Осгуду [Macleay and Osgood, 1959], Ф. Голдман-Эйслер (Goldman-Eisler, 1968), Д. Бумеру [Boomer, 1965]. Обзор практически всех доступных работ в этом направлении дан Э. Л. Носенко [Носенко, 1969], и Т. М. Николаевой [Николаева, 1970], к статьям которых мы и отсылаем читателя. Очень кратко о нем см. также [А. А. Леонтьев, 1969а, 52—54]. См. также кандидатскую диссертацию Э. Л. Носенко [Носенко, 1970].

Помимо перечисленных направлений, можно выделить еще двух авторов, работы которых связаны с моделью НС. Один из них — В. Левелт, голландский психолингвист, модифицировавший эту модель [Levelt, 1966]. Другой — английский ученый М. Брэйн, предложивший модель «контекстуальной генерализации» [Braine, 1963, 1965] и трактующий иерархию сегментов как последовательное включение одного сегмента в другой на правах «грамматического контекста». Его модель вызвала резкую оппозицию Гарвардской школы [Bever, Fodor, Weksel, 1965].

Грамматика НС гораздо менее уязвима, чем модель с конечным числом состояний. Тем не менее она подверглась резкой критике, несмотря на, казалось бы, бесспорные доказательства ее «психолингвистической реальности». Помимо возражений Хомского (Хомский, Миллер, 1965; Хомский, 1965; Chomsky, 1965; Хомский, 1962), из которых, пожалуй, наиболее серьезным является обвинение Ингве и его последователей в смешении «лингвистической компетенции» и реального оперирования в процессе порождения или восприятия речи, можно упомянуть здесь мысль Р. Лиза, что предложения, совершенно различные с точки зрения грамматики НС, типа *Найти его легко — Это легко — найти его — Он легко может быть найден — Обнаружить его нетрудно — Он*

может легко быть обнаружен и т. д. на самом деле явно объединены в сознании носителя языка [Lees, 1964, 81]. Впрочем, эта критика остается в силе и относительно трансформационной грамматики (см. ниже). Критику грамматики НС см. также [Шубин, 1967; Johnson, 1965; Stockwell, 1963, 44; А. А. Леонтьев, 1969а, 76—77].

Так или иначе, возникает необходимость в более «сильной», как говорят, модели. Такой моделью и является трансформационная грамматика, на которой нам придется остановиться несколько подробнее.

МОДЕЛИ НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ГРАММАТИКИ

О трансформационной грамматике существует сейчас настолько обширная литература, что это освобождает нас от анализа ее специфики. Наиболее общее определение трансформации было дано Н. Хомским: «грамматическая трансформация ... есть отображение НС-показателей на НС-показатели» [Хомский, 1965, 56]. Иначе говоря, это правило, при помощи которого мы преобразуем одно дерево НС в другое. Следовательно, модель НС входит в трансформационную модель на правах обязательного компонента; правда, при этом на модель НС накладываются некоторые ограничения и она используется для порождения лишь определенных классов высказываний. При этом сама структура НС-компонента трактуется более упрощенно [Апресян, 1966, 214—216].

Существует два варианта трансформационной модели; оба разработаны Н. Хомским. Один развивался им в 1958—1964 гг. [Хомский, 1961, 1962, 1965]. Другой изложен был впервые в известной книге 1965 г. «Аспекты теории синтаксиса» [Chomsky, 1965]. Сжатый анализ различий см. [Lees, 1966, XXVII; А. А. Леонтьев, 1969а]. Мы опишем в настоящей главе лишь второй вариант, получивший в последние годы особенно широкое распространение.

Новая модель Хомского состоит из трех наиболее общих компонентов: синтаксического, фонологического и семантического. Оба последних служат для интерпретации синтаксического компонента. Этот последний соответственно «должен определять для каждого предложения его глубинную структуру, которая определяет его семантическую интерпретацию, и поверхностную структуру, определяющую его фонетическую интерпретацию» [Chomsky, 1965, 16]. Синтаксический компонент в связи с этим делится на два субкомпонента — трансформационный и НС (или «база» синтаксического компонента). Трансформационный субкомпонент порождает поверхностную структуру, НС-субкомпонент — глубинную структуру. Таким образом, мы получаем как бы два «этажа» порождения — глубинный и поверхностный (о каждом из кото-

рых можно было бы говорить и далее). Общая последовательность порождения следующая: «База порождает глубинные структуры. Глубинная структура подается в семантический компонент и получает семантическую интерпретацию; при помощи трансформационных правил она преобразуется в поверхностную структуру, которой далее дается фонетическая интерпретация при помощи правил фонологического компонента» [Chomsky, 1965, 141].

Важнейшее психолингвистическое следствие из этой модели заключается в последовательном противопоставлении «языковой компетенции» (*linguistic competence*) и «языковой активности» (*linguistic performance*). Первая понимается как имплицитное «значение говорящего или слушающего о своем языке», вторая — как реальное использование языка в конкретных ситуациях [Chomsky, 1965, 4]. Однако это противопоставление не вполне корректно (см. об этом [А. А. Леонтьев, 1969а, 84—86; Reiff and Tikofsky, 1967, 138; Fodor and Garrett, 1966; Harmon, 1967; Uhlenbeck, 1963; Fromkin, 1968; Uhlenbeck, 1967]), и в конкретных экспериментальных исследованиях обе категории систематически смешиваются.

«Классическая» психолингвистическая интерпретация модели Хомского в первом ее варианте дана была, как известно, Дж. Миллером [Miller, 1965; Miller, 1964], а далее в том же направлении работали Ж. Мелер, Д. Слобин и многие другие. Обзор подобных экспериментальных исследований можно найти в [А. А. Леонтьев, 1969а, 87 и след.], а также в [Ervin-Tripp and Slobin, 1966; Marshall, forthcoming; Fodor and Garrett, 1966; Průcha, 1970; А. А. Леонтьев, 1968]; поэтому мы не даем их детального перечисления и тем более анализа в настоящей главе. Появился и цикл сравнительно новых работ, основанных на втором варианте модели Хомского. Это прежде всего исследование А. Блументала и Р. Бокса [Blumenthal, 1967]; Л. Маркса [Marks, 1967], Дж. Маршалла [Marshall, 1965], П. Эммона [Ammon, 1968], Мелера и П. Кэрю [Mehler and Carey, 1967], В. Морриса и др. [Morris, 1968] и др. Все эти работы в той или иной степени подтверждают гипотезу о «психологической реальности» второго варианта трансформационной модели, т. е. допущение о том, что человек, говоря или понимая речь, производит операции, соответствующие структуре этой модели. Правда, само понятие «психологической реальности» вызывает в последнее время большое сомнение даже у прямых учеников Миллера [Bever, 1968, 480], не говоря уже об ученых, принадлежащих к другим направлениям.

Однако, как резонно замечает Ян Пруха, «хотя некоторые данные последних экспериментов и подтверждают или по крайней мере не опровергают полученные ранее результаты, психологическая реальность порождающей модели не может считаться доказанной. Этот тезис основан на противоречивости результатов других экспериментов, с одной стороны, и на серьезных критиче-

ских замечаниях теоретического характера, с другой [Průcha, 1970, 6].

Прямо противоречат результатам ученых миллеровского направления или не подтверждают их, в частности, работы И. И. Ильева [1968, а и б], Г. Кларка [Clark, 1965; Clark, 1968], П. Танненбаума и соавторов [Tannenbaum, 1964], В. Эпштейна [Epstein, 1969], Мартина и Робертса [Martin and Roberts, 1966], И. М. Луцхиной [1968], Дж. Сакса [Sachs, 1967], П. Райта [Wright, 1969] и др. Что касается теоретического анализа и критики, то она шла в нескольких направлениях. Во-первых, со стороны Ч. Осгуда и Дж. Б. Карола [Osgood, 1963; Carroll, 1964]. См. изложение их аргументов в [А. А. Леонтьев, 1969а, 99—100]. Во-вторых, со стороны норвежского психолога Р. Ромметфейта [Rommetveit, 1968, 1969] и др. Его замечания сводятся к следующему. Во-первых, нельзя исследовать предложения «в вакууме», вне их реального коммуникативного контекста. Во-вторых, ошибочно думать, что лингвистическое (и уже — грамматическое) тождество означает тождество процессов оперирования: основную роль здесь играют семантические и прагматические факторы, психологические особенности личности, особенности коммуникативной ситуации. В целом, по мнению Ромметфейта, «вместо того, чтобы исследовать высказывания под углом зрения доступных психологическому анализу данных относительно значений слов, синтагматических потенций, познавательных состояний, исследователь пускается на поиски психологической реальности заданных лингвистических структур, понимаемой к тому же весьма упрощенно» [Rommetveit, 1968, 216].

Как указывает Я. Пруха, эти положения Ромметфейта оказались очень близкими к критическим замечаниям, выдвинутым независимо и примерно в то же время автором настоящей главы. В основном они сводятся к следующему: а) смешиваются психологические и лингвистические категории; б) игнорируется мотивация и другие «дограмматические» этапы порождения; в) существующие эксперименты подтверждают лишь возможность, но не необходимость оперирования тем или иным способом; г) модель не «работает» при анализе различных форм осознания речи; д) нельзя генерализовать на все случаи результаты, полученные для определенного класса высказываний⁶.

Имеется и ряд других работ, где критикуется миллеровская психолингвистическая интерпретация трансформационной грамматики, но мы ограничимся изложенными здесь.

Не следует думать, что внутри самого миллеровского направления отсутствует какое-либо развитие и что отстаиваемая этим направлением концепция абсолютно лишена динамики. Укажем на известнейшую статью Д. Слобина об обратимости [Slobin,

⁶ Более подробно наши замечания изложены в [А. А. Леонтьев, 1969а, 102—105].

1966]; см. также [Newcombe and Marshall, forthcoming]; цикл работ П. Уосона [Wason, 1961, 1965, 1966] и др.; эксперимент С. Кэрю [Carey, 1964]. Во всех этих и многих других исследованиях авторы приходят к выводу о том, что в механизме порождения речи налицо предшествующий любой форме грамматического оперирования этап, на котором говорящий имеет некоторую обобщенную схему семантического содержания будущего высказывания (программу, замысел), хотя и не во всех работах эксплицитно говорится о существовании такого этапа. В том же смысле выступали Г. Кларк [Clark, 1966], В. Левелт [Levelt, 1966], Дж. Торн [Thorne, 1966], Дж. Лэйкофф (Lakoff, 1964), П. Эррио [Herriot, 1968]. Обычно этот этап отождествляется с «глубинным» компонентом порождающего механизма.

В советской психологии речи и психолингвистике аналогичные идеи развивались уже давно. Они идут от концепции Л. С. Выготского. В наиболее четкой форме они изложены в публикациях А. Р. Лурия и его учеников [Лурия, 1947, 99; 1969, 210—211; Цветкова, 1968; Рябова, 1967, 1970, и др.], а также Н. И. Жинкина, особенно [Жинкин, 1966, 1967] и автор настоящей главы [А. А. Леонтьев, 1967б, 1969а]. См. об этом также в гл. 2 и в следующем разделе данной главы. Близок во многом к такому пониманию Дж. Мортон, опубликовавший в последние годы целую серию статей и разработавший оригинальную психолингвистическую теорию. Мы не имеем возможности излагать здесь ее детально и ограничимся констатацией факта, что Мортон стремится включить свою модель в некоторое более общее представление о познавательной и коммуникативной деятельности носителя языка, уделяя в своих построениях, в частности, значительное место природе контекста. Основные его публикации [Morton and Broadbent, 1967; Morton, 1964, 1968, 1969].

Прежде чем проследить динамику развития идей Миллера и «младших» представителей Гарвардской психолингвистической школы, обратимся к пониманию миллеровским направлением процессов восприятия речи.

Положение в этой области сейчас, без сомнения, более запутанное, чем хотелось бы. Здесь сталкиваются, в сущности, две теоретических антиномии: активный — пассивный и моторный — сенсорный принципы восприятия. Очень важно сразу же отметить, что принятие «активного» принципа, т. е. допущение встречного моделирования семантико-синтаксической структуры высказывания при его восприятии (так называемая теория «анализа через синтез»), совершенно не обязательно влечет за собой признание правильности «моторной» теории. Но не наоборот.

«Моторная» теория в своей классической форме (т. е. у А. Либермана) «постулирует, что в процессе слушания речи человек определяет значения управляющих моторных сигналов, необходимых для производства сообщения, подобного услышанному»

[Чистович, 1970, 113]. Отсюда логически необходимо допустить на высших уровнях восприятия процедуру анализа с помощью синтеза. Согласно моторной теории, восприятие происходит по следующей принципиальной схеме: $x_i \rightarrow s_i \rightarrow m_i \rightarrow \dots \rightarrow a_i$, где x_i — звуковой сигнал, s_i — слуховое ощущение, m_i — моторное описание, a_i — описание смысла сообщения [Чистович, 1970, 114]. Моторная теория в лиbermanовском варианте подробно изложена в [Исследование..., 1967; Модель..., 1966; Models, 1967]. Критику этой теории см. [Lane, 1965; Models..., 1967].

«Сенсорной теории» в чистом виде не существует. Из наиболее близких к ней концепций следует сослаться на теорию Г. Фанта [Фант, 1964], изображаемую Л. А. Чистович следующим образом: $x_i \rightarrow s_i \rightarrow d_i \rightarrow \dots \rightarrow a_i$ (обозначения те же; d_i — описание речевого элемента по сенсорным признакам). «Согласно этой точке зрения, моторное описание отнюдь не отрицается, просто оно рассматривается как побочное явление» [Чистович, 1970, 114].

Что касается взглядов самой Л. А. Чистович и ее школы, то они в основном соответствуют позиции «моторной теории». По-видимому, работы этой школы теоретически фундированы глубже, чем работы Хаскинских лабораторий. Знаменательно, что Л. А. Чистович в своих последних работах стремится «снять» (в диалектическом смысле) противоположность «моторной» и «сенсорной» точек зрения. «Есть пока достаточно оснований полагать, что моторный образ речевой единицы и предполагаемый Фантом ее сенсорный образ совпадают друг с другом» [Чистович, 1970, 123]. См. также [Речь, 1965] и др.

Позиция московской психолингвистической группы в отношении полемики «моторной» и «сенсорной» теорий сформулирована в [А. А. Леонтьев, 1969а, 118—121]. Основные моменты можно свести к следующим: а) «моторная» теория более соответствует общепсихологическим закономерностям восприятия; б) различие этих теорий слишком абсолютно: не учитывается физиологическое различие видов речи; в) возможна опора в восприятии на неадекватный моторный компонент и вообще имеются широкие возможности для разного рода эвристик; г) необходимо последовательно различать процессы формирования образа восприятия и процессы его отождествления, что не всегда делается в рамках полемики «моторной» и «сенсорной» теорий.

Перейдем к другому противопоставлению.

«Пассивная» теория восприятия — это, например, концепция Ч. Хокетта («грамматика для слушающего»), на которой мы уже останавливались ранее (см. стр. 171). «Активная» теория — это в первую очередь развиваемая в рамках «трансформационной» психолингвистики концепция «анализа через синтез». Эта последняя была выдвинута Халле и Стивенсом [Halle and Stevens, 1964]. Она довольно подробно изложена в переведенной на русский язык статье Дж. Миллера, что избавляет нас от необходимости детально описывать ее здесь [Миллер, 1968, 251]. Вкратце

можно сформулировать ее так: чтобы понять высказывание, нужно построить его синтаксическую модель, полностью или по крайней мере частично соответствующую той модели, которая используется нами в процессе порождения речи. Есть различные варианты такой модели [А. А. Леонтьев, 1969а, 121 и след.]. Из экспериментальных работ, выполненных в связи с этой моделью, необходимо назвать статью Миллера и Айзарда [Miller and Isard, 1963] и работы Ф. Либермана [Lieberman, 1963, 1967]. Эти работы, особенно эксперимент Миллера — Айзарда, показали принципиальную правильность модели «анализа через синтез» и относительно независимый характер семантических и грамматических правил, используемых для интерпретации высказывания при его восприятии⁷. Об «анализе через синтез» см. также [Slobin, 1966; Models, 1967; Garrett, 1966, и др.].

После всех этих исследований не вызывает сомнения, что «механизм понимания в своей основе не различается с механизмом планирования высказывания при его продуцировании» [Lenneberg, 1967, 106]. Московская психолингвистическая группа, и прежде всего И. А. Зимняя, в основном разделяет теорию «анализа через синтез».

Теория «анализа через синтез» совершенно не предполагает обязательного полного тождества семантических и грамматических операций при порождении и восприятии речи. Во всяком случае, наше понимание этой теории таково: по нашему мнению, в восприятии речи огромное место занимают эвристические приемы. Они преобладают у ребенка, овладевающего речью (см. ниже главу 21); у взрослого они, во-первых, используются в случаях восприятия речевых стереотипов (которые, по-видимому, не могут быть однозначно определены для любого носителя языка и любых контекстно-ситуативных условий), во-вторых, и при аналитическом восприятии речи, по всей вероятности, сочетаются с правилами «анализа — синтеза», образуя их базис, прежде всего при опознании отдельных слов.

В этом духе высказывается в последнее время и Гарвардская школа. Начнем с того, что все больше ставится под сомнение «абсолютный» характер действия правил «анализа — синтеза»; показана, например, возможность влияния опыта, приобретенного в ходе эксперимента, на его результаты [Salzinger, 1967; Mehler, 1967]. Вообще стали раздаваться голоса, что «между «синтаксической сложностью» и «психологической сложностью» нет однозначного соответствия» [Slobin, 1968, 9]. Особенно решителен в этом отношении Т. Бивер, вообще считающий ложной проблему «психологической реальности» той или иной модели (с чем вполне можно в принципе согласиться) и полагающий, что истинная

⁷ Но есть и эксперименты, подтверждающие обратную точку зрения: «поскольку модель восприятия может быть разделена в известном смысле на подсистемы, соответствующие фонологии, лексикологии и т. п., поскольку эти подсистемы функционально не независимы» [Foss, 1969].

проблема совсем в другом — «как эти (лингвистические) структуры взаимодействуют в реальных психологических процессах — таких, как восприятие, кратковременная память и т. д.» [Bever, 1968, 490]⁸. Ср. также у А. Блументаля: «Психологическая организация предложения не описуема адекватно, если ее рассматривать исключительно как сегментацию и категориальную классификацию слов» [Blumenthal, 1967, 206]. Подводя итоги определенному этапу психолингвистических исследований грамматики, Дж. Маршалл констатирует, в частности: «Одна из центральных проблем здесь — то, что нелегко заключить из большинства опубликованных экспериментов, идет ли обнаруженная в них психологическая трудность, связанная со структурным описанием материала, от трудностей обнаружения, хранения или выдачи (или, еще хуже, от какой-то комбинации всех трех). Вероятно, на всех этих различных этапах оперирования есть разные психологические ограничения, и вероятно, что в каждом случае грамматика используется радикально различными путями. Другая проблема — как воспрепятствовать тому, чтобы испытуемый вырабатывал правила *ad hoc*, которые позволяют ему оперировать с данным экспериментальным материалом вполне эффективно, но, видимо, бросают мало света на навыки нормального оперирования» [Marshall, forthcoming]. Возникает, правда, вопрос — а существуют ли вообще в природе такие навыки?

Сошлемся, наконец, на одну из недавних статей Фодора и Гарретт, очень четко формулирующую идею эвристик. Они, в частности, пишут: «Испытуемый имеет доступные исследованию эвристики, позволяющие ему делать прямые индуктивные заключения о конфигурациях базисной структуры (т. е. об основных грамматических отношениях) на основе информации о соответствующей поверхностной структуре. Эти эвристики используют информацию, репрезентирующуюся в грамматике, но сами по себе они не суть грамматические правила, если понимать «правила» в смысле этого слова, обычном применительно к генерированию предложений» [Fodor and Garrett, 1967, 295].

Особенно интересна в этом отношении работа канадских психологов Брегмана и Страсберга по запоминанию синтаксической формы предложений [Bregman et al., 1968]. Они убедительно показали, что при таком запоминании восстановление синтаксической формы очень часто происходит за счет эвристической обработки семантического содержания высказывания в самом процессе эксперимента. А значит, совершенно не обязательно происходит постулируемое Миллером [Miller, 1965], Мелером [Mehler, 1963] и Сэвином и Перчонок [Savin and Perchonok, 1965] «раз-

⁸ Впрочем, Хомский и Миллер отдавали себе отчет в этом и раньше. Ср., напр., «Языковые правила в нормальном случае служат для того, чтобы ограничивать число альтернатив, из которых слушающий должен выбирать» [Miller and Isard, 1963, 217]; но сами процессы выбора эвристичны [А. А. Леонтьев, 1969а, гл. 1].

несение» трансформационных и других грамматических характеристик по разным ячейкам памяти, и вообще психологическая релевантность трансформационной сложности предложения совсем не исключает иррелевантности ее и опоры на эвристические приемы в других условиях эксперимента. Аналогичные мысли высказывал В. Левелт в своем докладе на XIX Международном психологическом конгрессе [Levelt, 1969].

НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В «ПСИХОЛОГИИ ГРАММАТИКИ»

Мы остановились на том, что даже в рамках самой Гарвардской школы все большую роль начинает играть идея значимости эвристического принципа в процессах восприятия грамматической стороны речи. Это верно и относительно процессов ее порождения.

Думается, что ту же идею можно, несколько ее генерализуя, сформулировать по-другому. А именно: психологические механизмы порождения и восприятия речи могут быть различными в зависимости от конкретной стратегии говорящего (слушающего). А эта последняя в свою очередь зависит от его имплицитного или эксплицитного представления о неречевых условиях, о конкретной задаче речевого действия (или акта восприятия речи) и от его установки в отношении своего (или воспринимаемого им) высказывания.

Работы, в той или иной мере развивающие изложенную только что точку зрения, уже существуют в психолингвистике. Сошлемся прежде всего на цикл экспериментальных исследований, из которых явствует, что оперирование с синтаксическими структурами зависит от сосредоточения внимания испытуемого на субъекте или объекте. Первая работа такого рода принадлежит еще Дж. Б. Кэроллу [Carroll, 1958]. В дальнейшем появились, в частности, работа Танненбаума и Вильямса, выполненная при содействии Р. Ромметфейта [Tannenbaum and Williams, 1968], и цикл работ самого Ромметфейта, например [Rommetveit and Turner, 1967; Turner and Rommetveit, 1967; Turner and Rommetveit, 1968]. Этот последний, между прочим, четко сформулировал мысль о том, что при описании некоторого зрительно воспринимаемого события «несущественно, являются субъект и объект потенциально обратимыми или нет» [Turner a. Rommetveit, 1967, 179]: говорящий строит свое высказывание с опорой на зрительное восприятие ситуации, и установленное Слобиным различие в оперировании с обратимыми и необратимыми высказываниями снимается. Видимо, сюда же тяготеют некоторые «гарвардские» эксперименты типа выполненного Флорес д'Аркаи [Harvard..., 1966, 28—29]. Очень сильна в современной психологии речи и психолингвистике тенденция исследовать различие стратегий речи в зависимости от установки говорящего. Здесь можно отметить три основных направления. Первое, французское, связано с «психо-

социологией языка» С. Московича — см. [Moscovici, 1967]. Второе, советское, восходит к идеям Л. С. Выготского и Н. А. Бернштейна. Его идеи наиболее четко выражены Е. Л. Гинзбургом и Б. Ф. Ворониным [1970]. Наконец, третье направление отразилось в докладе японского психолога Тошио Иритани на XIX Международном психологическом конгрессе [Iritani, 1969].

Как можно видеть из всего предшествующего изложения, автор настоящей главы, как и другие психолингвисты «московской» школы, разделяет отмеченные в настоящем параграфе новые подходы. Учитывая описанные здесь тенденции и ставшие уже классическими более ранние исследования «осгудовского» и «миллеровского» направлений, а также другие психолингвистические работы, можно построить некоторую модель (или, вернее, класс моделей), структура которой в наибольшей мере соответствовала бы современному состоянию теоретической психолингвистики. Более подробно некоторые аспекты этой модели обсуждаются в публикациях автора [А. А. Леонтьев, 1969а], автора и Т. В. Рябовой [Леонтьев и Рябова, 1970]; Т. В. Рябовой [1967, 1970], Т. В. Рябовой и А. С. Штерн [1968].

Начнем с того, что напомним общую структуру речевого действия. Оно включает: а) фазу мотивации, б) фазу формирования речевой интенции, в) фазу внутреннего программирования, г) фазу реализации программы. О первых двух фазах см. выше гл. 2 и 3⁹. Синтаксическая характеристика высказывания появляется впервые в фазе программирования и отражается в структуре программы.

По нашему представлению, программирование заключается в двух взаимосвязанных процессах оперирования с единицами внутреннего (субъективного) кода. Это: а) приписывание этим единицам определенной смысловой (в понимании смысла А. Н. Леонтьевым [А. Н. Леонтьев, 1947, 1965] и нами [А. А. Леонтьев, 1969б, 1970]) нагрузки; б) построение функциональной иерархии этих единиц. Вот именно эта, вторая, сторона оперирования с кодовыми единицами и составляет основу синтаксической организации будущего высказывания. При этом возможны, по-видимому, три типа процессов такого оперирования. Это, — во-первых, операция включения, когда одна кодовая единица получает две или несколько функциональных характеристик разной семантической «глубины»: *кот ученый ходит*. Это, — во-вторых, операция перечисления, когда одна кодовая единица получает характеристики одинаковой «глубины»: *могучее, лихое племя*. Это, — в-третьих, операция сочленения, когда функциональная характеристика прилагается сразу к двум связанным единым действием кодовым единицам — субъекту и объекту действия: *колдун несет богатыря*.

⁹ В разных публикациях, перечисленных выше, точная номенклатура этих фаз не вполне совпадает. Однако принципиальное понимание всюду одинаково.

Сам процесс программирования, по всей вероятности, развертывается по-разному в случаях, когда исходные кодовые единицы соответствуют разным психологическим реальностям. Но наиболее типичным случаем является вторичный зрительный образ, возникающий на языковой основе; см. [Шехтер, 1959]. В последние годы вопрос о месте таких образов в речевой деятельности неоднократно ставился в работах разных авторов (см., например [Staats, 1967; Леонтьев и Рябова, 1970; Begg and Paivio, 1969]), но не получил еще исчерпывающего освещения.

Если представить структуру процесса программирования как систему элементарных суждений о предметах или явлениях, возникает довольно четкая параллель с некоторыми современными работами американских психолингвистов, в частности Ч. Осгуда [Osgood, a. o., 1956] и Ч. Перфетти [Perfetti, 1969].

При переходе к фазе реализации следует прежде всего присоединиться к точке зрения некоторых современных лингвистов и психолингвистов, постулирующих в порождении высказывания нелинейный и линейный этапы. Эта мысль встречается у Уорта [1964], у Г. Карри (тектограмматика и фенограмматика) [1965], у С. К. Шаумяна и П. А. Соболевой (фенотипическая и генотипическая ступень) [1961, 1963, 1965], у сторонников «стратификационной грамматики», в частности, С. Лэмба и Г. Глисона (см. обзор их взглядов в [Арутюнова, 1968]). Разделяя, как уже сказано, это различие, мы дальше будем выделять в синтаксическом порождении: 1) тектограмматический этап; 2) фенограмматический этап; 3) этап синтаксического прогнозирования; 4) этап синтаксического контроля. От блока, соответствующего четвертому этапу, возможна обратная связь к блокам более ранних этапов, вплоть до внутреннего программирования (см. ниже).

1. Важнейшие операции, соответствующие тектограмматическому этапу, это операции перевода программы на объективный код. По-видимому, это, во-первых, замена единиц субъективного кода минимальным набором семантических признаков слова, ограничивающим семантический класс и позволяющим при дальнейшем порождении выбирать внутри этого класса различные варианты. (Ср. у Дж. Мортон идею минимальных семантических признаков [Morton, 1968, 23]).

Во-вторых, это приписывание данным единицам дополнительных, «лишних» (относительно соответствующих слов будущего высказывания) семантических признаков, соответствующих функциональной нагрузке кодовых единиц, возникающей в процессе программирования. Номенклатура и иерархия тех и других признаков, по-видимому, в большой мере зависит от соответствующего языка, но в основе своей тектограмматический этап связан с универсальными грамматическими характеристиками.

В результате тектограмматического этапа мы получаем набор единиц объективно-языкового кода (хотя и не обладающих полной семантической характеристикой), имеющих дополнительную се-

маятическую нагрузку, соответствующую предидирующим элементам программы (будущим прилагательным, глаголам и т. д.) и находящимся в определенном иерархическом отношении друг к другу (примерно так, как это представляют себе Сестье [Sestier, 1962] и Брэйн).

2. При переходе к фенограмматическому этапу важнейшая новая особенность — это введение линейного принципа. Видимо, «синтаксис» спонтанной мимической речи соответствует как раз экстериоризации высказывания, прошедшего первые два этапа. Указанный линейный принцип «срабатывает» в следующих операциях: а) распределение семантических признаков, ранее «нагруженных» на одну кодовую единицу, между несколькими единицами в зависимости от структуры соответствующего языка; именно на этом этапе впервые появляются «квантифицирующие» сочетания [см. Osgood, 1956; А. А. Леонтьев, 1969а, 70—71]; б) линейное распределение кодовых единиц в высказывании, еще не имеющих, однако, грамматических характеристик¹⁰. Видимо, с этим этапом соотнесено так называемое «актуальное членение» высказывания, см. об этом [Пала, 1966].

3. Почти одновременно с фенограмматическим этапом, как только выделится исходная предикативная пара, от которой мы «отталкиваемся» в дальнейшем порождении (как мы стремились показать [А. А. Леонтьев, 1969а, 208—209], имеется универсальная тенденция к абсолютной препозиции субъекта высказывания, особенно заметная в разговорной и вообще мало кодифицированной речи), начинается этап синтаксического прогнозирования. Ему соответствует лексико-грамматическая характеристика высказывания в ходе движения по нему слева направо. Последовательным элементам приписываются все недостающие им для полной языковой характеристики параметры: а) место в общей синтаксической схеме высказывания; б) «грамматические обязательства», т. е. конкретно-морфологическая реализация места в общей схеме плюс синтаксически нерелевантные грамматические признаки; в) полный набор семантических признаков; г) полный набор акустико-артикуляционных (или графических и т. п.) признаков.

Что касается характеристики (а), то — применительно к отдельному слову — это содержательно-грамматическая характеристика. Например, мы приписываем исходному слову признак «грамматической субъектности». Это автоматически влечет за собой, скажем, приписывание какому-то другому слову признака «грамматической объектности» или винительного падежа (но не

¹⁰ Это наше предположение подтверждается данными Дж. Мартина, прошедшего к выводу, что последовательность выбора членов определенной синтагмы не зависит от порядка слов в конкретном языке: всегда выбирается сначала имя, а затем определяющее его прилагательное [Martin, 1969].

конкретных аффиксов винительного падежа!). Всякая характеристика такого рода, данная одному члену высказывания, влечет за собой соответствующую характеристику других членов или по крайней мере сужает круг возможных их характеристик. Очевидно, что должны быть какие-то синтаксические модели, описывающие подобную взаимозависимость; не выступает ли именно на этом этапе модель НС, о которой говорилось выше?¹¹

Итак, мы высказываем некоторое предположение о синтаксическом строении данного высказывания. Здесь включается этап контроля: мы соотносим наш синтаксический прогноз с разными имеющимися у нас данными — с программой, контекстом, ситуацией и т. п. (Например, в эксперименте Дж. Маршалла испытуемые, имевшие дело с двусмысленными предложениями, использовали информацию о структуре, вернее, соотношении линейной и глубинной структур, предшествовавшего предложения [Marshall, 1965].) Соответственно возможны два случая: либо противоречия нет; тогда мы движемся дальше слева направо, выбирая очередное слово на основании различных признаков, приписывая ему полную характеристику и снова производя проверку на соответствие программе и другим факторам, и т. д.; либо возникает какое-то несоответствие. Оно может в свою очередь происходить из разных источников.

Во-первых, сам прогноз может быть неверным. Тогда мы просто его заменяем — приписываем предложению другую синтаксическую схему, затем новую и так до совпадения.

Во-вторых, мы можем перебрать все возможные (при тождестве синтаксической характеристики исходного слова) прогнозы и все же не добиться совпадения. Тогда мы должны перейти к новому классу прогнозов, вернувшись к исходному слову и приписав ему иную синтаксическую характеристику. Иначе говоря, мы произведем трансформацию высказывания.

Какой вариант, какой класс прогнозов (или конкретный прогноз) будет первым? Это зависит от структуры конкретного языка и определяется вероятностью данного типа грамматических конструкций в языке и в данном акте речи.

Если почему-либо невозможна трансформация и тем более пересмотр прогноза внутри класса прогнозов (как это получается в упомянутом эксперименте Маршалла), обратная связь «закрывается» на фазу программирования. Мы программируем высказывание заново.

Наконец, мы добиваемся совпадения прогноза и «априорной» информации. (Возможно, предполагаемый некоторыми авторами «стилистический фильтр» непосредственно соответствует именно этому моменту процесса порождения — вводится еще один дополнительный критерий проверки). Тогда мы идем дальше, пока не

¹¹ Вернее, не сама конкретная модель НС, а принцип построения дерева зависимостей. Обсуждение этой проблемы см. [А. А. Леонтьев, 1969а, 212].

доходим до конца высказывания. При этом вполне возможна линейная инверсия отдельных слов и предикативных пар; видимо, закономерности такой инверсии соотносимы с так называемым свойством «проективности» правильных синтаксических конструкций [Лесерф, 1963; Иорданская, 1964].

Что касается «грамматических обязательств» [см. Ингве, 1965; А. А. Леонтьев, 1969а, 195—197], то с ними «работает» оперативная память, объем которой ограничен, как известно, 7 ± 2 единицы. Выбор их подчинен синтаксической схеме и вместе с другими характеристиками слова осуществляется после того, как определяемый вариант прогноза уже «принят».

Итак, в нашем представлении синтаксическая структура высказывания отнюдь не задана с самого начала или задана лишь частично и достраивается в самом процессе порождения. На «входе» блока реализации мы имеем сведения о программе, о контексте, о ситуации; кроме того, нам заданы классы прогнозов, сами прогнозы и их вероятность, правила соотнесения прогноза и «грамматических обязательств» и некоторая другая информация. На этой основе происходит конструирование высказывания.

Очень важно сразу подчеркнуть следующее. Во-первых, все описанные операции суть не реальные действия субъекта при порождении, а, как уже отмечалось, скорее граничные условия для оперирования. Возможно применение различных эвристических приемов, репродукция готовых кусков и т. п. — одним словом, мы в полной мере разделяем идею о значимости эвристического принципа для порождения (и восприятия) речи. Во-вторых, при восприятии, по-видимому, описанные процессы происходят не полностью; мы имеем здесь в более или менее полной форме лишь синтаксическое прогнозирование и при этом опираемся на иные, чем при порождении, исходные данные.

Наконец, самое важное, что наша модель допускает возможность в принципе различных способов порождения лингвистически тождественных высказываний.

Описанная здесь модель (вернее, класс моделей), положенная в основу целого ряда опубликованных в последние годы экспериментальных исследований (см., например, Зимняя и Скибо, 1970; Носенко, 1969, 1970, и др.), не противоречит данным, полученным ранее в связи с иными моделями порождения и описанным частично выше. На различных ее фазах и различных этапах грамматической реализации нами предполагаются процессы и операции, ранее постулированные и другими авторами, но обычно абсолютизовавшиеся. Сейчас открывается возможность объединить полученные экспериментальные данные вокруг единой и непротиворечивой теоретической интерпретации. В этом мы видим основное достоинство изложенной модели.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ И СЕМАНТИКИ

Не меньшее внимание, чем изучению грамматики, в психолингвистических исследованиях уделяется вопросам лексикологии. Традиционно, правда, принято называть лексические исследования, выполняемые психолингвистическими методами, исследованиями семантики, однако это не вполне точно. С одной стороны, и при изучении грамматических явлений с позиций теории речевой деятельности при помощи психолингвистических, в том числе и экспериментальных методик, немало внимания уделяется семантическим проблемам конструирования текста, что вполне закономерно, а с другой стороны, если и ограничить постановку вопроса изучением лексической семантики, это не будет точной характеристикой того, чем занимаются психолингвисты при анализе словарных единиц. Так, многие психолингвистические методики в сущности исследуют не сами значения слов, а лишь отношения между ними, что чрезвычайно важно для построения системной лексикологии, но приводит подчас к неудовлетворенности тех лингвистов, которые ожидали бы от психолингвистических «измерений семантики» не только определения отношений между значениями слов, но и выявления самих значений. С другой стороны, психолингвистические методики используются при изучении лексических единиц не только для изучения семантики отдельных слов, но и для рассмотрения особенностей лексической сочетаемости, для анализа стилистической нагрузки лексики, для рассмотрения других характеристик слов, не сводимых, строго говоря, к семантике. Наконец, если говорить об исследовании семантики в психолингвистике, то и оно не является полным, а затрагивает лишь некоторые аспекты значения, некоторые его стороны.

Так, в психолингвистических исследованиях, независимо от тех весьма различных и подчас противоречивых определений значения, которые даются как в общелингвистических, так и в психолингвистических работах, и которые страдают зачастую умозрительностью и односторонностью, обычно внимание обращается главным образом лишь на некоторые аспекты значения слов. Прежде всего — это связь между означающим и означаемым в процессе присвоения, расшифровки наименований и, главное, в процессе функционирования этих наименований. При этом (хотя,

по справедливой характеристике А. Н. Леонтьева, значение — «это идеальная, духовная форма кристаллизации общественного опыта, общественной практики человечества» [А. Н. Леонтьев, 1965, 287]) для того, чтобы раскрыть общественную суть значения, прибегают к индивидуальным его воплощениям (что вполне закономерно), нередко потом забывая перейти к собственно языковому значению, социальному по природе; с другой стороны, в поисках означаемых и их связей с означающими обращаются уже не к «кристаллизации» опыта, а к непосредственной действительности, к самим вещам, действиям или признакам, которые имеют те или иные названия, — что допустимо как этап экспериментального изучения значения, но не может превратить предмет «дверь» в значение слова *дверь*, как это подчас кажется экспериментаторам. Однако линия между звучанием и значением слова с ее продолжением к означаемому — это лишь один из аспектов психолингвистического интереса к изучению лексических значений.

В сфере психолингвистических интересов в изучении лексических значений находится и выяснение отношений между словами, установление индивидуальных, а через их интегрирование — и социальных семантических полей (употребляем тут этот термин в весьма недифференцированном значении), установление синонимических и антонимических отношений, измерение степени смысловой близости и отдаленности слов в рамках поля или независимо от предполагаемой полевой структуры словаря, установление словесных ассоциаций, вызываемых некоторыми словами. Все это — аспекты отношений между значениями разных слов в общей семантической системе языка или в ее фрагментах. В круг объектов психолингвистического исследования значений входит и процесс соединения значений отдельных слов в синтагматике, выявляемый в явлениях сочетаемости слов. Таким путем от плана существования значений в языковой системе психолингвистика, что и естественно, стремится перебросить мост к плану функционирования языка (и происходящих при этом семантических сдвигов).

Возможности психолингвистических исследований лексики шире, чем реальное использование этих возможностей. Но и то, что уже сделано и что делается в этой области, показывает, что результаты психолингвистического изучения лексики представляют интерес не только сами по себе, но и вносят определенный вклад в общее лингвистическое исследование словаря. Важно при этом отметить, что если в некоторых случаях психолингвистическое изучение лексики — это лишь возможный прием ее анализа, то в других случаях психолингвистические методики изучения слов дают такие результаты, которые при помощи других методов вообще не могут быть получены.

НАИМЕНОВАНИЕ

Процесс наименования издавна привлекал внимание как лингвистов, так и психологов. При этом встречались разные подходы к выяснению этого процесса, ставились различные цели его исследования. Совершенно ясно, однако, что проблема эта специфически психолингвистическая, что выяснение ее в рамках одной психологии так же, как и в рамках одной лингвистики, едва ли возможно. Потому, пожалуй, уместно начать обзор психолингвистических работ в области изучения лексики именно с наименования.

Важно подчеркнуть, что наименование — общественно и психологически необходимый акт. Норберт Винер прямо писал, что работа его группы затруднялась из-за отсутствия единого названия для той области, в которой они работали; именно поэтому и понадобилось создать (вообще говоря, в третий раз) термин «кибернетика» [Винер, 1958, 21—22]. Необходимость как существенный ингредиент возникновения наименования хорошо подчеркнута была Станиславом Лемом, в творческом активе которого имеется, в частности, и ряд новообразований (вроде *сепулек* в одном из путешествий Иона Тихого). Лем пишет: «Новые слова возникают тогда, когда они нужны — в новых ситуационных контекстах, и, по-видимому, кто-то должен их придумать, подвергая «этимологический корень» единоразовой спонтанической перестройке под влиянием составляющих ситуации, а проще говоря потребности выражения. Полагаю так не только на основании рассуждений с позиции «здравого смысла», что слова рождаются буквально «между людьми» не могут, но и потому, что бывая сам «словотворцем», не умею, не могу продуцировать новообразования *ad hoc*, например, в момент, когда это пишу. Ситуационная необходимость, вызванная контекстом высказывания — это не то, что отвлеченное и рациональное требование создать новообразование» [Lem, 1968, 342]. Самонаблюдение Лема тем ценнее, что он по образованию психиатр.

Имеется ряд экспериментальных исследований процесса наименования. Остановимся на опубликованной в 1924 г. работе известного грузинского психолога Д. Н. Узнадзе [Узнадзе, 1966, 5—26]. По условиям его эксперимента испытуемым предъявлялось шесть различных чертежей, которые, насколько это возможно, не должны были вызывать ассоциативного представления о знакомом предмете. На других листах предъявлялись бессмысленные трехсложные слова, например *изакуж*, *лакозу*. Испытуемому разъяснялось, что каждый из чертежей — это магический знак, имеющий свое название, которое надо подобрать из бессмысленных комплексов. Чертеж предъявлялся испытуемому на пять секунд, время подбора названия также замерялось; после выбора названия испытуемый давал отчет о своих переживаниях [Узнадзе, 1966, 8]. Д. Н. Узнадзе так формулирует выводы, сделан-

ные им на основании анализа полученных результатов: «Обычной психологической основой наименования в момент связи наименовываемого объекта и звукового комплекса является совершенно определенный закономерный процесс: слово не случайно связывается с объектом, и, следовательно, оно не случайно берет на себя функцию наименования, а обычно опирается на соответствие данных отношений представлений и объекта, в котором встречаются значения слова и объекта. В сознании этого значения встреча обоих упомянутых компонентов происходит в общем по четырем разным путям: а) путем уподобления взятых звуковых комплексов словам — именам существующих известных языков; б) путем сознания согласованности форм наименовываемого объекта и звукового комплекса; в) путем сравнения их эмоциональных компонентов; г) путем переживания того своеобразного состояния, которое сопровождает восприятие обоих релятов и которое испытуемые характеризуют под названием общего впечатления или более неопределенно. Среди этих путей наиболее прочную основу для акта наименования создают три последние» (23—24).

Отдавая должное проведенному опыту и тонкому анализу его результатов, необходимо однако оговориться по поводу квалификации «неслучайности» связывания «слова» с объектом. Во-первых, надо учесть, что эта «неслучайность» действительна лишь для данного индивида, возможно, только для данного конкретного случая наименования. То, что испытуемый устанавливает в данном случае именно такую связь, а не другую, отнюдь не означает, что и другие испытуемые установят такую же связь, но даже если связь и будет осуществляться по тому же пути, не обязательно, чтобы это привело к тому же результату: осознание «значений» звуковых комплексов и объектов у разных испытуемых происходит по-разному. И то обстоятельство, что примерно треть предложенных комплексов в эксперименте Д. Н. Узнадзе не была никем избрана в качестве наименования, не может служить доказательством закономерности процесса наименования. Возможно, тут дело в несоответствии части предложенных комплексов модели «слова», которая имеется у испытуемых.

Сомнения в закономерной обусловленности каждого наименования вызваны тем, что едва ли вскрываемая для одного индивида цепь связи между означаемым и наименованием будет такой же для других индивидов. Трудно не соглашаться с Лемом в том, что «процесс включения в язык новых слов имеет статистически-случайный характер, и никогда нельзя, обследовав языковую пригодность слова, твердо утверждать, что его удастся ввести в фактическую языковую практику» [Lem, 1968, 345]. Дело, видимо, в том, что непосредственная связь языка и речи с трудовой деятельностью есть то главнейшее и основное условие, под влиянием которого они развивались как носители «объективированного», сознательного отражения действительности. «Означая в

Трудовом процессе предмет, — пишет А. Н. Леонтьев, — слово выделяет и обобщает его для индивидуального сознания именно в этом объективно-общественном его отношении, т. е. как общественный предмет» [А. А. Леонтьев, 1965, 280]. Акт наименования, быть может, и индивидуален в своем протекании, но социален в своем назначении, а с точки зрения социальной может оказаться, что индивидуальные мотивы, руководившие назывателем при выборе имени, случайны для коллектива.

С другой стороны, и выбор именно данного конкретного пути при наименовании данного конкретного предмета, видимо, может оказаться случайным. В определенном смысле слова можно говорить о случайности его уже потому, что при выборе имени на назывателя воздействует множество противоречивых и разнонаправленных сил, а равнодействующая этих сил, зависящая не только от их направлений, но и от их величин, вообще говоря, случайна по отношению к данной конкретной «силе».

Так, едва ли не случаен выбор комплекса *кварк* для обозначения неуловимых частиц с дробным зарядом; речь идет не о том, что слово *кварк* взято из одного произведения Джойса, где оно означало достаточно неопределенные фантастические «предметы» (крик чаек: «три кварка для сэра Кларка»), а о том, что был выбран именно этот путь создания термина. Ведь в принципе мог быть использован и термин с суффиксом *-он*, как в ряде названий других частиц; могли быть и другие ассоциации у создателей термина. Потребовалось стечение целого ряда обстоятельств, которые обусловили выбор именно такого, а не иного названия.

Но это не значит, что нет вообще закономерностей наименования. Они есть, и Д. Н. Узнадзе хорошо показал, что при индивидуальном выборе наименования всегда имеет место та или иная мотивация выбора, соотнесения объекта со звуковым комплексом, а также указал на некоторые важные пути такого соотнесения, которые в лингвистических работах понимаются подчас чересчур прямолинейно.

Обязательность мотивации наименования может объяснить тот факт, что за последние столетия в европейских языках появилось считанное число «немотивированных» наименований (нет сомнения в том, что и они в возникновении своем были мотивированными, как это говорят, например, об одном из таких «немотивированных» слов — слове *газ*, но только мотивы эти для нас могли оказаться потом забытыми и теперь невозможными). Но надо обратить внимание еще и на то обстоятельство, что в современных обществах мотивация наименования происходит, как правило, по первому из описанных Д. Н. Узнадзе путей — т. е. по тому или иному соотнесению наименования нового предмета со словами реальных естественных языков.

Нельзя не упомянуть о некоторых работах психологов, в которых рассматривается проблематика звукового символизма. По-

лагают экспериментально подтвержденным, что «какие-то закономерные связи между звучанием и если не значением, то употреблением действительно существуют»: в экспериментах Майрона оказывалось, что «понижение гласного давало эффект «силы», передняя артикуляция согласного оказалась связанной с «приятностью» и т. д.» [А. А. Леонтьев, 1967а, 57]. Интерпретация данных подобных опытов наталкивается на значительные трудности; тут возможны и языковые влияния на предлагаемые испытуемым бессмысленные комплексы, и некоторые ассоциации; можно предполагать, что какие-то звуко-символические факторы играли роль при возникновении некоторых первичных слов, но едва ли удастся доказать их действительно объективный характер, не зависящий от взаимодействия одних значащих комплексов с другими, у целых коллективов людей. Звуковая символика могла быть мотивом наименования, но едва ли единственным и тем более едва ли способным к достаточно широкому и расчлененному использованию.

В естественных языках имеются колоссальные запасы «свободного» словесного материала. Так, из более чем пяти тысяч возможных в русском языке трехфонемных комплексов типа «согласный + гласный + согласный» в качестве слов и форм реально «занята» лишь тысяча (*баб, боб, без, вид, год, Лид* и под.). В конечном счете тут, видимо, действует стремление к обеспечению большей надежности в передаче информации, воплощаемое в большей контрастности звуковых оболочек слов; так, видимо, объясняется увеличение разборчивости слов с удлинением их длины [Savin, 1958]. Возможно, что некоторые из трехфонемных комплексов нежелательны фонетически (например, *ког*), но в ряде случаев видимых причин неиспользования их нет (*шан, шон, шун* при наличии *шин, шар, шёл, шут*). Таких сочетаний, видимо, не менее двух-трех тысяч. Однако для образования новых слов в русском языке используются не эти «пустые» комплексы, а более сложные образования, важной особенностью которых является то, что они так или иначе ассоциируются с другими словами языка, а следовательно (в отличие от тех мотивов, которые руководили испытуемыми при выборе наименования в опытах Д. Н. Узнадзе), эти мотивы будут более или менее явными и для других носителей языка. Это, очевидно, позволяет установить лучшие связи между данными и другими наименованиями, что, можно предполагать, существенно для функционирования языка.

Можно привести данные о тех реальных мотивациях, которые используются носителями естественного языка для наименования, на основании этимологически-словообразовательного анализа некоторых слов лексики современных языков. Клаус Мюллер изучил мотивацию наименований на примере русских названий грибов. При этом оказалось, что в русских названиях грибов встречается целый ряд мотивов наименования: цвет (всего гриба, верхней или нижней части шляпки, ножки, грибного «мяса»), вы-

деляемого молочка — всего 37%), форма (всего гриба, шляпки, ее нижней части, ножки — всего 16%), место произрастания (20%), потребительская ценность (12%), наличие молочка, «поведение» и рост плодового тела гриба, время роста, область распространения, употребительность, способ потребления, вкус гриба. Можно отметить, что в 60% случаев мотивом наименования были собственные свойства гриба, а в 40% мотивом наименования оказалось отношение к нему носителей языка. В первую очередь используются в качестве мотивов наименования бросающиеся в глаза, а не биологически существенные признаки (на последние падает мотивировка лишь 25% названий грибов) [Müller, 1969, 129—136]. Состоящий на 90% из автохтонных слов русский грибной словарь, таким образом, соотносится с другими словами русского языка, а конкретные способы такого соотнесения довольно разнообразны: тут и различные суффиксы, и префиксально-суффиксальные образования, и составные двусловные термины, и словосложение и т. п. Мотивировка выбора того или иного признака при наименовании гриба чаще всего ясна. Могут быть вскрыты и конкретные мотивы, руководившие назывателем при выборе того или иного способа соотнесения названия с этой мотивировкой. Но, коль скоро название уже оказалось принятым, сплошь и рядом на общезыковом фоне оно оказывается в большей или в меньшей мере случайным. Именно поэтому один и тот же гриб получает в разных местностях различные наименования, с одной стороны, а одни и те же наименования могут быть применены к различным грибам — с другой. Так, болотовик, например, — это и *Boletus granulatus* и *Boletus bovinus*, боровик — это не только *Boletus edulis*, но также *Boletus bovinus* (ср. болотовик), *Boletus versipellis* и *Pholiota mutabilis*.

Подводя итоги, можно подчеркнуть важность при наименовании обязательного наличия мотивированности выбора названий, который, находясь в определенных рамках общих психологических закономерностей, тем не менее нередко оказывается случайным по отношению к общественному использованию языка.

ПРЯМЫЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ

В процессе наименования действует стремление к мотивировке выбора того или иного звукового комплекса (звучания) для обозначения того или иного явления действительности. Однако мотивировка эта не может иметь абсолютного характера, так как она по ряду аспектов случайна, а потому не всегда может сохраняться в памяти носителей языка. Утрачивая мотивированный характер, звучание становится произвольным по отношению к означаемому. Даже если сохраняется такая мотивировка, как, например, в слове *застольный*, это слово все равно произвольно по отношению к самому явлению действительности, поскольку мотивировка слов *стол* и *за*, которыми мотивируется образование *за-*

стольный, утрачена. Однако произвольность звучания по отношению к означаемому отнюдь не противоречит наличию в сознании носителей языка связи между звучанием и означаемым. Элементом, связывающим явление действительности и звучание, является значение слова. Известно много определений значения слова, что, видимо, связано с многоаспектностью значения или, иначе, с тем, что имеется несколько видов значений. Здесь нет возможности обсуждать эту достаточно сложную проблематику, которая потребовала бы специального обширного анализа, а потому приходится отослать читателя к четкому обзору проблемы, сделанному в содержательной статье Ю. Д. Апресяна [Апресян, 1963].

Необходимо, однако, отметить некоторые существенные для психолингвистических исследований семантики черты значения слова. Значение слова, которое не может отождествляться ни с понятием, ни тем более с самим явлением, обозначаемым данным словом, являясь особой «формой обобщения действительности» [А. А. Леонтьев, 1965а, 169], представляет собой отношение. Считая значение «внутренней стороной слова» [Выготский, 1934, 9], целесообразно отличать его от смысла («отношения мотива к цели») [А. А. Леонтьев, 1965а, 290]. Важно также проводить различие между лингвистической и нелингвистической информацией, не смешивать «информацию» и «значение» (Маккей — см. [Cybernetics, 1952, 221; Селиверстова, 1968, 130—153]). Являясь элементом системы отношений между словами в словаре (парадигматический аспект значения), значение реализуется (или выявляется) в отношениях данного слова с другими словами в тексте (синтагматический аспект значения).

Распространено убеждение о том, что «вне зависимости от его данного употребления слово, — как писал В. В. Виноградов, — присутствует в сознании со всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность» [Виноградов, 1947, 14]. И хотя психолингвисты обращали внимание на «парадокс определения», состоящий в том, что «испытываемый, субъективно уверенный, что знает данное слово, объективно правильно его использующий, не может объяснить — что это слово значит» [Брудный, 1964, 4], многие психолингвистические методики изучения лексики базируются именно на том, что в сознании носителей языка значение слова существует как потенция, стремящаяся к выявлению тех или иных сторон потенциального значения слова не путем экспериментальной реализации потенций в тексте, но путем некоторых метаязыковых операций с анализируемыми словами.

Следует сказать, что такие эксперименты подтверждают факт «присутствия» в сознании носителей языка значений слов. Но не все потенции слова «готовы» к всплытию, некоторые потенции возникают в процессе функционирования языка; если бы это было не так, то не было бы изменений значений, не было бы ди-

намики в языке, с одной стороны, и невозможна была бы поэзия, необходимо связанная с творческим использованием языковых средств, — с другой.

Надо сказать, что психолингвистические методики, базирующиеся на предположении о наличии в сознании носителей языка тех или иных потенциальных значений, позволяют увидеть некоторые семантические явления, которые едва ли можно обнаружить путем только дистрибутивного анализа, исследующего значения через их синтагматический аспект. К числу наиболее простых экспериментов этого типа относятся эксперименты, в которых испытуемым предлагается дать определение значения некоторого слова прямо и непосредственно, т. е., иначе говоря, коль скоро значение есть отношение, представить это отношение через другое отношение. Такого рода методики (а также методики, сопряженные с ними по некоторым свойствам) можно назвать прямыми методиками исследования значений.

Эксперименты, задание которых звучит «Что такое X?» или «Как вы понимаете слово X?», обычно имеют нелингвистические цели. Эти данные используют, например, при диагностике некоторых заболеваний или в тестах для выяснения культурного кругозора, интеллектуального уровня и т. п. [см. например, Речь и интеллект, 1930, 115 и др.]. В 1964 г. «Комсомольская правда» напечатала интересные итоги опроса детей разных возрастов, проведенные институтом общественного мнения газеты. Оказалось, например, что для части детей некоторые из предлагавшихся к анализу слов совершенно потеряли актуальность, стали непонятными. Так, один из обследуемых считал, что *барышник* это «взрослый дядя ухаживает за барышнями, а на работу не ходит», а другой отвечал, что *мироеды* — «люди, которые хотят войны, например, фашисты» [Комсомольская..., 1964].

Типична ситуация, когда у обследуемых лиц спрашивают «Что такое X?» в процессе диалектологического обследования. Классификацию ответов информантов на подобные вопросы в практике диалектологической работы над словарем из пермских говоров дают Л. В. Сахарный и О. Д. Орлова. Основные типы ответов испытуемых сводятся к следующим: «объяснение» путем повторения («Жаришшо! Прямо на койке тако жаришшо!»); объяснение через иллюстрацию («Карапетка. Ах, мол, ты какой карапетка»); объяснение через сопоставление с другими словами (через отождествление или через различение в ряду синонимов: «Зола, пепел — одно и то же», «Влажное. Я пшытаю ето не очень сухое и не очень сырое; какое-то влажное»); объяснение путем указания способа изготовления, назначения и т. п. («Хлеб испекли, остатки останутца. Скаташ — она маленькая. Вот и алябушечка»), объяснение с раскрытием внутренней формы слова («Каменка складена из камня») и др. [Сахарный и Орлова, 1969]. Можно предположить, что подобная классификация ответов на вопрос типа «Что такое X?» пригодна и для более широкого круга фактов,

нежели приводимые тут диалектные примеры. Разумеется, практически нередки различного рода сочетания разных типов объяснения, некоторое их усложнение (и, значит, большая полнота), но недостаточность определений в подобных экспериментах явна.

Л. В. Щерба, подводя итоги своим диалектологическим наблюдениям над восточнолужицким наречием, писал, что в словаре «должны быть указаны для каждого слова все ассоциированные с ним слова (не только родственные этимологически, но и по значению)», а также подчеркивал, что «классификация слов должна бы отражать естественные связи между ними у говорящих», считая потому, что «существующие идеографические словари, построенные на априористических началах, не являются идеалом» [Щерба, 1958, 36]. Для того чтобы получить такие сведения, разумеется, нельзя ограничиться достаточно скудными ответами на вопрос «Что такое X?» Способом получения подобных данных (которых пока что нет не только для диалектов, но практически и для мировых языков) является гораздо более сложная экспериментальная методика обследования лексики, нежели простой вопрос «Что такое X?» (см. гл. 8). Ответы на этот вопрос могут лишь показать некоторые фрагменты значений слов, но не целые значения. Вместе с тем и прямая методика может при использовании показаний ряда испытуемых дать не только специальные данные (как например, в «Комсомольской правде» данные об архаизации некоторой части словаря), но и некоторые собственно психолингвистические результаты.

Так, уже из прямых экспериментов становится ясным, что значение слова находится в определенных отношениях тождества и различия с другими словами, что испытуемые осознают реализацию значения в тексте, коль скоро пытаются объяснить значение через текст, что испытуемые при объяснении значения стремятся иногда к раскрытию внутренней формы слова — мотивировки наименования (что является основой «народной этимологии»). Представляется также допустимым говорить, что в сознании испытуемых имеются не просто «все значения» слова, но некоторая их иерархия: основное, главное значение указывается в первую очередь, другие значения появляются в ответах обычно при возникновении каких-то дополнительных ситуаций. Интересно в этом смысле то обстоятельство, что информанты в процессе объяснения незнакомых слов нередко прибегают к конструированию некоторых ситуаций, что показывает ситуационную обусловленность реализации значений слов.

Можно рассматривать значение как одну из сторон слова. Эта сторона осознается как необходимая часть слова. Слов без значения в естественном языке не существует. Только соединение звучания и значения делает слово словом. Носитель языка может не знать значения слова, может неверно знать его (а следовательно неверно употреблять слово, если он заблуждается и полагает, что верно понимает слово, и оно ему оказывается нуж-

ным для построения текста), но носитель языка убежден, что у слова есть значение. Этот факт не вызывает у испытуемых сомнений и используется в ряде экспериментальных методик, направленных на выяснение того, как носители языка понимают незнакомые слова, а также на вскрытии некоторых особенностей наименования.

Обязательность значения для каждого слова интересна для психолингвистики в частности потому, что она является тем императивом, который заставляет носителей языка искать значения. Именно поэтому, отмечают писатели, невозможно быть уверенным в «семантической стерильности» новообразований [Lem, 1968, 344]. Поэтические новообразования типа есенинского слова *голубень* и направлены, собственно говоря, на то, чтобы у читателя в процессе поиска значения незнакомого слова возникали различные ассоциации, различные возможные значения. Экспериментально можно показать, что испытуемый готов не только конвенционально приписать некоторым бессмысленным комплексам некоторые значения, но готов даже заподозрить наличие в хорошо известном ему языке некоторого заведомо не существующего в нем слова. Так к примеру, в русских словарях не зафиксировано междометие *пож*, но ряд испытуемых склонен был допустить его существование в русском языке и предлагал такие конструкции: «Стакан — *пож* — и лопнул». Можно допустить, что такое междометие есть в русском языке. Но трудней допустить, что в какой-то специальной области русской лексики есть слово *тос*, а такое допущение тоже было получено от информантов: «Кажется слышал, только вот не помню, что оно значит». Императив поиска значений для фонетически приемлемого в языке звукового комплекса, коль скоро он реально употреблен, действует довольно сильно.

Пронаблюдаем, как в реальности происходит поиск значения незнакомого слова. Информант встречает в контексте фразу: *Человек шел по верее*. Комплекс *верее* путем несложной грамматической операции легко превращается в существительное *верea*. Оно неизвестно испытуемому, морфологический анализ (поиск внутренней формы) ничего не дает; по контексту можно лишь установить, что это некоторое место, по которому можно идти. Если для испытуемого существенно установить, что такое *верea*, он начинает поиск (в памяти, у других носителей языка, в словарях). Найденное в малом академическом словаре значение «столб, на который навешивается створка ворот», плохо соответствует контексту, с которым производится проверочное сравнение. Не вполне подходит и значение «род шлюпки», найденное в других словарях литературного языка, так как, хотя по шлюпке и можно ходить, но это не очень типично (да и более обширный контекст мешает принятию такого значения). Наконец, у Даля обнаруживается подходящее значение «род природного вала, какие бывают на поймах, на луговой стороне рек».

Для более тщательного рассмотрения отдельных этапов наблюдённого процесса можно экспериментально вычленять их из всего процесса, «разлагая систему отношений, образующих значение» [Problèmes, 1963, 40]. Имеется ряд экспериментов по угадыванию значений искусственных и естественных слов с различными ограничениями и условиями. Как угадывание значения предлагаемых искусственных слов можно интерпретировать рассмотренные выше опыты Д. Н. Узнадзе с соотносением рисунков и «звуковых комплексов». Подобных опытов проводилось немало. С. Цуру и Г. Фриз предлагали своим испытуемым (носителям английского языка) угадывать значения японских слов (причем установили, что вероятность правильных угадываний превышает ожидаемую при полностью случайном угадывании) [Tsuru & Fries, 1933, 284]. В модифицированном виде такой эксперимент может указать на некоторые пути поиска испытуемым «резервов» для понимания значения незнакомых слов. Испытуемым, изучающим английский язык, предлагалось выбрать один из трех предложенных вариантов перевода неизвестных им английских слов. Хотя английские слова *rice* и *regularly* испытуемыми не изучались, все они избрали верные переводы ('рис' и 'регулярный'), две трети испытуемых выбрали верно перевод для слов *trousers* и *dream*. Основой правильного перевода в обоих случаях было, видимо, сравнение с фактами родного языка, причем во втором случае испытуемым пришлось провести определенный семантический анализ: получив в качестве возможных переводов слова *trousers* слова *брюки, ножницы, сани*, испытуемые, очевидно, сравнили английское слово с каждым из русских. Если при выборе перевода слова *regularly* работа на этом и закончилась, то в случае с *trousers* английское слово, видимо, сопоставлялось не с отдельно названными русскими словами, но с целыми семантическими группами, в которые они входят. Именно так могло быть осознано сходство звучания слов *trousers* и *трусы*, входящего вместе со словами *штаны, плавки, кальсоны, рейтузы* в ту же группу, что и слово *брюки*. При выборе слова *длинный* в качестве перевода английского *long*, очевидно, решающим оказалось знакомое испытуемым по хорошо известному им немецкому языку слово *lang*. Таким образом, при поиске значения испытуемыми использовался весь их лингвистический багаж: учитывались возможные сопоставления не только в родном, но и в другом известном языке.

Поиски значения, внутренней формы осуществляются путем сопоставления с различными лексическими и реляционными морфемами, с учетом налагаемых правилами языка ограничений. Один из аспектов поиска внутренней формы моделировался А. А. Брудным в эксперименте, при проведении которого испытуемым предъявлялись без контекста слова из конвенционального «языка фистов», описанного Л. Брик в воспоминаниях о Маяковском. В игре с этим «языком» все играющие назывались

фистами, а словам с буквой *f* приписывался новый смысл, например, *фисгармония* 'собрание фистов', *фишки* 'деньги', *до-фин* 'кандидат'; по сообщению экспериментатора, «хорошо проинструктированные испытуемые смогли опознать конвенциональную семантику отдельных единиц» [Брудный, 1964в, 65]. Хотя выбор именно этого конвенционального языка и не очень удачен, но предложенная методика представляется продуктивной.

Для анализа влияния контекста на узнавание значения может быть использована методика, по которой проводила эксперименты Р. М. Фрумкина. В этих экспериментах испытуемым предлагалось понять некоторые тексты, в которых часть слов заменялась искусственными квазисловами [Фрумкина, 1967]. Хотя эксперименты Р. М. Фрумкиной и имели другую цель (а именно, выяснение того, насколько неизвестные слова мешают общему пониманию текста), эта методика может быть полезной и при изучении осмысления отдельных слов. Ситуация, в которой даются искусственные слова, может быть приближена к реальности путем эксперимента, в котором испытуемым предлагается понять незнакомые им слова иностранного языка, данные в знакомых грамматических и лексических окружениях. Ситуативная обусловленность значения выступила, видимо, в том, что в предложении *Lend me a dress* слово *dress* переводилось как 'резинка'; при этом следует обратить внимание на один существенный момент: испытуемые знали, что *dress* это не карандаш, не ручка, не тетрадь, не книга и т. п. (так как знали эти слова классного обихода), в то время как английское название резинки им не было известно. В трех четвертях случаев испытуемые правильно поняли семантическое поле, к которому относилось незнакомое слово (так, к примеру, слово *plorped* многими испытуемыми было переведено как 'опустилась', а выражение *without regret* как 'без оглядки'). Видимо, контекст обеспечивает именно такое приблизительное понимание незнакомого слова, в то время как выбор более точного эквивалента, уточнение значения уже не может произойти без знания данного слова. Важно, однако, что поиск значений, видимо, осуществляется прежде всего в какой-то ситуативно и контекстно обусловленной семантической группировке.

Вопрос «Как это называется?» в диалектологии (которая была, вероятно, первой лингвистической отраслью, породившей психолингвистическую проблематику, поскольку она сталкивалась более всего с живой человеческой речью) является своего рода обратным по отношению к вопросу «Что такое X?» В психолингвистических исследованиях он может использоваться не только для выяснения процесса наименования (как в опытах Д. Н. Узнадзе), но и для исследования значения, а в частности для уточнения объема значения некоторых слов. Так, например, носителям тюркских языков, где 'голубой' и 'зеленый' обозначаются одним

словом *кок*, предлагалось назвать по-русски оттенки, переходные между голубым и зеленым, что давало в сравнении с ответами русских испытуемых интересные сведения о семантическом членении этого фрагмента действительности в разных языках. В связи с конкретными исследовательскими целями такая методика может модифицироваться, например, конвенциональным ограничением словаря ответов до двух единиц (например, *красный* и *синий* при предъявлении различных фиолетовых оттенков) и выяснением крайних пределов возможности использования отдельных слов (в опытах последнего типа интересно не только различное распределение зон каждого из слов, но и выделение или невыделение испытуемыми нейтральных зон, к которым неприменимо ни одно из допущенных слов, или применимы оба слова). Специально подобной проблематикой в психологическом плане занимался Ф. Н. Шемякин [Шемякин, 1960]. О. Н. Селиверстова использовала модификацию такой методики, получая от информантов названия для различных световых эффектов, которые позволили говорить о разных признаках, конституирующих семантическую группу в русском (*блестеть, мерцать, мигать, сверкать*) и английском (*to glitter, to sparkle, to twinkle, to shimmer*) языках [Селиверстова, 1968, 43—44]. Признавая определенные возможности методик подобного типа, следует при интерпретации их результатов вносить поправку на несколько упрощаемое в ходе применения таких методик отношение между означаемым и означающим.

Приведенные — разумеется, далеко не исчерпывающие — материалы о возможных прямых методиках исследования значений слов показывают как некоторые возможности этих методик, так и необходимость более тонкого анализа значений, связанного уже не с прямым называнием синонима, перевода заданного слова или обозначения демонстрируемого явления, но с более сложными, отчасти метаязыковыми операциями, в ходе которых при помощи испытуемых углубляются представления о внутренней структуре значения слова и его семантических связях с другими словами.

АССОЦИАТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ

Замеченные и расклассифицированные еще Аристотелем ассоциации в мыслительных процессах находят свое словесное воплощение. Тот факт, что реализация некоторого слова может оказаться раздражителем, вызывающим в качестве реакции другое слово, вытекает из самой коммуникативной сущности языка. Именно этот факт и положен в основу ассоциативного эксперимента, когда испытуемому предъявляется некоторое слово и требуется на него в ответ «первое пришедшее в голову» другое слово. Такой эксперимент стал использоваться в психиатрии с диагностическими целями, получив подробную разработку в работе Г. К. Юнга и будучи многократно модифицирован и в собственно экспери-

ментальной части и — особенно — в интерпретации. Ассоциативный эксперимент получил применение и в других отраслях, связанных с анализом психических реакций людей, видимо благодаря своей простоте и широким возможностям истолкования результатов. Так, к примеру, он использовался для установления специфики мышления детей [Речь и интеллект..., 1930], в социологических исследованиях [Дридзе, 1971] и т. п.

В 1910 г. был опубликован составленный Грейс Кент и А. Розановым [Kent and Rosanoff, 1910] словарь ассоциаций широкоупотребительных в США слов английского языка, в котором приводятся данные о полученных от тысячи испытуемых реакциях на сто слов с указанием частоты реакций. Были подготовлены ассоциативные словари также по французскому, немецкому и другим языкам [Norms in associations, 1970]. В настоящее время ведется подготовка ассоциативного словаря русского языка [А. А. Леонтьев, 1969в].

Можно априорно предполагать, что ответы-реакции в ассоциативном эксперименте каким-то образом связаны со значением слов-раздражителей (стимулов). Если в индивидуальных ответах тут возможны и случайные связи, установившиеся под влиянием каких-то несущественных для значения обстоятельств, то те ответы, которые повторяются несколькими испытуемыми, видимо, отражают объективно существующие в сознании испытуемых и в языке связи между словами. В связи с этим чрезвычайно существенно выяснение степени надежности получаемых при помощи ассоциативных методик лингвистических результатов в статистическом плане. Бесспорно, что такая надежность повышается с увеличением числа испытуемых, причем для простого ассоциативного эксперимента надежны данные, получаемые, как правило, от нескольких сот испытуемых. Дело усложняется тем, что статистика требует однородности в показаниях испытуемых, а здесь сказываются не только такие факторы, как возраст, образование или профессия, что может получить лингвистическую интерпретацию, но и такие факторы, как окружающая обстановка, погода, условия проведения эксперимента и т. п. В этом плане ассоциативные эксперименты страдают как бы излишней чувствительностью, а потому их лингвистическая надежность должна каждый раз специально обсуждаться и получать подкрепление в данных из других источников. Вместе с тем, нельзя полагать, что в психолингвистических экспериментах вообще отражаются скорее не отношения слов, их значений, а лишь отношения явлений действительности. Именно словесный, а не предметный характер ассоциаций демонстрируется, например, в тех экспериментах, в которых обнаруживается различие в реакциях на предъявление слов и обозначаемых ими предметов и явлений; цвета, например, ассоциируются иначе, чем слова, их обозначающие [Karwoski a.o., 1944; Dorcus, 1932]. Но при лингвистическом анализе данных ассоциативных экспериментов необходимо «снимать», насколько это

возможно, лингвистические наслоения ассоциаций. Языковой характер ассоциативных экспериментов проявляется в том, что носители разных языков неодинаково реагируют на, казалось бы, «одинаковые» стимулы. Это используется для сопоставительной и типологической характеристики лексических (семантических) систем в разных языках [Залевская, 1968, 73]. Учитывая высказанные соображения, данные о наиболее частых ответах в ассоциативных экспериментах можно использовать для анализа семантической системы языка. Так, можно привести наиболее частые ассоциации на существительные с временным значением в русском языке, которые большей частью тоже оказываются словами той же семантической группы: *миг — мгновение, секунда; период — время; октябрь — месяц, осень, ноябрь; век — столетие, год; зима — холод, лето*. При лингвистическом анализе результатов ассоциативных экспериментов надо различать синтагматические ответы (типа *снег — идет, зима — настала*) от парадигматических (*снег — зима, зима — холодно*). В литературе указывают различные доли синтагматических и парадигматических ответов в ассоциативных экспериментах (некоторые такие данные приводятся [Теория, 1968, 122; А. А. Леонтьев, 1969а, 127]). Вероятно, отчасти различие этих долей объясняется за счет различий в языковой структуре; ведь само различие прилагательного и существительного не одинаково в английском и русском языках. Но главное заключается, видимо, в том, что наиболее естественной реакцией следовало бы считать синтагматическую — стремление продолжить текст, начатый употреблением слова-стимула. Установка испытуемых видеть текст и там, где его на самом деле нет, проявляется, например, в том, что «примерно половина испытуемых избегает повторять одно и то же слово дважды в ответах на слова-раздражители данного эксперимента» [Клименко, 1968, 63]. Указывалось и на другие свойства синтагматических ответов, характеризующие их совокупность как некоторый деформированный текст, например, на то, что «синтагматические слова-реакции в аналогичном эксперименте по своей принадлежности к частям речи имеют частоту, близкую к частоте соответствующих частей речи в обычном тексте» [Ervin, 1961, 372]. Д. Хауэс и Ч. Осгуд отмечали влияние предшествующих ответов испытуемого на следующий ответ [Howes and Osgood, 1961, 214]. Появление в ответах синтагматических реакций можно рассматривать как «прорыв естественности» в искусственную обстановку опыта. Можно допускать, что количество синтагматических ответов-реакций в определенной мере варьируется в зависимости от строгости задания. Не отрицая в принципе синтагматических результатов ассоциативных экспериментов, надо в экспериментах с лингвистическими установками либо ограничивать четко испытуемых, настраивая их или на парадигматические, или на синтагматические ответы, либо же расчленять полученные после нечетко дифференцированного задания ответы.

Различение синтагматических и парадигматических ассоциативных экспериментов дает возможность изучения как сочетательных свойств слова, так и его отношения к другим словам в словаре. Здесь целесообразно остановиться на последнем. Ассоциативный эксперимент может показать как метафорические, так и метонимические связи слов, на чем специально останавливался Р. Якобсон (Jakobson and Halle, 1956, § 5). Могут быть использованы данные ассоциативных экспериментов и для установления системных отношений в языке. В связи с этим был предложен ряд модификаций простой ассоциативной методики.

Простейшая модификация — предложение испытуемым дать не одно слово-реакцию, а несколько. Это «несколько» может быть ограниченным (например, временем или количеством слов) или практически неограниченным. Так, например, в ответ на слово-стимул *год* можно получить ответ: *месяц, день, неделя, час, минута, секунда, високосный, удачный...* Путем дальнейшего анализа таких ответов могут быть извлечены данные как о связях слова *год*, так и о связях между другими словами, выстраивающимися у испытуемого в цепочки. К. Нобл использовал подобного рода методику для введения параметра *m*, который он считал существенной характеристикой значения [Noble, 1952]. Величина *m* — показатель отношения количества осмысленных ассоциатов к числу испытуемых. То, что в ранних работах Нобла она трактовалась как «значение», конечно, недоразумение; может быть, и как мера осмысленности эта величина — не универсальный показатель. Но некоторые существенные черты осмысления слова в этой величине отражаются, хотя неполно и не расчлененно.

Одна из сравнительно частых модификаций ассоциативной методики состоит в жестком семантическом или другом ограничении, например, в требовании назвать в ответе только синонимы, антонимы, слова той же части речи и т. п. Так, например, к слову *крепкий* в эксперименте Ж. С. Мазур были получены от многих испытуемых синонимы *сильный, здоровый, прочный, твердый*, а к слову *слабый* — чаще всего синонимы *хилый, болезненный, нездоровый, безвольный*; это можно интерпретировать в том смысле, что *крепкий* имеет более широкий диапазон значения, в то время как *слабый* понимается более специализированно. Представляют интерес зеркальные методики, в которых устанавливается взаимны ли ассоциации некоторых двух слов или же они имеют направленность только от одного слова к другому. Так, в ответ на стимул *table* было дано 844 ответа (из 1000) *chair*, а в ответ на *chair* только 494 испытуемых ответили *table* [Psycholinguistics, 1965, 116]. Имеются и возможности комбинации разных вариантов методик, например, зеркальный эксперимент, направленный на выявление контрастирующих (антонимических) ассоциаций [Брудный, 1968, 156]. Особо надо указать на многие эксперименты по ассоциациям с неосмыслен-

ными звуковыми (буквенными) комплексами, в ходе которых этим комплексам обычно приписывается то или иное значение — либо условно, либо же путем установления ассоциаций неосмысленного комплекса с обычными словами (можно указать тут опыты Сэйкса — Рассела, Минка и др. [А. А. Леонтьев, 1967а, 49]). Ряд ассоциативных экспериментов проводился в связи с проблемой запоминания, но они, как и эксперименты, направленные на анализ психических особенностей индивидуальных испытуемых, не относятся к собственно лексикологической (или семантической) проблематике психолингвистики.

Имеется большое число исследований, выполняемых при помощи простых ассоциативных методик и их некоторых модификаций, направленных на изучение психолингвистического статуса слова, на исследование факторов, влияющих на получаемые результаты. Многие из них рассмотрены, в частности, в книге Дж. Диза [Deese, 1965], проблематику некоторых ассоциативных методик в психолингвистическом плане анализирует А. А. Леонтьев [1965а, 184 и сл.; 1967а, 48 и сл.; 1969а, 127 и сл.] и др., на некоторые психолингвистические ограничения в использовании ассоциативных методик указывает [А. А. Брудный, 1968, 156]. Здесь нет возможности вновь в полном объеме рассматривать эти вопросы.

Для лингвистики наибольшее значение ассоциативных экспериментов состоит в том, что при их помощи выясняются семантические отношения между словами в словаре, устанавливаются степени связи между словами, их направленность и т. д. Однако те ограничения, которые накладываются иногда в заданиях, не ведут к тому, чтобы ассоциативная методика позволила провести семантическую группировку слов, а эта задача бесспорно относится к числу актуальных и интересных задач психолингвистики. Одна из возможностей заключается тут в задании не одного, а двух или нескольких стимулов, каждый из которых как-то ограничивал бы возможные ответы. Можно, например, предложить испытуемому продолжить список из двух или трех слов, что, видимо, актуализует общий семантический элемент этих двух-трех слов и заставит испытуемого реагировать словом с этим общим элементом (например, на стимулы *рот*, *нос* можно получить скорее всего слова, связанные с «полем» лица, головы: *лицо*, *глаз*, *ухо* и т. п.). В одном многотактном эксперименте испытуемым предлагалось вписать слово-реакцию между двумя словами-стимулами, относящимися к одной и той же семантической совокупности. Самый частый ответ оказывался обычно принадлежащим к той же семантической группировке слов. Так, например, в пару *жара*—*туман* чаще всего вписано было *дождь*. Из двух первичных слов и полученного третьего образуются пары, вновь предлагаемые испытуемым (в нашем случае: *жара*—*дождь* и *туман*—*дождь*); самые частые реакции в ответах на эти пары (у нас: *погода* и *сырость*) отбираются и

с ними составляются все возможные пары (*жара—погода, туман—погода, дождь—погода, жара—сырость* и т. д.). Примерно на пятом — десятом тактах эксперимент замыкается, новые слова среди самых частых реакций не оказываются (в данном случае опыт замкнулся на седьмом такте, причем были получены представители всех семантических групп, обозначающих погоду). Таким образом осуществляется не только отбор определенной группы лексик, но достигается и некоторое ее ограничение, хотя в таком эксперименте оказывается очень существенным подбор начальной пары слов, так как он может предопределить либо очень раннее замыкание опыта, либо же, напротив, практическую его незамкнутость [Клименко, 1968, 166 и след.].

К качественным ассоциативным экспериментам описанного типа примыкают и такие, в которых испытуемым предлагается дать ту или иную оценку семантической (ассоциативной, смысловой) близости между двумя (или несколькими) предъявляемыми им словами. Так, например, при десятибалльной шкале оценок смысловой близости пар слов пара *стол* и *год* получила среднюю оценку 0,4, пара *снег* и *погода* — 7,4, пара *время* и *погода* 4,0 и т. д. Можно думать, что эти оценки отражают некоторые существенные черты семантических отношений между этими словами [Клименко, 1970, 35 и сл.].

Можно назвать еще ряд экспериментальных методик, основанных на ассоциативных отношениях между словами, которые имеются в сознании носителей языка. Одна из наиболее интересных и объективных методик была применена под руководством А. Р. Лурия. Заключается она в том, что, «сочетая предъявление слова с тем или иным видом произвольного рефлекторного ответа (сосудистой, кожно-гальванической и т. д. реакцией) и предъявляя затем иные слова, — исследователь оказывается в состоянии объективно установить, какая группа предъявляемых слов вызывает аналогичные реакции и, следовательно, в той или иной степени является эквивалентной ранее предъявленному слову; он оказывается вместе с тем и в состоянии проследить как структуру, так и динамику этих связей» [Виноградова и Лурия, 1958, 33—34]. Так, например, у испытуемого вырабатывается определенный условный рефлекс на слово *скрипка*. Тогда оказывается, что наиболее похожая на выработанную реакция возникает при предъявлении слов *смычок, скрипач, струна*, несколько более далекая реакция возникает на слова *флейта, рояль, соната*, а предъявление слов *корова* или *печка* не вызывает у испытуемых реакции [Luria a. Vinogradova, 1959; Виноградова и Эйслер, 1959]. К сожалению, обобщающих публикаций по результатам этой методики пока нет, кроме обзорной статьи, в основу которой положена указанная только что публикация на английском языке [Лурия и Виноградова, 1971].

«ИЗМЕРЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ»

Независимо от того, какое определение дается значению, у современных исследователей не возникает сомнения в том, что значение — явление сложное. А потому и допускаются методики, построенные на расчленении, разложении значений или выделении из них некоторых элементов. В принципе близкий подход имеется в фонологии, где каждая единица определяется пучком дифференциальных признаков. Как известно, универсальная система фонологических дифференциальных признаков включает в себя до полутора десятков признаков. Слов неизмеримо больше, чем фонем, а главное — различия между словами гораздо разнообразнее, чем между фонемами. Потому неудивительно, что было бы нереально построить систему противопоставлений между словами при помощи пятнадцати признаков, даже если бы мы смогли их найти (кстати, при помощи 15 признаков можно, оценивая признаки дихотомически, описать не более, чем $2^{15} = 32\,768$ единиц).

Однако универсальной системы дифференциальных признаков для лексики пока что нет, ее нет даже и для грамматических элементов. Есть основания опасаться, что едва ли такая система и вообще может быть построена даже для одного языка. Дело в том, что вероятностная природа языка, статистический характер ряда языковых закономерностей ведет к тому, что противопоставления в осмысленных частях лингвистической системы, быть может, не обязательно сводятся к бинарному противопоставлению: некоторый признак может не только отсутствовать или иметься в наличии, но и быть выявленным в большей или в меньшей степени. Есть немало таких признаков, которые присущи лишь некоторой части словаря и нерелевантны для остальной (большей) его части. Неясно пока что место признаков различного типа: логических и эмоциональных, четко соотносимых с внешним миром и внутрисистемных. Нет ясности и в том, какими способами надо искать семантические дифференциальные признаки и каковы критерии проверки соответствия найденных признаков с действительностью.

Психолингвистический путь допустимо рассматривать как один из возможных путей поиска семантических дифференциальных признаков; можно рассматривать некоторые психолингвистические построения в изучении семантики как попытки практического осуществления такого пути. Разумеется, поскольку нам неясно, что такое семантический дифференциальный признак, трудно судить о том, в какой мере мы приближаемся к решению поставленной задачи путем применения тех или иных психолингвистических методик. Но можно интерпретировать некоторые психолингвистические методики именно в этом направлении. Представляется, что с таких позиций целесообразно рассматривать методику Ч. Осгуда и его сотрудников, примененную в из-

вестной книге Осгуда, Сучи и Танненбаума «Измерение значений» [Osgood a. o., 1957] и в последовавших за ней «семантических атласах» [Jenkins a. o., 1958; Jenkins a. o., 1959]. Эта книга вызвала множество откликов во всем мире, например [Carroll, 1959; Weinreich, 1958; Ревзин и Финн, 1959]. Несмотря на ряд достоинств проделанной Осгудом и его сотрудниками на английском языковом материале работы, бесспорны и некоторые серьезные недостатки их методики; применимость методики не исключает необходимости критического к ней подхода и анализа как самой методики, так и способов интерпретации полученных материалов. Это особенно важно в отношении лингвистического толкования результатов.

Существо экспериментальной методики Осгуда сводится к тому, что испытуемые оценивают подопытное слово по некоторому числу шкал, каждая из которых характеризуется парой антонимов и имеет семь делений между этими полюсами — антонимами. Поставим перед собой задачу, например, рассмотреть семантику слова *год*. Пусть нам для этого задан набор шкал: *длинный—короткий*, *сложный—простой*, *веселый—грустный*, *новый—старый*, *быстрый—медленный*. Каждая шкала имеет семь возможных оценок: очень длинный, (средне) длинный, не очень длинный, не имеющий отношения к этому противопоставлению (нулевой по длине), не очень короткий, (средне) короткий, очень короткий. Эти оценки можно изобразить цифрами, например, так:
длинный +3 +2 +1 0 —1 —2 —3 короткий

Будем оценивать подопытное слово по каждой шкале. Пусть, к примеру, наш испытуемый оценил его по шкале *длинный—короткий* на +2, по шкале *сложный—простой* на +1, по шкале *веселый—грустный* на 0, по шкале *новый—старый* на +3, по шкале *быстрый—медленный* на —1. Можно считать тогда, что слово *год* (по этому показанию этого испытуемого) определяется пучком таких-то дифференциальных признаков, каждый из которых имеет такое-то цифровое значение. Можно интерпретировать тогда слово *год* как точку в некотором пространстве, которое имеет столько измерений, сколько мы брали шкал; координаты этой точки и даны по каждому направлению-шкале показаниями нашего испытуемого.

В реальности Осгуд и его сотрудники пришли к необходимости определять каждое подопытное слово не по пяти шкалам, как дано в примере, а по 76 шкалам. В связи с этим пришлось бы каждое слово характеризовать длинным рядом из 76 цифр, что довольно громоздко и неудобно для сравнения; 76-мерное пространство трудно себе представить наглядно. Вместе с тем показания по некоторым шкалам оказываются достаточно близкими друг к другу. Так, к примеру, естественны сходные черты в показаниях по шкале *большой—маленький* и по шкале *длинный—короткий* и т. п. Эти соображения можно использовать для того, чтобы некоторым образом объединить шкалы.

Такое объединение можно провести просто путем отбрасывания некоторых шкал (иногда к этому и действительно приходится прибегать), но можно осуществить его и путем суммирования показаний по ряду шкал, чтобы не упустить особенности, которые отражаются, например, в показаниях по одной шкале, но не отражаются в показаниях другой шкалы. Осгуд и его сотрудники осуществили объединение шкал путем суммирования показаний по шкалам, причем шкалы были объединены в три группы (в одном из вариантов интерпретации — в восемь групп) на основании применения довольно сложного статистического аппарата — факториального анализа показаний испытуемых по отдельным шкалам и их сопоставления. Ю. Д. Апресян показал, что математически такое объединение вызывает серьезные возражения [Апресян, 1963, 140], но надо учесть, что критика в данном случае направлена лишь на интерпретацию материала, но не на экспериментальную методику, так как сведение шкал к трем группам-факторам — не принципиальная необходимость, а прием интерпретации материала. Надо сказать вообще, что распределение шкал по факторам вызывало критические замечания не только принципиально-математического характера, как у Ю. Д. Апресяна, но и более конкретного, касающегося сомнительности в отнесении той или иной шкалы к тому или иному фактору. Надо согласиться с рецензентами Осгуда [Апресян, 1963, 140; Weinreich, 1958, 353; Carroll, 1959, 67] в том, что распределение шкал по факторам является одним из наиболее уязвимых мест в его исследованиях. Тем не менее, как методический прием, распределение шкал по трем факторам едва ли следует отрицать, так как этот прием дал Осгуду и его сотрудникам удобную и наглядную пространственную схему интерпретации материала.

Заслуживает внимания проблема отбора шкал, а также и размещение их в эксперименте (последнее в связи с установленным Осгудом и Хауэсом [Osgood and Howes, 1961, 226] влиянием предшествующих операций на последующие). Известно, что основываясь на тезаурусе Роже, Осгуд и его сотрудники первоначально выбрали 289 антонимичных пар, которые могли стать полюсами шкал. Использование вычислительной машины с ограниченной памятью привело к необходимости ограничить число шкал 76. Но сверх того эксперименты показывают, что испытуемым было бы трудно или даже нереально пройти с одним словом сквозь все 289 шкал, сохраняя необходимый уровень внимания и прилежания. Во многих экспериментах, основанных на методике Осгуда, количество шкал еще значительно снижается с учетом реальных возможностей как испытуемых, так и обработки эксперимента [Jenkins, 1960; Sines, 1962], оставляются 10—20 шкал. В связи с этим очевидна целесообразность обсуждения приемов отбора шкал. Здесь, видимо, возможны различные подходы, зависящие от конкретного применения экспериментальной

методики. Стоит в этой связи напомнить, что для описания, например, гласных нет необходимости использовать все дифференциальные фонологические признаки: для данной подсистемы достаточно использовать только некоторую часть признаков. Подобно этому можно думать, что для эксперимента по описанию некоторой части словаря можно ограничиться меньшим числом признаков, чем нужно для описания всего словаря. Возможны, видимо, логические приемы отбора шкал, статистические приемы, основанные на том, что элиминируются наиболее близкие шкалы после анализа предварительного эксперимента, и, наконец, чисто психолингвистические приемы. Последние состоят в том, что испытуемые в той или иной форме сами называют шкалы, характерные для данного слова или группы шкал. Так, в ходе ассоциативного эксперимента со словом *год* устанавливаются такие прилагательные, ассоциируемые с ним, как *новый—старый, длинный—короткий, теплый—холодный*; устанавливаются и прилагательные, ассоциирующиеся с другими обозначениями времени. Шкалы для эксперимента с этими временными словами отбираются с учетом тех, которые были, таким образом, названы самими испытуемыми [Клименко, 1970, 45]. Этим не исчерпывается проблематика шкал, применяемых в осгудовских экспериментах. В некоторых работах экспериментаторы приходят к заключению о целесообразности устранения из шкалы нулевого деления и к словесному обозначению делений шкал [Клименко, 1965; Wells and Smith, 1960; Клименко, 1968, 185], что, видимо, тоже требует особого обсуждения и дальнейшей экспериментальной проверки; при словесном обозначении делений шкалы в разных языках могут быть избраны разные формы антонимов; прилагательные (какого рода?) или наречия; кстати, и сам отбор шкал, конечно, должен проводиться с учетом конкретного языка, на материале которого ставится эксперимент. Едва ли выполнимо в рамках методики резонное желание установить иерархию шкал, высказанное критиками Осгуда [Апресян, 1963, 141], не видно и путей преодоления ситуации, когда одни и те же шкалы с одними подопытными словами понимаются в прямом смысле, а с другими — в переносном (например, шкала *твердый—мягкий* со словами *камень* и *человек*).

Важнейшей частью интерпретации экспериментальных данных у Осгуда и его сотрудников является измерение «семантического дифференциала». Семантический дифференциал — это расстояние между точками, соответствующими словам в «семантическом пространстве» Осгуда. Осгуд и его сотрудники отмечали, что «значение слова у индивида — точка в семантическом пространстве; значение слова у группы индивидов — центростремительная тенденция «облака» таких индивидуальных точек» [Osgood a. o., 1957, 99]. В связи с этим надо, видимо, учитывать, что семантический дифференциал для группы индивидов — это расстояние между средними показаниями данных индивидов, между той цент-

ральной точкой, к которой — по мнению исследователей — стремятся индивидуальные значения (хотя отсутствие динамичности в характеристике значения у каждого отдельного индивида ведет к чисто фигуральному толкованию слова «стремится», а наличие многозначности у многих слов ведет к возможности разного понимания подопытного слова разными испытуемыми, что мешает целенаправленности этого «стремления»). В принципе семантический дифференциал мог быть вычислен без распределения шкал по факторам.

Представляется, что Осгуд и его сотрудники несколько преувеличивали важность семантического дифференциала как некоторого существенного показателя значения. Дело в том, что этот показатель не только не характеризует в достаточной мере значение каждого из сравниваемых слов, но и не раскрывает сколько-нибудь достаточно характер отношения между словами. В самом деле, он не направлен, — экспериментально показано, что одинаковые расстояния могут характеризовать очень различные отношения между словами. Так, к примеру, расстояние 1,0 было получено между такими парами слов: *час—век, год—сезон, сутки—апрель, июль—час, июль—прошлое, месяц—время, береза—время, воскресенье—завтра, воскресенье—неделя, утро—завтра* и др. Хотя расположение этих слов в трехмерном осгудовском пространстве и может получить некоторую содержательную трактовку, а потому и расстояния между словами объяснимы в свете этой трактовки, едва ли само по себе расстояние несет достаточную информацию; синонимы, например, слова *момент, миг, мгновение* оказываются на расстоянии друг от друга в 0,3, 0,7, 1,0, слова, достаточно далекие по значению, оказываются ближе, чем синонимы (*год—век—0,3, а столетие—век 1,1*). Таким образом, семантический дифференциал лингвисты не могут рассматривать как самый ценный результат в исследованиях Осгуда. Более ценными представляются другие показатели, которые получают путем применения этой методики.

Критики Осгуда справедливо указывали на еще один существенный недостаток его результатов: эти результаты необратимы. То, что некоторое слово имеет в семантическом пространстве, скажем, координаты 1,09;—1,85; 0,77, не дает нам оснований утверждать, что это такое-то конкретное слово. В трехмерном пространстве могут, вообще говоря, в одной точке или на минимальном расстоянии друг от друга (таком, что оно может быть объяснено статистической ошибкой) совпасть два совершенно различных слова. Нет пока что надежной и достаточно общей интерпретации расстояния между словами, нет пока и относительной топологии отдельных семантических подсистем в семантическом пространстве. Нет содержательной трактовки тех или иных фрагментов семантического пространства, а возможно, что ее и не может быть. Вероятно, если бы не происходило объединения шкал по факторам, в определенной мере сохранилась бы

обратимость показаний испытуемых. То самое слово, которое имеет указанные выше координаты в трехфакторном пространстве, получило у испытуемых такие оценки по некоторым шкалам: *очень короткий, очень маленький, очень быстрый, хороший, скорее простой*; остальные признаки по шкалам оказались слабо выраженными. Если знать, что речь идет о существительном со значением отрезка времени, на основании указанных оценок уже легче угадать (как в игре в «двадцать вопросов»), что оценено обозначение малого отрезка времени. Действительно, речь идет о слове *миг*. Существенным моментом в наших рассуждениях было знание того, что речь идет об отрезке времени. Эта информация не могла быть извлечена из оценок по шкалам. А это свидетельствует о том, что в экспериментах по методике Осгуда оценивается фактически не всё значение, а лишь некоторые его компоненты. Метод угадывания слов по данным их определения в толковых словарях был применен Г. Вернером и Э. Капланом [Werner and Caplan, 1959]; заметим, что в этих словарях дается и та предметная информация, которой недостает в результатах Осгуда. Слово *миг*, например, в словаре получает такое толкование: «очень короткий промежуток времени». Поскольку такой предметной информации в оценках по шкалам не заключено, и в том случае, когда мы прибегаем к оценке не по факторам, а по конкретным шкалам, нельзя говорить о полной обратимости методики. Беда тут еще и в том, что не вполне ясно, какая именно часть значения подвергается оценке в экспериментах Осгуда.

Значение работ Осгуда и его сотрудников для изучения лексической семантики психолингвистическими методами, думается, не в его известной модели значения слова как части поведения, параллельного тому, которое могло быть вызвано означаемым, тесно связанной с бихевиористской концепцией Осгуда в психологии. Смысл работ Осгуда и не в том, что ему и его сотрудникам удалось будто бы «измерить значение», ибо неизвестно, строго говоря, что именно измерял Осгуд, и сомнительно, что вообще можно измерить значение.

С точки зрения лингвистической очевидны некоторые непреодолимые недостатки методики Осгуда. И вместе с тем было бы неверно отрицать ее значение и целесообразность ее применения в некоторых конкретных целях. Следует согласиться с рецензентами Осгуда в том, что хотя он и не достиг того, что было поставлено задачей, его методика показала возможности (и ограничения) экспериментального изучения некоторой части значений, дала некоторые интересные результаты в области изучения этой части, показала путь перехода к более сложному, нежели дихотомический, анализу проявления семантических признаков в словах [Апресян, 1963, 142; Weinreich, 1958].

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОЧЕТАТЕЛЬНЫХ, СТАТИСТИЧЕСКИХ И СТИЛИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЛОВ

При помощи психолингвистических приемов могут быть подвергнуты изучению не только те аспекты значения, о которых говорилось в предшествующих параграфах, но также и некоторые другие свойства слов: их сочетательные потенции (валентности), их статистические характеристики, а также их стилистическая принадлежность (которую, впрочем, можно рассматривать и как один из элементов значения).

Прежде всего надо отметить, что психолингвистические экспериментальные методы возможно привлекать и к дальнейшему исследованию вопроса о слове как центральной единице лексикологии. В психолингвистической литературе обсуждался и решался в общем утвердительно вопрос о слове как единице принятия решения при восприятии текстов. Вместе с тем иногда высказываются мысли о том, что единицами хранения в памяти могут оказаться не слова, а, например, морфемы. Не исключая того, что морфемы могут входить в словарь, можно высказать предположение о том, что лишь некоторая часть слов порождается в процессе речи — это слова с совершенно прозрачной морфологической природой; вместе с тем нельзя исключить и возможности того, что в некоторых случаях единицами хранения оказываются не отдельные слова, а некоторые их совокупности (например, фразеологические сращения). Этот вопрос, как и вопрос об «отдельности» слова, мог бы стать предметом специальных психолингвистических разысканий, ориентированных на языки разных типов как по морфологической природе, так и по степени стандартности и т. п. При этом, видимо, не следует фонетические аспекты распознавания слова отрывать от семантических аспектов и наоборот, ибо слово, как это ни банально звучит, представляет собой единство звуковой оболочки и значения.

Для изучения сочетательных свойств слов, для исследования лексической сочетаемости в психолингвистике целесообразно применение синтагматических методик, в которых слово оказывается не вырванным из текста, а так или иначе сопоставимым с текстом. Конечно, и в методиках такого рода нельзя полностью избавиться от искусственности, присущей, видимо, вообще большинству массовых психолингвистических экспериментов, но можно надеяться, что при их использовании будут обследованы некоторые черты, не поддающиеся анализу в оторванных от текста заданиях.

Одна из простых синтагматических методик представляет собой разновидность ассоциативного эксперимента, в котором ограничением, накладываемым на ответы испытуемых, является просьба к ним дать слова, составляющие с данными словами осмысленные словосочетания (например, дать определения или сказуе-

мые к существительным, дать объекты — дополнения к глаголам, дать определяемые существительные к прилагательным). К слову *любовь*, например, в материалах эксперимента, проведенного Н. А. Щепкиной, наиболее часто были названы определения *сильная, светлая, большая, чистая, нежная, первая, страстная*; к слову *ненависть* — *лютая, сильная, жгучая*; к слову *обида* — *большая, горькая, сильная, смертельная* и т. п. Такие определения дают разностороннюю характеристику определяемого явления; например, погода определяется в функционально-прагматическом плане (благоприятная, нелетная, подходящая); с точки зрения общей оценки (хорошая, нормальная, прекрасная, плохая), с точки зрения эмоциональной оценки (веселая, противная); по объективной характеристике места (ленинградская, южная), времени (зимняя, октябрьская), устойчивости (переменная), температуры (холодная, жаркая), влажности (сухая, мокрая); по специальной характеристике (дождливая, ясная, ветреная, морозная). Подобная методика как бы связана с осгудовским анализом слова на различных шкалах и с дистрибутивным анализом значений слов. Разумеется, как и при использовании других ассоциативных методик, анализ полученных материалов требует определенных коррекций, связанных с возможными помехами (ср. у испытуемых-медиков реакции на слово *боль*: *колющая, тупая, режущая*), видимо, менее типичные для испытуемых других профессий). Подобные эксперименты позволяют установить некоторые существенные черты в дистрибуции анализируемых слов и семантические отличия одного слова от другого. Зеркальные эксперименты и эксперименты на угадывание определяемого по заданным (наиболее частым) определениям дают в таких случаях возможность построить довольно интересные модели по крайней мере для некоторых семантических групп слов.

Более развернутые синтагматические фрагменты тоже могут быть использованы для изучения лексики. Испытуемым могут быть предложены, например, неоконченные предложения, в которые надо вписать (дописать) одно-два слова. Варианты ответов при достаточно ограничивающем контексте можно рассматривать как своего рода синонимы или представители тесной семантической группы слов. Так, например, в предложение «С тех пор прошло несколько...» вписывались слова: *лет, дней, месяцев, недель, часов*, что указывает на их эквивалентность и семантическую близость. Подобные результаты могут быть получены и в том случае, когда испытуемому предлагается заменить некоторое слово в предложении другим словом [Клименко, 1969, 19 и сл.]. Сюда же могут быть отнесены эксперименты, в которых испытуемому предлагается оценить допустимость некоторых предложений, что при соответствующем подборе текстов дает возможность выделить оценки, характеризующие возможность употребления слов в тех или иных контекстах, т. е. получить некоторые семантические характеристики слов.

К синтагматическим методикам относятся и различного рода тексты, направленные на рассмотрение возможностей лексической сочетаемости. Так, можно испытуемым предложить дать оценки некоторым сочетаниям. Оказывается, например, что сочетание *час тому назад* получает (при пятибалльной шкале) оценку 4,9, а сочетание *несколько мигнов* оценку 1,8. Очевидно, что это указывает на полную возможность первого и нереальность второго сочетания. Интерес, разумеется, представляют и многочисленные переходные оценки, показывающие допустимость сочетаний типа *целое мгновение* или *поздний январь*, но определенную их ограниченность, выразившуюся в оценке 2,8 [Клименко, 1970, 107]. Изучение лексической сочетаемости может использоваться как для характеристики свойств сочетаемого слова, так для анализа сочетаемости как таковой. Последняя цель преследовалась, например, в экспериментах М. М. Копыленко [Копыленко, 1965], когда испытуемым предлагалось (подобно тому, как это делалось в приведенном опыте) оценивать некоторые сочетания, а в другой части опыта — строить сочетания слов. В последнем случае испытуемым предлагалось ответить на вопрос: «с каким из данных глаголов вы бы предпочли соединить данное существительное» (*породить, возбудить, вызвать* и т. д.; *любовь, уныние, грусть, ликование, радость, презрение* и т. д.). В результате экспериментатор получил данные о более широких сочетательных возможностях глагола *вызвать*; вместе с тем отчетливо выделились и такие сочетания как *будить отвагу, мужество, надежду; породить боязнь, веру* и т. д., которые свидетельствуют о возможностях глаголов *будить, породить* и других в более четко очерченных специализированных ситуациях.

При изучении лексической сочетаемости психолингвистическими методами едва ли ни главная трудность состоит в том, что испытуемые не проводят в достаточной мере различий между грамматической и лексической отмеченностью. Это видно из того, что обычно грамматически возможные, но лексически не приемлемые сочетания у некоторых испытуемых получают сравнительно высокие оценки, что сказывается и в суммарной оценке. Поэтому путь совершенствования приемов изучения сочетаемости, видимо, в том, чтобы по возможности отчленить собственно лексическую задачу от грамматической. В этом смысле для изучения сочетаемости продуктивнее конструктивные, а не оценочные эксперименты; без последних, однако, тоже трудно обойтись, так как в конструктивных экспериментах имеется тенденция к большей сосредоточенности ответов вокруг наиболее типичных, а менее типичные ответы оказываются вне эксперимента. Едва ли следует ожидать положительных результатов от чересчур жестких заданий экспериментатора, скорее надо искать возможности в самом материале текста, в направленности задания, но не в его жесткости, не учитывающей возможных колебаний испытуемых.

Наличие в сознании испытуемых некоторых статистических параметров слов находит свое выражение во многих случаях, когда в ходе экспериментов слова располагаются в соответствии с общестатистическими характеристиками их распределения в языке. Так, в синтагматических опытах с вставкой или дописыванием слов последние появляются примерно в том же порядке, в котором они расположены в частотном словаре [Клименко, 1964, 80]; прирост новых слов в ассоциативных экспериментах происходит примерно по той же закономерности, которая была показана Ф. Папом для прироста новых слов в тексте; частотность слова серьезно влияет на его запоминаемость [П. Фресс, Ж. Нуазе, К. Фламан — *Problèmes*, 1963, 157 и сл.].

В ряде работ специально изучалось отражение в сознании испытуемых вероятности или иначе — частотности слов. Субъективную оценку частоты слов испытуемыми на русском материале изучали Р. М. Фрумкина [1966] и А. П. Василевич [1968]. Эту оценку можно «извлечь» при помощи различных методик. Наиболее результативна из них та, при которой испытуемому предлагается распределить предъявленные слова по частотным группам. Путем последовательного распределения слов в нескольких сериях опыта и получается шкала их относительной частоты, коррелирующая с соответствующими данными частотных словарей. Можно думать, что имеющиеся расхождения между субъективно определяемыми и имеющимися в словарях частотами некоторых (в основном обиходных) слов были бы значительно меньше, если бы частотные словари учитывали реальную обиходную речь.

Изучение стилистической принадлежности (или стилистической окрашенности) слов, как это видел еще Л. В. Щерба [1965, 368], вполне возможно экспериментальным путем. В общем виде метод стилистического эксперимента состоит в экспериментальном помещении слова в заведомо различные по стилистической окраске контексты и оценке его уместности. Е. Ф. Петрищева применительно к изучению несколько другого, но близкого по некоторым своим свойствам явления — эмоциональной окрашенности слов — предложила еще эксперимент, основанный на «постановке исследуемых слов в контексты, в которых ситуация не раскрывается» [Петрищева, 1965, 43], т. е. в заведомо нейтральные контексты. Интересно, что Е. Ф. Петрищевой удалось в эксперименте не только получить оценки эмоциональной окрашенности некоторых слов (это делалось путем вычеркивания испытуемыми «нежелательных» слов из предложенных контекстов), но и показать различия между окрашенностью этих слов в сознании испытуемых разных возрастов. Использовались и приемы непосредственного опроса испытуемых относительно стилистической принадлежности подопытных слов [Дзекиревская, 1965]. В экспериментах по определению коэффициента гибкости языка, проводившихся по замыслу А. Н. Колмогорова [Жолковский,

1962, 94] также учитывались некоторые стилистические явления; особенностью этого эксперимента является то, что в нем использовался перевод как метод поиска синонимических выражений.

* * *

Достоверность психолингвистического изучения лексики может проверяться путем сопоставления данных, полученных при помощи различных экспериментальных методик, между собой, а также с теми результатами, которые получены при помощи других методик. Такие сопоставления и действительно были проведены, причем они дали положительные результаты. Так, Дж. Дженкинс экспериментально подтвердил, что в экспериментах, «где требовалось поставить слово на место вычеркнутого слова в предложении, пробел заполняется по тем же закономерностям, которые известны из свободного ассоциативного эксперимента» [Теория, 1968, 123]. А. и К. Стаатсы показали, что результаты, полученные по методике Нобла (величина m), и семантический дифференциал Осгуда (D) коррелируют между собой [Staats and Staats, 1959]. Было показано также, что коррелируют результаты опыта, в котором испытуемые оценивали степень смысловой близости между словами, с данными о расстояниях между словами в осгудовском семантическом пространстве [Клименко, 1964, 78]. Рассматривались и другие совпадения между результатами психолингвистических экспериментов. Они, пожалуй, никогда не дают полного тождества, но подтверждают наличие прочных семантических связей в сознании носителей данного языка, варьирующихся в определенных пределах, что представляется естественно обусловленным теми вероятностными характеристиками, которые отличают естественные языки от искусственных кодов. Интересно, в частности, что данные одного и того же эксперимента, проведенного с одним и тем же лицом, тоже, как правило, не совпадают, но колеблются в определенных пределах [Клименко, 1969, 31 и 42], свидетельствуя о справедливости мысли И. А. Бодуэна де Куртене о том, что жизни языка «как в головах отдельных людей, так и в языковом общении — свойственны постоянные колебания, качественная вариантность и количественная растяжимость» [Бодуэн де Куртене, 1963, т. 2, 200].

Результаты, полученные при помощи психолингвистических методик изучения лексики, не противоречат тем данным, которые получают другими методами. Ценно в этом отношении, например, свидетельство исследователя семантической микроструктуры «погода—время» в славянских языках Н. И. Толстого о том, что данные психолингвистического эксперимента совпадают с теми результатами, к которым он пришел совсем другим путем [Толстой, 1968, 345—346]. Установлено и соответствие между «семантическими дифференциалами» слов и оценкой их бли-

зости по статистическим данным об их дистрибуции [Супрун и др., 1968, 126].

Психолингвистические эксперименты по изучению семантики указывают на системную организацию словарного состава языка. И в этом принципиально важном утверждении они сходятся с выводами современной лексикологии. Поскольку в большинстве психолингвистических методик устанавливаются отношения между словами, психолингвистические методики оказываются особенно пригодными для изучения системных отношений в лексике. Это обстоятельство, не интересовавшее психологов, разрабатывавших первые экспериментальные психолингвистические методики изучения значений, имеет принципиальное значение для лингвистического использования психолингвистических результатов и методов. В этой связи надо еще раз отметить необходимость различия между субъективными намерениями отдельных психолингвистов, которые, кстати, подчас менялись в процессе опытов, между принадлежащими им интерпретациями полученных экспериментальных данных, между теоретическими построениями и теми реальными результатами, которые были достигнуты путем применения тех или иных экспериментальных методик изучения значений, а также реальными возможностями, которые открываются путем применения этих методик в исследовательской практике психолингвистической лексикологии.

Системное изучение лексики психолингвистическими методами становится однако достаточно надежным в тех случаях, когда исследование не ограничивается экспериментами по одной, даже сложной психолингвистической методике, например, по методике Осгуда. Дело в том, что одна методика в психолингвистическом анализе дает лишь один из аспектов значения, другие аспекты значения сказываются за пределами возможностей этой методики. В частности, парадигматические методики не дают возможности увидеть слово в действии, приблизить обстановку опыта к реальному функционированию слова. А потому при использовании этих методик необходима поправка на закономерности использования слова в тексте, которая может быть внесена в ходе методик синтагматических типов. Но так же оказываются недостаточными и отдельно взятые синтагматические методики, в ходе использования которых не вскрываются в должной степени потенции слова, которые могут лучше выявиться в экспериментах, менее связывающих мышление испытуемых конкретными текстами. Ассоциативные методики, принося определенные результаты, не могут исчерпать все богатство отношений между словами, а потому исследование системных отношений между словами едва ли должно ограничиваться только ассоциативными методиками. Оценочные методики, дающие возможность оценить некоторые нетипичные связи, которые при ассоциативных экспериментах или при экспериментах на окончание фраз, быть может, и не появились бы, вместе с тем яв-

ляются метаязыковыми, а потому дают простор для посторонних соображений испытуемых, а следовательно, сами по себе тоже не могут быть исчерпывающими для изучения лексической семантики. Психолингвистические результаты в области лексики приобретают особую ценность в том случае, если они получают убедительное лингвистическое истолкование, связанное, в частности, с анализом данных, получаемых при помощи других методик.

Исчерпывающее описание лексики, лексической семантики может и должно строиться путем использования различных методик, путем сравнительного анализа данных, получаемых при использовании этих методик, путем конструирования на базе этих материалов комплексных моделей лексической семантики. Комплексное моделирование семантики, учет различных аспектов в нем необходимо потому, что сам объект — лексическая семантика сложен, сам он имеет комплексный характер. Психолингвистические параметры в такой комплексной модели лексической семантики — одна из необходимых и существенных частей.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕЯЗЫКОВОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

Интерес к гипотезе лингвистической относительности, иначе гипотезе Сепира — Уорфа¹, объясняется тем, что эта гипотеза касается проблем, связанных с развитием не только лингвистики, но и других научных дисциплин, изучающих процессы мышления, поведения и психологию индивида как представителя некоторой языковой общности. Исследуя механизм взаимодействия языка, мышления и мировоззрения некоторого индивида, Б. Л. Уорф затрагивает фундаментальные проблемы, решение которых оказало бы существенное влияние на дальнейшее развитие методики и методологии таких наук, как лингвистика, психология, логика, а также дало бы возможность сделать прагматические выводы об управлении поведением индивида в обществе. Эти проблемы могут быть в самом общем виде определены как взаимодействие языка и культуры.

Анализ гипотезы лингвистической относительности может осуществляться на двух уровнях: а) гносеологическом, б) онтологическом. Первый уровень предполагает рассмотрение гипотезы с методологических, общеполитических позиций с целью выяснения ее принадлежности к некоторому направлению в философии, ее связей с теоретическими построениями этого направления и оценки ее мировоззренческой состоятельности. Большая часть работ советских исследователей по гипотезе лингвистической относительности носит именно такой, мировоззренческий характер, см. напр. [Брутян, 1971, Копнин, 1971]. Второй уровень предполагает анализ исходных понятий гипотезы, проверку их в смысле достаточно строгой определенности и подтверждение теоретических построений эмпирическими данными. Анализ на гносеологическом и онтологическом уровнях не исключают друг друга, — именно онтологический анализ позволяет сделать научно обоснованные выводы о мировоззренческой ценности гипотезы, хотя в теории и эмпирике уровни рассмотрения могут разделять-

¹ Обзор некоторых работ, которые мы не упоминаем из-за недостатка места, можно найти в следующих источниках: «Психоллингвистика» [А. А. Леонтьев, 1967а, 54—59] и «Теоретическая и прикладная лингвистика» [Звегинцев, 1968, 63—94].

ся, так как онтологические выводы обладают для эмпирики самостоятельной ценностью.

Гипотеза лингвистической относительности, постулирующая опосредованность мировоззрения индивида тем или иным языком, восходит к идее В. Гумбольдта об интеллектуальном своеобразии народов, имеющем своей основой деятельность языков [Humboldt, 1880, 47]. Тезис В. Гумбольдта о языке как внешнем проявлении духа народов [Humboldt, 1880, 52] считается несостоятельным в современной научной литературе, касающейся проблем неогумбольдтианства. Опровергая ту идею, что язык народов есть их дух, а их дух есть их язык, критики нередко забывают, что трудно ожидать от ученого, жившего более ста лет назад, изложения взглядов на язык в иных терминах, нежели те, которыми располагал философ и языковед того времени: В. Гумбольдту и его современникам казалось столь же естественным пользоваться словом «дух», не заботясь о точном определении значения этого слова, как современному лингвисту кажется возможным оперировать такими терминами, как «содержание мысли» или «интеллектуальное содержание высказывания».

Если выразить основную идею В. Гумбольдта в современных терминах, то окажется, что она имеет приблизительно следующий вид: всякое языковое мышление обладает известной спецификой, возникающей в результате взаимодействия таких факторов, как языковая (знаковая) структура определенного типа и культура (материальная и интеллектуальная), социально-исторические условия развития в самом широком смысле слова, а также климат и географическая среда. Под общим названием «неогумбольдтианство» в современном языкознании нередко объединяются столь различные теории, как гипотеза Сепира — Уорфа и теории Лео Вейсгербера, — концепции, фундаментально отличающиеся одна от другой и требующие особого рассмотрения. Б. Л. Уорф, формулируя тезис об опосредованности мировоззрения индивида языком, о влиянии последнего на культуру языковой общности и поведение индивида, ссылается на Э. Сепира как непосредственного своего предшественника в разработке идей, называемых сегодня гипотезой лингвистической относительности. Но Э. Сепир рассматривал эти проблемы с гораздо большей осторожностью, нежели Б. Л. Уорф. Взгляды Э. Сепира на связь языка, мышления и культуры необходимо оценивать в контексте всех его работ, что предполагает в идеальном случае выявление системы научных ценностей и взглядов ученого, функциональной роли элементов, составляющих эту систему, и сопоставление сепировской и уорфианской систем. Если такое сопоставление будет проведено, выяснится, в какой мере Б. Л. Уорф реинтерпретировал идеи Э. Сепира и в какой мере его концепция является логическим развитием сепировских взглядов. Но противоречивость взглядов Э. Сепира несомненна. «Язык и шаблоны нашей мысли, — пишет он, — неразрывно между собою переплетены; они

в некотором смысле составляют одно и то же... Внутреннее содержание всех языков одно и то же — интуитивное знание опыта. Только внешняя их форма разнообразна до бесконечности, ибо эта форма, которую мы называем морфологией языка, не что иное, как коллективное искусство мышления, искусство, свободное от несоответствий индивидуального чувства» [Сепир, 1934, 171]. И далее: «...лучше будет, если мы признаем движение языка и движение культуры несопоставимыми, взаимно не связанными процессами. Из этого следует тщетность всяких попыток связывать определенные типы морфологии с какими-то соответствующими ступенями культурного развития. Собственно говоря, всякие такого рода сопоставления просто вздор» [Сепир, 1934, 172].

Но сравним, однако, следующее высказывание: «...в основе каждого языка лежит как бы определенный чертеж... у каждого языка есть свой особый покров. Этот тип, или чертеж, или структурный «гений» языка, есть нечто гораздо более фундаментальное, нечто гораздо глубже его проникающее, чем та или другая нами в нем обнаруживаемая черта» [Сепир, 1934, 94]. Или: «Применение этого принципа (принципа соответствия. — Ю. С.) значительно разнится в зависимости от духа каждого конкретного языка» [Сепир, 1934, 90].

Именно эта противоречивость позволила считать Э. Сепира одним из авторов гипотезы лингвистической относительности, хотя Э. Сепир не постулирует без оговорок прямой зависимости между языком и мировоззрением, а по вопросам культуры прямо расходится с Б. Л. Уорфом. Все это говорит о неправомерности сближения взглядов Э. Сепира и Б. Л. Уорфа или по крайней мере о недостаточной научной доказанности такого сближения².

Но так или иначе Э. Сепир и Б. Л. Уорф пытались раскрыть механизм взаимодействия языка, мышления и культуры. Другое дело, современное неогумбольдтианство и прежде всего научная ориентация такого видного представителя этого направления, как Лео Вейсгербер. Анализируя взаимосвязь «промежуточного мира», как он именует язык, и мышления индивида, выявляя специфику языка, Л. Вейсгербер преследует прежде всего цели идеологического порядка, а именно стремится доказать превосходство духа немецкого языка над всеми другими и тем самым превосходство духа немецкой языковой общности [Weisgerber, 1951, 33, 55, 108]. Иными словами, идеи В. Гумбольдта, Э. Сепира и Б. Л. Уорфа используются для оправдания националистических построений Л. Вейсгербера. Все это необходимо учитывать при анализе научных концепций, объединяемых под названием неогумбольдтианства.

² Противоположную точку зрения, согласно которой не существует принципиальной разницы между взглядами Э. Сепира и Б. Л. Уорфа, см., например [Landar, 1966, 217].

Тезис В. Гумбольдта и его конкретизация в гипотезе лингвистической относительности в настоящее время не представляют собой только метафоры: мы имеем дело с гипотезой, которая оперирует некоторым набором исходных понятий, достаточно строго определенных. В работе Д. А. Миллера и Д. Мак-Нейла [Miller, McNeill, 1969] рассматриваются три варианта гипотезы Уорфа — сильный, слабый и слабейший.

Сильный вариант относится к сфере мышления как такового, слабый — к сфере восприятия вообще, а слабейший — к сфере памяти. «Существенной импликацией сильного варианта гипотезы является следующее: влияние языка наличествует в сфере познания, где не происходит непосредственно языковых процессов» [Miller, McNeill, 1969, 733]. Примером такого влияния языка на мышление является, согласно Миллеру и Мак-Нейлу, понятие движения в языке индейцев племени навахо, неразрывно связанное с теми типами объектов, на которые движение направлено: в зависимости от формы объекта (круглый, длинный, прямоугольный и т. п.) изменяется понятие движения, направленного на данный объект, т. е. *взять веревку* и *взять мяч* не одно и то же в смысле понятия движения [Miller, McNeill, 1969, 733; со ссылкой на Хойера]. Такой тип формирования понятий свидетельствует об определенных особенностях невербального мышления, т. е. раскрывает некоторую специфику категориального аппарата познания.

Слабый вариант гипотезы Уорфа в интерпретации Д. А. Миллера и Д. Мак-Нейла формулируется следующим образом: мышление «...носит отпечаток языка, только когда деятельность интеллекта непосредственно направлена на какие-либо языковые процессы» [Miller, McNeill, 1969, 734]. Основным понятием гипотезы при такой ее интерпретации становится возможность закодирования (codability), понимаемая как степень точности, с которой язык формирует денотат того или иного референта. Согласно Брауну и Леннебергу [Miller, McNeill, 1969, 736—738], возможность закодирования есть свойство, например, цвета, создаваемое (granted) языком. Это понятие следует отличать от коммуникативной точности (communication accuracy), которая является свойством сообщения; коммуникативная точность создается коммуникативной ситуацией, под которой понимаются, например, различия между наборами образцов цвета по качеству, т. е. по интенсивности, по оттенкам [Miller, McNeill, 1969, 740—741; со ссылкой на Лантца и Стеффльра].

Слабейший вариант гипотезы формулируется следующим образом: язык не оказывает влияния на процессы восприятия, но это влияние отчетливо проявляется в процессах запоминания и возобновления в памяти ранее полученной информации (remembering). Здесь Миллер и Мак-Нейл опираются на большое количество различных экспериментов, осуществленных многими учеными (Brown and Lenneberg, 1954; Glanzer and Clark, 1962; Koen,

1965; Lantz, 1963; Lantz and Lenneberg, 1966; Lantz and Stef-fle, 1964; Lenneberg and Roberts, 1956; Van de Geer, 1960; Van de Geer and Frijda, 1960].

«Ограничение влияния языка сферой памяти не означает, что язык оказывает ограниченное влияние. Всякий процесс познания, связанный с использованием накопленной информации, может оказаться под косвенным влиянием того факта, что процесс накопления и информации осуществляется посредством некоторого языкового кода» [Miller, McNeill, 1969, 741]. Таким образом, слабейший вариант гипотезы Уорфа позволяет наиболее осторожно и в то же время наиболее точно выявить те сложные связи, которые существуют между языком, мышлением и познанием.

По мысли Б. Л. Уорфа [Уорф, 1960, 135—168; 1960а, 169—182; 1960б, 183—198; Whorf, 1938, 275—286], каждый язык, обладая только ему одному присущей спецификой, определяет тем самым способ видения мира индивидом. Сегментация и оценка окружающей действительности координированы с языковыми категориями, определяются структурой языка, иерархией составляющих эту структуру элементов. Следствием этого является автохтонность языка (языков) по отношению к некоторому другому языку (языкам), автохтонность языкового мира, представленного в языке, неоднозначность высказываний при общении (посредством перевода) носителей разных языков, различия в материальной и интеллектуальной культуре, неидентичность языкового и неязыкового поведения носителей того или иного языка. В доказательство этой своей основной идеи Б. Л. Уорф использует методику, которую Э. Леннеберг [Lenneberg, 1953, 454—464, 468 etc.] называет *cross-cultural comparison*, — сравнением (языковых) элементов разных культур. Э. Леннеберг доказывает несостоятельность методики перевода, состоящей в описании значения высказывания, разложенного на морфемы: «Методологически иногда может быть полезно выяснить некоторое общее значение морфемы или лексемы; но не следует путать такое абстрагированное значение со значением сегмента высказывания, поддающегося выделению. Общее, абстрактное значение, так сказать, никогда не имеет реальности. Не имеет смысла сопоставлять общее значение высказывания с последовательностью абстрактных, общих значений морфем, из которых оно состоит» [Lenneberg, 1953, 465]. Сравнение смысла двух высказываний возможно, по Леннебергу, лишь на основе суммы ассоциаций, связанных с высказыванием в целом (*the sum of associations bound up with the complete utterance* [Lenneberg, 1953, 466]). Следовательно, для сравнения процессов мышления (*the way of thinking*), как они отражены в различных языках, необходимо сравнение по смыслу, а не значению (эти термины мы употребляем по Г. Фреге, см. [Frege, 1892]). «Следовательно, лингвистические доказательства такого типа приобретают или утрачивают значение в зависимости от того, какой философи-

ской концепции перевода (разрядка наша.— Ю. С.) придерживается исследователь» [Lenneberg, 1953, 465]. Единственно надежные лингвистические данные в исследованиях такого типа состоят, по выражению Э. Леннеберга, в том, как происходит процесс коммуникации, но не в том, что является его предметом (the how of communication and not the what) [Lenneberg, 1953, 467]. Это «как», т. е. возникновение языковых сигналов, можно рассматривать как кодификацию сообщения. Тогда основным понятием исследования становится codability, возможность закодировать, т. е. наличие большего или меньшего количества языковых знаков, коррелированных с некоторыми денотатами, и более или менее строгая дифференциация этих знаков по значению. Чтобы проверить справедливость утверждения, согласно которому языковое поведение индивида непосредственно связано с процессом познания, Э. Леннеберг ставит эксперимент по распознаванию цветовых оттенков, более или менее точно закодированных в английском языке, и приходит к выводу, что носитель языка тем быстрее распознает и тем точнее определяет соответствующие цветовые стимулы, чем большим количеством дифференцированных языковых знаков он располагает в семантическом поле цвета³. Проблема цветообозначения давно привлекает внимание лингвистов и психологов, так как фономен цвета дает возможность поставить различные эксперименты с целью выявления связей между речевым и познавательным поведением человека.

В этой связи серьезного внимания заслуживают работы Ф. Н. Шемякина [Шемякин, 1960, 5—48; 1960а, 49—61; 1960б, 72—75; 1967, 38—55], Е. Д. Любимовой [Любимова, 1960, 62—71], З. М. Истоминой [Истомина, 1960, 72—102; 1960а; 103—113]. Их основной тезис «чувственное обобщение предшествует словесному»⁴ нельзя, однако, считать полностью доказанным, ибо авторы не объясняют, как формируется только чувственное обобщение, в какой форме оно репрезентируется и осознается. По данным Э. Леннеберга, языковое членение мира является фактором, далеко не безразличным для формирования чувственного обобщения [Lenneberg, 1953, 468—469]. Фактический материал, представленный в указанных статьях, можно интерпретировать как не противоречащий гипотезе лингвистической относительности, а скорее подтверждающий ее.

Хотя Ф. Н. Шемякин и указывает на «ошибочность заключений от языка к цветоразличению» [Шемякин, 1960, 38], следует подчеркнуть, что способность индивида к цветоразличению явно связана с тем, какой набор названий цвета дан тому же индивиду в языке. Этот набор, являющийся результатом интел-

³ Физиологически каждый нормальный индивид способен различать около 10 миллионов цветовых оттенков [Lenneberg, 1953, 468].

⁴ См.: От авторов. «Изв. Акад. пед. наук РСФСР», вып. 113, 1960, стр. 4.

лектуально-практической деятельности языковой общности в некоторой социальной и географической среде, представляет собой матрицу, налагаемую индивидом на те или иные явления и процессы окружающей действительности. Физиологическая способность индивида к цветоразличению существует в потенции, но реально он оперирует только теми цветовыми названиями, какие даны ему в языке. С этой точки зрения можно говорить о языковом цветоразличении и физиологической способности индивида различать цвета. «Стало общепризнанным,— пишет Ф. Н. Шемякин,— что соединение в одном слове обозначений для разных цветов нельзя рассматривать как свидетельство бедности цветоощущений. Оно скорее должно рассматриваться как результат бедности языка⁵, которая вытекает из трудности выразить при помощи слов различия в цвете. В ходе развития человечества изменяется и развивается не цветовое зрение, но названия цвета. Они лишь постепенно приспосабливаются и оказываются приспособленными к трихроматической системе цветового зрения» [Шемякин, 1960, 43]. Итак, вопрос сводится не к проблеме цветоразличения, а к проблеме развития названий цвета, т. е. к тому, каким набором цветообозначений оперирует индивид в речевой деятельности. Языковой набор цветообозначений отличается от языка к языку: «зарегистрировано около 30 ненецких названий цвета»,— пишет Ф. Н. Шемякин. Вряд ли это число значительно отличается от реально существующего в языке. Такие языки, как русский, английский или французский, располагают каждый приблизительно сотней простых, т. е. состоящих из одного слова, названий цвета. Составные названия цвета в ненецком не развиты, в немецком же их насчитывается около 500 (Дж. Кениг), а в английском, включая специализированные (торговые и пр.)— около 4000 (Мэрц и Поля)» [Шемякин, 1960б, 57]. Интересно и следующее замечание Ф. Н. Шемякина: «Те уровни светлот, которые по-русски обозначаются словом *серый*, по-ненецки обозначаются тремя словами: *хорха*, *халэв*, *силер*. Ни одно из них не является названием для единичного «оттенка» серого цвета, и различие между ними состоит, по-видимому, в том, что первое обозначает преимущественно его относительно светлые, а последнее — относительно темные ступени» [Шемякин, 1960б, 52].

Недооценка уже существующей в языке системы цветообозначения присуща такому видному ученому, занимавшемуся вопросами психологии и социологии мышления, как К. Р. Мегрелидзе (Мегрелидзе, 1965). Считая, что «если что-либо не различается в восприятии, оно не различается также и в речи» [Мегрелидзе, 1965, 215], что «определенное качество входило в сознание чело-

⁵ Ср. у К. Р. Мегрелидзе: «Цвета не различались в речи, потому что люди не имели никаких практических оснований дифференцированно воспринимать эти цвета, а совсем не потому, что словарный запас языка был беден» [Мегрелидзе, 1965, 200].

века и осваивалось речью по мере того как оно внедрялось в обиход человеческой практики» [Мегрелидзе, 1965, 212], К. Р. Мегрелидзе подчеркивает важность в формировании цветообозначения прежде всего человеческой практики, оставляя в стороне вопрос о роли языка в этом формировании.

По мысли Ф. Н. Шемякина и К. Р. Мегрелидзе, индивид познает окружающую действительность вначале только в чувственно-практическом плане, а затем осуществляет (неясно, правда, каким путем) реализацию и отражение чувственно-практического опыта в языке. Таким образом, опыт и язык существуют на двух разных уровнях, пересекаясь только в той точке, которая нужна, чтобы объяснить проблему цветообозначения. С этой точки зрения не представляется возможным выяснить, как формируются названия цветов, ибо появление новых форм цветообозначения среди уже существующей номенклатуры невозможно по той причине, что чувственно-практический опыт и язык развиваются на разных уровнях, и практический опыт, отделенный от языкового, не дает языку развить новые системы значений. Поэтому Ф. Н. Шемякин и К. Р. Мегрелидзе не могут также признать, что исторически цветовое видение мира изменялось, вернее, для определенных периодов языковое цветоразличение было различным, хотя приводимые ими факты говорят именно в пользу этой точки зрения.

Интересные данные, связанные с проблемой цветообозначения и хорошо согласующиеся с экспериментами Э. Леннеберга, приводятся также в работе В. А. Московича (Москович, 1969). Согласно В. А. Московичу, специфика цветообозначения тесно связана с такими факторами, как уровень культуры, и с тем или иным типом билингвизма (об этом смотри также [Верецагин, 1960]).

Рассмотрим еще несколько работ по экспериментальной проверке гипотезы лингвистической относительности. В эксперименте Г. Маклея и его сотрудников индейцам племени навахо предъявляли синюю линейку, зеленую рулетку, зеленую свечу и кусок синего электрического провода [MacLay, 1958, 223]. Исходя из того, что в языке навахо необходимо употребить разные глагольные основы, чтобы сказать, например, «я беру веревку», «я беру одеяло» [MacLay, 1958, 222], исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой носители языка А, объединяющего референты x и y , будут давать одну и ту же неязыковую реакцию при предъявлении соответствующих предметов, а носители языка Б, разделяющего референты x и y , дадут две различные реакции при их предъявлении (MacLay, 1958, 228). Экспериментальная проверка не подтвердила выдвинутой гипотезы, и был сделан вывод о непредсказуемости неязыкового поведения, соотносимого с некоторой языковой категорией (MacLay, 1958, 228), ибо, по мнению экспериментаторов, невозможно найти два таких объекта, которые можно было бы классифицировать с по-

мощью только одного набора языковых средств, иными словами, при проведении экспериментов подобного типа вероятно появление не одной языковой модели, ожидаемой экспериментатором, а нескольких, совершенно различных по структуре [MacLay, 1958, 228—229]. Таким образом, постановка эксперимента требует глубокого знания языка, носителями которого являются испытуемые. Г. Маклей совершенно справедливо обращает внимание на то, что необходимо учитывать, с какой частотностью появляется та или иная языковая модель на речевом уровне [MacLay, 1958, 229]. Весьма существенным в исследовании Г. Маклея представляется следующий вывод: феномен реальной действительности вовсе не соответствует однозначно некоторой языковой структуре; связи, коррелирующие предмет по принципу референции с некоторым лингвистическим фактом, значительно более сложны, чем это предполагают экспериментаторы, ожидая, что реакция испытуемого будет иметь своей основой всегда одну и ту же понятийную и языковую структуру при предъявлении одного и того же предмета реальной действительности.

В эксперименте Д. Кэррола и Д. Касагранде [Carroll, 1963] испытуемым предлагались три картинки, на одной из которых (картинка *a*) была изображена женщина, закрывающая крышку коробки, на другой (картинка *b*) — женщина, накрывающая швейную машину куском материи, и на третьей (картинка *c*) женщина, накрывающая крышкой ящик с продуктами [Carroll, 1963, 14]. В ходе эксперимента индейцы племени хопи обнаружили тенденцию сопоставлять картинки *a* и *c*, потому что на обеих изображалось закрытие отверстия («closing an opening»), тогда как носители английского языка обнаружили тенденцию сопоставлять картинки *b* и *c* на том основании, что на них был изображен процесс закрывания («covering») [Carroll, 1963, 14]. Из данных эксперимента Д. Кэррол делает вывод, что язык заставляет носителей его констатировать некоторое различие в опыте, которое носитель другого языка не улавливает. По мнению Д. Кэррола, настоящий билингвизм и точный перевод возможны при учете в преподавании системных различий между языками (Carroll, 1963, 1) и в то же время «view of the world» зависит от социальных и исторических факторов и, по всей вероятности, определяется ими [Carroll, 1963, 19].

В работах Ч. Осгуда [Osgood, 1967; Triandis and Osgood, 1958] значение слова исследуется при помощи техники семантического дифференциала на основе факторного анализа, осуществляемого посредством набора шкал: фактор оценки, представленный шкалами типа good-bad (хороший — плохой), pleasant — unpleasant (приятный — неприятный) и positive — negative (положительный — отрицательный); фактор силы, представленный шкалами типа strong — weak (сильный — слабый), heavy — light (тяжелый — легкий) и hard — soft (твердый — мягкий); фактор активности, представленный шкалами типа fast — slow

(быстрый — медленный), active — passive (активный — пассивный) и excitable — calm (возбудимый — спокойный) [Osgood, 1967, 373]. В ходе эксперимента обнаружилось, что семантический дифференциал слова, определяемый носителями различных языков и, следовательно, представителями различных культур, неодинаков: «Прогресс есть нечто *хорошее* — *сильное* — *активное* для всех народов, кроме финнов, для которых это нечто *пассивное*; подобным же образом *будущее* есть нечто *хорошее* — *сильное* — *активное* для всех народов, кроме финнов, для которых оно *хорошее*, но *слабое* и *пассивное*; *труд* есть нечто *хорошее* — *сильное* — *активное* для всех народов, кроме фламандцев, для которых это нечто *плохое* — *сильное* — *пассивное* по некоторым причинам; *друг* и *мужчина* есть нечто *хорошее* — *сильное* — *активное* для американцев и японцев, но *пассивное* для фламандцев и *слабое* для финнов; только для американцев *полисмен* есть нечто *хорошее* — *сильное* — *активное*, тогда как для фламандцев это нечто *плохое* — *сильное* — *пассивное*, а для японцев нечто *плохое* — *сильное* — *активное* (для финнов не обозначено), *мать* и *отец* есть нечто *хорошее* — *сильное* — *пассивное* для американцев и фламандцев, а для японцев нечто *хорошее* — *сильное* — *активное*, но для финнов *отец* есть нечто *хорошее* — *сильное* — *активное*, а *мать* нечто *хорошее* — *слабое* — *активное*; понятие *сила* есть нечто *хорошее* — *сильное* — *активное* и для американцев, и для фламандцев; но оно оказывается *пассивным* для финнов и становится *плохим* и *слабым* (однако *активным*) для японцев; и, наконец, понятия *поражение*, *бой*, *вор*, *преступление* и *опасность* есть нечто *плохое* — *сильное* — *активное* для американцев, бельгийцев и финнов, а для японцев *поражение*, *вор*, *преступление* и *опасность* есть нечто *плохое* — *слабое* — *пассивное*, а *бой* есть нечто *хорошее* — *слабое* — *активное*» [Osgood, 1967, 391].

Взаимосвязь языка, мировоззрения и культуры может быть рассмотрена не только методом межъязыковых сравнений. Представляется важным и другой подход к проблеме, а именно рассмотрение внутриязыковых (интралингвистических) процессов, реализующихся в функционировании различных подъязыков в социуме. С некоторой точки зрения язык можно рассматривать как набор коммуникативных средств, отличающихся друг от друга способами рассмотрения и представления окружающей действительности. Подъязыки математики, физики, логики и подъязыки философии, филологии и изящной словесности интуитивно рассматриваются нами как обладающие определенной спецификой в отношении представляемого в них содержания. И. А. Бодуэн де Куртенэ в предисловии к словарю В. Ф. Трахтенберга указывает на наличие связи между тайным, условным языком и мировоззрением индивида, носителя этого языка (подъязыка) [Трахтенберг, 1908, IX]. Нам представляется возможным, несколько расширяя интерпретацию Ч. Морриса (о концепции Ч. Мор-

иса, см., например, [Дридзе, 1970, 169—170]), рассматривать подъязыки как постъязыковые знаки сложной структуры. По отношению к языку вообще подъязыки являются «индивидуальными» («персональными») языками, ориентированными только на тех, кто владеет ими, а для некоторой узкой социальной группы они «общепонятны» («интерперсональны»), ибо несут для определенных носителей языка некоторую специфически оформленную информацию. Эта мысль хорошо согласуется с мнением Л. В. Щербы о специфическом членении действительности в разных языках [Щерба, 1947, 43], об изучении иностранного языка как изучении системы понятий, «сквозь которые он (язык.— Ю. С.) воспринимает действительность» [Щерба, 1947, 33], ибо вполне правомерно провести аналогию между обучением подъязыкам математики, физики, логики и т. д. и иностранным языкам в том плане, что для уяснения содержательной стороны высказываний необходимо знание формальной структуры, особым образом реализующей это содержание от подъязыка к подъязыку.

Гипотеза лингвистической относительности интерпретировалась также и представителями психологической школы Л. С. Выготского. В работах А. А. Леонтьева [А. А. Леонтьев, 1965б, 1967а, 1968а, 1969д; А. А. Леонтьев и Наумова, 1971] указывается на недостаточную теоретическую разработанность гипотезы, на смешение Б. Л. Уорфом двух функций языка: быть формой существования общественно-исторического опыта и средством закрепления результатов мышления и развития языка [А. А. Леонтьев, 1965б, 55; 1968а, 104]. Считая, что «слов, тождественных в разных языках по семантическим признакам, вообще нет» [А. А. Леонтьев, 1970а, 86; 1969а, 257—260], автор предлагает объяснение специфики слова путем эксплицитного определения [А. А. Леонтьев, 1970а, 87]. С другой стороны, А. А. Леонтьев предлагает одним из продуктивных подходов к семантическому аспекту гипотезы описание типов языкового мышления, манифестируемых в языковой специфике высказывания. Эта специфика соотносена со спецификой социально-психологических функций речевого общения в некоторой языковой общности.

С психологической точки зрения несомненен тот факт, что освоение языка предполагает некоторую категоризацию действительности; процесс категоризации в основном направляется общественной практикой и опосредуемым ею собственным опытом индивида. Кроме того, категоризация действительности носителями некоторых языков не носит абсолютно полярного характера, сами категориальные различия элиминируются в результате развертывания высказывания, в ходе которого значения отдельных элементов высказывания оказываются нетождественными значению высказывания в целом [А. А. Леонтьев и Наумова, 1971].

Жорж Мунэн в своей работе «Теоретические проблемы перевода» [Mounin, 1963, 191—223] подробно аргументирует точку

зрения, суть которой сводится к следующему: существование универсалий (инвариантов) космогонических, биологических, социальных, культурных и, наконец, лингвистических в принципе опровергает гипотезу лингвистической относительности. Тот факт, что коммуникация успешно осуществляется во всем мире между носителями различных, в том числе и типологически различных, языков, убеждает нас в отсутствии принципиально важных препятствий к установлению взаимопонимания в процессе обмена информацией. Это утверждение Ж. Мунэна совершенно справедливо, если пренебречь некоторым «остатком», не учитывать те потери, которые неизбежно возникают в процессе интеркультурного, интерлингвистического общения, — в частности, в процессе перевода. Потери возникают в силу существования различий в культурно-исторических и лингвистических характеристиках социумов: «Можно, в заключение, признать, что существование различных культур или цивилизаций, конституирующее, соответственно, отчетливо различимые миры, есть доказанная реальность. Можно признать, что эти миры взаимно непроницаемы в некоторой степени; предстоит еще установить, в какой именно (разрядка наша. — Ю. С.). Эти резкие различия между двумя данными культурами увеличивают трудности, препятствующие созданию вполне адекватного перевода и возникающие в силу природы языков как таковых» (Mounin, 1963, 68).

Кроме указанных аспектов, большой интерес представляет рассмотрение гипотезы лингвистической относительности в связи с изучением биологических основ языка [Lenneberg, 1967, 235, 239, 241—244 etc.]. Генетические процессы, связанные с развитием тех или иных способностей или умений, являющиеся видовыми характеристиками человека (в том числе и способность к коммуникации) и могут пока рассматриваться лишь число спекулятивно: еще не существует экспериментальных исследований в этой специфической области генетики.

Гипотеза Б. Л. Уорфа представляет собою попытку проникновения в глубинные структуры языка и мышления, функционирование которых может получить строго определенное объяснение лишь в результате дальнейшего изучения биологического аспекта языковых процессов: «Если вариации генов являются сырым материалом для развития видов (под воздействием отбора), что отражается в истории онтогенеза как межвидовые различия, то такая в высшей степени специфическая характеристика вида, как способность к языку, вероятно может каким-то образом быть связана с особенностями развития, свойственными именно данному виду» [Lenneberg, 1967, 244].

Весьма широкий круг проблем, затрагиваемых гипотезой лингвистической относительности, требует рассмотрения ее исходных понятий со стороны лингвистов, психологов, логиков, социологов и философов. Стремление «заменить крайне импрессионистические описания Уорфа и его последователей» [Вейнрейх, 1970, 223] бо-

лее точными описаниями семантической структуры языка, выявление корреляций между языком и культурой некоторой языковой общности [Ульманн, 1970, 264—265] весьма существенны для аргументации *pro et contra* гипотезы Сепира — Уорфа. В более общем плане эти проблемы могут быть сформулированы в виде требования верификации гипотезы как на вышеуказанных, так и любом другом ее уровне.

Указания на то, что «мы должны отвергнуть ошибочный тезис, будто человек в своем мышлении не может выйти из «логических форм», навязываемых ему родным языком» [Вейнрейх, 1970, 171], что «Уорф сильно преувеличил культурную относительность логики, не заметив наиболее общих типов знаковых комбинаций» [Вейнрейх, 1970, 229], должны характеризоваться той же степенью доказательности, какой исследователь требует от Б. Л. Уорфа. Вопрос о логических формах и сильном преувеличении относительности логики мог возникнуть только при недоучете того факта, что язык (знаковая система) есть понятие абстрактное, что именно конкретными реализациями этой абстракции являются так называемый естественный язык и подъязыки естественного языка, а именно подъязыки, например, химии, геометрии и лингвистики. Таким образом, выяснение «общих типов знаковых комбинаций» уже в силу данного разбиения предполагает существование и специфических типов знаковых комбинаций, присущих данным подъязыкам, предполагает именно ту относительность логики подъязыков, являющихся репрезентантами языка, которая вытекает из хода рассуждений самого У. Вейнрейха и которую он признает недостаточно аргументированной у Б. Л. Уорфа.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗНОГО ТЕКСТА

Последовательные попытки исследовать организацию связной речи (текста) методами статистики и теории вероятностей восходят к периоду яркого влияния на лингвистику идей и методов теории информации. История использования этих методов в изучении организации связного текста насчитывает более двадцати лет (обзорные данные см. [Падучева, 1961; Миллер, 1963]). Ряд моделей, созданных в этот период [Aborn and Rubinstein, 1958; Goldman — Eisler, 1958; Miller and Bruner, 1954; Miller, Heise and Lichten, 1963], в настоящее время естественно оценивать с точки зрения того, в какой мере они способствовали решению собственно лингвистических проблем, а также разработке приложений лингвистики к задачам, возникающим в смежных науках и, шире говоря, в различных областях теории и практики, где требуется использование знаний о восприятии речи.

При этом надо, однако, учесть, что сами представления о том, что следует понимать под «собственно» лингвистическими задачами и «приложениями» лингвистики, также эволюционировали.

Представление о чрезвычайно широких возможностях теоретико-информационного подхода к исследованию языка, столь распространенное в 50-х годах, имело под собой, как казалось, весьма существенную базу. Теория информации, как известно, изучает основные закономерности передачи сообщений по каналам связи с помехами. Передача сообщений — основная функция языка. Естественно, что рассмотрение языка именно в свете этой основной его функции должно было представляться очень продуктивным (Яглом и Яглом, 1960; Падучева, 1961).

Напомним, что с точки зрения теории информации основное, чем характеризуется сообщение, — это его статистическая структура. Для простоты мы рассматриваем здесь только сообщения, состоящие из последовательности дискретных символов. Каждый элемент такого сообщения — отдельный символ — характеризуется: а) его безусловной вероятностью; б) его условной вероятностью. Иными словами, каждый символ сообщения и описывается двумя численными характеристиками; одна указывает на то, каков шанс встретить данный символ i в некотором произвольно выбранном сообщении достаточно большой длины; вторая — указывает на то, каков шанс встретить тот же символ при условии,

что ему предшествовал символ j , или при условии, что два предшествовавших символа были k и j , и т. д.

В рамках изложенного подхода для того, чтобы охарактеризовать некоторое сообщение, следует задать его статистическую структуру, т. е. алфавит символов, их безусловные и условные вероятности. Допустим, что в качестве символа выбирается буква. Статистическая структура сообщения (текста) будет считаться заданной, если известны безусловные вероятности букв и условные вероятности перехода от буквы к букве (пробел считается также «буквой»). Такова теоретико-информационная модель сообщения. Ее близость к реальному тексту определяется, как известно, тем, какие условные вероятности выбираются в качестве способа описания статистической структуры (подробнее об этом см. Падучева, 1961); учитываем ли мы зависимость буквы N_p не только от буквы N_{p-1} , или также от буквы $p-2$, $p-3$ и т. д. Модель четвертого порядка, построение которой требует достаточно громоздких вычислений, приводит всего лишь к фразе вида: «весел вратся и непо и сухом и корко». Очевидно, что полученное сообщение достаточно далеко от текста на естественном языке и, следовательно, наша модель слишком груба. Однако надо иметь в виду, что «усложнение» модели при условии того, что мы остаемся в рамках теоретико-информационного подхода, может идти только в двух направлениях:

- 1) увеличение порядка приближения, т. е. учет условных вероятностей символа i относительно длинной цепочки предшествующих символов;

- 2) выбор в качестве исходного символа более «крупной» единицы типа морфемы или слова.

Так, если в качестве исходного символа выбрано слово, модель второго порядка приводит уже к фразе типа: ...on an English writer that the character of this point is therefore another method...

Общезвестно, однако, что уже на уровне словосочетания с числом членов более двух существенным является не столько линейный порядок вероятностей переходов от символа с N_p к символу с N_{p+1} , $p+2$ (а через условные вероятности задается именно он и ничего более), сколько наличие между членами словосочетания структурированных связей типа управления, однородности и т. д. Отношения управления, подчинения и прочие грамматические связи и ограничения, наряду с самыми разнообразными «смысловыми» ограничениями, с позиций статистического подхода неразличимы: «синтаксис» (т. е. законы сочетаемости элементов) в рамках этой теории сводится к предсказанию выбора члена последовательности с N_p на основе знания члена последовательности с N_{p-1} или двух членов с N_{p-1} и $p-2$ или еще большего предшествующего отрезка последовательности и т. д. Но такой подход по существу переводит всю проблему в план исследования роли «контекста». При этом под

ролью контекста, строго говоря, приходится понимать следующее: утверждается, что знание некоторого вполне определенного числа членов линейной последовательности, элементы которой различаются между собой только местами, позволяет с большой степенью уверенности предсказывать пропущенный (или последующий по отношению к наличествующим) член данной последовательности. Мы обращаем внимание читателя на то, что чисто статистический подход приводит именно к такой трактовке контекста. Очевидно, что в лингвистическом отношении данная модель не слишком содержательна. Поэтому в большинстве экспериментальных исследований линейная последовательность не рассматривается как состоящая из однородных членов-символов: вводится понятие грамматического класса [Aborn, Rubinstein and Sterling, 1959; Fillenbaum, Jones and Rapoport, 1963], конгруэнтности контекста (в семантическом или ином отношении) [Tulving and Gold, 1963; Pollack, 1964; Bruce, 1958].

Восстановление пропущенных членов изучается не просто с точки зрения того, какова доля слов (букв), поддающихся восстановлению (ср. Oleron, 1960; MacGinitie, 1961; Fillenbaum, Jones and Rapoport, 1963; Oleron, 1958), а в плане зависимости восстановления от грамматической принадлежности самого слова или от грамматической структуры его окружения [Cofer and Shepp, 1957; Fillenbaum, Jones and Rapoport, 1963], от «конгруэнтности» контекста [Bruner, 1957; Tulving and Gold, 1963, и проч.]. Собственно теоретико-информационный подход тем самым оказывается представленным в достаточно малом числе работ, главным образом ранних. Такой ход развития научной мысли представляется неизбежным.

Легко видеть, что в общем случае восприятия текста человеком все виды контекста — языковой и внеязыковой, лексический и грамматический, общеситуативный и определяемый наличными членами последовательности — предстают в нерасчлененном виде. В самом деле, восстанавливая отсутствующий член последовательности типа «Из лесу вышла старушка с... на плечах», мы основываемся сразу на нашем интуитивном владении всеми закономерностями родного языка, т. е. мы используем комплексно все виды связей: а) между словами, б) между их «смыслами», в) между словами и их «референтами» и т. д. Разноплановость, «слоистость» связей подтверждается в экспериментах, где сопоставляется восстановление фраз подобного типа тремя группами испытуемых: I — носителями русского языка; II — иностранцами, в известной мере владеющими русским языком; III — больными шизофренией.

Если для русских типичным является восстановление с *корзинкой*, *вязанкой хвороста*, с *рюкзаком*, с *кормыслом*, то у иностранцев число названных слов намного меньше. Кроме слова *корзинка*, они называют, например, *мешок*: не лучшее сочетание, поскольку более естественно, не с *мешком на плечах*, а с *меш-*

ком за плечами. Часть больных психозами с легкостью восстанавливают фразу по типу *с корзиной*, но передким является восстановление типа *с погонями*. Сравнив эти заполнения, мы обнаруживаем, что есть некоторый план контекстных связей, которые мы как бы не замечаем. Ведь *старушка с погонями* — это не аналог известного примера *квадрат выпил трапецию*, и поэтому, строго говоря, речь не идет о нарушении смысловых связей. Действительно, названная ситуация не является, вообще говоря, невозможной. Более того, фразу «Из лесу вышла старушка с погонями на плечах» мы легко можем себе представить в тексте повести о Великой Отечественной войне, где одна из героинь, допустим, старый военврач. Однако мы четко ощущаем такое восстановление как странное, причудливое. Почему? Поверхностно это может быть объяснено как малая вероятность сочетания слова *старушка* и слов *с погонями*. По существу же дело не в маловероятном («странном») сочетании слов, а в малой вероятности самой жизненной ситуации *старушка, носящая погонны*, т. е. в сочетании смыслов. Очевидно, целесообразно описывать влияние вероятностей предшествующих слов на выбор (вероятность появления) последующего слова только в рамках четко сформулированного подхода: например, влияние грамматического класса принимается (не принимается) во внимание, влияние экстралингвистического контекста учитывается (считается пренебрежимо малым), рассматривается только сочетаемость слов или сочетаемость смыслов и т. д.

Вероятностный подход реализуется тем самым внутри некоторой структурной модели (например, внутри трансформационной модели порождающей грамматики [Miller, Isard, 1963]) и используется для описания таких ситуаций, которые не удастся описать с помощью детерминистского подхода.

Можно сказать, таким образом, что на раннем этапе своего развития теоретико-информационный подход к изучению контекста использовался для создания самых грубых и обобщенных моделей организации связного текста и не базировался на какой-либо определенной собственно лингвистической теории. В большинстве современных исследований мы находим сочетание экспериментальных методов, разработанных первоначально в рамках теоретико-информационного подхода, с теми теоретическими представлениями о механизмах восприятия и порождения речи, которые достигнуты к настоящему моменту и по большей части связаны или с определенными собственно лингвистическими теориями [ср. Miller and Isard, 1963; Morton, 1964], или с более общими психологическими, психофизиологическими и кибернетическими представлениями [Stove, Harris and Hampton, 1963, Green, Birdsall, 1964; Mewhort, 1967; а также Чистович, 1970, 1965].

Многие современные работы в качестве отправной точки в неявном виде используют основные теоретические результаты, полученные некогда в рамках теоретико-информационного подхода.

В еще большей мере это относится к методам исследования. Поэтому кажется целесообразным кратко описать характерный для исследований 50—60-х годов тип экспериментальных исследований роли контекста при восстановлении речевого сообщения в условиях помех, обращая внимание на используемую в них экспериментальную процедуру и сущность проверяемых гипотез.

В качестве типичной экспериментальной процедуры, как правило, использовалось предъявление текста для восприятия на слух в условиях белого шума или предъявление текста для зрительного восприятия в тахистоскопе (т. е. в условиях дефицита времени). В отдельных работах единицей сообщения является буква (звук речи), а в качестве контекста выступает слово [Mewhort, 1967; Miller, Bruner and Postman, 1954]. В большинстве работ единицей сообщения является слово, а в качестве контекста выступает фраза небольшой длины [Cofer and Shepp, 1957; Rubinstein and Pollack, 1963]. Результаты этих работ позволили показать, что порог идентификации слова в ситуации его предъявления в контексте существенно ниже, чем при изолированном предъявлении слова. Степень уменьшения порога идентификации тем самым можно рассматривать как показатель «силы» контекста. После того, как роль контекста была убедительно подтверждена на качественном уровне, в ряде работ были сделаны попытки выяснить, что именно скрывается под «влиянием» контекста: в какой степени влияние контекста можно отнести за счет грамматической структуры, семантического окружения; как далеко «распространяется» влияние контекста, т. е., например, если во фразе с некоторой заданной структурой восемь слов и последнее из них предъявляется в шуме, то сколько предшествующих слов составляют «влияющий» контекст и т. д. Значительное внимание было уделено вопросу о том, каков гипотетический механизм идентификации слова в условиях шума с учетом контекста. Ясно было, что наличие контекста уменьшает неопределенность относительно того сигнала, на который наложены помехи, но как именно осуществляется уменьшение числа возможных альтернатив?

С точки зрения попыток уяснения структуры механизмов принятия решения при восприятии речи в контексте наибольший интерес представляют две работы, в основе которых лежат разные теоретические модели. Это, во-первых, широко известная работа Миллера «Единицы принятия решений и восприятие речи» [Miller, 1962] и, во-вторых, менее известная, но оригинальная по постановке задачи работа [Stove, Harris and Hampton, 1963].

Основное различие между теоретическими подходами авторов связано с представлением о последовательном характере принятия решений — правда, с накоплением результатов и возможностью их позднейшей коррекции (Миллер). В противоположность Миллеру, Стоув и соавторы исходят из представления об одновременном принятии решений по разным направлениям признаков

воспринимаемого сигнала. В экспериментах Миллера варьировался тип структуры контекстных связей, которые могут так или иначе определять выбор альтернативы. В эксперименте Стоува и других роль контекста и роль шума исследовались в предположении, что влияние этих переменных на результаты восприятия осуществляется независимо и только на выходе предстает как совмещенное; варьировался уровень отношения «сигнал — шум» и длина контекста.

Поскольку упомянутая работа Миллера независимо от ее конкретных экспериментальных результатов является классической по подходу, мы опишем более подробно именно ее. Основным предположением Миллера было следующее. Роль контекста как таковая несомненна. Но каков механизм его влияния на выбор альтернатив? Речь может идти, с одной стороны, об уменьшении их числа; с другой стороны, неизвестно, на основании каких сведений происходит это уменьшение и вообще каково то реальное, а не теоретически возможное число альтернатив, с которым работает человек в процессе принятия решения. Ясно, что в качестве контекста для члена последовательности № n может выступать слово № $n - 1$, и слово № $n - 2$, $n - 3$ и т. д. Все зависит от того, с какой последовательностью мы имеем дело: с набором типа [большой дом красный флаг серый волк] или со структурой типа мальчик ловит рыбу удочкой. При этом а priori ясно, что если помехи наложены на слово *удочкой*, то успех в его восстановлении определяется не вероятностью перехода от *рыбу* к *удочкой*, а тем, насколько правильно идентифицирована вся грамматическая структура фразы.

Дальнейший анализ основан на некотором теоретическом допущении, которое в самом общем виде формулируется так.

Предполагается, что человек имеет одноканальный механизм принятия решений, скорость работы которого определяется тем, насколько быстро он перерабатывает входную информацию. Переработка информации представляется как процесс принятия решения, причем предполагается, что результаты предшествующего решения используются для ограничения выбора из нескольких альтернатив при принятии последующего решения. Предполагается также возможность накопления результатов принятия нескольких частичных решений, которые в дальнейшем используются для принятия окончательного решения. Частичные решения относятся к более низкому уровню анализа (например, решение принимается относительно отдельного слова), окончательное решение может быть принято относительно фразы в целом с учетом частичных решений и некоторого «правила контроля».

Миллер высказал предположение, что при восстановлении слова во фразе последовательные решения, принимаемые по мере поступления сигналов, были бы крайне неэкономным и ненадежным способом действий. Кроме того, такой механизм мог бы работать только при условии очень небольшой скорости передачи

сообщения. Более естественным (обеспечивающим большую надежность) в этом случае кажется механизм накопления частичных решений при переходе от слова к слову и принятие окончательного решения после того, как воспринята вся фраза, т. е. появляется возможность полного учета структуры контекста. Такая исходная гипотеза подсказывает следующую принципиальную схему эксперимента: надо сопоставить две ситуации, где бы теоретическое число возможных альтернатив при восстановлении слова было одинаковым, но в одном случае имелась бы возможность уменьшить реальное число альтернатив путем принятия «отставленного решения» (*delayed decision*) вместо последовательных решений; в другом случае результат не мог бы быть улучшен, так как принятие отставленного решения не давало бы преимуществ. Естественно, что при приеме неструктурированной последовательности слов накопление решений не дает преимущества; оно возникает только в том случае, если опорой восстановления для одного из членов последовательности служит последовательность в целом, т. е. когда слово есть член структуры.

В опыте Миллера использовались стимулы трех видов: слова, грамматически правильные фразы и грамматически неправильные фразы (псевдофразы). В таблице 1 выписано 25 слов, предъявленных в опытах Миллера в разных комбинациях. Столбцы таблицы представляют собой подгруппы изолированных слов. Строчки таблицы представляют собой модели правильных фраз. Множество правильных пятисловных фраз может быть создано путем выбора любого слова из подгруппы 1 плюс любое слово из подгруппы 2 и т. д. Получаются фразы типа: «*Slim Loves More Wet Sheep*», «*He Has The Wrong Socks*». Псевдофразы образуются из правильных фраз при чтении их справа налево. Эксперимент состоял из двух серий. В 1-й серии сравнивались результаты идентификации изолированных слов в условиях шума в ситуации выбора из разного числа альтернатив. Одним из. предъявлялось вначале множество из 5 слов (подгруппа) и говорилось, что затем будут предъявлены только слова из данной подгруппы. Другим из. предъявлялись все 25 слов с инструкцией, что далее эти же слова будут предъявлены в условиях шума. Роль «контекста» в этой серии сводится, таким образом, к различению в числе альтернатив.

Во 2-й серии опытов из. предъявлялись два типа стимулов: а) грамматически правильные фразы; б) псевдофразы. Число альтернатив для стимулов типа (а) и (б) одинаково в том смысле, что фразы могут быть составлены только из слов 25-словного словаря. Но на самом деле если бы в ситуации с правильными фразами испытуемый мог использовать сведения о грамматической структуре, т. е. принимать решение не по мере появления каждого следующего слова, а принимать «отставленное» решение, то реальное число альтернатив в случае (а) было бы резко уменьшено и число правильных ответов возросло. Результаты подтвердили это предположение: грамматически правильные фразы вос-

Таблица 1

1	2	3	4	5
Don	Brought	His	Black	Bread
He	Has	More	Cheap	Sheep
Red	Left	No	Good	Shoes
Slim	Loves	Some	Wet	Socks
Who	Took	The	Wrong	Things

принимаются с той же долей правильных идентификаций, что и изолированные слова при числе альтернатив, равном пяти. Псевдофразы распознаются на уровне выбора из 25 альтернатив, т. е. фактически в данном случае нельзя говорить о распознавании фраз.

Самое интересное — это то, что разница между идентификацией стимулов класса (а) и класса (б) исчезала, если тексты читались со скоростью 1 слово в 2 сек.; существенная разница во влиянии грамматической структуры на результаты идентификации проявлялась только тогда, когда фразы читались в темпе беглой речи, потому что такая скорость передачи сообщения чинила ип. возможности принимать последовательные решения.

Мы подробно изложили здесь классическую работу Миллера потому, что общий характер избранного автором подхода сохраняет свою актуальность в рамках более широкой проблематики, чем исследование предсказуемости слов в контексте. Гипотезы о многоступенчатом характере переработки речевой информации и накоплении решений на разных уровнях анализа являются основой современных работ в области теории восприятия речи (Чистович, 1970).

В целом итоги статистического подхода к исследованию контекста сегодня могут быть сформулированы следующим образом:

1. Данный подход позволил количественно описать результаты восприятия изолированных элементов речи сравнительно с восприятием тех же элементов в контексте.

2. Была выработана система понятий, позволяющая представить результаты широкого круга экспериментальных исследований в определенной системе терминов (ср. понятия «слабого» и «сильного» контекстов, «конгруэнтности» контекста и т. д.), не утративших своей ценности для современных исследований.

3. Теоретико-информационный подход стимулировал развитие экспериментальных работ в области порождения и восприятия речи в период, предшествовавший развитию более современных моделей языка и речи. Он создал определенные предпосылки формулировки экспериментально проверяемых гипотез и способствовал отработке новых классов экспериментальных процедур.

Глава 16

ФУНКЦИИ И ФОРМЫ РЕЧИ

Выражения «функция», «функциональный» встречаются в современном языкознании буквально на каждом шагу. Едва ли не главное из употреблений термина «функция», введенное Пражской школой и в конечном счете через И. А. Бодуэна де Куртенэ восходящее к Шлейхеру, — это отождествление функции с «отношением составных частей языка» [Скаличка, 1960, 99], внутриязыковыми характеристиками языковых единиц.

Наряду с таким употреблением есть и иное, интересующее нас в данной главе. Это понимание функции как «функционального назначения» языковых средств, связанного с «отношениями языковых систем и языковых проявлений ко внеязыковой действительности» [Навránek, 1958, 50].

Такое понимание идет еще от В. фон Гумбольдта, впервые указавшего на то, что существуют различные виды речи, ориентированные на разные цели высказывания и разные условия общения. Впрочем, у Гумбольдта, как и у И. А. Бодуэна де Куртенэ, призывавшего в 1871 г. «обратить внимание на различие языка тождественного и обыденного, семейного и общественного, и вообще на различие языка в разных обстоятельствах жизни» (Бодуэн, 1963, 1, 77), эта мысль не развернута. Она получает последовательное обоснование лишь в начале XX в., в различных направлениях так называемого «русского формализма» и в работах близких к нему ученых; особенно заметную роль здесь играли ученики Бодуэна.

Одним из первых и едва ли не наиболее четко поставил проблему функциональной дифференциации языка (и речи) Л. П. Якубинский. Его известная статья «О диалогической речи» открывается следующим программным заявлением: «Речевая деятельность человека есть явление многообразное, и это многообразие проявляется не только в существовании бесчисленного множества отдельных языков, наречий, говоров и пр. ..., но существует и внутри данного языка, говора, наречия (даже внутри диалекта данного индивида) и определяется всем сложным разно-

образом факторов, функцией которых является человеческая речь. Вне учета этих факторов и изучения функционально соответствующих им речевых многообразий невозможно ни изучение языка, как непосредственно данного живому восприятию явления, ни выяснение его генезиса, его «истории» [Якубинский, 1923, 96].

Такого рода факторы Якубинский классифицирует на психологические и социологические, а внутри последних выделяет а) условия общения (отсюда территориальное и социальное расхождение языка), б) формы общения (непосредственные и посредственные, односторонние и переменяющиеся) и в) цели общения. О функциональной специализации и функциональной дифференциации языка и речи обычно говорят именно в связи с двумя последними группами факторов¹.

Понятие «функциональности речи» встречается в те же годы и в работах членов Московского лингвистического кружка. У них, в особенности у Г. О. Винокура, еще более четко выступает ориентация на цели общения: «поскольку говорить о стиле, необходимо становиться на телеологическую точку зрения... не доказано еще, что лингвистика чужда телеологии. Наоборот, можно доказать обратное» [Винокур, 1923а, 240]. Действительно, «речь — это акт деятельности сознания, а не автоматизированное отправление психофизического организма. Даже и излюбленные популярной психологией языка паузасы и полинезийцы, пользуясь своим языком, им именно пользуются. Здесь всегда налицо выбор и творчество, самостоятельное использование материалов, предоставленных говорящему (лицу или объединению лиц) социально-заданной языковой традицией» [Винокур, 1929б, 40]. А этот выбор как раз и определяется конкретной целью или задачей высказывания. Г. О. Винокур совершенно прав в своей трактовке речевого поведения как целенаправленной деятельности; во всяком случае современная советская психология и физиология высшей нервной деятельности интерпретируют все высшие формы человеческой деятельности как характеризующиеся, помимо других признаков, признаком целенаправленности: осознанная или неосознанная постановка цели (вернее, иерархии целей) всегда предшествует выбору оптимальных средств осуществления и самому осуществлению акта деятельности. См. об этом подробнее [Леонтьев, 1970б]².

¹ Близкие идеи высказывались Л. П. Якубинским и раньше — в 1916 г. («Явления языка должны быть классифицированы, между прочим, с точки зрения той цели, с какой говорящий пользуется своим языковым материалом в каждом случае»), а в 1919 г. он упоминает о связи функциональных многообразий речи с целями речи в программе курса «Эволюция речи», читанного в Институте живого слова [Якубинский, 1919а; Якубинский, 1919б].

² Схожие воззрения можно найти в кругу М. М. Бахтина; ср. в этой связи книгу В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка» [Волошинов, 1929].

Несомненно, с той же традицией Бодуэна связана интенсивность разработки соответствующей проблематики в Пражской школе. Важнейшим новым разграничением, введенным пражскими лингвистами уже в самом начале их деятельности, является последовательное противопоставление функций речевой деятельности, форм языка и форм лингвистических проявлений (эквивалент «форм общения» Л. П. Якубинского). «Необходимо изучать как те формы языка, где преобладает исключительно одна функция, так и те, в которых переплетаются различные функции; в исследованиях последнего рода основной проблемой является установление различной значимости функций в каждом данном случае» [Пражский, 1967, 25]. Пражские лингвисты занимались, кроме того, анализом проблемы языковой телеологии.

С сожалением следует признать, что в рамках других направлений идеи функциональной специализации и функционального расслоения речи (языка) не получили, по крайней мере до середины нашего века, самостоятельного развития, хотя сходные мысли неоднократно высказывались самыми разными учеными³. Не существует сколько-нибудь общепринятого представления ни о номенклатуре и взаимоотношении функций языка (речи) и взаимоотношении их с функциональными стилями, ни о сущности этих стилей, ни о других вопросах, связанных с рассматриваемой нами проблематикой. Это вызывает необходимость дать разграничение и — по мере возможности — рабочее определение основных понятий.

Первое понятие, которое необходимо ввести, — это функции языка. Под ними мы понимаем те функциональные характеристики речевой деятельности, которые проявляются в любой речевой ситуации, без которых речевая деятельность вообще не может осуществляться. Эти характеристики специфичны для речевой деятельности как таковой, отделяя ее от других, нечеловеческих или не специфически человеческих видов коммуникации. Понятие функций языка соответствует понятию «первичных функций языка» в работах Ф. Кайнца [Kainz, 1941] и К. Аммера [Ammer, 1958]. Остановимся на отдельных функциях языка, понимая речевую деятельность вслед за Л. С. Выготским как единство общения и обобщения: «Высшие, присущие человеку формы психологического общения возможны только благодаря тому, что человек с помощью мышления обобщенно отражает действительность» [Выготский, 1956, 51].

В сфере общения ведущей функцией языка является коммуникативная (ср. в этой связи главу 2). В речевой деятельности

³ Ср., например, «Французскую стилистику» Ш. Балли (первое издание 1909) [Балли, 1961], работы К. Бюлера [K. Bühler, 1934], Ф. Кайнца [Kainz, 1941] и др. По-видимому, совершенно или почти совершенно независимо возникли соответствующие идеи у японских лингвистов, занимающихся проблемами «языкового существования», см. [Конрад, 1959, особ. стр. 9].

она выступает в одном из трех возможных вариантов. Это: а) индивидуально-регулятивная функция, т. е. функция избирательного воздействия, непосредственного или опосредствованного, на поведение одного или нескольких человек. Такое воздействие наиболее типично для употребления речи; это «аксиальная» коммуникация А. А. Брудного [Брудный, 1964б]; б) коллективно-регулятивная функция; она реализуется в условиях так называемой «массовой коммуникации» (ораторская речь, радио, газета), рассчитанной на большую и недифференцированную аудиторию и характеризуемой прежде всего отсутствием «обратной связи» между говорящим и слушателями («ретиальная коммуникация» А. А. Брудного). На «массовой коммуникации» мы еще остановимся ниже (см. главу 19); в) саморегулятивная функция — при планировании собственного поведения.

Когда мы говорим о языке как о средстве обобщения, то при этом имеем в виду прежде всего то, что в языке непосредственно отражается и закрепляется специфически человеческое — обобщенное — отражение действительности. В этом своем качестве язык выступает в двух аспектах — социальном и индивидуальном, что связано с самой природой процесса обобщения, связывающего язык как социальное явление с языковым сознанием носителя этого языка (см. главу 2).

Если взять индивидуальный аспект, то здесь на первом месте стоит, без сомнения, функция языка как орудия интеллектуальной деятельности человека (мышления, памяти и т. д.). Конечно, отнесение этой функции (как, впрочем, и всех остальных) к индивидуальному аспекту совершенно условно: сама возможность человека планировать свои действия, специфичная для интеллектуальной деятельности, предполагает использование общественно выработанных средств. Планируя изготовление стола, человек мысленно оперирует понятием стола и представлением о столе, об инструментах и способах их использования; решая задачу, он опирается на приемы сложения и вычитания, отработанные обществом и усвоенные им в школе и т. д. Одним словом, он ни шагу не может ступить в своей интеллектуальной деятельности без общества, без социально-исторического опыта.

Вторая из рассматриваемых нами в сфере обобщения функций языка — это функция, которую как раз и можно назвать функцией овладения общественно-историческим опытом человечества. Чтобы осуществлять интеллектуальную деятельность, человек должен при помощи языка усвоить некоторую совокупность знаний. Именно язык является той основной формой, в которой эти знания доходят до каждого отдельного человека.

Если перейти от индивидуального к социальному аспекту, то здесь можно выделить функции: быть формой существования общественного опыта (наряду с логическими и более сложными формами); национально-культурную, отражающую специфические элементы национальной культуры; наконец, функцию языка как

орудия познания, позволяющую нам черпать новые (для человечества в целом или по крайней мере для определенного коллектива, но не для отдельного человека) сведения об окружающей нас действительности, производя лишь теоретическую деятельность, опосредствованную языком, и не обращаясь непосредственно к практической (трудовой, экспериментальной и т. п.) деятельности (ср. А. А. Леонтьев, 1965б).

Все эти функции никак не отражаются ни в языковой структуре высказывания, ни в отборе составляющих его языковых средств. Они, как уже отмечалось выше, присущи любому речевому высказыванию вне зависимости от его целенаправленности и условий осуществления.

Но наряду с такими функциями, которые удобно приписывать языку, в речевой деятельности могут реализоваться потенциальные характеристики высказывания, не обязательно присущие всякому речевому акту, т. е. факультативные. Это «вторичные функции языка», по Кайнцу-Аммеру; их удобно приписывать не языку, а речи. Они как бы наслаиваются на функции языка; каждое речевое высказывание, помимо коммуникативной, «интеллектуальной» и т. д. направленности, может иметь дополнительную специализацию в одном или нескольких планах. Попробуем перечислить некоторые из функций речи⁴.

Начнем с эмотивной функции, т. е. функции выражения чувств и воли говорящего. В отличие от функций языка, эмотивная функция, как и другие функции речи, может, так сказать, иметь собственные языковые средства и формировать специализированные высказывания; на этой особенности функций речи мы остановимся в дальнейшем. Об эмотивной функции см. [Jakobson, 1960; Stankiewicz, 1964] и др.

Вторая по значимости функция — поэтическая, или эстетическая. См. о ней обширную литературу [Виноградов, 1962; Винокур, 1929б и 1959; Якобсон, 1921; Jakobson, 1960, и т. д.].

Далее укажем на существование магической функции речи. В, так сказать, «чистом» виде она выступает в так называемых первобытных обществах [Леви-Брюль, 1930; Фрэзер, 1938; Malinowski, 1935], где связана с представлением о таинственной силе слова, произнесение которого может непосредственно вызывать некоторые изменения в окружающем мире. В речевой деятельности человека европейской цивилизации эта функция сказывается лишь в существовании табу и эвфемизмов.

Далее можно упомянуть о так называемой фатической функции, или функции контакта (ср. существование языковых средств, используемых исключительно для установления или подтвержде-

⁴ Дать их полную номенклатуру не представляется возможным в связи с тем, что функциональное своеобразие употребления речи в различных конкретных культурах и социальных коллективах описано совершенно недостаточно; между тем функции речи чрезвычайно тесно связаны с особенностями этих конкретных культур и обществ.

ний контакта, особенно в случаях дистантной речевой связи, скажем, по телефону). По-видимому, именно с ней следует связывать многочисленные случаи первосигнального, в первую очередь вокативного, употребления речи — ср. [А. А. Леонтьев, 1970а].

Чрезвычайно существенна функция «марки», или номинативная, связанная с употреблением речи в целях наименования каких-то конкретных объектов: географических пунктов, предприятий, магазинов, промышленных изделий и т. д. Сюда же относится использование языка в рекламе, являвшееся неоднократно предметом специального исследования [Тарасов, 1963].

Упомянем, наконец, диакритическую функцию, заключающуюся в возможности употребления речи для коррекции или дополнения той или иной речевой ситуации. Вместо того, чтобы сказать: *Прошу Вас дать мне один билет до станции «Турист» и один билет от этой станции до Москвы*, мы, как правило, говорим: *«Турист» туда и обратно*. Особое место занимает диакритическая функция языка в трудовой деятельности: ср. в этой связи обобщающую монографию Т. Слама-Казаку [Slama-Cazacu, 1964].

Говоря о функциях речи, мы имели дело с определенной направленностью речевых высказываний, не затрагивая того, как эта направленность отражается на характере самих этих высказываний. Такого рода отражение может быть различным.

Первой ступенью речевой специализации являются формы речи. Говоря о формах речи, мы имеем в виду различные типовые способы организации языковых средств в зависимости от функциональной направленности данного высказывания, не связанные с изменением номенклатуры самих этих языковых средств. Приведем некоторые примеры. Так, высказывания, содержащие синтаксически выраженную эмфазу, можно рассматривать как специфическую форму речи, связанную с эмотивной функцией (ср. известную работу Э. Станкевича, где, однако, нет четкости в характеристике сущности «эмотивной» специализации речи [Stankiewicz, 1964]). Типовым случаем формы речи является поэтическая речь, по крайней мере в тех поэтехнических системах, где отсутствуют специфические языковые средства, используемые в этой функции, — например, в современной русской, но отнюдь не, скажем, в классической персидской. Разного рода заклинания, заговоры и т. д. могут служить примером формы речи, соотносенной с ее магической функцией⁵. С фатической функцией, видимо, следует соотносить некоторые особенности

⁵ Ср. такие типовые речевые приемы, используемые в русских народных заговорах: анафорическое употребление глагола (ложилась спать я..., взошла я..., заговариваю я..., отсылаю я..., ложилась спать я..., досидела я..., стала я...); эмфаза личного местоимения, употребляемого в оборотах, где оно обычно опускается (помимо повторения сочетаний с местоимением 1-го лица, видного выше, ср.: А будь ты, мое дитятко, моим словом, крепким, укрыт от силы вражия; ты свекор, воротись, а ты,

вокативов, прежде всего фонетические; редуцированные синтаксические обороты большинства европейских языков типа *ICI Paris, Hier professor N.* и др. Классический пример для номинативной функции — это формула названий кафе и ресторанов «У такого-то» в Польше, Чехословакии и некоторых других странах (и вообще тип сочетания предлога с именем: ср. «Pod Krokodilem»).

Определенные формы речи, помимо синтаксических и суперсегментных фонетических, особенно интонационных, особенностей, могут характеризоваться и более частными фонетическими признаками. Особенно ясно это видно на примере «экстранормальных» фонетических черт эмоциональной речи, контактной речи, поэтической речи (ср. известную статью Л. П. Якубинского [19196]), а также [Поливанов, 1963].

Вторая ступень речевой специализации — это то, что можно охарактеризовать как различные формы языка. Мы имеем здесь в виду кристаллизацию, фиксацию речевых форм в виде специализированного набора языковых средств, не употребительного вне определенной формы речи. В этом, и только в этом смысле можно говорить о «поэтическом языке», «эмоциональном языке» и так далее. Такого рода элементы являются как бы костяком, вокруг которого осуществляется конденсация функциональных средств речевой деятельности, в то же время отнюдь не исчерпывая арсенал этих средств. Формы языка могут выступать в двух различных вариантах. Это либо определенный отбор из числа общезыковых средств, сохраняющих свой коммуникативный по преимуществу характер, вступающих в новые, дополнительные системы отношений и используемых в своеобразной функции, либо возникновение новой подсистемы внутри общего «языка», формирование не только новых системных отношений, но и нового материального «тела» языковых средств. Характерным примером первого вида форм языка являются названия фирм, магазинов и т. д. типа «Башмачок», «Богатырь» и т. д. Ср. также известный факт табуирования определенных слов и целых групп слов в первобытных обществах, например, у океанийцев⁶.

кровь, утолился; ты, сестра, отворотись, а ты, кровь, уймись и т. д.); особые словообразовательные средства (духи с полудухами; злые недуги с принедугами, полунедугами; в 70 составов, полусоставов и подсоставов; в 70 жил, полужил и поджилков) и многое другое. Ср. [Сахаров, 1885].

⁶ «На Банксских островах (Меланезия)... два человека, дети которых пережились, не вправе произносить имена друг друга, им запрещено даже произносить слова, похожие на эти имена или имеющие хотя бы общий слог с ними. Мы знаем, например, про одного туземца с этих островов, который не вправе был употреблять повседневные слова, обозначающие «свинья» и «умереть», ибо эти слова составляли часть многосложного имени его зятя. Нам сообщают о другом несчастном, который не мог произносить обыкновенные слова «рука» и «тепло» из-за имени своего шурина. Ему запрещалось даже упоминать цифру «один», ибо это слово составляло часть имени двоюродного брата его жены» [Леви-Брюль, 1930].

Характерным примером второго может служить, с одной стороны, известная подсистема речевых сигналов, используемая при регулировании погрузочных работ (*майна-вира*), с другой — использование в магической функции бессмысленных (в коммуникативном отношении) слов и целых текстов, наконец, существование в различных религиях специальных культовых подъязыков — от «кабалистического языка» австралийцев до латинской и старославянской литургии.

Как мы это уже делали раньше, проиллюстрируем факт существования специальных «языков» для различных функций речи. Примером «эмоционального языка» являются существующие почти в любом языке словообразовательные средства с уменьшительно-ласкательной функцией.

«Поэтический язык» — понятие крайне запутанное. В строгом смысле можно говорить о «поэтическом языке» лишь применительно к такого рода языковым средствам, которые вне поэзии не применяются. Современные европейские поэтики таких средств не знают, можно указать на некоторые явления в древнеисландской скальдической поэзии (см. [Стеблин-Каменский, 1967]). Ср., однако, классическую персидскую, а по некоторым данным и русскую поэтику XVIII в.

О «магическом языке» уже говорилось выше. Укажем в этой связи на малоисследованную в лингвистическом плане проблему глоссолалий.

С фатической функцией речи связаны разного рода узкокоммуникативные (контактные) языковые средства типа, не употребительного в других функциях «Алло!» и аналогичных выражений, носового нечетко артикулируемого звука, подтверждающего контакт при разговоре по телефону и обычно изображаемого в виде «ага» (фонетически точнее было бы *āhā*) и т. д. Особенно многочисленны номинативные «подъязыки»; некоторые из них, в особенности подъязыки рекламы, исследованы довольно хорошо [Galliot, 1955; Bier, 1952; Leach, 1960]. Применительно к диакритической функции, по-видимому, можно говорить о «подъязыках», употребительных для обслуживания трудовых процессов. Помимо подъязыка такелажников, укажем еще на многочисленные примеры ритмических словесных выкриков при коллективной работе, проводимые К. Бюхером [Бюхер, 1923].

Очень существенно, что во всех или почти всех функциях речи возможна эквивалентная замена языка неязыковыми средствами. В экспрессивно-эмоциональной функции таким эквивалентом являются различные паралингвистические явления, т. е. «выразительные движения» — мимика, жестикуляция — ср. [Маслыко, 1970]. В поэтической функции эквивалентом языка могут выступать различные неязыковые компоненты литературного произведения [Шкловский, 1925, 160; Тынянов, 1924, 21—27; Ю. С. Степанов, 1965, 32]. Эквиваленты языка в магической функции исследованы плохо; по-видимому, к таким эквивалентам

можно причислить музыку и культовый танец. В фатической функции языку эквивалентны такие паралингвистические явления, как кивок головой в подтверждение понимания.

В номинативной функции язык нередко вообще вытесняется эквивалентными ему по функциям изобразительными средствами. Таковы, например, фирменные знаки [Москович и Василевский].

Т а б л и ц а

	Сфера языка	Сфера речи
Функциональная характеристика речевых высказываний	функции языка	функции речи
Функциональная специализация речевых (языковых) средств	формы языка	формы речи

Типичным эквивалентом языка в диакритической функции является указательный жест. Ср. об этом также [А. А. Леонтьев, 1969д].

Подводя итоги этого раздела, попытаемся изобразить его основное содержание в виде схемы (табл. 2). Стрелка показывает направление функциональной специализации речи (языка) от наиболее абстрактных к наиболее «материализованным» в языке категориям.

* * *

В настоящем разделе мы будем заниматься тем, что Л. П. Якубинский называл формами общения, т. е. той стороной проблемы функциональной дифференциации языка, которая связана не с собственно функциональной специализацией высказываний (не с различными целями речи), а с различными внешними обстоятельствами, обуславливающими форму этих высказываний. Каковы эти обстоятельства, нам и надлежит рассмотреть.

Впервые их классификацию дал, по-видимому, тот же Л. П. Якубинский. Он предложил такую схему (табл. 3).

Якубинский указывает, между прочим, на существование разнообразных переходных форм, не вполне укладывающихся в эту классификацию. Так, «можно отметить некоторые особые случаи, когда... от непосредственного воспринимания отпадают весьма важные... зрительные восприятия; именно такой случай имеем при диалогическом общении... по телефону... Особый случай имеем при диалогическом общении путем «записочек» (напр. на заседании)» и т. д. [Якубинский, 1923, 117].

Едва ли не единственная работа (после выхода в свет статьи Якубинского), где дается попытка дать аналогичную классификацию на современном уровне, принадлежит А. А. Холодовичу [Холодович, 1967]. Он выделяет следующие критерии для создания типологии форм языковой коммуникации: а) средство выра-

Таблица 3

	«Непосредственные формы речевых взаимодействий, характеризующиеся непосредственным, в зрительном и слуховом отношении, восприятием высказывающегося лица»	Посредственные формы речевых взаимодействий
«Переменяющиеся формы взаимодействий, подразумевающие сравнительно быструю смену акций и реакций взаимодействующих индивидов»	Устная диалогическая форма общения	[Не типичный случай]
«Длительные формы взаимодействия при общении»	Устная монологическая форма общения	Письменная монологическая форма общения

жения речевого акта: звук, письменный знак, жест; отсюда различие устной, письменной и мимической речи; б) коммуникативность речевого акта; здесь имеется в виду, по-видимому, не столько коммуникативность, сколько коммуникативная направленность речи на собеседника или на себя или, наконец, «в воздух». Ср. в первом разделе настоящей главы перечисление вариантов коммуникативной функции языка. Кроме того, А. А. Холодович указывает, что «всякий речевой акт, имеющий партнера, может быть либо непосредственным, или опосредованным; ... в случае опосредствованной коммуникации имеется три «конца»: говорящий, посредник, партнер» [Холодович, 1967, 204]; в) ориентированность речевого акта; это эквивалент «переменяющихся» и «непеременяющихся» языковых форм Якубинского; г) квантификативность, или потенциал, речевого акта, соответствующая различию аксиальной и ретинальной коммуникации; д) контактность или, напротив, дистантность речевого акта — ср. «непосредственные» и «посредственные» формы общения у Якубинского.

Предложенная А. А. Холодовичем система теоретически представляет несомненный интерес, но уязвима по крайней мере в двух пунктах. Во-первых, она в известном смысле феноменологична: естественно было бы не просто констатировать наличие данных возможностей квалификации речевого акта, но сначала попытаться проанализировать его сущность и внутреннюю структуру и лишь затем говорить о его возможных характеристиках уже в рамках сделанного анализа. Это привело бы нас, кстати, к необходимости привлекать для классификации форм общения

психологические критерии, А. А. Холодовичем игнорируемые [ср. А. А. Леонтьев, 1969а]⁷. Во-вторых, что существеннее,— его система отнюдь не дает предполагаемого им многообразия разновидностей речи: все дело в том, что выделенные им факторы не независимы друг от друга. Существует гораздо более ограниченное число видов речи, характеризующихся устойчивыми сочетаниями признаков (укажем хотя бы, что мимическая речь не бывает дистантной, что направленность «на себя» снимает вообще проблему контактности, что письменная речь не бывает направлена «в воздух» и т. д.). В целом проблема в значительной степени еще остается открытой. Не анализируя ее дальше, остановимся лишь на одном «измерении» и соответственно одной паре форм общения: на противоположности речи диалогической и монологической.

Прекрасное определение диалога и монолога дал Л. П. Якубинский. Он пишет, что для диалога «будут характерны: сравнительно быстрый обмен речью, когда каждый компонент обмена является репликой и одна реплика в высшей степени обусловлена другой, обмен происходит вне какого-нибудь предварительного обдумывания; компоненты не имеют особой заданности; в построении реплик нет никакой предумышленной связанности, и они в высшей степени кратки. Соответственно этому для крайнего случая монолога будет характерна длительность и обусловленная ею связанность, построенность речевого ряда; односторонний характер высказывания, не рассчитанный на немедленную реплику; наличие заданности, предварительного обдумывания и пр. Но между этими двумя случаями находится ряд промежуточных, центром которых является такой случай, когда диалог становится обменом монологами...» [Якубинский, 1923, 118—119].

Однако это определение не вполне исчерпывающее. Существенными характеристиками диалогической речи можно считать, кроме того, ситуативность и реактивный характер — ответ собеседника в большом числе случаев представляет собой перефразировку, а то и повторение вопроса или замечания: Холодно.— Да, морозец! Ты домой? — Домой, конечно. Ну и что? — Да ничего, и т. д. Вот характерные отрывки из бесед, записанных сотрудниками УДН имени П. Лумумбы: 1. — После пожара не приходит.— В чем приходит-то? Одна рубашка осталась.— У матери сгорело? — Она с матерью жила, все сгорело...— У вас то все вытащили? — Основное вытащили.— 2. Хорош Гамлет.— Я как раз перед отъездом сюда видел его.— Ты где, в Ленинграде видел его? — Ну, в Москве! — Как ты попал? — Ну, как попал...— А, ты меня еще звал, я помню.— Ну да, конечно, помнишь.— 3. — Он актер, то есть артист театра.— Какого? — Даже не скажу.— Московского театра? — Московского театра, да.

⁷ Заметим в этой связи, что привлечение этих критериев позволяет определить некоторые не учтенные А. А. Холодовичем виды речи. Ср. в этой связи систему, предложенную Б. Скиннером [Skinner, 1957].

В сущности, диалогическая речь строится по схеме «стимул — реакция» (и, в частности, в ней отсутствует предварительное программирование). Реплика первого собеседника чаще всего допускает сравнительно небольшое число возможных ответов, во всяком случае по содержанию. «Речевая функция» второго собеседника сводится к выбору наиболее вероятного из этих возможных ответов — в данной ситуации и для данного субъекта (один ответил: — Да, морозец! Другой в той же ситуации: — Брр!) (ср. об этом [Зимняя, 1964]). Лингвистические особенности диалогической речи, и в особенности взаимосвязь реплик—ответов с репликой первого собеседника, в последние годы изучались неоднократно. Что же касается ее психологической и психолингвистической специфики, связанной с ее реактивным по преимуществу характером, то после Якубинского ей занимались в нашей стране, насколько нам известно, только Л. С. Выготский [Выготский, 1956] и А. Р. Лурия [Лурия, 1965]. Оба этих автора отмечают как важнейшую черту диалога в отличие от монолога «возможность недосказывания, неполного высказывания, ненужности мобилизации всех тех слов, которые должны бы были быть мобилизованы для обнаружения такого же мыслимого комплекса в условиях монологической речи» [Выготский, 1956, 353]. Интонация, тембр, мимика и т. д. могут даже сводить к минимуму воздействие «прямого» значения словесной реплики и прямо противоречить ему (примеры излишни)⁸. Во всяком случае, возможна очень большая редукция реплики вплоть до «чистой» апперцепции ее значения на основе анализа ситуации (апперцепции иногда ошибочной).

Особую проблему составляет первичность одной из рассматриваемых форм общения. Все данные говорят за то, что такой первичной формой является диалогическая речь. Таково, в частности, мнение Л. С. Выготского, Л. В. Щербы [Щерба, 1915 (Приложение, 4)] и Л. П. Якубинского (с некоторыми оговорками), который подчеркивает роль автоматизма в диалогической речи и в этой связи ее «естественность». На основании знакомства с особенностями речевой деятельности «первобытных» народов и других соображений это мнение можно поддержать⁹.

⁸ Ср. в этой связи замечание Ю. Н. Тынянова, что «...слова могут быть выбитыми из их значения той или иной интонацией» [Тынянов, 1929, 471].

⁹ Из малоизвестных фактов, интересных в этом отношении, приведем едва ли не самый показательный. У индейцев Бразилии, описанных Т. Кох-Грюнбергом, принято, чтобы, уходя на охоту или просто по своим делам, человек сообщил об этом каждому из присутствующих отдельно, сколько бы их ни было, и получил реплику-подтверждение: «Иди». По возвращении опять-таки каждый спрашивает его: «Вернулся?», и он отвечает утвердительно. Это — обязательный этикет [Koch-Grünberg, 1921]. Естественно, такого рода факты важны лишь как пережиток каких-то более архаичных ступеней в развитии речевого общения, но не отражают эти ступени непосредственно.

В противоположность диалогической речи, монологическая является относительно развернутым видом речи. Это означает, что в ней мы сравнительно мало используем перечневую информацию, получаемую нами и нашим собеседником из ситуации разговора. Вместо того чтобы указать на предмет, мы в монологической речи вынуждены в большинстве случаев упомянуть о нем, назвать его, а если наши слушатели не сталкивались с ним ранее, то и описать его. Далее, монологическая речь является в большой степени активным и произвольным видом речи. Монологическая речь не «течет» сама по себе: чтобы осуществить ее, говорящий обычно должен иметь какое-то содержание, лежащее вне ситуации говорения (плюс, конечно, намерение его выразить), и уметь в порядке произвольного акта построить на основе этого внеситуативного и внеречевого содержания свое высказывание или последовательность высказываний. Наконец, монологическая речь является весьма организованным видом речи. Это означает, что не только каждое отдельное высказывание или предложение говорящий заранее планирует или программирует; он программирует и весь «монолог» как целое (ср. в этой связи интересные наблюдения Л. С. Цветковой над афатиками [Цветкова, 1966]). Иногда этот план монолога сохраняется «в уме», а иногда, как говорят, «экстериоризируется», т. е. облекается в языковую форму и заносится на бумагу в виде плана или конспекта будущего высказывания. Эта сторона монологической речи исследована крайне недостаточно.

Перечисленные особенности монологической речи показывают, что она требует специального речевого воспитания. Все мы хорошо знаем, как трудно бывает маленькому ребенку или взрослому, но малокультурному и малограмотному человеку говорить произвольно и развернуто; одной из функций, выполняемых школьным курсом грамматики родного языка, и является формирование умений, связанных с произвольностью и развернутостью речи. Что же касается ее организованности, то связанные с ней речевые умения формируются только на основе систематической ораторской или педагогической практики. При этом организованность речи совершенно не обязательно приобретает лишь в результате многолетнего практического опыта: последовательно переходя от менее трудных к более трудным речевым задачам, от большей к меньшей внешней «опоре» высказываний, можно в относительно краткий срок активно сформировать у себя соответствующую систему умений. Эту задачу раньше выполняла риторика, ныне, к сожалению, забытая.

Письменной монологической речи свойственны те же характеристики, что устной, но в большей мере. Письменная речь более развернута, чем даже устная монологическая; это вызвано, в частности, тем, что она заведомо предполагает отсутствие «обратной связи» от собеседника. Кроме того, в письменной речи не могут быть использованы в принципе такие дополнитель-

ные речевые средства, как интонация, мимика и т. д. Отсюда гораздо большая структурная сложность письменной речи по сравнению с устной. Особенно существенно, что письменная речь наиболее произвольна: здесь мы можем производить не просто выбор и приспособление, а последовательный сознательный перебор и сознательную оценку речевых средств, возможных не только в данной «точке» высказывания, но уже «пройденных», возвращаясь к ним, что в устной речи невозможно. (Так, формируя эту фразу, автор данной главы сначала вместо «сознательной оценки» написал «осознанная оценка». Затем это сочетание не понравилось ему в стилистическом отношении и было заменено. Потом он обратился к предшествующему сочетанию и убедился, что и здесь слово «сознательный» больше подходит для выражения соответствующей мысли).

Можно видеть, что в письменной речи обычно в известной мере «участвует» внутренняя речь, в которой мы более или менее развернуто «проговариваем» то, что собираемся написать. Мера этой развернутости бывает разной в зависимости от уровня речевых умений у данного человека — например, малограмотный человек вслух диктует себе (это, конечно, крайний случай).

Заметим в заключение, что в письменной монологической речи значительно легче, чем в устной, осуществить организацию высказывания. Поэтому обучение организованной речи легче начинать с письменной речи.

* * *

В заключение упомянем о третьем из возможных функциональных подходов к различным разновидностям речи, которому будет посвящена специальная глава (гл. 18), а именно о подходе стилистическом. По-видимому, возможны различные трактовки понятия функционального стиля. Но, во всяком случае, то, что четко выделяет стилистический аспект из других видов функциональной дифференциации речевой деятельности, — это обращенность «назад». Если функционально-целевая дифференциация (по формам речи) предполагает своего рода забегание вперед, учет будущего, ориентацию на цель высказывания; если дифференциация по формам общения учитывает прежде всего наличные, сиюминутные обстоятельства, то функционально-стилистика имеет дело с традиционным выбором и реализацией.

Человек говорит так, как принято говорить на данную тему, с данным собеседником и в данной ситуации, и именно в этом — ключ к стилистическому многообразию речевых форм.

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Исходя из положения о «внутренних координатах» речевой деятельности (т. е. о собственно «психолингвистических» проблемах) и о «внешних координатах» (т. е. о «теории речевой коммуникации»), можно представить, что «внешние координаты» должны составить предмет особой дисциплины, которая вместе с психолингвистикой исчерпывает теорию речевой деятельности. Предметом теории речевой коммуникации (как абсолютный синоним мы будем употреблять также словосочетание «социология речевой деятельности») является социальный фон развертывания речевых действий. Другими словами, «внешние координаты» речевой деятельности суть социальное бытие коммуникантов, которое в конечном итоге детерминирует¹ и «внутренние координаты» как в онтологическом, так и в генетическом плане [Выготский, 1960; А. Н. Леонтьев, 1965; Гальперин, 1959]. Именно в этом смысле можно понять следующие слова Р. Якобсона: «...едва ли можно рассматривать социальные влияния на язык как просто внешние факторы. Если подходить к лингвистике как к одной из тесно связанных наук о коммуникации, то любая специфика коммуникации явно должна оказывать «могучее воздействие» на речевое общение» [Якобсон, 1965, 583].

Для того чтобы сформировать предмет теории коммуникации в рамках теории речевой деятельности, необходима определенная трансформация ее концептуального аппарата. Тем попыткам создания теории деятельности, из которых заимствуется понятийный каркас для теории речевой деятельности, а следовательно, и для теории коммуникации, не хватает «социологичности». Для описания социальных характеристик личности в теории деятельности, по сути говоря, нет разработанной системы понятий, хотя социальность как атрибут личности в теории деятельности фигурирует в качестве основной характеристики.

¹ Под детерминацией здесь и далее понимается не только каузальная детерминация, но также и структурная, когда свойства факта объясняются спецификой, характером составляющих его элементов и характером связей этих элементов, и функциональная, когда свойства объекта объясняются функцией этого объекта.

В теории деятельности личность — это член общества — подобная абстрактная атрибуция вполне достаточна для психологических штудий, в результате которых возникла теория деятельности.

В теории коммуникации более продуктивным является понятие «социально дифференцированной» личности, т. е. понятие, «спущенное» с уровня «личности как члена всего общества» до уровня, на котором взаимодействие личности с обществом как глобальным целым опосредовано социальным классом, социальным слоем, социальной группой². Такими понятиями, которые должны быть введены в теорию речевой деятельности, вернее, в ее социологический фрагмент, могут быть понятия «социальной роли», «социальной группы». Использование их и некоторых других смежных понятий теории ролей³ («ролевые ожидания — экспектации», «ролевые предписания», «социальная позиция — статус», «ролевой сегмент», «референтная группа» и т. д.) создает в теории речевой деятельности необходимый элемент социологичности и избавит ее от психологического «крена». Теория ролей, например, и особенно ее марксистская интерпретация [Кон, 1965, 1969; Карпушин, Мотрошинова, 1968; Кречмар, 1970; Ольшанский, 1968], удобна для заимствования некоторых понятий, так как она имеет с теорией деятельности некоторые «проходные», инвариантные понятия, а в отношении других допускает установление четких изоморфных соответствий. Вводя в лингвистический обиход концептуальный аппарат теории ролей, социология речевой деятельности может расширить область эмпирических объектов и уточнить свой предмет. Во всяком случае, в зарубежной социалингвистике успешно используются понятия «социальной роли» и «социального статуса» [Hymes, 1964; Ervin-Tripp, 1964; Ladov, 1964; Durbin, Michlin, 1968]⁴. Кроме того, сотрудничество лингвистики с социологией позволяет науке о языке использовать не только понятийный аппарат социологии для исследования социальной «среды» существования языка, но и, что не менее важно, позволяет утилизировать результаты социологических обследований носителей языка, например, для нахождения социальных коррелятов стратификации языка. Классическим образцом в этом смысле является работа У. Лабова [Labov, 1964].

В связи с тем что теория речевой коммуникации рассматривает социальные аспекты речевой деятельности личности, некоторые понятия могут получить дополнительные акценты. В частности, более расширенное понимание может получить в теории речевой коммуникации механизм контроля над деятельностью со стороны предмета деятельности. А. Н. Леонтьев и Ю. Д. Панов

² В этом отношении интересны работы Т. М. Дридзе (Дридзе, 1969).

³ Наиболее систематическим изложением теории ролей является (Biddle, Thomas, 1968).

⁴ Более подробно о понятиях теории ролей см. на стр. 271.

при описании перехода внешних действий во внутренние, умственные, характеризуя действие на первом этапе, когда оно сохраняет свою внешнюю форму, указывают, что «оно как бы контролируется самими вещами — его внешними объектами и условиями» [Леонтьев и Панов, 1963].

В речевой коммуникации в число «внешних объектов и условий» речевой деятельности обязательно входит человек, и поэтому контроль со стороны внешних объектов превращается в социальное регулирование.

При планировании и осуществлении речевой деятельности личность учитывает не только физические свойства объекта (коммуниканта), но и его социальные характеристики, в частности его ролевые характеристики.

Социальное регулирование речевой деятельности имеет сложный характер. Оно осуществляется, во-первых, со стороны речевой деятельности (социальной по своей природе), в структуре которой протекает речевое общение, и, во-вторых, со стороны «социальных условий», возникающих в результате взаимодействия «социально организованных индивидов», т. е. речевая деятельность контролируется так называемыми этическими правилами, регламентирующими социальное взаимодействие личностей.

Социальный контроль над речевой деятельностью — это процесс, не зависящий от коммуникантов, внешний по отношению к ним, общающиеся могут только учитывать его, но не могут изменить.

Этот методологический принцип опирается на Марксову мысль о социальной детерминированности сознания людей: «Производители продуктов поставлены в такие условия, которые определяют их сознание без того, чтобы они обязательно это знали» [К. Маркс, 1963].

Идея о существовании каналов социальной регуляции, не зависящих от произвола личности, реализована у Л. С. Выготского в его утверждении, что индивид, овладевая высшими психическими функциями, в том числе и языком, обращает на себя регулирование, которое ранее было направлено на другого [Выготский, 1960], а у А. Н. Леонтьева в развиваемой им концепции социализации личности сознание индивида формируется через присвоение им культуры общества [А. Н. Леонтьев, 1965]. И формы межличностного общения, которые, будучи усвоенными индивидом, становятся, по Л. С. Выгодскому, основой для формирования высших психических функций, и культура общества, в процессе присвоения которой личность формирует себя, — все это каналы социальной регуляции.

Поэтому в теории речевой коммуникации должны быть отображены коммуниканты, над взаимодействием которых осуществляется социальный контроль, не зависящий от них и свободный от их произвола.

Главное, естественно, не в том, что вместо действующих, мы имеем дело с взаимодействующими коммуникантами, главное заключается в факте социальной регуляции их речевого общения, а оно есть следствие их взаимодействия.

При этом существенно то, что при исследовании социального взаимодействия теория речевой деятельности может использовать в качестве методологической предпосылки Марксову разработку этого понятия [К. Маркс, 1955, 1956] и работы, трактующие проблему социального взаимодействия [Janoušek, 1965, 1968].

Речевая деятельность в социальной системе в онтологическом плане — это установление связи между специфическими элементами системы — личностями, связь, осуществляемая путем обмена информацией. Следовательно, речевая деятельность всегда включена в структуру отношений социальной системы⁵. Это один из исходных методологических принципов теории речевой коммуникации.

Какую эвристическую ценность имеет факт отображения включенности речевой деятельности в структуру социальных отношений?

Естественно, это в первую очередь имеет значение для построения самой теории речевой коммуникации, так как ясно, что онтологическая природа объекта исследования имеет сложный, двойственный характер. Конституирующие атрибуты речевой деятельности как особого рода деятельности, суть которой заключается в ее знаковом характере, зависят не только от специфики действия с языковыми знаками, но в значительной мере от социальных правил, социальных ограничений, которые никоим образом не вытекают из знаковой природы речевой деятельности, а являются внешними по отношению к ней. Поэтому адекватная теория речевой коммуникации должна содержать две взаимосвязанные системы концептуальных понятий, соответствующих двум сторонам объекта. Это требование к теории речевой коммуникации есть реализация общего положения марксистской философии о том, что в методе исследования должна отображаться исследуемая действительность, что метод должен быть адекватен исследуемому объекту.

Во-вторых, эвристическая ценность соотнесения речевой деятельности со структурой социальных отношений отражается на построении предмета исследования в том смысле, что в предмет теории речевой коммуникации входят не только отдельные стороны объекта — речевые действия личности и социальные ограни-

⁵ «Даже и тогда, когда я занимаюсь научной и т. п. деятельностью, — деятельностью, которую я только в редких случаях могу осуществлять в непосредственном общении с другими, — даже и тогда я занят общественной деятельностью, потому что я действую как человек. Мне не только дан, в качестве общественного продукта... язык, на котором работает мыслитель, — но и мое собственное бытие есть общественная деятельность...» [К. Маркс, 1956, 590].

чения речевых действий и неречевой деятельности — но, и это является самой существенной чертой предмета исследования, также установление связей между этими сторонами объекта.

В-третьих, методика социолингвистических исследований может объединить частные методики структурного исследования, возникшие при изучении объектов различной природы — речевой деятельности и системы социальных отношений. Другими словами, речь идет о том, чтобы объединить существующие структурные подходы (и их частные методики) в изучении речевой деятельности и в изучении функционирования социальных систем в обществе.

Вне рамок такого комплексного, типично «социологического» подхода навряд ли может быть построена адекватная теория речевой деятельности в социологическом аспекте, т. е. теория речевой коммуникации. В противном случае теория речевой коммуникации не будет иметь даже приблизительного соответствия между своими номологическими предложениями и обобщаемыми фактами.

Именно отсутствие такого комплексного подхода объясняет, на наш взгляд, нерешенность многих проблем, доставшихся социолингвистике.

До сих пор отсутствуют адекватные теории, обобщающие, например, факты функционирования социальных диалектов, профессиональных жаргонов, функциональных стилей, факты моделирования в речевой деятельности структурных отношений социальных систем (например, фиксацию иерархических отношений коммуникантов в отборе альтернативных языковых средств, в частности, так называемых семантико-экспрессивных стилистических синонимов или моделирование этих же иерархических отношений в формах обращения (address) [Brown, 1961].

Представляется очевидным, что теория речевой коммуникации как социолингвистическая дисциплина, строя свой предмет на стыке лингвистики и социологии, имеет двойную методологическую зависимость. С одной стороны, она опирается на методологические принципы теории деятельности и теории речевой деятельности при построении методики эмпирического исследования речевых феноменов, а с другой стороны, зависит от методологии социологической теории при формулировании методики эмпирического исследования социальных фактов.

Что касается соотношения теории речевой коммуникации с теорией речевой деятельности, то оно ясно — теория речевой коммуникации вместе с психолингвистикой исчерпывает теорию речевой деятельности. А отношение теории речевой коммуникации к социологической теории гораздо сложнее.

В марксистской социологии в связи с бурным развитием в последние годы конкретных социологических исследований интенсивно обсуждается вопрос о структуре марксистской социологической теории. Основные разногласия происходят из-за места и

роли исторического материализма в структуре уровней социологического исследования [Здравомыслов, 1969; О структуре..., 1970]. Мы не будем анализировать всю дискуссию и ее итоги (она еще не закончилась), а только кратко изложим наиболее конструктивную, на наш взгляд, точку зрения в интерпретации Г. М. Андреевой [1966, 1970].

Согласно этой точке зрения исторический материализм «пользуется двумя системами абстракций: философской и социологической (теми, которые описывают проблемы соотношения общественного бытия и общественного сознания, и теми, которые описывают общество в рамках структурно-системного подхода) [Андреева, 1966, 1970]. Пользуясь системой социологических абстракций, исторический материализм выступает в функции общесоциологической теории, а оперируя системой философских абстракций, он играет роль философии истории. Для социологии уровень общесоциологической теории — это высший уровень, на котором исследуются наиболее общие законы функционирования общества как системы. Между этим высшим уровнем социологического исследования и эмпирическим уровнем, где осуществляется исследование социальных феноменов (описание и систематизация), находится средний уровень — уровень «теории среднего ранга». Промежуточное положение теорий среднего ранга имеет принципиальное значение, игнорирование этого промежуточного уровня и иерархического характера связи высшего, среднего и эмпирического уровня социального исследования ведет к эмпиризму [Андреева, 1970] или к вульгарному социологизированию, особенно при попытках воспользоваться системой философских абстракций исторического материализма для интерпретации некоторых взаимоотношений языка и общества. Нельзя полагать, однако, что теория высшего уровня не может объяснять эмпирические факты, интерпретируемые обычно в теории среднего уровня. В силу транзитивности, присущей любым объяснительным теориям, это возможно, но игнорирование среднего уровня исследования чревато почти непреодолимыми опасностями вульгарных социологических спекуляций.

Принцип иерархии уровней социологического исследования имеет фундаментальное значение для теории речевой коммуникации, так как иерархия уровней, отражая «реальные, объективно существующие уровни социального целого» [Андреева, 1966, 142], дает возможность осознать систему социальных фактов, с которыми коррелируют языковые феномены.

В гносеологическом плане функция теорий среднего уровня состоит в переводе концептуальных понятий общесоциологической теории в операциональные понятия эмпирического уровня.

Такой теорией среднего уровня, или специальной социологической теорией — имеет хождение и такой термин, — по всей вероятности, и должна быть теория речевой коммуникации, или, что то же самое, социология речевой деятельности.

Таким образом, ясна методическая зависимость социологии речевой деятельности от исторического материализма, рассматриваемого в функции общесоциологической теории. Это, разумеется, очевидно лишь в том случае, когда речь идет о построении марксистской социологии речевой деятельности.

Но исторический материализм как теория о самых абстрактных закономерностях функционирования общественной системы оперирует понятиями высшей степени абстракции («экономическая формация», «общество» и т. п.), которые именно вследствие своей абстрактности не допускают непосредственного перевода в операциональные понятия эмпирического уровня. Не случайна устойчивая неприязнь лингвистов к попыткам установления прямых корреляций между языковыми феноменами и общественными классами или экономическими формациями. На роль теории среднего уровня, опосредующей связь абстракций общесоциологической теории с операциональными понятиями эмпирического исследования, может претендовать, как было указано выше, теория коммуникации, обогащенная в своей социологической части понятиями теории ролей и теории социальных групп.

Все проблемы теории речевой коммуникации можно разделить на два круга проблем. Это, во-первых, проблемы, связанные с социализацией личности и с вербальными аспектами социализации, а во-вторых, социальные проблемы речевого общения. Социализация личности, становление идиолекта личности в ходе социализации и социальные проблемы речевого общения тесно связаны, гораздо теснее, чем это кажется на первый взгляд. Если разделять точку зрения «культурно-исторического» направления в психологии личности, согласно которой психика человека складывается в процессе интериоризации [Леонтьев А. Н., 1965] и в первую очередь как результат интериоризации социальной коммуникации с другими членами общества, то психику личности в психологическом и социологическом аспекте в известной мере можно рассматривать как «превращенную» (в Марксовом смысле этого термина) историю ее социального общения. И наоборот, социализация личности — это (в известном отношении) развернутая в пространстве и времени психика личности.

Есть еще одно соображение в пользу существования тесной связи проблем социализации личности и социальных аспектов речевого общения.

«Внешние координаты» речевой деятельности, строго говоря социальные детерминанты, могут быть, в целях удобства исследования, редуцированы до компонентов коммуникативного акта [Якубинский, 1923; Холодович, 1967; Jakobson, 1960]. Но в этом случае речевая деятельность в социолингвистическом плане может быть понята как всего лишь реакция общающихся на внешние стимулы. Если мы согласимся с таким выводом, а к этому выводу в неявной форме подводят почти все модели коммуникативных актов, то система «внешних координат» становится

ся уязвимой со стороны обвинения в плоском детерминизме. Система социальных детерминант речевой деятельности может быть редуцирована до системы компонентов коммуникативного акта и одновременно избавлена от упреков в плоском детерминизме, если среди ее компонентов появятся такие, которые будут отражать, опосредствовать отношения, связывающие коммуникантов с более широкими системами (общество, социальная группа и т. д.), в частности, с социальными системами, где происходило становление ролевых структур их личностей, — ведь в речевом общении участвует уже сложившаяся личность⁶. Такими компонентами могут быть, например, коммуниканты, отображенные в модели коммуникативного акта в своем социальном качестве. В понятиях развиваемой здесь концепции теории речевой коммуникации отображение социальных качеств коммуникантов может быть осуществлено путем представления их как носителей социальных ролей. Тогда речевая деятельность может и не рассматриваться как простая реакция на внешние стимулы («внешние координаты»), теперь их действие ограничено действием системы мотиваций личности. (Согласно современным представлениям становление системы мотиваций личности происходит в процессе усвоения ролей.) Вводя коммуниканта в модель общения в функции носителя социальной роли, мы отображаем в «свернутом» виде как бы его «социальную историю», потому что, несколько упрощая проблему, вполне допустимо утверждать, что ролевая структура личности — это эквивалент ее социального опыта, концентрированное выражение социальных качеств личности, приобретенных в результате исполнения тех или иных видов деятельности⁷.

В проблеме «социальности» языка можно различить два аспекта: социальную природу языковой способности и социальную обусловленность речевой деятельности.

В советской психолингвистике, в частности в работах А. А. Леонтьева, понятие языковой способности рассматривается в рамках трехчленной системы: «языковая способность — языковый процесс — языковой стандарт» [А. А. Леонтьев, 1965а]. Эта трехчленная конструкция возникла как альтернатива малопродуктивной дихотомии «язык — речь». Попытки создания адекватной системы понятий для исследования речевой деятельности (Hun-

⁶ «Являясь продуктом социальной среды прошлого (разрядка наша. — Е. Т.), поднявшаяся в своем развитии личность, перестает быть объектом среды современной. В самом индивиде развилась структура, нечто способное воздействовать по собственной инициативе на социальную среду и делать выбор между различными противоречивыми стимулами, нечто всегда подверженное изменениям, но сплошь и рядом оказывающее стойкое сопротивление коренному изменению» [Adorno, 1960].

⁷ В социальной психологии проблема взаимосвязи «Я» и роли — это проблема того, как в результате выполнения роли происходит усвоение субъектом опыта его взаимоотношений с окружающей социальной средой, иначе говоря, как роль формирует «Я» [Божович, 1968, 115].

boldt, 1836; Щерба, 1965] привели к пониманию языковой способности как «специфического психофизиологического механизма, формирующегося у каждого носителя языка на основе неврофизиологических предпосылок и под влиянием речевого общения» [А. А. Леонтьев, 1970а, 315]. Языковая способность обеспечивает «усвоение, производство, воспроизводство и адекватное восприятие языковых знаков членами языкового коллектива» [А. А. Леонтьев, 1965а, 54].

При таком понимании языковой способности ее социальная природа оказывается конституирующей характеристикой. Если отвлечься от психофизиологических сторон языковой способности, которые являются только предпосылкой ее развития, то можно с определенной степенью огрубления считать процесс формирования языковой способности у личности эквивалентным процессу присвоения культуры общества в опосредованном виде в форме языковых знаков в рамках межличностного общения. Таким образом, социальная природа языковой способности определяется тем, что она формируется, с одной стороны, в процессе усвоения системы языковых знаков, в которой смоделировано социальное бытие людей, а с другой стороны, решающую роль играет форма деятельности, создающая предпосылки для этого усвоения — межличностное общение.

Значение языковых знаков в обобщенной форме фиксирует исторический опыт людей о явлениях природы, общества, о своей собственной природе, и т. д.

Через систему языковых знаков, т. е. опосредованно, личность присваивает человеческие способности, существующие в экзотерической форме и опредмеченные в явлениях культуры. Этот процесс «реализует у человека главную необходимость и главный принцип онтогенетического развития — воспроизведение в свойствах и способностях индивида исторически сложившихся свойств и способностей человеческого вида, в том числе также и способности понимать язык и пользоваться им» [А. Н. Леонтьев, 1965, 366].

Языковые знаки и способы оперирования ими, прежде чем стать основой формирования языковой способности у личности, уже существовали в межличностном общении и уже были обусловлены историческим опытом людей, зафиксированным в явлениях материальной и духовной культуры и отображенным в языковых знаках.

Перефразируя известную мысль Маркса, можно сказать, что язык существует прежде всего для других, а потом уже и для меня самого. Следовательно, языковая способность, как «и всякая высшая психическая функция, была внешней потому, что она была социальной раньше, чем стала внутренней, собственно психической функцией, она была прежде социальным отношением двух людей» [Выготский, 1956, 197].

Внешняя «заданность» языковой способности вытекает из того

факта, что формирование языковой способности возможно лишь как одна из сторон процесса овладения «достижениями исторического развития человеческих способностей, воплощенных в объективных явлениях материальной и духовной культуры» [А. Н. Леонтьев, 1965, 409].

В межличностной природе генезиса языковой способности состоит второй фактор ее социальной детерминации.

Языковая способность формируется у личности в процессе общения и только через него. Ребенок может овладеть культурой общества, а это эквивалентно развитию у него высших психических функций, в том числе и языковой способности, только при помощи взрослого, только общаясь с ним, т. е. вступая с ним в определенные отношения [А. Н. Леонтьев, 1965, 409]. Сама форма, «среда» развития языковой способности — межличностное общение — не только определяет социальную природу языковой способности, но и детерминирует ее основную функциональную характеристику — прежде всего обеспечивать общение личностей. Поэтому «человек и наедине с собой сохраняет функции общения» [Выготский, 1956, 198].

Что касается социальной обусловленности речевой деятельности, то здесь прежде всего нужно иметь в виду принципиальную тождественность речевой и неречевой деятельности с точки зрения их социальной природы, — это один из основных тезисов школы Выготского. Наиболее последовательное развитие эта мысль получила в работах П. Я. Гальперина и его учеников [Гальперин, 1959, 1969; Ждан, 1968; Айдарова, 1968]. Умственные, внутренние действия — это внешние действия, но опосредованные языковыми знаками и прошедшие через промежуточный этап громкой речи. И речевая и неречевая деятельность — это не различные деятельности, а одна и та же деятельность, осуществляемая различными средствами: в неречевой деятельности такими средствами являются орудия труда, в речевой деятельности — это знаки, опосредующие нашу мысль внешне, а внутренне она опосредуется значениями [Леонтьев и Лурия, 1956, 379].

Речевая деятельность, вернее речевые действия, существуют всегда в рамках неречевой деятельности (отсюда — проблема смысла и значения языковых знаков) и, следовательно, социально обусловлены в той степени, в какой социально обусловлена сама неречевая деятельность. А неречевая деятельность, как мы видели выше, не только сама социально обусловлена, но в свою очередь является каналом социальной регуляции.

Деятельность включает речевые действия, когда необходимо общение, другими словами, тогда, когда мы имеем взаимодействие личностей. В этом случае взаимодействие двух лиц, если они вступают в контакт как социально организованные личности, регулируется социальными правилами (этическими нормами). Социальное регулирование распространяется как на речевые, так и на неречевые действия.

Но основная социальная детерминация речевой деятельности обусловлена природой языковых знаков, точнее, социальным опытом, зафиксированным в их значениях. Рождаясь, ребенок застает уже в готовом виде культуру общества, язык соплеменников, которые он должен усвоить, чтобы стать собственно человеком. Он императивно втиснут в рамки онтологического развития, и эти рамки очерчены конкретным обществом⁸. Общество контролирует развитие личности через институт семейного, школьного воспитания, через институт профессионального образования, через систему профессий (профессиональных ролей) — номенклатура профессий опять же определяется потребностями общественного развития.

В вербальном плане личность потенциально также поставлена под жесткий социальный контроль необходимостью усвоения значений слов, актуально контроль реализуется в общении речью взрослых: «Она связывает собственную активность ребенка, направляя ее по определенному строго очерченному руслу» (Выготский, 1956, 178).

На более высоких ступенях социализации в вербальном плане личность также подвергается жесткому социальному контролю; во-первых, самой системой значений и правилами оперирования со словами; во-вторых, структурой деятельности, в которую входят речевые действия, и, в-третьих, этическими правилами.

Совершенно очевидно, что все три вида контроля являются социальными по своей природе. Первые два вида социальны не в явной форме, это, так сказать, «технологические» виды контроля, здесь речевые действия «контролируются» самим процессом, структурой деятельности и в конечном счете ее целью; но ведь деятельность осуществляется по общественно одобренным, т. е. социальным, образцам. Третий вид контроля — эксплицитно социальный, он поддерживается целым рядом социальных санкций вплоть до преследования в уголовном порядке.

Прежде чем перейти к вопросу о социализации речевой деятельности, кратко изложим некоторые сведения о социализации преимущественно в плане социологическом.

При помощи понятия социализации со времен Тарда описывается процесс становления личности, превращения ее в члена общества. Процесс становления и развития личности сам по себе является сложным и многоаспектным процессом, поэтому понятие социализации, ориентированное у разных авторов на отдельные стороны и аспекты и получающее вследствие этого различные акценты, не является однозначным. Но общее, в чем сходятся все авторы как марксистского, так и немарксистского толка, состоит в понимании процесса социализации как процесса «инди-

⁸ «Человек воспринимает, мыслит мир как конкретно-историческое существо; он вооружен и вместе с тем ограничен представлениями и понятиями своей эпохи, класса» (Леонтьев, Лурия, 1956, 13).

видуализации общественного» [Кон, 1965; Левада, 1965; Elkin, 1960; Child, 1954].

Большинство марксистских концепций социализации подчеркивают активный, «деятельностный» характер поведения личности в процессе социализации (личность в первую очередь здесь субъект, а затем уже объект деятельности) в противовес концепциям, рассматривающим социализацию как адаптацию, как пассивное приспособление к условиям существования в обществе. В первом понимании концепция социализации близка идеям Л. С. Выготского и его последователей [А. Н. Леонтьев, 1965; Леонтьев и Лурья, 1956].

По всей вероятности, наиболее конструктивной, т. е. допускающей непосредственный перевод концептуальных понятий в операциональные понятия эмпирического уровня, является концепция И. С. Кона, развитая им в ряде работ (Кон, 1965, 1969).

В общем виде социализация, по И. С. Кону, — это «усвоение индивидом определенной системы социальных ролей и культуры» [Кон, 1965, 22]. Система социальных ролей представляет социологическое структурирование того процесса, который в психологии личности обозначается как процесс овладения различными формами внешней (орудийной) и умственной, внутренней (знаковой) деятельности. Наиболее существенным моментом в концепции И. С. Кона можно считать конкретно-историческую обусловленность как самой социализации в целом, так и универсальных возрастных стадий в развитии личности. Хотя известные возрастные стадии развития личности универсальны и существуют во всяком обществе, их конкретное содержание, а также сами механизмы социализации (семья, специальные учреждения общественного воспитания — ясли, детские сады и т. п., формальные и неформальные группы организации и т. д.) являются историческими, их значение и удельный вес варьируются в зависимости от социально-экономического строя общества [Кон, 1965, 121].

Эти стадии развития, о которых говорит И. С. Кон, действительно имеют универсальный объективный характер, выделение их совпадает почти у всех авторов (сравни. А. Н. Леонтьев, 1965, 542 и след., и Парсонс, 1965, 59).

Чисто социологическая интерпретация универсальных стадий развития выглядит таким образом:

1. Первичная социализация или социализация ребенка.
2. Маргинальная (промежуточная или псевдоустойчивая) социализация — социализация подростка.
3. Устойчивая, т. е. концептуальная, ценностная социализация, которая знаменует собой переход от юношества к зрелости, т. е. период от 17—18 до 23—25 лет [Андреевская, 1970, 45].

Те эволюции функций речи у ребенка, которые исследованы Пиаже, а затем Л. С. Выготским [Выготский, 1956] и Д. Б. Эль-

кониним [Эльконин, 1960], относятся целиком к этапу первичной социализации. Однако было бы ошибкой полагать, что языковое развитие личности заканчивается к 25 годам. В течение последующей жизни личность овладеет еще многими социальными ролями, что неизбежно вызовет необходимость овладения новыми видами перечевой и речевой деятельности. Претерпит изменения активный словарь личности, изменится смысл многих слов, но, естественно, опыт первичной социализации речи ребенка окажет влияние на всю его последующую жизнь.

Как уже отмечалось выше, ребенок усваивает речь только через общение со взрослыми; следовательно, диалогическая речь — это первая форма речи, с которой имеет дело ребенок, эта речь изначально носит социальный характер — она направлена на другого. Физиологически это громкая речь.

Но в раннем возрасте ребенок сопровождает свои действия речью, которая не имеет коммуникативных функций, она не служит целям общения, является речью «для себя», «эгоцентрической речью». По Пиаже, эгоцентрическая речь — речь без функций, и поэтому она отмирает.

Исследования Л. С. Выготского и позднее Д. Б. Эльконина показали, что усвоение речи ребенком проходит через несколько основных стадий, которые и являются последовательными ступенями социализации речевой деятельности.

Вслед за первой ступенью речевой деятельности — громкой речью с явной социальной направленностью, обладающей коммуникативной функцией, у ребенка возникает эгоцентрическая речь. Вопреки утверждениям Пиаже она имеет также четко выраженный социальный характер. Но функция эгоцентрической речи уже иная, она не просто «бесполезный аккомпанемент» (Пиаже) внешних действий, она выполняет интеллектуальную функцию, «становится мышлением в собственном смысле этого слова, т. е. принимает на себя функцию планирующей операции» [Выготский, 1956, 137].

Из исследований Д. Б. Эльконина и его учеников видно, что активность эгоцентрической речи усиливается в моменты затруднений ребенка при осуществлении им той или иной деятельности, как попытка найти выход в сотрудничестве со взрослыми.

На стадии эгоцентрической речи речевая деятельность приобретает интеллектуальную функцию, функцию мышления; для ее выполнения речь не обязательно должна быть громкой. Эгоцентрическая речь, которая по функциям уже стала внутренней, переходит на стадию внутренней речи.

Изменения в структуре речевой деятельности, по времени совпадающие с последующими этапами социализации (по социологической градации), по всей вероятности, связаны с психологическими феноменами, которые описаны как процессы, сопутствующие смене так называемых «ведущих типов деятельности» [А. Н. Леонтьев, 1965, 524 и след.].

Многоаспектный и сложный процесс социализации личности описывается разными дисциплинами, которые строят в этом сложном объекте свои предметы исследования.

Все рассмотренные ступени социализации речи — внешняя речь — эгоцентрическая речь — внутренняя речь по времени относятся к этапу «первичной социализации» в социологической градации.

В частности, психология и социология (а также и социальная психология) изучают этапы социализации при помощи своих теорий и при помощи различного научного инструментария. Теории речевой коммуникации целесообразно использовать результаты этих исследований, если обнаруживается определенный изоморфизм в психологических и социологических моделях социализации.

На наш взгляд, существует возможность построения модели социализации в рамках теории речевой коммуникации, опирающейся на психологическую и социологическую модель.

У А. Н. Леонтьева вербальные аспекты социализации описаны в связи с психическими процессами, которые происходят в рамках ведущих типов деятельности.

«Развиваясь, ребенок превращается, наконец, в члена общества, несущего все обязанности, которые оно на него возлагает. Последовательные стадии в его развитии и являются не чем иным, как отдельными ступенями этого превращения.

Но ребенок не только фактически изменяет свое место в системе общественных отношений. Он также и осознает эти отношения, осмысливает их. Развитие его сознания находит свое выражение в изменении мотивации деятельности: прежние мотивы теряют свою побудительную силу, рождаются новые мотивы, приводящие к переосмысливанию прежних действий. Та деятельность, которая прежде играла ведущую роль, начинает изживать себя и отодвигаться на второй план. Возникает новая ведущая деятельность, а вместе с ней начинается и новая стадия развития» [А. Н. Леонтьев, 1965, 524]. Основные изменения в речевой деятельности на последующих этапах социализации, таким образом, заключаются в изменении смысла речевых действий в целом и в изменениях смысла отдельных слов.

Психологическая характеристика типов деятельности хорошо согласуется с аналогичными характеристиками ролевой деятельности [Sarbin, 1954; Kunz, 1949; Dahrendorf, 1965]. То, что у А. Н. Леонтьева описывается как ведущий тип деятельности, в теории ролей соответствует отдельным ролевым деятельности.

Чтобы продолжить изложение вопроса, необходимо ввести некоторые, уже упоминавшиеся ранее понятия теории ролей. Недостаток места не позволяет уделить изложению теории ролей того внимания, которого она заслуживает, поэтому мы ограничимся самым необходимым.

Все общество как система и его отдельные подсистемы (классы, социальные группы, общественные институты и т. д.) состоят из взаимосвязанных позиций, с которыми связаны определенные права и обязанности исполнять некоторую деятельность (ролевая деятельность) по общественно одобренным образцам (ролевые предписания). Личность, занимающая социальную позицию, ориентирует свое поведение на обладателей других позиций, которые ожидают от нее деятельности, регламентируемой ролевыми предписаниями. Этот контроль над ролевой деятельностью локализуется в ролевых ожиданиях (ролевых экспектациях). Ролевые предписания и ролевые ожидания — это нормы, которые реализуются в ролевой деятельности с той или иной степенью точности соблюдения предписаний в зависимости от тяжести социальных санкций и величины поощрений. Ролевая деятельность, совершаемая личностью, не остается бесследной для нее. Психологический механизм влияния деятельности на личность исследовался Л. С. Выготским и его школой, а социологический механизм пытается исследовать теория ролей.

В традиционной социологии (и социальной психологии) проблема влияния исполнения роли на формирование личности решается в общем однозначно — личность формируется в результате исполнения ряда ролей [Mead, 1934; Linton, 1936].

Теперь вернемся к ступеням социализации речевой деятельности. После того как ребенок в основном усвоит систему значений слов родного языка, можно считать состоявшейся социальную детерминацию его речевой деятельности посредством общественного опыта, зафиксированного в значениях. Употребление и сочетание слов родного языка регламентируются для личности их значениями, т. е. общим для всех носителей языка отражением действительности. Следует подчеркнуть, что однозначность отражения действительности для всех носителей языка не является полной. Процесс познания реальной действительности и процесс фиксации результатов этого познания является непрерывным. Процесс изменения значения слова, процесс приобретения словом нового смысла совершается в рамках определенной познавательной деятельности, вернее говоря, в рамках определенной ролевой деятельности. Ведь, по сути дела, и значения слов родного языка, не говоря уже о смыслах этих слов для конкретного носителя языка, усваиваются в рамках ролевой деятельности и определяются ею.

Например, для двадцатилетней девушки многие слова, обозначающие предметы туалета младенца, могут быть неизвестны, не говоря уже о том, что смысл слова *ребенок* совершенно различен у нее и ее замужней сверстницы, имеющей ребенка. Как заметил автор одной демографической статьи, двадцатилетняя девушка и двадцатилетняя замужняя женщина, имеющая ребенка, — это два разных мира.

Необходимо остановиться на отношении значения, смысла и

ролевой деятельности. Понятие смысла, исследуемое в теории речевой деятельности, восходит к работам Л. С. Выготского и французского психолога Полана.

В основе различения значения и смысла слова лежит мысль о несовпадении общественного опыта, объективированного в форме значения, и субъективного опыта, возникающего у личности как результат осознания значения слова в структуре конкретной деятельности. Иначе говоря, смысл может рассматриваться как аналог значения в конкретной деятельности [А. А. Леонтьев, 1969 г., 61] или форма реального существования значения слова в голове носителя языка.

Значение слова — это то, что открывается в предмете или явлении объективно — в системе объективных связей, отношений, взаимодействий. Значение отражается, фиксируется в языке и приобретает благодаря этому устойчивость, которая является предпосылкой достижения взаимопонимания [А. Н. Леонтьев, 1965, 286].

С другой стороны, «значение представляет собой отражение действительности независимо от индивидуального, личного отношения к ней человека». Человек находит уже готовую, исторически сложившуюся систему значений и «овладевает ею так же, как он овладевает орудием, этим материальным прообразом значения» [А. Н. Леонтьев, 1965, 288]. Устойчивость значения, фиксацию в нем опыта общественной практики следует рассматривать как основу социальных качеств речевой деятельности не только в синхронии, но и как предпосылку сохранения социальной речевой деятельности во времени.

Значение реально существует, осознается личностью в определенной деятельности и в ней приобретает субъективный для личности смысл. Но не следует преувеличивать субъективность и кажущуюся лабильность смысла. Смысл как аналог значения функционирует не в любой случайной для личности деятельности, а в такой, где личность вступает в отношения с отраженной в значении действительностью как член общества (класса, социальной группы); в противном случае значение как носитель общественного опыта — фикция.

Общественная обусловленность значения только тогда релевантна для личности, когда она сама осознает себя как личность, как члена коллектива носителей конкретного языка. Значение приобретает смысл, следовательно, в структуре общественно релевантной деятельности, т. е. в структуре ролевой деятельности. Ролевая деятельность, как деятельность, ориентированная на определенную референтную группу⁹ (общественный класс, социальные, возрастные, профессиональные группы и т. д.), позволяет сделать вывод, что смысл — явление далеко не субъективное,

⁹ Референтная группа — это коллектив, членством в котором и мнением членов которого дорожит исполнитель социальной роли.

а имеющее классовую, социально-групповую и т. п. обусловленность. Конкретный смысл слова зависит от роли, проигрываемой личностью, и от референтной группы, ролевые ожидания которой она стремится оправдать.

Поэтому в смысле слова фиксируется опыт, релевантный не для всего общества, а для класса, социальной группы, социального института и т. д. Если опыт, зафиксированный в смысле, становится релевантным для всего общества, то он входит в значение слова.

Как было показано выше, значение отличается фиксированностью, устойчивостью и поэтому отображает общественный опыт с некоторым «запаздыванием». Смысл выступает в функции фиксатора социального опыта, еще не закрепленного в системе языковых значений. Пока этот социальный опыт еще на пути к тому, чтобы найти отображение в значении и стать релевантным для всех носителей языка, но он уже релевантен для членов определенной социальной группы как отражение новых социальных закономерностей в деятельности, как отражение новых специфических отношений, в которые вступают члены социальной группы в процессе деятельности, направленной на удовлетворение социально-групповых потребностей. Второй, более абстрактной ступенью обобщения человеческого опыта является отображение его в форме, релевантной для всего общества, — в форме значения.

Также следует иметь в виду следующее. Реально социальное бытие личности ограничено рамками нескольких социальных групп, которые опосредуют его отношения с обществом как целым. Поэтому смысл любого речевого и неречевого действия возникает в отношении к мотиву именно социально-групповой деятельности. Личность осознает себя как члена всего общества, всей нации, всего класса лишь в определенных видах деятельности (защита Родины с оружием в руках, борьба с классовым врагом и т. п.).

Отсюда напрашивается вывод, что смысл слова (речевых действий) изначально социален, что это первая ступень обобщения и отображения социально релевантного опыта людей и одновременно первая ступень той социальной обусловленности речевой деятельности, которая окончательно завершается в значении.

Кроме подобного рода социальной обусловленности, существуют вторичные социальные моменты обусловленности речевой деятельности¹⁰.

Как уже упоминалось, речевое общение происходит на фоне социального взаимодействия личностей. Коммуниканты предстают друг перед другом в своих социальных ипостасях как носители определенных социальных ролей. Подчеркивая социальную сторо-

¹⁰ При освещении этого вопроса мы воспользовались нашей статьей, написанной в соавторстве с Л. Н. Дзекиревской [Дзекиревская, Тарасов, 1970].

ну коммуникативного акта, будем называть акт речевого общения носителей социальных ролей социальной ситуацией (СС).

Вербальное и невербальное поведение личностей в СС определено социально кодифицированными и некодифицированными нормами. Знание этих норм характеризует личность как общественное существо, и следование этим нормам составляет одну из существенных сторон бытия личности.

По различным критериям СС общения, возникающие по крайней мере в пределах европейского культурно-исторического единства, могут быть разбиты на несколько классов.

По признаку определенности, фиксированности ролевой структуры СС можно подразделить на нормативные — ненормативные. В нормативных СС с самого начала речевого общения известны роли коммуникантов и, что самое важное, иерархия ролей. Коммуниканты могут не знать имени друг друга, но они знают ролевые атрибуты и, следовательно, апперцепирующие возможности партнера. Нормативные СС возникают в основном в официальных структурах общества. Во многих СС заранее установлен характер информации, подлежащий передаче. Армейские уставы фиксируют основные типы СС, которые возникают в армейской среде.

СС с противоположными характеристиками (отсутствие фиксации ролевой структуры, невхождение в официальные общественные структуры, неопределенность передаваемой информации) могут быть отнесены к ненормативным.

По признаку соблюдения социальных (этических) норм СС подразделяются на санкционируемые — несанкционируемые. Санкционируемые СС протекают без значительных отклонений от этических норм. Все нормативные СС и большинство ненормативных являются санкционируемыми. Общение в несанкционируемых СС протекает с резким нарушением этических норм. Несанкционируемыми являются в основном ненормативные СС.

По принципу частотности, типичности для конкретного общества СС подразделяются нами на стандартные — нестандартные. Стандартными могут быть как нормативные, так и ненормативные, как санкционируемые, так и несанкционируемые СС. Приведем несколько примеров.

СС общения «врач — пациент», «кассир — пассажир», если они протекают без нарушения этических норм, являются нормативными, санкционируемыми, стандартными. Несанкционируемые стандартные и нестандартные СС зафиксированы в уголовных и гражданских кодексах.

При определении вторичных социальных моментов обусловленности речевых действий может обсуждаться более или менее конкретно лишь вопрос выбора альтернативных речевых средств и в первую очередь так называемых семантико-экспрессивных стилистических синонимов (В. В. Виноградов) типа *облик, лик*,

лицо, физиономия, морда, харя, рыло, пятак. Относительно влияния социологических критериев на выбор других альтернативных языковых средств можно делать только гипотетические утверждения, из-за отсутствия конкретных исследований в этой области.

Что касается выбора семантико-экспрессивных стилистических синонимов, то здесь существует уже определенная традиция [работы Э. Г. Ризель и ее учеников]. Шкала семантико-экспрессивных стилистических окрасок, предложенная Э. Г. Ризель, представляет собой социологические (этические) критерии выбора альтернативных языковых средств [Riesel, 1959].

Определяющим в выборе семантико-экспрессивных стилистических синонимов является тональность общения (В. В. Виноградов), которую можно считать обобщенной формой проявления этических правил поведения личности.

Для европейского культурно-исторического единства тональности СС могут быть представлены в виде следующей шкалы: возвышенная (торжественная) тональность, нейтральная тональность, нейтрально-обиходная тональность, фамильярная тональность, вульгарная тональность. (Для шкалы использованы названия семантико-экспрессивных стилистических окрасок у Э. Г. Ризель, так как генетическая связь этих стилистических окрасок с соответствующими тональностями является для Э. Г. Ризель данным, исходным.)

Возвышенная тональность — это тональность исключительных, редких СС типа торжественных ритуальных актов, в большинстве своем в официальных структурах.

Нейтральная тональность — тональность основной массы нормативных, стандартных, санкционируемых СС. Нейтрально-обиходная — самая распространенная тональность ненормативных, стандартных (а также нестандартных), санкционируемых СС при непосредственном контакте коммуникантов. Фамильярная тональность — тональность значительного числа нестандартных (а также стандартных) СС за пределами формальных структур общества. Вульгарная тональность — тональность ненормативных, нестандартных, иногда стандартных несанкционируемых СС.

Теперь несколько слов об учете социальной роли коммуникантов в СС. При определении тональности СС коммуниканты ориентируются не непосредственно на самую социальную роль, а на социальный статус роли (отождествляемый иногда с социальным престижем роли). Определение статуса роли дает коммуникантам возможность определить иерархию своих статусов и в зависимости от этой иерархии делать выбор среди альтернативных средств.

Изложение социальных аспектов теории речевой коммуникации позволяет сделать вывод, что в этой области пока больше гипотез, чем построений, основанных на широких эмпирических исследованиях.

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Стилистический аспект в теории речевой коммуникации является, пожалуй, одним из наименее изученных и ясных, несмотря на имеющуюся обширную литературу по разным вопросам стилистики. Собственно, до настоящего времени не определен строго предмет стилистики. Отсюда неясность самих понятий «стиль» и «стилистика». На это указывал В. В. Виноградов и многие другие ученые. См., например [Slama-Cazacu, 1968, 153].

Действительно, является ли единым предмет исследования в трудах разных научных направлений, именующихся стилистическими? Можно ли говорить о единой науке в широко понимаемой области стилистики? А главное, целесообразно ли? На проверку оказывается, что термин «стиль», как и «стилистика», многозначен, а потому весьма неясен и условен.

В современной науке о стиле наблюдаются две на первый взгляд взаимоисключающие тенденции, ведущие к уточнению нашего представления о стиле. С одной стороны, тенденция к глобальной стилистике, к интерпретации ее как науки о стиле, проявляющейся во всех областях человеческого творчества и деятельности [Poetics, 1961; Style, 1960; Самарин, 1961].

Такой глобальный подход, по-видимому, целесообразен, и типологический аспект способствует лучшему уяснению общих черт явления. В самом общем смысле стиль (при таком понимании) подразумевает характерные, специфичные, дифференциальные черты предмета, явления, действия (или группы явлений), составляющие систему внешних признаков, обусловленную своеобразием внутреннего содержания. Образование стиля характеризуется целенаправленностью и осознанностью, кроме того — целесообразностью построения именно такой системы с точки зрения назначения соответствующего предмета (в широком смысле слова). Нам важно подчеркнуть, что стиль — явление глубоко системное. В этом смысле он более строго определен в искусствоведении. Вместе с тем, думается, прав А. Н. Соколов [1968б], понимая под стилем не всю систему составляющих произведение элементов (речь идет о художественном произведении), а то единство этой системы, которое определяется художественной закономерностью. Это определение может быть при известной модификации перенесено и на другие аспекты стиля.

Итак, первое понимание стиля и первое направление стилистической науки — «глобальная стилистика» связывается с наиболее общим в характере объектов исследования из области творческой деятельности человеческого общества.

Однако наряду с этим существуют конкретные стилистические дисциплины в рамках отдельных наук — языкознания, литературоведения, искусствоведения, социологии, психологии (как и на границах некоторых из них).

В лоне общей филологической стилистики, издавна развивавшейся на основе риторики, практической стилистики и учения о тропах и фигурах, происходит постепенная дифференциация стилистических наук.

Несмотря на тесные связи литературоведческой и лингвистической стилистик в последнее время, особенно в советской науке¹, происходит постепенное оформление здесь двух самостоятельных научных дисциплин². Это разделение наук вполне закономерно, потому что у литературоведческой стилистики и одного из направлений лингвистической стилистики, изучающего художественную речь (не говоря уже о других стилистико-языковедческих аспектах и лингвистической стилистике в целом), при общем объекте исследования существует и свой особый предмет изучения. Строгое определение предметов исследования и четкое их различие становится здесь совершенно необходимым. Отвлекаясь от индивидуальных нюансов различных литературоведческих точек зрения, можно сказать, что в литературоведческом понимании стиля язык художественного произведения рассматривается как один из элементов стилиевой системы наряду с идейно-художественными его особенностями [Тимофеев, 1959; Ковалев, 1965, и др.]. Лингвистическая же стилистика, а именно стилистика художественной речи, призвана изучать общие закономерности функционирования языка в одной из сфер общения — эстетической. Здесь художественная речь рассматривается как одна из разновидностей речи с выявлением ее специфики³.

Правда, есть одно направление стилистики — наука о стилях художественной литературы, их становлении и развитии, представленная трудами В. В. Виноградова, которая, являясь особой филологической наукой, близка и «к языкознанию и к литературоведению, но вместе с тем отлична от того и другого» [Вино-

¹ На Западе, как известно, большая часть ученых понимает стилистику лишь как стилистику художественной литературы (художественного произведения, писателя), имея в виду лингво-литературоведческий аспект, нередко с присоединением психологического и социологического. См., например, [Georgin, 1956; Kayser, 1956; Slama-Cazacu, 1968].

² При этом разумно, на наш взгляд, предлагается сохранение термина «стилистика» за областью лингвистики, а «наука о стиле», «теория стиля» — за литературоведением. См., например, [«Теория литературы», 1965; Соколов, 1968].

³ Заметим, что мы при этом последовательно разграничиваем понятия «литературный язык» и «язык художественной литературы»; поэтому

градов, 1959, 3—4] ⁴. В целом же языковедческая стилистика, изучающая далеко не только художественную речь, естественно принципиально отличается от литературоведческой стилистики не только по предмету своего исследования, но и по объекту.

Помимо науки о стилях художественной литературы, а также практической стилистики, лингвистическая стилистика в зависимости от предмета исследования распадается на две области.

Первая — стилистика языка, изучающая стилистические ресурсы системы конкретного языка ⁵. Это традиционный и наиболее «чисто лингвистический» аспект стилистики. Он широко представлен и в советской, и — особенно — в зарубежной науке [Ж. Марузо, Э. Винклер, А. Н. Гвоздев, В. Д. Левин и др.]. Проблематика этой отрасли стилистики, очевидно, имеет лишь косвенное отношение к теории речевой коммуникации.

Стилистический аспект теории речевой коммуникации непосредственно проявляется во втором — речеведческом — аспекте стилистики, в стилистике речи, или функциональной стилистике, исследующей закономерности функционирования языковых средств в различных сферах общения ⁶. Это, как известно, сравнительно молодое направление, хотя основы для его развития были заложены уже В. Гумбольдтом, позднее — И. А. Бодуэном де Куртенэ, а начало его практического оформления связано с трудами 20—30 годов в СССР [В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, В. М. Жирмунский, Л. П. Якубинский и др.] и в Чехословакии [В. Матезиус, Б. Гавранек, В. Мукаржовский, Й. Коржишек, Ф. Травничек и также позднее К. Гаузенблас, М. Елишек, Й. Мистрик и др.]. Кроме Чехословакии и некоторых других социалистических стран ⁷, действительно функциональный подход в исследовании разновидностей речи представлен в странах Запада довольно скупо, хотя он осуществлен уже в труде Ш. Балли [1961]. Этот факт можно объяснить, помимо силы традиции,

все сугубо индивидуальные употребления, не ставшие общим достоянием, отделяем от фактов литературного языка. См. об этом [Виноградов, 1959], а также статью [Кожин, 1970], в которой подчеркивается общий литературный характер художественной речи и отрицается стремление к необычной и намеренной индивидуализации.

⁴ Конечно, художественная речь составляет наиболее сложный объект стилистики, который в особенности требует изучения его в разных аспектах и разными методами, о чем говорится во многих зарубежных работах, затрагивающих проблемы стилистики (например, [Hatzfeld, 1960; Psycholinguistics, 1954; Slama-Cazacu, 1968]).

⁵ Иногда ее называют теперь структурной стилистикой; однако этим же термином называют и одно из современных направлений исследования стилистики художественного текста, осуществляющегося так называемыми новыми методами. Сюда относят обычно, например, работы М. Риффатера, Р. Якобсона, у нас — Ю. Лотмана и др.

⁶ В перспективе функциональная стилистика, по мысли А. И. Ефимова [1957], дифференцируется на ряд стилистик соответственно числу сфер общения. Так оформилась стилистика художественной речи.

⁷ См. напр., работы: [Faulseit und Kühn, 1961; Fucks, 1955; Galdi, 1968, и др.].

популярностью на Западе идей К. Фосслера и Л. Шпитцера, а также узким пониманием литературного языка, подчас отождествлением его с языком художественной литературы.

Конечно, названные направления не исчерпывают всех стилистических проблем (о некоторых из них мы скажем дальше). Нам сейчас важнее остановиться на предмете стилистики и проблемах последней в аспекте теории речевой коммуникации.

По-видимому, когда явления стиля входят в структуру языка (хотя и образуясь в области экстралингвистической)⁸, они существуют там преимущественно в скрытой, потенциальной форме, которая становится явной лишь в процессе коммуникации, в потоке речи. Отсюда стиль, стилистическое — явление в большей степени речевое, чем узко или системно языковое. Кроме того, в процессе функционирования языковые средства приобретают дополнительные стилистико-речевые качества и, что важно, при этом организуются в той или иной типовой сфере общения в особую динамическую систему (отличную от собственно языковой), образующуюся в результате проявления определенных функционально-стилистических закономерностей⁹.

Стилистически маркированные в системе языка средства составляют ничтожный процент, далеко не достаточный для реализации появляющихся в процессе коммуникации целей, задач, особенностей ситуации, форм и видов речевого проявления и всех иных многообразных факторов — объективных и субъективных, — которые оказывают влияние на характер речи, организуют ее стилистический облик. Поэтому при изучении стилистического ни в коей мере нельзя ограничиваться рассмотрением лишь стилистических ресурсов языка, а совершенно необходимо обращаться к исследованию стилистико-речевых закономерностей. Ср. также мнение Т. Слама-Казаку: «Стиль не является языковым фактором, а аспектом речи» [Slama-Cazacu, 1968, 155—156].

Таким образом, стилистика оказывается сугубо речеведческой дисциплиной. А отсюда самые тесные ее контакты с теорией речевой деятельности. Многие стилистические проблемы — это проблемы теории речевой коммуникации, некоторые из них смыкаются с проблемами психологии речи и ее восприятия и психолингвистическими проблемами. По справедливому мнению А. А. Леонтьева, по-видимому, должна существовать какая-то дисциплина, изучающая внешние координаты речевого действия. Одно из центральных ее направлений и должна составлять функциональная стилистика. Связь функциональной стилистики с теорией речевой деятельности диктуется тем, что стилистические качества речи формируются под влиянием совокупности многообразных внелингвистических факторов — социальных, ситуативных

⁸ Ср. высказывание Ф. П. Филина о влиянии общественных функций языка на его структуру [1966].

⁹ Попытки определить эту системность, как и закономерности функционирования, см. [Кожина, 1970].

и других, тем, что формирование стиля связано с определенной целевой установкой общения, обусловленной в конечном счете видом деятельности. А именно глубокое понимание речевой деятельности «во всей полноте обуславливающих ее (речь.— *М. К.*) связей и отношений субъекта деятельности к действительности», подчеркивание постановки цели при «подборе средств оптимального ее достижения» [А. А. Леонтьев, 1969а, 18 и 79], характерные для теории речевой деятельности, оказываются плодотворными для функциональной стилистики.

Еще в статье «О диалогической речи» Л. П. Якубинский, сожалея, что языкознание его времени не ставит своей задачей изучение функциональных многообразий речи, писал: «Речевая деятельность человека есть явление многообразное, и это многообразие проявляется не только в существовании бесчисленного множества отдельных языков, наречий, говоров и пр. вплоть до диалектов отдельных социальных групп и, наконец, индивидуальных диалектов, но существует и внутри данного языка... и определяется всем сложным разнообразием факторов, функцией которых является человеческая речь. Вне учета этих факторов и изучения функционально соответствующих им речевых многообразий невозможно ни изучение языка как непосредственно данного живому восприятию явления, ни уяснение его генезиса, его «истории» [Якубинский, 1923, 96]. В. В. Виноградов также подчеркивал, что «понимание языка... как системы... не может охватить всего многообразия явлений и проявлений общественного функционирования речи» [1961, 10]. Это в первую очередь касается литературного языка, который, по словам Л. Якубинского, «особенно ярко подчеркивает необходимость функционального подхода к языку» (Якубинский, 1923, 111), почему необходимым здесь является «интерес и внимание к целевым многообразиям речи» [1923, 114]. См. также [Ахманова и др., 1966].

Однако при осуществлении функционального подхода в стилистике обнаруживаются трудности. С одной стороны, это связано с нечеткостью и неоднозначностью понимания термина «функция», с другой — с различным пониманием соотношения языка и речи (а отсюда — стилей языка и стилей речи), вернее, традиционным «подавлением» стилистики речи стилистикой языка. Такая нечеткость определения стиля и классификации функциональных стилей на основе соотношения с функциями языка продемонстрирована в книге В. В. Виноградова [1963, 5—7].

Возможная классификация стилей на основе речевых функций [см., например, Jakobson, 1960] также страдает распыленностью, так как большинство этих функций по существу реализуется одновременно в любом речевом акте. К тому же не каждая из функций может быть преобладающей в речи; кроме того, выделенные на основе их стили не исчерпали бы всего многообразия речи, оставляя в стороне некоторые общественно значимые сферы деятельности (например, научную, законодательную).

Гораздо более эффективным оказывается понимание функционального стиля, идущее от определения, данного В. В. Виноградовым [1955, 73] в ходе дискуссии по стилистике. Оно ориентировано на аспект речи, поскольку говорится о принципах отбора и сочетания языковых средств, опирается на целевой фактор общения и социально-типовые сферы последнего. Как известно, В. В. Виноградов и большинство советских и чехословацких ученых по существу именно так понимают функциональный стиль, называя при этом следующие¹⁰: научный, официально-деловой, публицистический, разговорно-бытовой, художественный¹¹.

Функциональный стиль речи можно в рабочем порядке определить как тот характер системы языковых средств конкретной речевой разновидности, который определен целью общения в соответствующей сфере и назначением соотносительных видов деятельности и формы общественного сознания и который создается закономерностями функционирования здесь языковых средств. А функциональная стилистика занимается исследованием стилистических характеристик указанных выше речевых разновидностей. Бесспорно, главными проблемами этой науки являются: изучение законов функционирования языковых средств в указанных социально-типовых сферах общения и определение специфической стилистико-речевой (неязыковой) системности известных речевых разновидностей и, конечно, объяснение образования как тех, так и другой.

Функциональные стили — это исходная основа классификации стилистического в речи и в то же время наиболее глубокий, базовый «пласт» стилистического, в свою очередь распадающийся на частные ответвления и осложняющийся иными стилистическими характеристиками, обусловленными разнообразными внелингвистическими факторами.

Стилистические характеристики и расслоения речи многообразны; они могут осуществляться в разных аспектах, в зависимости от различий обуславливающих их экстралингвистических явлений. Не говоря о том, что функциональные стили подразделяются на подстили, стилистические различия в той или иной мере в разных речевых разновидностях связаны с жанром речевых произведений, с типовой ситуацией общения, с видом речи в зависимости от числа участников коммуникации (монолог, диалог, разные виды массовой коммуникации) вплоть до отражения индивидуально-ситуативного в речи. На многообразие рече-

¹⁰ Если отвлечься от частных отклонений классификации у отдельных исследователей, связанных большей частью с нечеткостью терминологии.

¹¹ В отношении последнего существуют две противоположные точки зрения. Одни ученые называют его в кругу функциональных стилей, осознавая все его своеобразие (Виноградов, Винокур, Ефимов, Будагов, Гальперин, Ризель, все чехословацкие стилисты), другие выводят его из числа функциональных стилей, понимая последний в качестве стиля языка (Левин, Морен, Тетереvникова и др.).

вых проявлений еще в 30-е годы указывал В. В. Виноградов [1930], развивший более детально эту мысль в одном из своих последних трудов [1963]. Интересна в этом смысле и классификация стилеобразующих факторов и соответствующих им стилей К. Гаузенбласа [Hausenbleas, 1955]. В ней стилеобразующие факторы представлены тремя большими группами: А — связанные с мыслительной основой выражения, подразделяющиеся на функциональные, целевые, выразительные, относящиеся к теме, способу выражения (рассуждение, повествование, описание), степени подготовленности речи; В — ситуативные (среда общения: личная — общественная; вид акта общения: односторонний — двусторонний; контакт между говорящим и адресатом); С — относящиеся к «материалу» речи (фонетическому — графическому). Оригинальную классификацию стилеобразующих факторов дает в одной из своих недавних работ М. Елинек [Jelinek, 1968]. Однако все эти стилистические характеристики не противоречат основной классификации по функциональным стилям.

В последнее время К. Гаузенблас предложил более широкое понимание стиля. По его мнению, стиль — это свойство структуры созданного человеком действительностью коммуниката. Поэтому предметом исследования должно стать текстовое строение, включая сюда и тематические, и так называемые тектонические средства — т. е. неграмматические способы отбора и комбинации тектонических средств: повторы, градация, эмпфаза [Гаузенблас, 1967; см. также его выступления на международных съездах славистов в Софии — 1963, и Праге — 1968].

Одной из центральных стилистических проблем теории речевой коммуникации является изучение речевой системности стиля, основанное на выявлении закономерностей функционирования языковых средств в разных сферах общения. Под речевой системностью функционального стиля мы понимаем взаимосвязь языковых средств в конкретной речевой разновидности как по горизонтали, так и по вертикали на основе выполнения ими единого коммуникативного задания, обусловленного экстралингвистической основой данной речевой разновидности, связанных между собой по определенному функциональному значению, выражающему специфику стиля. Вместе с тем каждый стиль речи характеризуется и своей частотой — системой частот — употребляющихся здесь языковых средств, а также спецификой функционирования. Именно поэтому одни и те же единицы литературного языка способны создавать разные стилистико-речевые организации в конкретных сферах общения.

Подчеркнем также, что функциональные стили имеют объективный, всеобщий характер, они обладают общепринятыми стилистическими нормами, которым следуют все говорящие независимо от принадлежности последних к той или иной социальной группе или от своего образовательного ценза, пола и т. д. Стилистическая организация речи происходит, таким образом, на основе тра-

диционно сложившихся принципов выбора средств из литературного языка и их сочетания в связи с наиболее целесообразным удовлетворением целей общения в данной сфере, но не на основе социально-демографической характеристики самих говорящих. В этом мы видим принципиальное отличие функционально-стилистических разновидностей речи от иных (например, социальных диалектов). См. также выше — гл. 4.

Одной из проблем теории речевой коммуникации является сложная и не вполне исследованная проблема соотношения устной и письменной форм высказывания с функциональными стилями. Еще Л. Якубинский отделял вопрос о формах речевого высказывания от вопроса о многообразии речевых проявлений, определяющихся целевым моментом речи — поэтическая, научная, бытовая и т. д. [Якубинский, 1923, 116]. В некоторых современных работах по стилистике аргументируется недопустимость смешения функциональных стилей речи с формами высказывания как явлений, обусловленных принципиально разными основами: в первых — целью выбора, во-вторых — условиями общения [И. Р. Гальперин, 1965]. Конструктивные идеи по затронутой проблеме высказал В. Г. Костомаров [В. Г. Костомаров, 1965]. Предупреждая о недопустимости смешения тех и иных речевых явлений, он справедливо говорит о том, что «каждый стиль может функционировать в разных формах речи», что «научный анализ должен быть направлен соответственно на выявление языковой специфики стиля, сохраняющейся независимо от формы» [Костомаров, 1965, 173]. Актуальной представляется нам и проблема преобладающей формы речи у той или иной функциональной разновидности, а также вопрос взаимовлияния функциональных стилей и форм речи, как и постановка этих вопросов в аспекте массовой коммуникации.

Среди стилистических проблем теории речевой коммуникации, помимо указанных, выступают проблемы речевого акта в стилистическом его аспекте и проблемы речевого контекста. В отношении первой из них заметим, что весьма плодотворна концепция румынского психолингвиста Т. Слама-Казаку (восходящая к схеме К. Бюлера [Bühler, 1934]) о единстве трех элементов коммуникации (говорящий — сообщение — слушающий) и необходимости учета этого единства (именно единства!) в стилистическом анализе. По словам Т. Слама-Казаку, в практике исследования «часто наблюдается гипертрофия одного из трех элементов коммуникации», тогда как «при стилистическом анализе художественного текста нельзя опускать не только связь сообщения с его творцом, но и... связь с возможностями восприятия» [Slama-Cazacu, 1968, 160]. Как убедительно показывает автор, гипертрофия в анализе одного из названных факторов ведет к искажению действительности, к неверному пониманию стиля.

Таким образом, психолингвистический подход в вопросах акта речи и контекста оказывается весьма полезным для стилистики;

«...психолингвистика, — как говорит Т. Слама-Казаку, — дает причинное объяснение стилистическим явлениям» [1968, 167]. Не случайно, что в той или иной степени психолингвистические вопросы затрагиваются в ряде современных работ по стилистике [Riffaterre, 1961; Style, 1960; Ullmann, 1964].

В процессе общения для лучшего раскрытия смысла говорящий использует не только языковые средства всех уровней, но и внеязыковые средства, вплоть до широкого контекста. Таким образом каждый речевой контекст, согласно мнению Слама-Казаку, оказывается динамическим. Обычно говорят о широком и узком контекстах (макро- и микроконтексте), т. е. — соответственно — о внеязыковом (внеречевом), или ситуативном, и о речевом. Слама-Казаку выделяет три вида контекста: языковой (речевой) как самый ограниченный (это, по ее словам, «линейное нанизывание слов»); эксплицитный, состоящий из всех остальных вспомогательных знаков, из ситуативных коррелятов, и, наконец, имплицитный, «содержащий» все то, что воспринимается известным о говорящем, т. е. контекст, который как будто и «не проявляется вовне, посредством определенного знака, но дает свой отпечаток любому знаку... это полный контекст, равноценный всей системе координат говорящего» [Слама-Казаку, 1956, 435]. Н. Н. Амосова уточняет понятие узкого контекста как явления лингвистического, четко отделяя внеречевой контекст от речевого и последний определяя как собственно языковедческий семантический фактор [Амосова, 1958]. Этот контекст подразделяется в свою очередь на лексический и синтаксический.

Понятие контекста в разных его видах совершенно необходимо и плодотворно для различных направлений стилистики. Прежде всего проблема контекста в разных ее аспектах встает при анализе художественной речи. Вопрос о недопустимости анализа языкового факта вне речевого целого в свое время особенно подчеркивал Б. А. Ларин: «В исследовании художественной речи... ни на минуту нельзя упускать из виду эстетический объект, т. е. помимо реального и логического содержания речи — весь ее психический эффект и главным образом именно обертоны смысла» [Ларин, 1923, 69]. Анализируя комбинаторные приращения слова в ткани художественного произведения, Б. А. Ларин выделяет три вида контекста: в пределах одной фразы, далее — сочетания периодов в пределах одной главы и, наконец, законченное целое (Ларин, 1923, 70). В данном случае, как видим, речь идет о собственно речевом контексте. Однако даже такого подхода (имея в виду третий случай) при исследовании художественной речи — да и речи вообще, в иных ее разновидностях — оказывается недостаточно. Очень важным для некоторых стилистических проблем теории речевой деятельности является учет ситуативно-психологического контекста. Развивая дальше мысли Слама-Казаку о контексте, можно сделать применительно к функциональным стилям вывод о том, что их различия во многом зависят от

влияния воспринимающего на характер речи (и учете адресата речи автором сообщения). То, что читатель художественного текста мыслится как соучастник творчества, а например, научного — как «логический интерпретатор», неизбежно отражается на стиле самого сообщения. Ср. также эту проблему применительно к разновидностям массовой коммуникации.

Актуален вопрос о разновидностях контекста, его речевых и неречевых коммуникативных средствах в разговорно-бытовой сфере, а также проблема «восполнения» этих средств в ткани художественного произведения. Весьма интересны в связи с этим мысли Л. П. Якубинского и Е. Д. Поливанова о воздействии некоторых ситуативных факторов контекста, в частности различных паралингвистических явлений (жеста, мимики и т. д.), на функционирование языковых средств. Учеными отмечается, что наличие или отсутствие общности апперцепирующей массы у говорящих влияет на характер речи в отношении отбора слов, построения фраз [Якубинский, 1923, 163], добавим к этому — и степени речевой конкретизации.

Таким образом «психолингвистическая перспектива, — как справедливо отмечает Т. Слама-Казаку, — создает возможность углубить понятие контекста» [Slama-Cazacu, 1968, 151].

Если перейти от рассмотрения широкого контекста и фактора восприятия к лингвистическому контексту, то и здесь для функциональной стилистики предоставляется большое поле деятельности. Узкоконтекстные сочетания слов, вплоть до грамматических словосочетаний и их видов, оказываются неодинаковыми в разных сферах общения. А это в свою очередь связано со спецификой функционально-семантических категорий [см. А. В. Бондарко, 1968], являясь средством создания своеобразного стиля речи. Данная проблема еще совершенно недостаточно разработана как в общетеоретическом плане, так и в плане конкретного языкового анализа. Попытки рассмотрения функционально-семантических категорий в аспекте стилистики речи см. [Кожина, 1970].

Как уже отчасти отмечалось, психологизация стилистических исследований прежде всего связана с изучением художественной речи. Здесь в особенности выделяются проблемы, связанные с психологией творчества, литературного процесса. Такого рода исследования были весьма популярны у нас в конце прошлого — начала этого века (см., например, работы [Д. Овсяннико-Куликовский, 1895], многотомное неперiodическое издание «Вопросы теории и психологии творчества», а также труды современных авторов [Б. Мейлах, 1962; А. Г. Ковалев, 1960; А. Г. Цейтлин, 1962; Я. А. Пономарев, 1960; В. И. Страхов, 1956, и др.]. Особое место занимают труды Л. С. Выготского («Психология искусства»), а также И. Франко, М. Бахтина. Хотя подобного рода труды имеют косвенное отношение к стилистике, однако многие их общие положения и конкретные наблюдения помогают выяснению специфических черт художественной речи. Большую ценность для

стилистики представляют и работы по психологии речи (пока опять-таки выполненные в основном с ориентацией на художественную речь), которые условно можно подразделить на исследования говорящего и слушающего. Последние смыкаются с проблемами психологии восприятия речи, в частности в процессе обучения языку и литературе.

Хотя, как указано выше, анализ текста — метод в первую очередь лингвистический, однако и последний может быть осуществлен с психолингвистическими целями, в частности в аспекте проблемы универсалий речи. Последняя имеет самое непосредственное отношение к стилистике речи. Так, по-видимому, для развития сравнительной стилистики (на материале разных языков) большое значение имеет вопрос общности принципов выбора языковых средств и организации речи в однотипных (для разных народов) сферах общения, связанный с проблемой общности (или близости) у соответствующих языков семантико-грамматических и функционально-семантических категорий [Есперсен, 1958; Мещанинов, 1945; Виноградов, 1950; Бондарко, 1968]. Если, например, по утверждению У. Вейнрейха, модальность в широком смысле присутствует в любом языке и может быть предметом психолингвистических исследований, то она, наряду с другими функционально-семантическими категориями, может быть и предметом изучения в аспекте функциональной стилистики. Причем эта область исследований должна оказаться весьма плодотворной и перспективной для развития стилистики. Собственно функциональная стилистика, по нашему убеждению, должна непременно опираться на универсальные функционально-семантические категории при решении таких центральных своих проблем, как проблема специфики стилей, проблемы определения функционально-стилистических законов, принципов интерпретации стилостатистических данных, поисков наиболее эффективных в стилистике методов исследования и др. Именно в связи с этим нам представляется, что чисто формальный стилостатистический анализ (подсчет языковых форм без учета их семантики) является малоэффективным. Именно в смысле недостаточности формального статистического подхода в стилистике, по-видимому, следует понимать признание Г. Миллера о том, что если 10 лет тому назад он считал бы стиль статистической проблемой, то теперь он находит в стиле нечто гораздо большее, чем то, что можно уловить статистикой [Miller, 1965].

К области стилистики относят обычно и проблему степени фонетической редукции речи. Л. В. Щерба, Р. И. Аванесов, М. В. Панов выделяют на этом основании «стили произношения» (по крайней мере — три стиля). Эта весьма интересная проблема занимает, однако, особое место в стилистике. Следует обратить внимание на то, что «стили произношения» не соотносятся с известными функциональными стилями, в связи с чем слово «стиль» в фонетическом аспекте оказывается по существу

омонимом соответствующему термину функциональной стилистики. Очень возможно, что между теми и другими стилями есть некоторые точки соприкосновения, например, полный стиль (без редукции или почти без нее), очевидно, свойствен устной научной речи, как и публицистической (ораторской), — правда, в последней со своеобразными «акцентами». Однако этого рода исследования только начинаются (см., например, [Баранник, 1970]).

Интересной и перспективной проблемой оказывается и проблема способов передачи особенностей интонации в письменной их форме (различных графических выделений).

В качестве одной из последних (не по значимости) назовем проблему индивидуальных (и групповых) особенностей речи. Известно, что вопрос об индивидуальном стиле является одним из центральных в стилистике художественной речи. Напомним высказывание В. В. Виноградова: «Изучение индивидуальных стилей — основная проблема стилистики» [1923, 196].

Хотя функциональные стили — явления не субъективные, а объективные, общественно значимые, проблема индивидуального стиля этим не снимается (в частности, проблема степени и характера индивидуальных различий в сравнительном плане: между стилями). Ср. в связи с этим отсутствие индивидуального «лица» в деловой речи и во многих видах массовой коммуникации. Кроме того, интересна проблема влияния стиля великого ученого (а не только писателя) на стиль его последователей, т. е. проблема речевого стиля научных школ и направлений.

В связи с проблемой индивидуальности речевого стиля стоит и проблема экспрессивности и эмоциональности речи. Хотя экспрессивные и эмоциональные средства языка, как это убедительно показал В. В. Виноградов [1955], не образуют стилистических систем и хотя выражение соответствующих явлений в речи неадекватно функционально-стилистическому, вопрос о речевых средствах и способах реализации экспрессивного и эмоционального в разновидностях речи и о степени соответствующих качеств речи в разных функциональных стилях признается актуальным. Если эти качества речи очевидны в сфере художественной, публицистической, бытовой коммуникации, то они представляются обычно несвойственными для сферы научной. Однако это не совсем верно. Поскольку научное творчество связано с исканием истины, с оценкой исследуемых фактов, оно не может быть бесстрастным [В. И. Ленин, 1961, стр. 237]. А так как в речи отражается не только система языка, но и вся совокупность внелингвистических факторов, в том числе психологических, ситуативных и собственно «мыслительных», то указанные черты научного творчества и научной формы мышления не могут не найти отражения в стиле речи.

Таковы в самых общих чертах основные проблемы и аспекты функциональной стилистики и некоторые из ее психолингвистических вопросов, в целом объединяющиеся теорией речевой коммуникации.

ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИССЛЕДОВАНИЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

Характерной чертой современного общества является высоко-азвитое социальное взаимодействие, протекающее в разных социальных структурах. Одной из форм этого взаимодействия являются так называемая «массовая коммуникация» (далее МК). Ее роль является ныне особенно значительной, потому что МК прямо обуславливает нормальное функционирование общества. Эта роль ормировалась постепенно в ходе исторического развития человечества — элементы МК появляются уже на древнейших этапах общественного развития (например, у народных рассказчиков, ревенных ораторов и т. д.). Собственно развитие МК осуществляется после расширения книгопечатания и появления периодической печати, а позднее радиопередач, телевидения и т. д. Одно-о научное исследование МК возникло только недавно: на Западе 40—50-е годы, в социалистических странах только в наше время. Результаты этого исследования закладывают основу научной дисциплины — теории массовой коммуникации (далее ТМК).

Изучением МК занимается теперь ряд научно-исследовательских институтов, особенно в США (например, Institut for Communication Research, Stanford University; Mass Communication Research Center, Univ. of Wisconsin; Institut of Communication Research, Univ. Illinois), во Франции (особенно Centre d'Etudes es Communications de Masse, издающий в Париже журнал «Communications»), в Великобритании, ФРГ, Японии (где издается журнал «Гэнго сэйкацу») и т. д. Результаты исследований публикуются в многочисленных сборниках и книгах¹ и в специальных журналах [Journal of Communication, Audio-Visual Communication review, Journalism Quarterly, Public Opinion Quarterly, Gazette dr.].

Сотрудничество специалистов в области ТМК осуществляется при помощи международных организаций типа International As-

Среди важнейших современных публикаций о ТМК выделяются [De Fleur, 1966; Emery, Ault, Agee, 1960; Human Communication, 1967; Klap- per, 1960; Mass Communications, 1960; The Science of Human Communica- tion, 1963]; обзор американских исследований опубликован в [Schrammi, 1964; Tannenbaum, Greenberg, 1968].

sociation for Mass Communication и др. В социалистических странах исследования МК развиваются более всего в Польше, Югославии и Чехословакии. Уже несколько лет в Польше функционирует Ośrodek badania opinii publicznej (Центр исследования публичного мнения, Варшава) и Ośrodek badań prasoznawczych (Центр журналистского исследования, Краков). В центре журналистского исследования организован специальный сектор (В. Писарек), занимающийся исследованием лингвистических и психолингвистических проблем периодической печати. В Польше существуют специальные журналы по теории журналистики и МК («Zeszyty prasoznawcze», «International Review of Journalism»). В Югославии проводится широкое исследование МК силами журналистов и социологов [Ваšević, 1965]. В Чехословакии существует самостоятельный Институт исследования массовых средств коммуникации (Братислава).

В Советском Союзе, где интерес к проблемам массовой коммуникации имеет давние традиции², сейчас уделяется большое внимание исследованию МК как со стороны теоретиков журналистики [Журналист, 1969], так и с точки зрения социологов и социальных психологов [Пирамидин, 1967; Советский читатель, 1968, и др.].

Термин «теория массовой коммуникации» в смысле научной дисциплины, дающей общее описание и изложение процессов МК, является в сущности конвенциональным рабочим обозначением набора эмпирических знаний и экспериментальных данных и гипотез, в большинстве случаев не проверенных и не образующих систему. На это указывает ряд авторов-специалистов в области МК (например, Танненбаум и Гринберг). Причиной этой несистематичности является факт, что МК — это явление очень комплексного характера с разными, качественно отличающимися свойствами.

Области ТМК можно упрощенно характеризовать классической схемой Г. Лассвелла [Lasswell, 1960], одного из «основоположников» ТМК: 1) кто сообщает, 2) что, 3) кому, 4) посредством какого канала, 5) с каким эффектом. Уже из этой простой схемы видно, что в работах по МК объединяется несколько разных аспектов, среди которых выделяются психологический, социологический, лингвистический и психолингвистический. Эти и все дальнейшие аспекты тесно взаимосвязаны, что и создает характер ТМК как дисциплины скорее полидисциплинарной, чем интердисциплинарной³.

Понятие «массовая коммуникация» определяется разными авторами весьма различно. Г. Малетцке, автор обширной публика-

² Например, в области психологии читателя — см. [Рубакин, 1929, и др.].

³ По И. Тетеловской [Tetelowska, 1965], ТМК связана со следующими науками: психологией, социологией, теорией литературы, лингвистикой, юридическими науками и экономикой.

ции о психологических проблемах ТМК [Maletzke, 1963, 32], предлагает следующее определение: «Массовой коммуникацией считается такую форму коммуникации, при которой сообщения адресуются некоторой аудитории при помощи технических средств (media) непрямо (т. е. при пространственной, временной или пространственно-временной дистанции между участниками коммуникации) и в одном направлении (т. е. без обмена ролей между коммуникатором и реципиентом), иными словами некоторой разобщенной аудитории». С другой стороны, Ч. Райт, изучающий социологические аспекты МК, определяет ее как «симультанное и публичное сообщение многочисленным гетерогенным и анонимным слушателям при использовании соответствующих средств» [Wright, 1965, 349]. Чехословацкий социальный психолог Я. Яноушек считает [Janoušek, 1968, 135] основной отличительной чертой МК характер социальной структуры: «Индивиды осуществляют движение информации между социальными структурами; при этом инициатор сообщения — индивид или социальный институт, играет роль говорящего по отношению к множеству адресатов, временно и/или пространственно отдаленному». Значит, МК отличается тем, что здесь нет обмена ролями при сообщении: роли коммуникатора и адресата постоянно определены, т. е. передача сообщений осуществляется только в одном направлении, обратная связь не существует, или она сильно редуцирована. С этой точки зрения, как говорит Яноушек и некоторые другие, существуют элементы МК уже в малой группе — в случаях постоянного разделения коммуникативных ролей.

К другому пониманию ТМК старается подойти А. Н. Алексеев. Отличие массовой коммуникации от других ступеней и форм коммуникации состоит в том, что здесь в качестве основных субъектов выступает вполне определенный тип социальных единиц, а именно: социальный слой, класс, совокупность классов (массы). Иначе говоря, массовая коммуникация есть общение, протекающее «на уровне» социальной (в классовом обществе классовой) структуры общества [Алексеев, 1969]. Автор различает далее два основных типа МК: капиталистический тип МК (где коммуникатором является буржуазный класс) и социалистический тип МК (где коммуникатором является народ).

Как эти определения характеризуют специфические черты МК, отличающие ее от других форм коммуникации? Иногда считается, что основной чертой МК является только использование современных технических средств передачи информации. Однако это свойство не является единственной особенностью МК и в некоторых типах МК даже не является необходимым элементом. Чтобы подробнее рассмотреть отличие МК от других форм коммуникации, охарактеризуем отдельные компоненты коммуникативного процесса в МК. В общем, в каждом процессе коммуникации содержатся три основных компонента: 1) коммуникатор (сообщающий), 2) реципиент (принимающий), 3) сообщение; в МК

еще добавляется в качестве 4-го компонента средство коммуникации (массовое средство коммуникации)⁴.

1. Коммуникатор в МК. В то время как в интерперсональной и групповой коммуникации коммуникатором является всегда определенный индивид, в МК коммуникатор обыкновенно «коллективен», т. е. в создании сообщения принимает участие определенное количество индивидов на основе специализированного разделения труда. Отдельные члены группы коммуникаторов при формировании сообщения также выполняют специализированные функции. Коммуникатором в МК может быть всякое лицо, которое принимает участие в создании, подборе или контроле сообщения. Этот характер коммуникатора в МК имеет важные последствия как для самого коммуникатора (внедрение в группу или в организацию знаменует одновременно определенную зависимость), так и для сообщения (они имеют в МК «безличный» характер — см. ниже).

2. Адресат в МК. В отличие от интерперсональной и групповой коммуникации, где адресатом является отдельное лицо или малая группа лиц, в МК адресатом является множество лиц (читатели газет, телевизионная аудитория и т. д.). Характер аудитории МК определяется при помощи разных критериев. Райт характеризует аудиторию в МК как очень большую (т. е. настолько многочисленную, что коммуникатор не может быть в прямом контакте с каждым членом аудитории), разнообразную (т. е. разного возраста, пола, воспитания, социального положения и т. д.) и анонимную (т. е. отдельные члены аудитории коммуникатору неизвестны). Малетцке подчеркивает рассредоточенность аудитории МК, образуемую отдельными индивидами и малыми группами (например, слушатели телевидения) или большими группами (например, зрители кино). Члены рассредоточенной аудитории не знают друг друга, у них нет взаимоотношений, они социально не организованы, у них нет определенных ролей, норм и т. д.

Характеристика адресата по Малетцке вызывает возражения социальных психологов и социологов. Яноушек указывает на необходимость анализа аудитории с точки зрения ее структуры, так как аудитория МК может быть организована разным способом (в отношении к коммуникатору, например, у абонентов, или вне зависимости от него). Для объяснения характера адресата в МК полезно различить два понятия, которые иногда отождествляются, а именно «общность» и «аудиторию». По Ламсеру [Lamser, 1969], «аудитория» — это замкнутая общественная форма, пространственно ограниченная (например, слушатели в ауди-

⁴ Систему отношений между этими основными компонентами Малетцке называет «коммуникативным полем» (Kommunikationsfeld). С точки зрения создания адекватной ТМК предстоит задача изучить эти названные компоненты в их взаимосвязях.

тории) в такой коммуникативной ситуации, где существует прямой контакт между коммуникатором и реципиентами. Наоборот, «общность» — это открытая общественная форма, пространственно не ограниченная, в которой не существует прямой контакт между коммуникатором и реципиентами (напр., слушатели радио). Оба типа реципиентов часто встречаются в МК, т. е. ни в разобщенности реципиентов, ни в опосредствованности коммуникативного общения нельзя видеть специфическую черту МК.

Реципиентов в МК также нельзя понимать как абсолютно изолированных индивидов. Каждое средство создает для реципиентов различную коммуникативную ситуацию (адресат может принимать МК как индивид, как член малой группы или как член аудитории или общности; соотношения отдельных коммуникативных ситуаций у отдельных средств отличаются), поэтому можно предположить, что каждая из этих ситуаций своеобразно модифицирует процесс МК у реципиента.

3. Сообщение в МК. Сообщения в МК можно характеризовать как общественные, симультанные и временно ограниченные. Между тем как в интерперсональной и групповой коммуникации передаются частные или почти частные сообщения, в МК дело касается сообщений, направленных аудитории. Сообщения симультанные, т. е. они переносятся одновременно или в течение короткого периода многочисленным адресатам, и ограничены во времени, т. е. они воспринимаются только в короткий промежуток времени и быстро замещаются другими сообщениями.

Исследования сообщений и отношения сообщений к реципиентам привлекли к себе пока наибольший интерес в ТМК. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, сообщение более доступно для объективного анализа, чем другие компоненты процесса МК; во-вторых, исследование сообщений является ключом к изучению других компонентов. Сообщение в МК интенсивно исследуется прежде всего в рамках изучения коммуникативных эффектов [Klarer, 1960; Information Influence, 1965; Бойко, 1969]. Термин «эффект» в ТМК обыкновенно включает в себя все изменения и реакции в поведении реципиента, которые возникают в течение коммуникации или в результате восприятия сообщения. Исследование эффектов включает ТМК в две важные области социологического исследования, а именно в теорию пропаганды и в теорию общественного мнения. Как известно, современная пропаганда формирует общественное мнение именно посредством МК⁵. Основной проблемой ТМК является здесь то, как пропаганда (не только политическая, а также и просветительная и т. д.) и МК вообще влияют на создание и измене-

⁵ Под термином «общественное мнение» подразумеваются взгляды сравнительно большого общественного целого, (потенциально) связанные с направленностью на практическое решение какой-нибудь общественной проблемы, — см. [Уледов, 1963]. Об отношении ТМК и теории пропаганды см. [Вопросы теории, 1968].

ния общественного мнения. Однако в этой проблематике остается много неясного, так что теоретики МК здесь могут скорее формулировать гипотезы и предварительные мнения, чем давать удовлетворительные экспликации. Во всяком случае несомненно, что МК влияет на общественное мнение, но этот процесс очень сложен [Бойко, 1969]. Если оставить в стороне технические и другие не зависящие от адресата факторы (напр., неравномерное распространение телевидения на определенной территории), существуют прежде всего определенные факторы психологического и социально-психологического характера, которые обуславливают эффективность МК (см. более подробно ниже).

4. Средство массовой коммуникации. Средствами массовой коммуникации являются технические устройства, переносящие публично, непрямо и в одном направлении (т. е. без обратной связи)⁶ сообщения от коммуникатора к реципиенту.

К основным средствам МК принадлежат: печать, радио, кино, телевидение. С точки зрения общей теории коммуникации средства МК (так называемые мультипликаторы) являются одной частью коммуникативного канала; другой его частью являются органы чувств человека и его установки. МК доступна человеку чаще всего посредством зрительного или слухового канала.

Отдельные средства МК имеют свои особенности с точки зрения типа коммуникативного контакта, средства выражения, эффектов сообщения, общественных последствий, популярности, авторитета и т. д. Эти особенности только еще становятся предметом исследования в ТМК и до сих пор они мало известны. Положение дел хорошо характеризуется образным выражением Э. Карпентера, что средства массовой коммуникации являются новыми языками, грамматики которых пока неизвестны.

Исследование развития и использования средств МК не является ни в коем случае делом исключительно техническим или экономическим, но оно имеет свои важные социологические, демографические, культурно-политические и другие аспекты. Степень развития МК является одним из показателей состояния данного общества, как показывают некоторые международные сопоставления.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МК

Важность проблематики МК для психологического исследования вытекает из того, что оба главных звена процесса МК, т. е. коммуникатор и реципиент, являются живыми существами, а само общение является человеческим продуктом. Партнеры по комму-

⁶ Л. Богарт [Bogart, 1967] предсказывает, что в будущем развитие техники создаст предпосылки того, что отдельные реципиенты смогут прямо вступать в связь с коммуникатором. Впрочем, некоторые элементы обратной связи уже существуют в МК, например звонки слушателей в редакции радио и телевидения в течение передачи и т. д.

никации действуют в рамках разных социальных отношений; отсюда вытекает необходимость социально-психологического изучения МК. Самой важной знаковой системой при передаче информации в МК является естественный язык⁷, из чего и вытекает необходимость социально-психологического изучения МК. Необходимо иметь в виду, что психологической теории МК до сих пор не существует, хотя определенные тенденции к ее созданию уже намечаются [см., например, Maletzke, 1963]. Современные психологические исследования МК представлены большим количеством экспериментальных работ, посвященных изучению прежде всего социально-психологических характеристик реципиента МК (например, влияние МК на изменения установок и т. д.).

Для наглядности попытаемся расчленить психологические исследования МК на следующие группы: исследования коммуникатора, реципиента, сообщения и эффектов.

1. Психологическое исследование коммуникатора. Пока существует очень мало работ, занимающихся психологическим анализом коммуникатора в МК. Судя по опубликованным исследованиям, изучают прежде всего «сторожа ворот» («gatekeeper studies»). Этот термин обозначает специальную функцию коммуникатора в МК, а именно принятие решения относительно информации: какие сообщения должны быть включены в МК и какие исключены. От этого зависит также исследование собственной коммуникативной деятельности коммуникатора: существуют, например, исследования изменений (грамматических и др.) в процессах кодирования при условиях стресса (например, если коммуникатор формирует сообщение, содержание которого противоречит его взглядам и т. д.) [Greenberg a. Tannenbaum, 1962].

При исследовании коммуникатора в МК существует много неясных и спорных проблем. Среди наиболее дискуссионных — вопрос о влиянии реципиента на деятельность коммуникатора, т. е. о приспособлении коммуникатора к явным или предполагаемым требованиям реципиента⁸. Хотя здесь не существует прямого влияния реципиента на коммуникатора в форме обратной связи, косвенное влияние в ряде случаев имеет место, например, на первый план выступает представление коммуникатора о себе самом и о реципиенте, оценка собственного сообщения, знание о его предполагаемых эффектах и т. д.⁹

⁷ Язык вместе с другими знаковыми системами помогает осуществлению человеческой коммуникации и интеракции; психологическое значение этой опосредствованности вскрыл в своих трудах Л. С. Выготский [1956] и др.

⁸ Этот вопрос имеет значение особенно для теории так называемой массовой культуры — см., например, [Kloskowska, 1964].

⁹ Например, в исследовании [Pool a. Schulman, 1959] было определено, что на деятельность коммуникатора (редактора) влияют его представления о предполагаемых реакциях реципиентов; эти представления имеют характер долговременных установок.

Как упоминает Малетцке, коммуникатор имеет в виду также спонтанные реакции реципиентов (письма читателей и т. д.), но эти реакции не являются репрезентативными и не создают верную картину читательских взглядов¹⁰.

Будущее психологическое и социально-психологическое исследование коммуникатора в МК будет, очевидно, сосредоточено также и на других проблемах — на личностных и других характеристиках коммуникатора (например, престиж), влияющих на контакт между коммуникатором и реципиентом; на детерминации деятельности коммуникатора (например, подбор информации, предлагаемой реципиенту), обусловленной собственными взглядами и установками, на влиянии отдельных типов и средств коммуникации с разной степенью «опосредствованности» контактов и т. д.

2. Психологическое исследование реципиента в МК проводится в нескольких направлениях. Изучаются как психические процессы, возникающие у человека, принимающего МК, так и социально-психологические характеристики реципиентов МК. Восприятие МК является сложным процессом, при котором важную роль играют операции селекции. В современном обществе человеку предлагается средствами МК гораздо большее количество информации, чем он вообще может воспринять. Поэтому он должен (осознанно или неосознанно) проводить отбор (селекцию). Операции отбора проходят у реципиента МК на нескольких уровнях.

В предкоммуникативной фазе реципиент выбирает средство (например, включить радиоприемник) или тип сообщения (например, спортивные известия). Селекция определяется разными факторами — из последних исследований вытекает, что важным селекционным фактором является разная популярность средств и разное предпочтение определенных типов сообщений у отдельных реципиентов и групп реципиентов. Гринберг [Greenberg, 1966] говорит о зависимости популярности газет и телевидения от возраста, пола и воспитания. Часто также приводится вывод о меньшем предпочтении телевидения лицами с высоким образованием; однако здесь скорее можно говорить о зависимости между количеством свободного времени и отношением к телевидению у разных лиц. Сравнительно интенсивно ведутся также исследования в области детской зрительской аудитории — было, например, доказано, что телевидение является главным средством МК детей в США [Schramm, 1964].

Другим фактором, влияющим на селективное восприятие МК, являются взгляды и установки реципиента. В этой связи проверялась гипотеза, что реципиенты МК склонны подбирать такие сообщения, с которыми они согласны [Freedman a. Sears, 1965]. Гипотеза соответствует «диссонантной теории» [Festinger, 1957],

¹⁰ По-видимому, в социалистическом обществе эти реакции имеют иной характер: см. [Игошин, 1969].

согласно которой человек активно стремится избегать информации, которая содержит взгляды, противоречащие его собственным.

На следующем этапе процесса МК, т. е. на коммуникативном этапе, у реципиента протекает ряд психологических процессов, а именно: а) восприятие и сосредоточение внимания, которые также имеют селективный характер, б) понимание сообщения; несмотря на большое количество экспериментальных работ, занимающихся проблемами понимания (см. ниже), мы знаем очень мало о сущности восприятия содержания и смысла сообщений в МК; в) представления и фантазия, роль которых, по-видимому, отлична у «образных» средств (фильм) и «необразных» (печать), г) эмоциональные и эстетические процессы у реципиента, д) так называемое психическое расстояние — по Малетке, это психологическая проблема, изучающая роль реципиента в процессе коммуникации (причем реципиент «забывает» свою роль и т. д.). Эти процессы вообще мало изучены, немногочисленные работы из этой области касаются только психологии личности. Как доказывает Умнов [1969] посредством анализа читательских интересов, эти психологические процессы обусловлены социальными факторами, и необходимо их изучать также с точки зрения социальной психологии.

Важной областью исследования реципиента МК становится изучение распространения сообщений. Этим изучением было открыто не только психологическое исследование МК, но также научное исследование МК вообще. Пионерскую работу здесь провел Д. Миллер в 1945 г. [Miller, 1945], изучая распространение известия о смерти президента Рузвельта среди американских студентов. Он узнал, что 91% исследуемой совокупности познакомился с событием в течение одного часа из радиопередачи, определенное время спустя об этом узнало уже 98% совокупности, из них 88% получили информацию от других лиц, 11% по радио и 1% из газет. Исследование Миллера было продолжено другими американскими работами, в которых были впервые ясно сформулированы основные исследовательские задачи ТМК, вытекающие из изучения распространения сообщений: а) проблема временного фактора МК (когда приходит впервые информация к адресату?), б) проблема приоритета коммуникатора (откуда получает адресат информацию — от других лиц или из какого-нибудь средства МК?), в) проблема эффектов МК (что делает адресат с полученной информацией? Будет ли искать ее подтверждения или передаст ее другому лицу и т. д.?).

Важным для изучения ТМК явилось высказанное Миллером положение о том, что большинство реципиентов получает важную информацию не прямо из определенного средства МК, а на основе интерперсональной коммуникации. Эта мысль была позднее опровергнута Ларсеном и Хиллом [Larsen a. Hill, 1954], и новейшие исследования привели ряд доказательств преобладающей роли МК при распространении информации. Например, в США

90% населения узнаёт о важных событиях посредством МК (прежде всего радио и телевидение); а «информационная насыщенность» достигается приблизительно в течение 48 часов [Deutschman a. Danielson, 1961]. Небольшая роль интерперсональной коммуникации при распространении информации касается однако только текущих событий, между тем как для общественно важных известий роль интерперсональной коммуникации гораздо больше. Например, несколько американских исследований, посвященных изучению известия о покушении на президента Кеннеди, подтвердили тот факт, что приблизительно половина населения узнала об этом событии на основе интерперсональной коммуникации [Spitzer, 1965]. Разрозненные результаты, полученные в социалистических странах, в общем подтверждают эту гипотезу об отношении интерперсональной и МК при распространении информации¹¹.

В связи с проблемой распространения известий некоторые исследователи стремятся доказать гипотезу «двухступенчатой коммуникации» [Katz a. Lazarsfeld, 1956]. По этой гипотезе в разных общественных слоях существуют форматоры мнений, т. е. люди, использующие в большей мере разные средства МК и влияющие в интерперсональной коммуникации на других людей. Хотя существование форматоров является несомненным, пока существует мало непосредственных доказательств двухступенчатой коммуникации в других совокупностях, кроме американских. Некоторые исследователи берут эту гипотезу под сомнение (Малетцке, Яноушек), не подтверждают ее и другие экспериментальные данные [Troidahl, 1966].

3. Психологическое изучение сообщения и изучение эффектов тесно взаимосвязаны и представляют ключ к объяснению сущности коммуникативного процесса в МК. Это объясняется следующими причинами: а) сообщение является продуктом кодирования со стороны коммуникатора и представляет поэтому данные для описания коммуникатора; б) сообщение является носителем стимулов, влияющих на адресата, и представляет поэтому не прямые данные для описания коммуникативного поведения адресата. Для исследований сообщения были также созданы специальные исследовательские методы, особенно «анализ содержания» (content analysis) прежде всего в рамках исследования эффектов сообщений. В принципе экспликация эффектов невозможна без анализа сообщения — эффекты можно объяснить, только когда нам известно, как они влияют.

Как мы уже сказали выше, эффекты понимаются как изменения и реакции в поведении реципиента в результате получения информации. Малетцке пытается классифицировать эффекты по следующим группам: а) изменения в поведении реципиента, б) изменения в знаниях, в) изменения во взглядах и установ-

¹¹ Интересные данные приводятся П. Симупом [Симуп, 1966].

ках, г) изменения в эмоциональной сфере, д) изменения в физической области (например, усталость, влияние на нервную систему и т. д.). В действительности эффекты бывают комбинированными, отсюда и вытекает неравномерность их изучения. Одним из главных недостатков исследований эффектов является то, что изучаются исключительно кратковременные эффекты, между тем как долговременные эффекты МК на жизнь индивида и общества вообще не изучены.

В теории коммуникативных эффектов объединяются два важных аспекта: а) психологический и социально-психологический (какие реципиенты и как оказываются под влиянием МК), б) психолингвистический (т. е. какие свойства сообщений вызывают эффекты у реципиента МК). Вторым аспектом мы займемся подробнее в следующем разделе.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МК

Проблематика психолингвистического анализа МК очень многогранна и сложна. Существующие исследования в этой области ориентированы в большинстве случаев на узкопрактические цели (например, для оценки эффектов МК), теоретические модели МК плохо обоснованы. Как известно, психолингвистика (теория речевой деятельности) стремится к созданию полной модели речевого процесса, включающего как собственно языковые, так и паралингвистические и др. проявления коммуникативного поведения человека. Естественный язык существует как важнейшая знаковая система, служащая переносу информации в МК, поэтому необходимость психолингвистического анализа МК очевидна. Как мы уже определили во вводной части, ТМК является скорее набором некоторых знаний и непроверенных гипотез, чем систематической научной теорией; в психолингвистике только наступает период переоценки и обобщения полученных эмпирических и экспериментальных данных. Поэтому в наше время пока еще не сформулированы даже самые основные исследовательские проблемы психолингвистики в отношении к МК. Из-за этих недостатков мы сосредоточимся в этом обзоре прежде всего на методологических проблемах психолингвистического анализа МК, т. е. на том, какие специфические методы были созданы для решения специфических речевых проблем МК.

Современные психолингвистические исследования МК посвящены прежде всего анализу сообщения, оставляя пока в стороне анализ деятельности коммуникатора (процесса кодирования сообщений в МК), в значительной степени также анализ деятельности реципиента (процесса декодирования в МК). В области декодирования (т. е. в процессе восприятия и понимания сообщений) в МК, основными психолингвистическими проблемами можно считать следующие: как протекает процесс понимания? Какие лингвистические (грамматические и др.) фак-

торы ему помогают и какие его тормозят? Какие стилистические свойства облегчают или затрудняют понимание? Каковы особенности процесса понимания при аудиальной, визуальной и аудиовизуальной перцепции текста? От каких индивидуальнопсихологических установок реципиента зависит правильность понимания текста? Как зависит понимание от степени непосредственности контакта между коммуникатором и реципиентом (например, у газетного текста, у текста, передаваемого по радио, телевидению и т. д.)?

Стремление к экспликации процесса понимания привело к созданию специальных исследовательских методов анализа сообщения (текста) в МК. В общем можно привести три группы методов: а) так называемый анализ содержания, б) меры стиливой затруднительности (меры «читабельности»), в) предиктивные методы.

Анализ содержания (content analysis) является сравнительно старым исследовательским методом¹² объективного, систематического количественного анализа содержания коммуникации [Berelson, 1952]. С его помощью исследователь старается описать сообщение так, что определенные его элементы сопоставляются и оцениваются с точки зрения их значения и важности. В анализе содержания имеет место оценка разных единиц языка (например, слова, имена, целые сообщения) и других явлений (например, длительность сообщения). Различают также, что и каким образом сообщалось (не только с точки зрения стиля, но также с точки зрения эстетических, психотехнических и других характеристик, например, вид шрифта, место сообщения на странице и т. д.). Собственной целью анализа содержания является получение выводов о всех компонентах коммуникативного процесса — о намерениях, установках коммуникатора, об эффектах, вызванных у реципиента и т. д. В более широком масштабе анализ содержания используется в целях политической и коммерческой пропаганды, в клинической психиатрии, в теории искусства и т. п. Из новейших работ по анализу содержания смотри особенно (Budd, Thorp, Donohew, 1967; *The Analysis of Communication Content*, 1969; North, 1963; *Language of Politics*, 1968). Хотя вопрос и касается метода количественной семантики, анализ содержания вызвал незначительный интерес у лингвистов — см. [Sebeok, 1959].

Некоторые исследователи относятся скептически к использованию анализа содержания; они показывают, что сам анализ не дает прямых доказательств о характере коммуникатора и реципиента. Этот недостаток преодолевается постепенно новыми методами, которые ведут к «психологизированию» этого подхода.

¹² По-видимому, впервые этот метод использовался А. Л. Балдуином [Baldwin, 1942] для характеристики коммуникатора на основе количественного тематического анализа писем.

Например, Осгуд [Osgood, 1960] измеряет ассоциативные и семантические отношения между элементами содержания и определяет влияние мотивации коммуникатора на стиль сообщения. Яноушек предлагает уточнение анализа содержания при помощи полного (контекстного) понимания акта коммуникации. Между тем как в обыкновенном анализе содержания выделяются элементы значения и по их характеру объясняются намерения и эффекты, в предлагаемом Яноушеком анализе эти элементы выделяются на основе реакций участников коммуникации. Близка этому пониманию модификация анализа содержания, предложенная Кацем [Katz, 1966].

Стремление объяснить процесс понимания сообщений в МК вело дальше к специальному анализу текстов с точки зрения стилевых характеристик, которые облегчают или затрудняют понимание. Отсюда возникают «меры стилевой затруднительности»¹³, которые основаны на предположении, что каждое языковое сообщение можно характеризовать как множество определенных свойств, которые измеримы при помощи методов квантитативной стилистики [Statistics and Style, 1969; Kraus and Polák, 1967].

Меры стилевой затруднительности — это формулы, служащие для оценки сложности стиля определенных текстов для реципиента. Эта оценка должна быть в высшей степени объективной и по возможности обобщающей, чтобы характеристики стали приложимыми к текстам разных стилей. Дальнейшим требованием является то, чтобы формулы были достаточно просты, т. е. чтобы их приложение к разным типам текстов не вызывало затруднений. Только на материалах английского текста было разработано несколько десятков формул для измерения стилевой затруднительности, особенно для печатных текстов: подробный обзор разных мер и оценок их надежности и взаимоотношения между ними см. [Klare, 1963]. Существуют, однако, также меры для текстов устной речи [Fang, 1966—67].

В качестве примера приведем формулу Флеша, которая является одной из наиболее простых и часто используемых [Flesch, 1960, 419—420]:

$$R. E. = 206,835 - 0,846 \text{ wl} - 1,015 \text{ sl},$$

где R. E. — сложность стиля (reading ease), wl — число слогов на 100 слов, sl — средняя длина предложения, измеренная в количестве слов. Формула Флеша основана только на двух лингвистических переменных, как и большинство других мер — на длине слов (в слогах) и на длине предложений (в словах). Обе эти

¹³ В западной литературе пользуются термином «меры читабельности» (measures of readability), который мы не считаем точным, так как «читабельность» включает в себя также другие характеристики текста, а не только стилевые (например, типографские), между тем как нас интересуют исключительно стилевые характеристики.

переменные были установлены для разных языков (также для русского) [Лесскис, 1963] как стиливые характеристики. Формула Флеша, однако, неприменима к другим языкам по нескольким причинам. Средняя длина слов в количестве слогов зависит не только от стиля, но также от типа языка (напр., в английском она меньше, чем в русском). Сомнительно также, что сложность стиля может измеряться только двумя характеристиками. Этот общий недостаток устраняется стремлением получить более комплексные формулы, которые могут быть получены на вычислительных машинах [Danielson a. Bryan, 1963], так, например, получены характеристики для разных уровней языка на материале славянских языков [Mistrik, 1968; Мацковский, 1970].

Нужно учитывать, что формулы читабельности основаны только на определенных свойствах текста, без учета знания действительных реакций адресатов сообщений. Определенная ограниченность этих методов привела к тому, что были разработаны так называемые предикативные методы, использующие разные психолингвистические эксперименты. Этими методами оценивается сложность, понятность, интересность и другие свойства сообщения, влияющие на понимание (см. Краус, 1970). Среди этих методов выделяется так называемая *cloze procedure*, разработанная В. Л. Тейлором [Taylor, 1953, 1956]. Она состоит из предикции слов, систематически опущенных (напр., каждое 5-е слово) в тексте. *Cloze procedure* в сущности измеряет предсказуемость лексических единиц при знании левого и правого контекстов у испытуемого.

Метод *cloze procedure*, так же как и другие методы, измеряющие «контекстные ограничения» (т. е. влияние предшествующего текста на выборку последующей единицы языка), значительно влияет на изучение стохастических свойств языкового поведения. Хотя вероятностная модель формирования и восприятия высказывания и оспаривается, все же методы, разработанные сначала только для практических целей МК, помогают развитию психолингвистической теории. Систематическое психолингвистическое исследование МК невозможно, однако, без выполнения определенных предпосылок, которые должны быть сформулированы как в рамках лингвистики и стилистики при анализе типов сообщений в МК¹⁴, так и в рамках социолингвистики при разработке теории социальных факторов, обуславливающих общественную коммуникацию [Moscovici, 1967], а также психологии при экспериментальном исследовании разных индивидуально-психологических и социально-психологических факторов человеческой коммуникации.

¹⁴ Этот анализ или вовсе не проводится, или проводится только на газетном материале, см., например, [Сиротинина, 1968].

Глава 20

ТЕОРИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Для построения объективной, чуждой вкусовым оценкам теории культуры речи необходимо широкое обращение к психолингвистике или — шире — теории речевой деятельности. Центральное понятие «правильности» речи — литературно-языковая норма — не может быть определено, исходя лишь из внутренних системных факторов языка, и требует изучения, в частности, психологических законов, управляющих речевой деятельностью. Наряду с социологическими факторами, эти последние в значительной мере определяют «норму» и — шире — «культурность» литературного выражения.

Психические факторы во многом определяют «языковой вкус» эпохи, воздействующий на понимание «правильного» и «неправильного», «недопустимого» и «желательного», а следовательно, играющий часто основную роль в процессе нормализации — как собственно научно-педагогической, так и стихийно-произвольной (изменение узуса). Эти факторы определяют разное отношение к «искажению» нормы в устной и письменной речи, а также в разных речевых жанрах и речевых ситуациях. Их учет поэтому необходим для построения «теории речевых заданий» (типологии речи) — важнейшей части учения о культуре речи.

Психологические факторы во многом определяют действие культурно-исторической функции языка, обеспечивающей устойчивость и традиционную преемственность литературного выражения. Являясь частью проблемы «общественной памяти», эта функция особенно наглядно прослеживается при анализе заимствований в разные эпохи развития языка и общества.

Видимо, за счет индивидуально-психологических факторов, принимающих иногда социально-групповой характер, можно отнести многочисленные и очень существенные для теории культуры речи факты «лексической идиосинкразии» и, напротив, пристрастия к той или иной лексике. В определенные эпохи развития общества эти факты принимают особенно массовый характер (военная лексика, «космическая» лексика и под.). В значительной мере на психологической основе покоятся и оценки говорящими речи — проблема, входящая в состав теории речевой культуры.

Не все из перечисленных здесь проблем могут в настоящее время получить аргументированное освещение. Это вынуждает нас выделить из всего комплекса вопросов, связанных с теорией культуры речи, только несколько и в первую очередь обсудить проблему нормы.

По-видимому, в теории культуры речи нельзя обойтись без понятия нормы, какую бы теоретическую позицию мы ни занимали и какой бы точки зрения («объективной» или «нормативной») ни придерживались. Литература вопроса огромна (Шварцкопф, 1970б). Даже только в последние годы проблема нормы анализировалась несколько раз (Филин, 1966; Ицкович, 1968; Скворцов, 1970; Ицкович, 1970; Семенюк, 1970]. В настоящей главе излагается понимание нормы, ранее развивавшееся авторами в других публикациях [Костомаров и Леонтьев, 1966; А. А. Леонтьев, 1969д; Шварцкопф, 1970а].

Начнем с того, что понятие нормы выступает в лингвистике вообще и в теории культуры речи в частности в двух аспектах, соотношение которых друг с другом далеко не ясно. С одной стороны, норма является коррелятом системы (и иногда и узуса). Этот подход особенно характерен для Э. Косериу и его последователей. Исходя из подобного подхода и развивая взгляды Косериу, Н. Н. Семенюк определяет норму как «совокупность наиболее устойчивых, традиционных реализаций элементов языковой структуры, отобранных и закрепленных общественной языковой практикой» [Семенюк, 1970, 555]. Норма в этом смысле противопоставлена системе, во-первых, как реализация — потенции; во-вторых, как модель потока речи иного уровня абстракции¹; в-третьих, поскольку система предполагает возможность различных традиционных реализаций, эти последние находятся друг с другом в отношении противопоставления, специфического именно для нормы. Что касается узуса («индивидуальной речи» Косериу), то эта категория необходима потому, что понятие нормы отнюдь не покрывает всех возможных в данном языке реализаций. Ее взаимоотношение с категорией нормы еще менее ясно, так как оба эти понятия, по-видимому, характеризуют реализации системы.

Специфику такого «узколингвистического» подхода к норме хорошо раскрыла Н. Н. Семенюк. Она пишет: «Структура языка полностью предопределяет реализацию лишь тогда, когда отсутствует возможность выбора между знаками. В этом случае к норме относится определение материальной формы знака, в чем проявляется наиболее существенная, реализующая сторона нормы. При наличии выбора между знаками не только конкретная форма их реализации, но и выбор одного, а не другого знака от-

¹ В случае системы (структуры) берется лишь система функциональных противопоставлений, в случае нормы — системы тождеств. См. об этом также выше (гл. 4).

носится к нормативному плану языка, в чем проявляется вторая — селективная сторона нормы» [Семенюк, 1970, 560]. Ср. также: «изучение нормы сводится к анализу наблюдаемых форм реализации, общих по крайней мере для группы носителей языка и противопоставленных другим реализациям» [А. А. Леонтьев, 1969д, 82].

Второй, «культурно-речевой» подход к норме с наибольшей ясностью представлен в определении, данном С. И. Ожеговым: «... Норма — это совокупность наиболее пригодных («правильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества средств языка, складывающаяся как результат отбора языковых элементов... из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов» [Ожегов, 1955, 15]. Развивая эту точку зрения, Ф. П. Филин прямо пишет: «Норма... или отклонение от нее проявляются в том или ином использовании (выборе, отборе) сосуществующих в языковой системе однозначных элементов... Там, где нет возможностей выбора, нет и проблемы нормы» [Филин, 1966, 17]. Это тот аспект изучения нормы, о котором Н. Н. Семенюк говорит, что нормативные реализации «в свою очередь можно рассматривать в двух планах. Во-первых, с точки зрения их устойчивости; при этом рассматриваются как константные, так и варианты реализации, входящие в норму, и определяется допустимый для изучаемого языка на определенных участках реализации его структуры диапазон варьирования... Во-вторых, можно рассматривать эти реализации с точки зрения их... распределения по разным сферам использования языка» [Семенюк, 1970, 560].

По-видимому, все зависит от того, рассматриваем ли мы речевое поведение с точки зрения его инварианта (и, соответственно, берем в качестве предмета характер вариантности и дифференциальные признаки различных вариантов) или с точки зрения его конкретного варианта (и обращаемся в первую очередь к обуславливающим его факторам, оставляя в стороне другие существующие варианты, в данных условиях невозможные). Однако даже и при втором подходе проблема потенциальной противопоставленности данного варианта другим в принципе не снимается. Поэтому целесообразно попытаться выработать такую систему категорий, которая позволила бы объединить оба подхода в рамках одной теории.

По нашему мнению, важным шагом в этом направлении может послужить понятие системы норм. Под системой норм мы предлагаем понимать совокупность противопоставленных друг другу рядов нормативных реализаций (вариантов)², каждая из

² В отличие от термина «реализация», мы употребляем здесь и далее термин «вариант» в значении реализации, функционально противопоставленной другим реализациям.

которых закреплена за определенными условиями речевого употребления.

Мы употребили здесь слово «рядов», чтобы подчеркнуть тот факт, что противопоставлены друг другу отнюдь не изолированные реализации, не «что» и «што» или «гриб» и «грыб», а пласты, совокупности реализаций, ощущаемых говорящим как принадлежащие к одной норме. Если такие изолированные реализации и оказываются функционально противопоставленными, то всегда как сигнал противопоставленности соответствующих норм. Это важно подчеркнуть, так как материально одни и те же элементы могут быть использованы в различных нормативных противопоставлениях [Михайловская, 1967].

Система норм может быть иначе понята как своего рода организация множеств способов реализации возможностей, предоставляемых системой языка. Эта организация осуществляется по разным критериям, разным «измерениям». Это, во-первых, различного рода функционально-речевые варианты. Сюда относятся варианты, связанные с разными функциями языка, функциями речи, формами языка и речи (см. о них гл. 16 настоящей книги). Затем сюда относятся варианты, соотносимые с различными формами общения — устной и письменной, диалогической и монологической. Наконец, основную по значимости категорию функционально-речевых вариантов составляют варианты функционально-стилистические (см. гл. 18, а также [Кожина, 1968] и др.).

Во-вторых, различие норм (вариантов) может происходить за счет половой и возрастной дифференциации языкового коллектива. Сюда относятся столь популярные у этнолингвистов «женские языки». Так, В. Г. Богораз пишет: «Одной из любопытных особенностей дуораветланского языка является особое женское произношение. Женщины в отличие от мужчин произносят вместо *ч* и *р* только *ц*, в особенности после мягких гласных» [Богораз, 1934, 7].

В-третьих, различие норм может быть связано с социальной дифференциацией языкового коллектива. Сюда относятся кастовые, классовые, социально-групповые отличия.

В-четвертых, могут противопоставляться друг другу территориальные варианты, как это происходит, в частности, в русском литературном языке («московское» и «ленинградское» произношения), в еще большей мере — в английском, в еще большей — в немецком.

Из сказанного должно быть очевидным, что система норм, будучи важнейшей категорией теории культуры речи, не может быть, однако, выявлена без обращения к общей теории речевой деятельности и в первую очередь — без детального анализа причин и факторов появления различных фиксированных реализаций языковой системы. На это еще в 1961 г. обратил внимание В. В. Виноградов, писавший: «Ясно главное: понимание языка как специфической структуры, как системы взаимосвязанных элемен-

тов... не может охватить всего многообразия явлений и проявлений общественного функционирования речи, всех форм, видов и фактов социально-речевой действительности, всех реальных манифестаций, воплощений и трансформаций языка» (Виноградов, 1961, 10—11).

Когда в 1966 г. нами был выдвинут критерий «коммуникативной целесообразности», многие поняли его упрощенно — как призыв не считаться с языковой традицией и руководствоваться односторонне прагматическими соображениями. При этом не учитывались два важнейших момента. Во-первых, понятие целесообразности высказывания совершенно не влечет за собой с необходимостью только прагматическое толкование целесообразности. Допустим, что я употребил в определенной ситуации запретную «цензурную» лексику и добился в данном случае желаемого. Значит ли это, что цензурное высказывание было целесообразно? Конечно, нет, потому что оно вызывает у собеседника и слушателей отрицательную реакцию и в конечном счете оказывается для меня отнюдь не оптимальным способом выражения своей мысли. Одним словом, целесообразность имеет много общего с понятием эффективности речевого воздействия, как это последнее практикуется в психологии и социологии массовой коммуникации (ср., например, [Скиба, 1969; Бойко, 1962]): она может быть оценена на разных уровнях и абсолютно не сводима к однозначному «да—нет». Именно поэтому для культуры речи крайне существенны индивидуальные и общественно-групповые оценки речи говорящими, ибо они не только являются (правда, в разной мере) объективным показателем функциональной адекватности высказываний, но и сигнализируют о том, по какому критерию данное высказывание адекватно, на каком уровне оно целесообразно или эффективно (ср. также ниже). Во-вторых, говоря о традиции, следует различать два ее аспекта. Традиция может быть связана с традиционной закрепленностью за данной речевой ситуацией тех или иных языковых средств; но в этом смысле традиция входит в понятие коммуникативной целесообразности как одна из сторон такой целесообразности. Еще раз подчеркнем: здесь понятие традиции не только не противопоставлено понятию коммуникативной целесообразности, но и предполагается этим последним. Однако традиция может пониматься (и часто понимается) и иначе — как констатация наличия в общем «тезаурусе» языкового коллектива тех или иных элементов, которые говорящему предлагается широко использовать в общении именно и только на основании самого факта наличия и исторического постоянства этих элементов (или, напротив, запрещается использовать только на основании факта отсутствия данных элементов в общеязыковом культурном фонде). На подобное понимание традиции опираются как ни странно, представители обеих крайностей: и пуристы, и литераторы, ратующие за безбрежное и бесконтрольное использование в литературном языке любых

речевых образований, подходящих по денотативной функции и кажущихся автору субъективно приемлемыми (критику такого подхода см. [Григорьев, 1961]).

Возникает вопрос, насколько сказанное здесь уместно в приложении к норме литературного языка. Думается, однако, что вслед за В. Д. Левиным и Н. Н. Семенюк следует признать, что «специфическим признаком литературных норм... является не столько обязательность, сколько обработанность и осознанность» [Семенюк, 1970]. Литературная речь имеет меньше функциональных вариантов; ее можно представить как организованное подмножество внутри организованного множества общезыковых реализаций. В каждой данной речевой ситуации в этом случае действуют дополнительные факторы, сужающие потенциальные возможности реализаций.

Из сказанного следует совершенно определенный вывод относительно понятий нормы и нормализации³ в их традиционном (лингвистическом) осмыслении. Нет общей нормы, которая была бы в равной степени приемлема для всех случаев общения. Есть система норм, дифференцированных применительно к различным признакам речевой ситуации и к другим характеристикам общения. В научно поставленной культуре речи нет места нормализации как тенденции к формированию некоторого абстрактного образца и дальнейшему «подравниванию» речи всех и вся под этот образец. Нормализация речи предполагает более сложный, но неизмеримо более плодотворный путь к осмыслению функционального многообразия речевых явлений, анализу коммуникативной целесообразности речевых высказываний в различных условиях общения и дальнейшему абстрагированию характерных для данных факторов общения языковых характеристик этих высказываний, ср. [Винокур, 1929а].

Однако у нормы как категории теории культуры речи есть и другая существенная сторона — социально-психологическая, к рассмотрению которой мы сейчас перейдем.

В социально-психологическом аспекте языковая норма ничем принципиально не отличается от других видов социальных норм поведения. Определим ее через понятие конвенциональной роли, которую будем вслед за Т. Шибутани понимать как «представление о предписанном шаблоне поведения, которое ожидается и требуется от человека в данной ситуации, если известна позиция, занимаемая им в совместном действии» [Шибутани, 1969, 44]. Экспектации других людей относительно особенностей речи данного человека соответствуют его конвенциональной роли: мы всегда, начиная воспринимать чью-либо речь, сознательно или бессознательно прогнозируем не только ее формальные,

³ Нормализация понимается нами как «активное вмешательство в языковой процесс», в отличие от кодификации как «отражения в правилах» объективной языковой данности [Ицкович, 1970, 14].

внешние признаки, но и ее содержательные характеристики, в зависимости от нашего знания или впечатления о личности говорящего. Такое прогнозирование, связанное с формированием установки, с особенной ясностью выступает в условиях ораторской речи и массовой коммуникации; нередко бывает, что, уже видя оратора на трибуне, мы знаем очень многое и о том, что, и о том, как он скажет. Такие экспектации бывают трех видов: а) экспектации, соотносимые с ситуацией как таковой; б) экспектации, соотносимые с позицией говорящего; в) экспектации, связанные с характером действия, т. е. в нашем случае — с социально-психологическими функциями речевого общения, с местом речевого акта в общей системе деятельности социальной группы.

Наиболее просты и не требуют специального анализа экспектации, связанные с особенностями ситуации. Они находят отражение в том, что известный советский языковед Л. П. Якубинский в своей замечательной статье «О диалогической речи» [Якубинский, 1923] назвал «формами общения»: устная — письменная, контактная — дистантная, монологическая — диалогическая речь. Экспектации, соотносимые с позицией говорящего, отражаются в стилистической организации речи или — там, где такие особенности имеются — в социалингвистических ее особенностях. Например, во всех языках, в том числе в современном русском, имеются принятые формы обращения, зависящие, в частности, от социального статуса говорящего относительно адресата речи; в некоторых обществах такая система обращений весьма разветвлена и очень чувствительна к разного рода социологическим факторам. Это относится, например, к народам Юго-Восточной Азии. Наконец, экспектации, соотносимые с социальными функциями речевого общения, отражаются прежде всего в различных формах речи (примеры таких форм: поэтическая речь; магическая речь; использование речи как орудия установления или подтверждения контакта, например, при телефонном разговоре; речь как диакритика в трудовых процессах, когда используются специальные речевые подсистемы, например «майна—вира» и т. д., см. главу 16). Социальные и социально-психологические функции речевого общения, к сожалению, исследованы крайне слабо.

Из сказанного можно заключить, что мы относим разнообразие речи говорящего в разных условиях за счет различия экспектаций слушателей, осознаваемых им. Это действительно так: говоря, человек чаще всего бессознательно выбирает вариант, соответствующий его представлениям о том, чего ожидают от его речи слушатели. В этом аспекте языковую норму можно определить как форму самоконтроля говорящего, соотносенную с его представлением об экспектациях других членов группы относительно особенностей его речи.

Это, однако, лишь одна сторона нормы — норма, существующая в виде имплицитного знания говорящего о том, как ему «можно» и «надо» говорить (или, напротив, как ему говорить

не следует). Назовем ее имплицитной нормой. Но она может быть выражена и во внешних формах, задана говорящему в виде эксплицитного правила, которое он должен усвоить и выполнение которого он должен сознательно контролировать. Именно так понимаемая норма, которую можно назвать эксплицитной нормой, является пока что прежде всего предметом теории культуры речи.

Как и нарушение любой иной нормы, нарушение языковой нормы может повлечь за собой негативную реакцию группы. Правда, в этом случае обычно не возникает прямых санкций, однако реакция, как всем хорошо известно, приобретает нередко довольно ощутимые формы. Важно отметить здесь, что обманутые экспектацией группы в отношении речи, особенно письменной, часто находят внешнее выражение в различных оценках своей и чужой речи. Поэтому изучение таких оценок имеет большую эвристическую значимость и для выявления самих экспектаций, и вообще для изучения социальной психологии речи. Систематическое их собирание и изучение было предпринято в последние годы в секторе культуры речи Института русского языка Б. С. Шварцкопфом [1970а].

Обращение к социальному аспекту языковой нормы позволяет внести ясность в один запутанный вопрос о теории культуры речи — именно в вопрос об абсолютном или относительном характере нормативности. С изменением параметров, определяющих роль, меняется и сама роль; один и тот же человек, одна и та же личность принимает на себя различные роли в зависимости от различных факторов. Отсюда и понятие языковой нормы не может не быть динамичным и зависит от ряда переменных. Едва ли не самое важное место в этом ряду занимают переменные, связанные с позицией индивида в той или иной социальной группе, в которую он входит. Иначе говоря, один и тот же человек в разных обстоятельствах, выполняя различные роли, старается говорить по-разному, подстраиваясь (по мере возможности) к своему представлению о том, чего от него в данном случае ожидают. Позволим себе привести здесь один очень яркий пример. На обращенный к покойному вице-президенту АН СССР И. П. Бардину вопрос В. Г. Костомарова, как он говорит: *километр* или *ки́лометр*? — был получен такой ответ: «Когда как. На заседании Президиума Академии — *километр*, иначе академик Виноградов морщиться будет. Ну, а на Новотульском заводе, конечно *ки́лометр*, а то подумают, что зазнался Бардин» [Костомаров и Леонтьев, 1966, 5]. Здесь интересна и другая сторона — специфический характер санкций группы.

Это опять-таки диктует необходимость говорить не об абстрактной языковой норме, раз и навсегда установленной для всех случаев жизни, а о гибкой системе таких норм, соотношенной с целым рядом факторов начиная с системы социальных групп, образующих данное общество.

Особый интерес представляет (и фактически не исследовалась лингвистами) социологическая иерархия языковых норм. Мы имеем в виду, что речевые экспектации могут носить более или менее общий характер. Поэтому в системе норм разные нормы не равноправны. Я могу оптимальным образом общаться с членами малой группы, сколь угодно далеко отклоняясь от общеязыковых требований; но эти последние продолжают существовать и накладывают на мою речь гораздо более общие, более часто мной реализуемые ограничения. В приведенном только что примере норма *километр* — общеязыковая, принятая в обществе как целом, и академик Виноградов здесь выступал как рупор общества. Норма же *кило́метр* — групповая. Есть и такие нормы, которые принадлежат даже не одному обществу, а совокупности обществ, относящихся к одному типу культуры. Примером подобных норм являются запреты на употребление определенных слоев лексики, скажем, бранных слов; так называемые эвфемизмы — употребление описательных выражений для предметов или явлений, считающихся неприятными или неприличными, и так далее. Дифференциация норм разной социальной «глубины» доступна, как правило, лишь специалисту. Рядовой же носитель языка такой дифференциации осуществить не может. Это приводит его к тому, что «ближайшая», наиболее ясно ощущаемая им норма — а это обычно групповая норма — генерализуется им и воспринимается как единственно возможная. Поскольку в его группе принято говорить так-то, он начинает полагать, что говорить так следует всюду и всегда. Эту тенденцию можно с ясностью проследить на письмах, приходящих в Институт русского языка Академии наук СССР.

Выше мы говорили об эксплицитной норме. Формы ее экспликации могут быть различными. Прежде всего это социально-речевой образец. Есть два основных канала, где общеязыковая норма выступает в форме образца: школа и массовая коммуникация. С другой стороны, не всякий человек, выступающий по радио или телевидению, оказывается для говорящих носителем образца; серьезную роль здесь играет проблема авторитетности (престижа) носителя образца в данной группе. Эта сторона проблемы нормы лингвистами совершенно не разрабатывается. Что касается школы, то проблема социально-речевого образца, к сожалению, до сих пор не получила разработки применительно к задачам обучения.

Социально-речевой образец выступает и в тех случаях, когда норма имеет групповой характер. Здесь он передается в процессе реального межличностного общения, так сказать, из уст в уста. Есть основания думать, что проблема авторитетности здесь играет меньшую роль: употребляя тот или иной вариант, мы чаще всего не можем восстановить источник его заимствования, вспомнить, от кого мы его слышали.

Вторая форма экспликации нормы — это система обобщенных

правил нормативного употребления, изложенная в виде ряда предписаний типа: «Говори так-то, а не так-то». Это так называемая кодификация нормы.

Целый ряд вопросов, связанных с изложенным здесь пониманием нормы, нами не затронут. Это касается, в частности, понятия социального диалекта, проблемы выбора языка общения в условиях двуязычия и так далее. Особенно важно иметь ясную картину социальных и социально-психологических функций речи.

Остановимся теперь подробнее на некоторых более частных проблемах, вскользь затронутых нами выше. Таких вопросов два: 1) формирование правильной речи в школе; 2) оценки говорящими своей и чужой речи.

Анализируя задачи обучения ребенка в школе родному языку, А. М. Пешковский писал в свое время, что задача курса грамматики — «научить литературному наречию данного языка, отучить школьника от особенностей детской, областной и разговорно-литературной речи, провести в его языковом сознании резкую различительную черту между литературным и не-литературным, «правильным» и «неправильным» [Пешковский, 1922, 49]. Иными словами, ставится задача научить школьника сознательному анализу там, где он стихийно употреблял те или иные языковые средства, а это значит — сделать само употребление более тонким и более точным. Для этой цели совершенно недостаточно просто указывать, что правильно, что неправильно. Еще тот же Пешковский резко критиковал практику воспитания «правильной речи» исключительно путем «исправления неправильностей и замены их «правильностями»»: «...обучить правильной речи, только «следя» за ее правильностью, едва ли легче, чем обучить медведя мазурке: ведь и тут мы могли бы сказать, что надо только «следить», чтобы каждое движение зверя было изящно, грациозно и соответствовало основной структуре данного танца... Занятие грамматикой является не только непрерывной дифференциацией языковых представлений, но и развитием самой способности дифференцировать их... Расчленение речевых представлений является... условием... для культурного говорения» [Пешковский, 1959, 121—124].

К сожалению, эти часто цитируемые слова А. М. Пешковского чаще всего понимаются методистами крайне упрощенно. Так, в известной брошюре В. А. Добромыслова, посвященной развитию речи, указываются следующие качества, которые «мы должны прививать речи учащихся»: а) содержательность, б) идейность, в) логичность, г) образность, д) эмоциональная выразительность, е) правильность, под которой понимается «соблюдение определенных норм литературного языка» [Добромыслов, 1954, 4]. Более расчлененно подаются задачи развития речи в книге С. П. Редозубова [1963, 310—312], но задача дифференциации языковых представлений ребенка, ситу-

ативной (в широком смысле) связанности различных языковых форм не ставится и здесь. В объяснительной записке к проекту новой программы, введенной несколько лет назад, о «сознательном анализе своей речи и речи товарищей» говорилось лишь «с точки зрения ее соответствия литературным нормам». На этом фоне совершенно чужеродным телом выглядит правильный тезис о «значении отбора языковых средств в соответствии с ... речевой ситуацией». Впрочем, он соседствует с абзацем, где «изобразительные и выразительные средства русского языка» сводятся к перечню тропов и фигур.

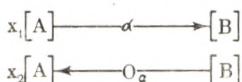
Огромное значение здесь имеет, конечно, то, насколько подготовлен к воспитанию речи школьников сам учитель-словесник, и думается, что ориентация исключительно на «правильность» частично коренится в неумении самих словесников свободно владеть богатством выразительных возможностей русского языка. Конечно, гораздо легче «вылавливать» в речи школьников отступления от литературной нормы, чем растолковать им (и не только растолковать, но и подтверждать это каждодневно собственным примером!), какие языковые средства (и вообще какие коммуникативные средства) наиболее целесообразно употребить в том или ином случае. Мало кто из нас — включая сюда и учителей — владеет даже начатками ораторского искусства (если понимать его, конечно, не как знание риторических приемов, а как свободное и гибкое владение навыками речи в любых условиях и с любой целевой установкой).

Так или иначе, но не подлежит никакому сомнению, что развитие речи школьника следует начинать с развития речи учителя. Однако ничего даже отдаленно напоминающего такую задачу мы в педагогических институтах, равно как и в других вузах, сейчас не наблюдаем.

С проблемой формирования нормы связана другая — проблема оценок речи (говорящим или слушающим). Под оценками речи понимаются возникающие в процессе речи в самом ее тексте эксплицитные (словесно или — для письменной речи — графически выраженные) суждения говорящего или слушающего об употребляемых языковых средствах. Способы выражения оценок речи весьма разнообразны: наряду с развернутыми словесными оценками — высказываниями, имеют место стандартные формулы оценок — закрытые (типа *как говорится, что называется* и т. п.) и открытые (типа *как говорят шоферы, физики ...*, *как говорили тогда, как говорят теперь* и т. п.); наиболее распространенный способ выражения оценок в письменной речи — кавычки, эквивалентом им могут выступать разрядка, курсив, полужирный шрифт (подробно об оценках речи см. [Шварцкопф, 1970 а]).

Содержание оценок речи (их цель) — стремление устранить помехи в общении, связанные с различием норм говорящего и слушающего: «Когда у одного из собеседников свои, не общепринятые нормы произношения, то они неизбежно привлекают

внимание слушателей, как необычность и странность, — привлекают в ущерб обдумыванию и пониманию смысла речи» [Панов, 1967, 294]. В связи с этим основная масса оценок речи может быть разделена на два класса. Первый — речевая критика — имеет место в диалоге: слушающий (В) в своей реплике (x_2) дает оценку (0) какому либо факту речи (α), употребленному говорящим (А) в своей реплике (x_1). Схематически это можно изобразить так:



Оценка речи направлена здесь на устранение реальной помехи — на предупреждение употребления факта речи α в дальнейшем.

Второй класс — аргументация употребления в речи — реализуется как оценка говорящим факта речи, употребленного им самим в своем сообщении (оценка речи и оцениваемый факт речи находятся в одном тексте). В основе оценки речи здесь лежит представление говорящего о (возможном) несоответствии употребленного языкового средства норме слушающего — отсюда стремление предупредить возможную помеху (возможную со стороны слушающего речевую критику); поэтому такая оценка речи является контркритикой. Схематически это можно изобразить так:



В работах по культуре русской речи выявились два аспекта нормы: 1) норма как общеобязательное правило употребления языковых средств в речи и 2) норма как образец, обязательный для всех, владеющих языком (разновидностью языка) [Крысин и др., 1961; Шварцкопф, 1967, 429]. Норма является единством образца и правил его употребления, что не исключает возможности рассмотрения ее в каком-либо одном из аспектов.

Для характеристики процесса возникновения оценок речи существен второй аспект — норма как «образец»: в основе установления соответствия факта речи норме-эталоноу, наличествующему в языковом сознании носителя языка, лежит сопоставление «данный факт речи — нормативный эталон» [Doroszewski, 1950]. В зависимости от характера языкового явления сам процесс сопоставления может быть непосредственным («подстановка») или сложным, состоящим из цепи предшествующих сличению операций, таких как а) квалификация факта речи как языкового явления⁴, б) определение его места в иерархии языковой системы [Шварцкопф, 1967, 54—55].

⁴ В том, что мы начинаем с языковой квалификации факта речи, а не с момента его восприятия, выявляется несоответствие аспекта нормы «правило — образец» плану «отправитель речи — получатель речи»: оценки речи могут иметь место и у получателя речи (речевая критика), и у отправителя речи (аргументация употребления в речи).

Часть V

НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 21

ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Психолингвистический подход к развитию детской речи предъ- является к интерпретации ее «сырого материала» определенные требования. Во всяком случае, представляется ошибочным мнение, что чисто лингвистическое описание последовательности появления в речи ребенка тех или иных языковых фактов, классическим образцом чего является монография А. Н. Гвоздева [Гвоздев, 1961], способно дать нам достоверную информацию относительно реальной взаимосвязи и внутренней обусловленности последовательных этапов развития языковой способности.

Однако такой односторонне лингвистический подход к детской речи, в лучшем случае венчаемый количественным анализом, весьма распространен в современной литературе вопроса. Он не только характерен для большинства старых работ по детской речи, но и по существу господствует в американской науке. Именно таков подход к детской речи Р. Якобсона и его школы [Jakobson, 1962; Weir, 1962, и др. работы]. В сущности к такой же лингвистической по преимуществу трактовке сводится концепция детской речи в трудах большинства психолингвистов трансформационалистского направления, о чем см. ниже.

По-видимому, глубоко прав был В. Гумбольдт, когда он указывал, что «усвоение детьми языка не есть приспособление слов, их складывание в памяти и оживление с помощью речи, но развитие языковой способности с возрастом и упражнением» [Humboldt, 1836, LXXI.] Иными словами, ребенок не просто имитирует или копирует в своей речи речь взрослых и тем более не просто случайно генерирует языковые высказывания, получая от взрослых их положительное или отрицательное подкрепление. Развитие его речи есть прежде всего развитие способа общения.

Этот тезис представляется нам исключительно важным, и он отнюдь не тривиален, особенно в свете распространенной сейчас теории «врожденных знаний». Перед ребенком стоит определен-

ная коммуникативная задача, степень сложности которой определяется потребностями обобщения и непосредственного речевого воздействия. (Интересный анализ возрастной динамики речевого воздействия см. [Гайдамак, 1969].) Чтобы разрешить эту задачу, ребенок должен располагать некоторым набором исходных средств. В качестве таковых и выступают слова «взрослого» языка и правила их организации в большие единицы — синтагмы и предложения. Однако ребенок не в состоянии использовать эти средства тем же точно образом, как они используются взрослым; этому препятствуют: а) уровень общего психического развития и б) уровень развития общения, т. е. характер социальных взаимоотношений ребенка с окружающими (детьми и взрослыми). Он точно воспроизводит (или, по крайней мере, старается точно воспроизвести, что удается ему не сразу) звуковой облик слова и его предметную отнесенность. Эти два аспекта ему даны обществом. Опираясь на эти нормативные данные, ребенок конструирует у себя под влиянием заданных ему обществом потребностей общения языковую способность; в зависимости от физиологических, психологических и социальных факторов он делает это сперва менее успешно (психофизиологическая организация языковой способности на этом этапе далека от организации ее у взрослого: это своего рода «первое приближение», могущее обеспечить лишь грубое уподобление речи ребенка речи взрослого), затем, когда развитие общения требует более сложного механизма, происходит реконструкция впредь до появления новых коммуникативных потребностей, требующих еще большего приближения, и т. д. — ср. [Эльконин, 1968].

В этой связи можно дать самую общую, принципиальную периодизацию детской речи. Это: а) период, когда ребенок еще не способен правильно усвоить звуковой облик слова; б) период, когда звуковой облик усвоен, но не усвоены структурные закономерности организации высказывания; в) период, когда все это усвоено, равным образом усвоена и предметная отнесенность слов, но не усвоена их отнесенность на «паразитивном» уровне (понятийная отнесенность). Отсюда три аспекта развития детской речи — фонетическое развитие, грамматическое развитие и семантическое развитие.

Особую проблему составляет функциональное развитие детской речи или, точнее, развитие речевого общения. Наконец, весьма мало и слабо описана эволюция процессов осознания ребенком своей речи. Очень важно разделить в анализе детской речи формирование речевых навыков и формирование речевых умений — разграничение, как известно, последовательно не проводившееся. Под формированием навыков мы имеем в виду складывание речевых механизмов, которые могут быть реализованы по-разному. Но ребенок должен научиться и использовать эти механизмы для различных целей — это и есть развитие речевых умений. Скажем, ребенок, способный бойко говорить со взрослым «лицом к лицу»,

не может общаться с ним же по телефону, хотя, казалось бы, с узко психолингвистической стороны этому ничто не препятствует. Общению при помощи сложившихся речевых механизмов надо специально учить.

Другое принципиально важное для исследования детской речи положение, частично следующее из сказанного выше, можно сформулировать следующим образом. Развитие речи ребенка никак не может быть охарактеризовано как эволюция речевых проявлений, но лишь как эволюция приемов речевого поведения в определенной ситуации. Не следует ожидать от ребенка, что он будет обязательно повторять в языковых деталях путь, известный нам по другим детям. То, что объединяет развитие разных детей — это совсем не лингвистические, а психологические или, точнее, психолингвистические универсалии (мы употребляем здесь слово «универсалии», не связывая с ним представления о врожденных свойствах, как это часто делается). Речевое, языковое развитие производно от психолингвистического. И, что особенно важно здесь подчеркнуть, — ребенок «выбирает» для своего развития такие «ходы», использует такие приемы, которые являются оптимальными при прочих равных условиях.

Подчеркнуть это необходимо прежде всего потому, что в современной зарубежной науке чрезвычайно распространена точка зрения, согласно которой ребенок обязательно использует ту или иную фиксированную стратегию, а не ведет себя эвристически. Ломаются копыя вокруг вопроса о том, что же это за стратегии. Целый ряд авторов во главе с Н. Хомским полагают, что она соответствует тому, что известно под развитием «порождающей грамматики» (см. в этой связи гл. 12). Существует целый ряд фундаментальных исследований развития детской речи, опирающихся на идею порождающих грамматик: помимо публикаций самого Хомского (например, Chomsky, 1965), сюда следует отнести многочисленные работы Д. Макнила [Mc Neill, 1966, 1970 etc.], работы П. Менюк [Menyuk, 1969], Слобина [Slobin, 1967, 1971], Блум [Bloom, 1970], Р. Брауна [Brown, 1970] и др. Работы, написанные с этой точки зрения, собраны в сборниках «Происхождение языка» [Genesis, 1966], «Усвоение языка» [Acquisition, 1964], «Биологические и социальные факторы в психолингвистике» [Biological, 1971]. См. также ценную хрестоматию «Детский язык» [Child Language, 1971].

Не говоря уже о том, что сама идея «порождающей» природы языковой способности, как она выступает в этих работах, весьма уязвима (ср. главу 12), многие наблюдения других авторов не подтверждают построений адептов «порождающей грамматики». Сошлемся хотя бы на недавние работы Дингвалла и Туникс [Dingwall a. Tuniks, 1973], Г. Гримма [Grimm, 1971], на интересную монографию П. Эррио [Herriot, 1969]. Очень характерна была дискуссия, развернувшаяся в 60-х годах между М. Брайном, предложившим теорию «контекстуальной генерализации», и его

оппонентами из «гарвардской школы» Дж. Миллера: Т. Бивером, Дж. Фодором и У. Уэкселом [Braine, 1963; Bever a. o., 1965]. Видимо, неправомерно искать такую единую стратегию, обязательную для всех детей и всех случаев. Приведем пример из собственного опыта. Старший сын автора рос как единственный ребенок, очень много общался со взрослыми, сравнительно мало слышал чтение книг (но быстро сам научился читать). Он овладевал речью «интенсивно», при помощи стратегии, близкой к порождающей. Младшие дети развивались вместе, общались преимущественно друг с другом, но им очень много читали. Поэтому у них сложилась другая оптимальная стратегия усвоения — «экстенсивная», отвечающая «контекстуальной генерализации» Брэйна.

Если согласиться с идеей эвристичности в развитии детской речи, это предъявляет специфические требования и к сбору и обработке исходного материала. В таком случае распространенный тип публикаций по детской речи — наблюдения над одним ребенком, да еще в одном определенном возрасте — едва ли может считаться имеющим серьезную ценность. С другой стороны, возрастает значение комплексного (не только речевого) анализа психического развития ребенка (из сказанного ранее видно, что это отнюдь не только «познавательные предпосылки» развития речи, как формулирует заглавие одной из своих работ Д. Словин, и что едва ли можно, вслед за Блум [Bloom, 1970, 232], рассматривать языковую способность как простое «пересечение» познавательного развития, развития языка и неязыкового опыта), а также количественного подхода, не получившего пока широкого распространения в литературе по детской речи.

И, наконец, существенно отметить, что межъязыковые исследования детской речи, в которых пионером является Словин [Slobin, 1967], отвечают настоятельной необходимости. Но они ни в коем случае не должны быть *внутриязыковыми*: такие исследования важны прежде всего как исследования различных *культурно-социальных* условий формирования языковой способности ребенка на разной языковой базе.

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИЙ РЕЧИ

Факт ситуативной связанности детской речи на раннем ее этапе общеизвестен. Содержание речи в этом случае понятно собеседнику лишь при знании и учете им той ситуации, о которой рассказывает ребенок, при учете мимики, жестикуляции, интонации и т. д. Речь здесь еще не отделена от неречевого поведения; еще в возрасте года и даже несколько старше ребенок в сущности не говорит предложениями. Эквивалентом предложения является в этот период слово, включенное в ту или иную предметную ситуацию. Г. Л. Розенгарт-Пупко предлагает даже говорить о «жестикуляторной речи, которая имеет и звуковые

элементы» [1963, 31]. Та же мысль у П. Смочиньского: «...получается впечатление, что существенным является только жест, а слово является лишь его надстройкой» [Smoczyński, 1955, 215]. И позже предложение в детской речи сохраняет тесную связь с ситуацией. Ср. у Ф. А. Сохина: «На ранних этапах речевого развития понимание грамматически оформленного высказывания существенно регулируется неязыковыми моментами» вплоть до того, что «опора на непосредственно воспринимаемое объективное отношение обуславливает возможность опускания в речи языкового средства выражения этого отношения» [Сохин, 1955, 12—13].

Детальный психологический анализ ситуативного этапа развития детской речи был дан в работах С. Л. Рубинштейна и его учеников, в частности А. М. Леушиной [Рубинштейн, 1940, 361 и след.; Леушина, 1941 и др.]. К этому анализу нечего прибавить. Необходимо лишь указать, что С. Л. Рубинштейн явно слишком преувеличивает психологическую близость ситуативной речи дошкольника и ситуативной речи взрослого.

Другое, на чем необходимо остановиться, — понятие «контекстной» речи в школе Рубинштейна. Для него «контекстная» речь — это высшая форма речи, характерная и для взрослого. Мы полагаем, что правомерно говорить о контекстной речи лишь применительно к определенному, достаточно ограниченному этапу речевого развития — именно тогда, когда речь можно понять в определенном контексте общения как часть более общего, единого по содержанию, разговора; ребенок, однако, не способен выйти за пределы этого навязанного контекста, его речь связана с определенной речевой стимуляцией. Это тот этап, когда у ребенка еще не полностью сформированы речевые умения.

Далее речь ребенка становится уже внеситуативной и внеконтекстной: он способен не только говорить на ту или иную тему вне соответствующей предметной ситуации, но и свободно переключаться с одной коммуникативной задачи на другую, с одной содержательной установки на другую. Однако полного овладения речью в этом смысле нет даже у взрослого: почти всегда имеются такие речевые умения, которые недоступны данному говорящему, например умения спонтанной ораторской речи перед ответственной аудиторией. Отсюда необходимость установления минимального круга общения, системы основных речевых умений, овладение которыми означает практическое овладение речью. Здесь имеется много общего с проблематикой речевой патологии (см. главу 22).

Существует точка зрения (Ж. Пиаже), согласно которой речь ребенка развивается от эгоцентрической (речи «для себя») к социализованной (речи «для других»). По Л. С. Выготскому (сейчас это мнение общепринято), внутренняя речь представляет собой дальнейшую «интерниоризацию» и «индивидуализацию» социальной речи, таким образом, внутренняя речь уходит своими корнями во «внешнюю» [Выготский, 1956].

Эксперимент Выготского заключался в том, что ребенка, речь которого находилась на стадии эгоцентризма, помещали в коллектив не понимающих его (глухонемых или иноязычных) детей, так что какое бы то ни было понимание (или непонимание) исключалось. Оказывается, в этой ситуации эгоцентрическая речь практически исчезала. Значит, эгоцентрическая речь не связана с изначально индивидуальным, эгоцентрическим мышлением ребенка — в этом случае исключение социального момента было бы, напротив, особенно благоприятно для развития эгоцентрической речи. По-видимому, напротив, эгоцентрическая речь проистекает из недостаточной индивидуализации социальной речи. Кстати, по данным А. Фонци [Masucco-Costa, Fonzi, 1966], эгоцентрическая речь также не индивидуальна, но имеет социальную значимость.

Адекватное понимание природы и происхождения внутренней речи очень важно и для адекватного истолкования некоторых явлений в языковой организации ранней детской речи. Мы имеем в виду введенное рядом современных американских психологов разграничение предидирующих и предудцируемых элементов детского высказывания, далеко не всегда совпадающее с грамматической характеристикой соответствующих слов. С. Эрвин и Р. Браун употребляют в этом смысле термины «operators» и «modifiers», М. Брэйн и Д. Макнил — «pivot-class words» (Р) и «open-class words» (О). Под первыми понимаются слова типа more, big, byebye в высказываниях more milk, big boat, byebye Daddy, под последними — соответственно вторые элементы этих высказываний. При этом Макнил, например, полагает, что различие Р и О (или по крайней мере способность к их различению) врожденно. По-видимому, правильнее интерпретировать Р- и О-классы как отражение формирующейся структуры внутренней речи или — более точно — внутренней программы речевого высказывания (см. гл. 3 и 12). Если к тому же учесть, что на раннем этапе развития речи эти классы соответствуют не обязательно речевым реакциям ребенка (см. выше), мы оказываемся перед не решенной еще задачей анализа закономерностей программирования произвольных действий ребенка вообще и в плане роли речи в таком программировании — в частности. Ср. в этой связи [Запорожец, 1960; Лурия, 1956, 1958].

Коммуникативное употребление речи предшествует ее использованию для планирования и регулирования действия (в игровой, учебной и т. п. деятельности). Эта последняя функция складывается окончательно лишь к концу дошкольного возраста.

Особую проблему представляет собой соотношение диалогической и монологической речи. У маленьких детей диалог предшествует монологу; при этом именно диалог имеет превостепенную социальную значимость для ребенка [Slama-Cazacu, 1966]. Умения монологической речи формируются крайне поздно.

ПАТОЛОГИЯ РЕЧИ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Изучение речевой деятельности на современном этапе развития науки не может быть плодотворным без обращения к патологии речи, так как данные речевой патологии позволяют более полно представить механизм речи в целом, а также уточнить роль отдельных его звеньев. Кроме того, изучение речевых нарушений дает возможность критически оценить те гипотетические построения, проверка которых в условиях искусственно создаваемого эксперимента по ряду причин оказывается пока что невозможной.

Понятие о патологии речи. Подход к этому понятию возможен на основе ряда взаимосвязанных критериев: социально-психологического, психофизиологического и психолингвистического. Социально-психологический подход позволяет провести самое общее (грубое) противопоставление: норма — патология, психофизиологический подход позволяет дифференцировать патологию речи по характеру и объему, установить причинно-следственную зависимость между нарушением субстрата и речевым дефектом, психолингвистический подход позволяет установить, какие из речевых операций нарушены, определить, какие из функций и форм речи оказываются пострадавшими при той или иной речевой патологии. Такой глобальный подход к проблеме патологии речи позволит выделить единицы речевых нарушений, соотнести первичные и вторичные нарушения и отделить патологию речи от патологии мышления.

Поскольку абсолютного понятия ни нормы, ни патологии не существует, попытаемся вывести понятие патологии через понятие нормы. Человек занимает в обществе систему социальных позиций, играет систему социальных ролей. В каждой из ролей есть набор функций, определяемых как общественно релевантные. Общество предъявляет к каждому из своих членов известные требования, в соответствии с которыми эти функции должны осуществляться. В тех случаях, когда человек отвечает предъявляемым ему со стороны общества требованиям, можно говорить о его соответствии социальным нормам. Это соответствие может быть как максимальным, так и минимальным. Само же понятие

социальной нормы предполагает, по-видимому, некоторое усредненное представление о минимальных функциях, которые призван осуществить человек в данном обществе.

Исходя из такого определения, к патологии можно отнести отклонения от средней нормы (несоответствие по минимуму). Однако приведенные выше рабочие определения нормы и патологии пуждаются в некоторых дополнениях. Во-первых, следует указать, что неадекватность в исполнении одной из ролей, в осуществлении одной из функций еще не дает оснований для отнесения такого случая к патологии. К патологии мы будем относить те случаи, когда нарушается исполнение системы социальных ролей. Во-вторых, существенным для отнесения того или иного случая к норме или патологии является учет тех причин, того фона, на котором протекает деятельность личности, не способной к выполнению системы социальных ролей. По-видимому, основанием для отнесения к патологии будет наличие причин патопсихологического (а не социального) порядка, обуславливающих то или иное функциональное нарушение.

Таким образом, патологию можно определить как некоторую результирующую определенного функционального нарушения и требований к функции со стороны общества.

Опираясь на такое понимание патологии, патологию речи можно определить как нарушение речевой деятельности, обусловленное несформированностью или разладкой психофизиологических механизмов, «обеспечивающих усвоение, производство, воспроизводство и адекватное восприятие языковых знаков членом языкового коллектива» [Леонтьев А. А., 1965а, 54]. Таким образом, то, что весьма широко и неопределенно обозначается как патология речи, в психолингвистическом плане может быть конкретизировано и обозначено как нарушение (патология) языковой способности (в терминах модифицированной А. А. Леонтьевым трехчленной системы Л. В. Щербы).

Такая интерпретация понятия, как нам представляется, позволяет достаточно четко противопоставить собственно речевую патологию отклонениям, отступлениям от культурно-социальных норм речевого употребления, наблюдающимся у индивидуума: если в случаях патологии речи мы сталкиваемся как с нарушением языковой способности, так и с нарушениями языкового процесса и языкового стандарта, то в остальных случаях — лишь с несформированностью отдельных элементов речевого процесса, незнанием каких-то фактов языкового стандарта; если в случаях патологии речи мы встречаемся с нарушениями как навыков, так и умений, то в остальных случаях мы встречаемся преимущественно с несформированностью тех или иных умений, которые могут сформироваться у человека в процессе его обучения, образования (или самообразования), в отличие от случаев патологии речи, для преодоления которой требуется специально организованная реабилитирующая помощь (восстановительная терапия,

система коррекционного воздействия). Таким образом, если в случаях патологии речи перед нами стоит вопрос о возможности или невозможности коммуникации, то в остальных случаях стоит вопрос о том, правильно ли, хорошо ли, красиво ли говорить так или иначе. Наконец, патологию речи можно противопоставить остальным отклонениям от норм речевого употребления, в том числе и оговоркам, перестановкам элементов слов, смешениям, гезитациям и пр. как нарушения глобальные, повсеместные, регулярные — нарушения контекстным, ситуативным, спорадическим. Этот критерий представляется важным потому, что факты, наблюдаемые при изучении патологии речи, и факты нарушений, наблюдаемые при изучении нормальной речи, могут оказаться тождественными.

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ

При изучении речи психически больных, в частности больных шизофренией, объектом исследования является, во-первых, речевое поведение и, во-вторых, речевая продукция больных, т. е. устные или письменные тексты. Предполагается, что речевое поведение индивида является частным случаем его поведения в целом, одной из реализаций общей стратегии поведения человека. В норме выбор человеком именно речевого поведения обусловлен ситуациями, когда целью поведения является «социальная связь» (в широком смысле слова), поскольку основной функцией речи является «функция сообщения, социальной связи, воздействия на окружающих» [Выготский, 1956].

Из сказанного следует, что анализ речевого поведения психически больных предполагает в первую очередь привлечение клинических понятий, принятых для описания разнообразных расстройств поведения больных. Экспериментальное исследование речевого поведения психически больных, в частности больных шизофренией, потребовало бы учета таких факторов, как потребности, установка, мотивация, характер функционирования тех или иных физиологических механизмов, тип межличностных отношений и т. п. Совершенно ясно, что такой анализ не является непосредственной задачей лингвистики. Тем не менее некоторые аспекты речевого поведения больных (например, вероятностная организация речевого поведения, феномены гезитации в речи и т. п.) безусловно могут изучаться в рамках задач психолингвистики. Так, исследование вероятностной организации речевого поведения больных шизофренией с помощью методики субъективных оценок частот слов и методики восстановления «зашумленных» слов позволило показать, что речевое поведение больных характеризуется нарушением механизмов опоры на прошлый речевой опыт, при том что сама вероятностная структура рече-

вого опыта оказывается сохранный [Фрумкина, Василевич, Добрович, Герганов, 1970].

Исследование речевой продукции, т. е. устных или письменных текстов, полученных от больных психозами, в рамках лингвистики и патопсихолингвистики¹ предполагает сопоставление этих текстов с текстами, полученными от здоровых лиц, с целью установления специфических особенностей речи больных. Такой анализ позволил бы создать систематическое описание лингвистических особенностей речи при психозе. Возникает, однако, вопрос о том, в каких аспектах должен проводиться такой анализ.

Дело в том, что особенности речи больных психозами далеко не всегда проявляются в грубых нарушениях грамматического или синтаксического строя языка. Фонологический уровень, за исключением некоторых просодических особенностей, вообще остается сохранным. В сущности, речь больных психозами в большинстве случаев характеризуется не столько «неправильностью», сколько «странностью», «непонятностью», «причудливостью». В этом смысле нарушения речи при психозе могут быть, по-видимому, противопоставлены речевым нарушениям при афазии [Судомир, 1927; Татаренко, 1938]. Если при афазии нарушается главным образом фонологический, грамматический и синтаксический уровни языка, то при психозе на первом плане, как правило, оказываются нарушения лексико-семантического уровня. За этим фактом стоит коренное различие в механизмах, обуславливающих нарушения речи при психозе и афазии. Наиболее определенно эти различия выявляются при сопоставлении речевой продукции больных психозами с образцами речи больных с так называемой семантической афазией (при поражениях теменновисочной-затылочной области), при которой задетым оказывается именно семантический уровень языка.

Как указывает А. Р. Лурия, при семантической афазии нарушение механизмов симультанного синтеза ведет к нарушениям «смыслового строения» слова: «непосредственная предметная отнесенность (слова) остается сохранный, вся же кроющаяся за словом система связей и отношений оказывается глубоко нарушенной» [Лурия, 1947, стр. 154]. В результате автоматизированный в норме поиск слова нарушается. Тестом, выявляющим нарушения этого типа, является предъявление больному картинки с изображением предмета, с просьбой назвать предмет. Например, в ответ на предъявление изображения ласточки больной с семантической афазией отвечает: «Птица. Специально. Она разная... Такая, другая. Ну, как она называется...» (Цит. по [Иванов, 1962]).

¹ Здесь и ниже мы будем называть «патопсихолингвистикой» приложения лингвистики к психиатрии. Данный термин мы вводим по аналогии с термином «нейролингвистика», предложенным А. Р. Лурия [Лурия, 1968], для наименования направления, возникшего в результате приложения психолингвистики к неврологии.

Больной пизофрeнией на предъявление той же картинки дает следующий ответ: «Существенно среди пернатых: обладает аэродинамическими свойствами тела... Ласточка — эта птица называется» (ср. типичный ответ больного пизофрeнией на одну из карточек теста Роршаха: «художественный эскиз ноги мухи»).

По современным представлениям, афазия связана с фундаментальным нарушением собственно речевых механизмов (при относительной сохранности мышления) [Лурия, 1947; Бейн, 1957], между тем как особенности речи при пизофрeнии отражают в первую очередь расстройства мышления [Kasánin, 1946; Попов, 1959; Рохлин и Гребенцова, 1959].

Заметим, что в рамках клинического подхода особенности речевой продукции больных пизофрeнией рассматриваются в непосредственной связи с расстройствами мышления и поведения в целом. Понятия, которыми при этом пользуется психиатрия, обычно охватывают более широкий круг феноменов, чем особенности собственно речевой продукции. Эти понятия одновременно описывают и характер речевого поведения, и особенности речевой продукции, причем все эти феномены рассматриваются не изолированно, в плане нарушений речи как таковой, а в тесной связи со всеми прочими расстройствами поведения и мышления, характеризующими некоторый синдром заболевания, т. е. комплекс симптомов, типичный для того или иного этапа болезненного процесса [Снежневский, 1969].

Например, термином «пизофазия» в клинике описывается не столько определенный тип речевой продукции, сколько хорошо известный синдром. Приведем стандартное толкование этого термина содержащееся в Справочнике невропатолога и психиатра [1969]: пизофазия характеризуется «речевым распадом, симптомом монолога, характерным сочетанием бессмысленности речи с относительно правильным построением фраз. Поведение больных при этом остается относительно правильным: они успешно выполняют различную работу в подсобных хозяйствах, мастерских и т. п.»

Стремясь передать специфику собственно речевой продукции при пизофрeнии, психиатры обычно прибегают к образным выражениям, наиболее удачные из которых постепенно стали использоваться как термины, хотя отчетливого лингвистического содержания эти термины не имеют. Так, нередко употребляемое в немецкой психиатрической литературе выражение *Verschobenheit* — дословно «выкрутасы» [Gruhle, 1924], соответствует представлению о «необычности», «витиеватости», «вычурности» речи больных. Представление о полном распаде речи часто передается термином *Wortsalat* — дословно «словесный салат».

В силу такого подхода существующая систематика речевых нарушений при пизофрeнии является клинической, а не лингвистической систематикой.

Следует отметить, что попытки исследовать особенности речевого поведения и речевой продукции больных шизофренией методами лингвистики и психолингвистики достаточно многочисленны. Эти исследования в основном можно разделить на две группы. К первой группе мы относим работы, авторы которых исследуют те или иные формальные характеристики речевой продукции больных. Можно, например, указать значительное число работ, где исследуются статистические характеристики речи больных: средняя длина фразы, число личных местоимений на 100 слов текста, доля многосложных слов, средняя повторяемость слов на 100 слов текста и т. д. [Baker, 1951; Whitehorn and Zipf, 1943; Lorenz and Cobb, 1954; Hammer and Salzinger, 1967; Salzinger а. о., 1964]. В ряде случаев получено, что по этим характеристикам речевая продукция больных отличается от речевой продукции здоровых индивидов. Такой подход к исследованию речи больных имеет определенную традицию и восходит к работам Ципфа [Whitehorn and Zipf, 1943; Zipf, 1949]. Следует, однако, отметить, что перечисленные статистические характеристики, даже взятые в совокупности, не обладают дифференцирующей силой, т. е. не позволяют определить, какие тексты принадлежат больным шизофренией в отличие от больных других групп, — например, от больных с лобным синдромом [Salzinger, 1967].

С другой стороны, большая часть упомянутых исследований проводилась вне каких-либо содержательных гипотез — лингвистических, психологических или клинических — о природе особенностей речевой продукции при шизофрении. Так, в большинстве работ нет обоснования того, почему для исследования были выбраны именно эти, а не другие статистические характеристики текста. Наконец, в ряде случаев результаты таких исследований имеют достаточно тривиальную интерпретацию. Так, данные о том, что у некоторых больных шизофренией весьма высок коэффициент повторяемости слов [Hammer and Salzinger, 1964], являются лишь иллюстрацией общеизвестного в клинике шизофрении явления персеверации в речи.

Ко второй группе исследований можно отнести работы, где исследуются смысловые аспекты речевой продукции больных шизофренией. Имеется целый цикл работ, рассматривающих в качестве основных характеристик текстов число «смысловых единиц», указывающих на личное отношение говорящего к предмету беседы, на его склонность обсуждать себя и других, предъявлять жалобы на свое самочувствие или плохое отношение к нему других лиц и т. п. При этом установлено, что по количеству таких «смысловых единиц» тексты, полученные от больных шизофренией, отличаются от текстов здоровых лиц и соматических больных [Gottshalk, 1967].

Другой распространенный метод исследования заключается в том, что больным предлагается давать толкование значений слов.

При этом обнаруживается, что толкование слов, даваемое больными, зачастую отличается от толкования, даваемого здоровыми лицами: в толкованиях больных, как правило, проявляется патологичность их мышления, тенденция к соскальзыванию на побочные темы, склонность употреблять слова в не свойственном им значении и т. п. [Попов, 1959; Зейгарник, 1934; Moran, 1954; Feifel, 1949; Ferreira, 1960].

Для исследования достаточно длинных текстов, полученных от больных шизофренией, нередко применяется методика «cloze procedure» — метод заполнения пробелов. Методика состоит в том, что из текста вычеркивается, например, каждое 8-е слово, после чего экспертам предлагается восстановить смысл данного текста. При этом можно констатировать, что «поврежденные» (damaged) тексты больных шизофренией представляют существенно большие трудности для восстановления, чем тексты здоровых лиц с той же долей пропущенных слов [Feldstein and Jaffe, 1963; Honigsfeld, 1967; Salzinger a. o., 1964].

Рассматривая эту группу исследований, следует отметить, что в них по существу изучается не собственно речь больных, а характер их мышления. В центре внимания исследователей оказывается содержание текста, а не его языковая структура. Например, исследование числа «смысловых единиц» (работы Готтшалька и соавторов) представляет собой своего рода контент-анализ (content analysis), не лишенный ценности с точки зрения клиники, но не имеющий, с нашей точки зрения, отношения к речи как таковой.

Итак, мы видим, что первый из упомянутых нами подходов оказывается неплототворным потому, что он проводится на уровне произвольно выбранных формальных характеристик, которые не поддаются интерпретации, если не учитывать особенности мышления больных. Что же касается второй группы работ, то в них исследование речи в действительности подменяется исследованием особенностей мышления больных.

Такое положение вещей, с нашей точки зрения, является не случайным. Оно отражает специфические трудности, возникающие при изучении речи больных шизофренией. Выходом из положения явилось бы отыскание такого метода исследования, в рамках которого анализ структуры текста позволил бы проследить, как особенности мышления больного resultируют в специфику его речи.

Как можно в самом общем виде охарактеризовать те особенности мышления больных шизофренией, которые могут отражаться в речевой продукции больных?

Ответ на этот вопрос следует искать в данных общей психопатологии, освещающих некоторые фундаментальные нарушения поведения и мышления больных шизофренией. Согласно этим данным, одной из наиболее существенных черт динамики шизофрении является неуклонное нарастание у больных аутизма.

Аутизм представляет собой ослабление связей с реальностью, отгороженность от внешнего мира. Конвенциональная картина мира для аутичного субъекта замещена частной, единичной картиной мира; иными словами, аутизм означает нарушение коммуникации в широком смысле слова. Это нарушение коммуникации при аутизме имеет и весьма наглядное проявление в нарастающей утрате коммуникативной направленности речи. Как известно, для нормальной коммуникативной направленности речи характерно, во-первых, наличие реального адресата коммуникации — собеседника и, во-вторых, существенно то, что целью коммуникации является передача собеседнику некоторого сообщения. Между тем при нарастающей аутизации больного, во-первых, место реального адресата коммуникации начинают занимать воображаемые собеседники — галлюцинаторные «голоса»; во-вторых, целью коммуникации все меньше оказывается передача какого-либо сообщения. По остроумному замечанию Ферейра, больной шизофренией говорит совсем не для того, чтобы быть понятым [Ferreira, 1960]. В конечном счете, речь вообще перестает служить каким-либо коммуникативным целям. Примером может служить ситуация «словесного салата» — речевого феномена, наблюдаемого у больных в конечных состояниях шизофренического процесса.

«Словесный салат» представляет собой набор отрывочных слов и словосочетаний, не объединенных во фразы и не связанных какими-либо грамматическими отношениями. В составе такого набора нередко неологизмы, стереотипные повторения одних и тех же слов, слогов или неосмысленных комбинаций слогов, отдельных звуков, невинных выкриков (персеверации); типичны рифмующиеся комбинации слогов и слов, расчленения слов на отдельные элементы с перестановками и замещениями этих элементов (вербигерация). Речевая продукция при этом временами напоминает речь ребенка во время игры в одиночестве («эгоцентрическая речь», по Выготскому).

Точно так же нарушение коммуникации в более широком смысле слова с чрезвычайной отчетливостью проявляется в мышлении больных. Аутистическое мышление утрачивает конвенциональные логические связи, целенаправленность, обычную эмоциональную окраску; в нем появляется собственная «кривая логика»; оно все больше определяется галлюцинаторными и бредовыми переживаниями больного.

Каким же образом эти особенности мышления могут проявляться в речевой продукции больных? В этой связи выскажем следующие соображения.

Язык можно рассматривать как систему конвенциональных правил; только следование индивида этим правилам делает его речь, с одной стороны, понятной для окружающих, с другой стороны — соответствующей нормам языка.

Принято считать, например, что при нормальном использовании индивидом языка как системы конвенциональных правил

каждое слово имеет фиксированный набор значений, который реализуется через разные виды контекста. Обычно на основе контекста удается установить, какое именно значение слова в данном случае реализовано; существенно при этом то, что для заданного контекста оказывается возможным указать одно значение (один смысл слова); двусмысленность же (ambiguity) является в норме исключением, а не правилом. В отличие от этого, у больных пизофренией в одном определенном контексте слово, по-видимому, может иметь более чем одно значение [Выготский, 1956]. Характерно следующее утверждение одного из больных пизофренией [Лебединский, 1938]: «У меня на каждое слово три значения: то, что оно означает; то, что оно может означать; и то, что подразумевается». Эта множественность смыслов, одновременно сосуществующих в пределах одного определенного контекста, т. е. эта специфика неконвенционального использования семантического уровня языка вытекает, как можно думать, из самой природы аутизма.

Таким образом, аутизм можно рассматривать как ключевой момент, определяющий как характерные для пизофрении расстройства мышления и поведения, так и вытекающие из этих особенностей способы использования языка в его коммуникативной функции.

Из сказанного следует, что лингвистический подход к речевой продукции больных пизофренией должен быть таким подходом, который позволяет анализировать текст прежде всего с точки зрения сохранности в речи ее основной коммуникативной функции, т. е. выполнения конвенциональных правил перехода от смысла к тексту. Можно подумать, что неконвенциональный характер содержания мышления больных (т. е. тех знаний о действительности, которые должны быть переданы в сообщении) так или иначе результирует в неконвенциональный способ воплощения этого содержания. Мы полагаем тем самым, что в речевом поведении и речевой продукции больных будут специфическим образом отражены те нарушения, которые типичны для мышления и поведения больных пизофренией.

Проблема заключается в том, чтобы найти способ описания, с помощью которого специфические особенности речи больных были бы представлены в терминах лингвистики, а не психологии или психиатрии.

Представляется, что среди существующих в современной лингвистике подходов поставленным задачам в наибольшей степени соответствует модель «смысл — текст», разрабатываемая И. А. Мельчуком и А. К. Жолковским².

В рамках данной модели внимание исследователя сосредоточено на способности носителя языка выразить одно и то же со-

² Общие сведения о модели «смысл — текст» см. [Жолковский и Мельчук, 1969].

держание многочисленными способами и, обратно, усматривать одно и то же содержание в формально разных высказываниях. Значение трактуется операционно — как инвариант синонимичных преобразований, в разработке которых и состоит моделирование «смыслового» владения языком.

С точки зрения авторов данной модели, вопрос об «осмысленности», а также о характере языкового выражения смысловой аномальности не входит в компетенцию лингвистики. Анализ смысла как такового, «очищенного» от языковой оболочки, должен выполняться не над языковыми выражениями, т. е. не над текстом, а над некоторой специальной «смысловой записью». Лингвистический же анализ направлен на отыскание правил извлечения смысла из текста и воплощения смысла в текст, т. е. его задача — моделирование такого владения смыслом, которое связано именно со знанием языка, а не со знаниями о действительности.

Авторы модели отмечают, что это разграничение далеко не всегда может быть проведено бесспорным образом [Жолковский и Мельчук, 1969]. Нам представляется, что найти способ провести такое разграничение для речевых нарушений, наблюдаемых у больных шизофренией, — это по существу и означало бы дать адекватное описание специфики речи при шизофрении.

Очевидно, что реализация такой программы работы потребует длительных совместных усилий лингвистов и психиатров. Можно думать, что исследования речи больных шизофренией окажутся источником новых подходов, которые могли бы и не возникнуть при изучении только «правильных» текстов.

Часть VI

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Глава 23

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ

Еще сравнительно недавно классификация наук довольно однозначно определялась классификацией их объектов. Было совершенно ясно, что, скажем, строение и функции живых организмов изучает биология, язык — лингвистика, душевную, психическую жизнь человека — психология и так далее.

В первой половине XX в. положение коренным образом изменилось. Возник новый принцип классификации наук — не по объектам, а, так сказать, по точке зрения на объект. Выяснилось, что даже один и тот же объект можно и должно изучать под разными углами зрения, при помощи различных концептуальных систем и различных экспериментальных и дескриптивных методов. Стали возникать научные направления и целые науки, располагающиеся «на стыке» «старых» наук и не относимые полностью ни к одной из них. Этот процесс начался в точных и естественных науках и во второй половине столетия дошел и до гуманитарных наук, в частности до лингвистики, результатом чего явилось зарождение множества дисциплин типа социолингвистики, психолингвистики, этнолингвистики и т. п. Впрочем, их оформление было лишь внешним проявлением гораздо более серьезных глубинных процессов, проявившихся и в рамках «чистой», «классической» лингвистики.

Любопытно, что процесс появления «стыковых» дисциплин на периферии «классической» лингвистики разворачивался на фоне образа научного мышления, свойственного представителям «классической лингвистики». «Стыковые» дисциплины долго воспринимались, а кое-кем воспринимаются и сейчас, не как равноправные с собственно лингвистическим подходом к исследованию единого объекта, а как своего рода опухоли на здоровом теле лингвистики, как нечто, глубоко чуждое природе ее объекта и запесенное в нее из других наук, якобы проявляющих агрессию в отношении лингвистической науки. Отсюда доктрина «лингвистики для лингвистов» и лозунги вроде «психолингвисты, возвращайтесь в свою психологию».

Между тем описанное выше появление нового принципа классификации внесло существенно новое начало и в понимание самого объекта науки. «Классическая» лингвистика изучала язык как таковой (несущественно при этом, где она его находила: в обществе, как социологическая школа, в голове говорящего, как младограмматики, или в тексте, как дескриптивисты). Теперь положение изменилось: в центре интересов ученых оказался не язык, а тот объект, частью которого язык является—речевая деятельность.

Это не значит, что стало недооцениваться место языка как своего рода управляющей системы в речевом поведении или речевой деятельности человека. Но точно так же, как в исторической науке, стало обращаться гораздо больше внимания на весь комплекс факторов, управляющих речевым процессом; так же, как в психологии, резко вырос интерес, с одной стороны, к социально-психологическим, с другой — нейропсихологическим исследованиям; так же, как философская наука (что хорошо видно по журналу «Вопросы философии» и «Философской энциклопедии») много чаще задается, казалось бы, логическими и психологическими проблемами; так же, как социология стала комплексной наукой о всех, самых различных факторах, управляющих социальными формами поведения человека,— так и лингвистика поставила теперь своей задачей раскрыть всю совокупность (вернее — взаимодействие) факторов, управляющих формой (и отчасти — содержанием) речевого высказывания, построить детерминистскую модель речевой деятельности человека, понять, что определяет выбор того или иного высказывания и той или иной его реализации. Раньше эта детерминистская проблематика лингвиста не интересовала: он не отвечал на вопрос «почему», а старался возможно лучше ответить на вопрос «как». Для этого ему было достаточно заниматься языком. Чтобы ответить на вопрос «как», надо «копнуть» глубже и уметь увидеть язык как лишь один, хотя и самый важный, из факторов, управляющих речевым процессом, речевой деятельностью. Иными словами, возникает задача выработки такого научного подхода, создание такой комплексной научной дисциплины, предметом которой был бы не язык, а то, что «за» языком — речевая деятельность. Кстати, тот же процесс сдвига предмета науки на ее объект (в смысле этих терминов, очерченном нами в гл. 4) и создания наряду с «предметными» «объектными» наук происходит и в других областях человеческого знания.

Конечно, сейчас еще рано говорить о создании подобной «объектной» науки о речевой деятельности. Но ее возникновение вполне реально, так как более частные научные дисциплины (самостоятельные или по традиции «инкорпорируемые» внутрь психологии, лингвистики и других «старых» наук), исследующие отдельные факторы или группы факторов в речевой деятельности, к настоящему времени достигли такого уровня развития, когда возможен синтез их в единую научную область.

Попробуем проанализировать положение в современной науке о речевой деятельности более подробно.

Первый круг факторов, управляющих речевой деятельностью, связан с соотношением речевых и неречевых действий, а также с соотношением речи и коммуникативной ситуации. Иными словами, это социальные (в широком смысле этого слова) факторы.

Сюда, во-первых, относятся различные социальные и социально-психологические функции речи в обществе. Односторонняя ориентация на «индивидуальную речь» и межличностную коммуникацию привела к тому, что эти функции не изучаются сейчас ни лингвистами, ни психологами, ни социологами. Более того — не ставится даже вопрос о речевом общении как социальном факте (дело ограничивается изучением языка как социальной системы и социальных факторов выбора языков или языковых подсистем). См. в этой связи гл. 2, 16, 17, 20.

Во-вторых, сюда относятся различные функциональные модификации речи, не имеющие непосредственно социологического характера и скорее определяемые как прагматические. Они в свою очередь подчиняются трем группам факторов. Первая из них изучается общим языкознанием, соотносена с функциями речи (поэтическая, магическая и т. п.); эти функции изучаются давно, но в отрыве от всей системы функциональных модификаций речи (см. гл. 16). Вторая тоже изучалась традиционно в рамках лингвистики: речь идет о «формах общения» (контактное — дистантное, устное — письменное и т. п.). Сейчас имеется заметная тенденция к эмансипации отдельных направлений, изучающих эту сторону речевой деятельности (см. гл. 16). Третья хорошо известна как предмет стилистики речи — это разного рода функционально-стилистические модификации речевой деятельности (см. гл. 16 и 18).

В-третьих, сюда относятся закономерности соотношения речевого действия и общепсихологических характеристик деятельности, в которую это действие входит. Это соотношение речевого действия и предыдущего опыта; действия, цели и мотива; действия как исполнительного звена и предшествующей ему ориентировочно-исследовательской активности; соотношение ряда действий в рамках единой установки и т. п. Эти проблемы, естественно, всегда входили и входят в круг интересов общей психологии. Однако применительно к речевой деятельности они имеют ясно видимую специфику, до сих пор не получившую, однако, адекватного отражения: особенно это касается такой важной проблемы, как соотношение речевого действия с мышлением и восприятием [см. главы 2, 3, 5, а также 14]. Особую проблему в рамках этого круга вопросов составляет принципиально-методологическое понимание деятельности вообще и речевой деятельности, в частности, как психологического феномена (см. главы 1 и 2).

В-четвертых, сюда относятся связи особенностей личности с

особенностями речевой деятельности, изучаемые — или, вернее сказать, пока еще не изучаемые — также общей психологией. Этот аспект имеет прямой и очень ощутимый практический выход по крайней мере в две сферы: психиатрию и судебную психиатрию (с криминалистикой) (см. главу 22).

Если перейти теперь к другому кругу вопросов, связанных не с выбором речевых действий, а с их внутренней структурой, то здесь на первом месте, естественно, стоит группа факторов, связанных со спецификой языка. Это традиционный, остающийся неизменным и поныне предмет лингвистики. Однако лингвисты весьма мало занимались (и продолжают весьма мало заниматься) спецификой не текста и не абстрактной системы языка, а реальной структуры порождения речи, т. е. языком как способом оформления речевого высказывания (см. главу 4). Поэтому остается проблемой расширение лингвистических исследований в этом направлении.

Существуют, во-вторых, общие закономерности внутреннего структурирования речевого действия, не зависящие от того или иного языка и связанные с психологическими факторами разного рода — например, с объемом оперативной памяти («магическое число» 7 ± 2 Дж. Миллера применительно к грамматической структуре высказывания и т. п.). Эти закономерности в первую очередь и являются сейчас предметом психолингвистики, которая занимается также факторами первого рода (языковыми) с точки зрения их места в общей структуре речевого действия (см. главы 10 и 12).

Третья группа факторов связана с различным уровнем владения данным языком или, точнее, речевой деятельностью на данном языке. Здесь в свою очередь есть две подгруппы: факторы, связанные с развитием речевой способности (имеются в виду как возрастные, так и функциональные ограничения), и факторы, связанные с разной мерой овладения вторым языком при сформированных умениях речевой деятельности на родном языке. Совершенно очевидно, что исследование этого круга вопросов имеет также непосредственный практический выход — в обучение родному и иностранному языкам. Сейчас они стимулируются в очень большой степени как раз необходимостью дать методике обучения грамоте, грамматике, стилистике и иностранному языку серьезное теоретическое обоснование (см. главу 21).

Следующая, четвертая группа факторов — индивидуальные стратегии речевого действия в рамках его психолингвистической структуры — до последнего времени крайне мало изучалась в связи с господствующим представлением об алгоритмической, а не эвристической природе речевой деятельности. Между тем именно эти факторы эвристического характера играют огромную роль в ряде ситуаций общения и по существу определяют процессы восприятия речи. Ср. главы 6 и 12.

Наконец, пятая группа факторов — это разного рода социаль-

ная обусловленность выбора структурных вариантов речевого действия. Область, описывающая их, известна за рубежом под названием социолингвистики (следует иметь в виду, что в СССР предмет социолингвистики понимается иначе). Эти факторы в нашей стране традиционно изучались и продолжают изучаться в рамках общего языкознания, хотя надо сказать, что в последние десятилетия по необъяснимым причинам их изучение приостановилось (см. гл. 17).

Помимо описанных выше двух рядов факторов речевого действия, управляющих соответственно его выбором и осуществлением, можно указать еще на некоторые аспекты речевой деятельности, связанные с принципиальным (методологическим) подходом к ее целостной структуре. Сюда тяготеют прежде всего все проблемы, связанные с определением знака, знаковой системы и знаковой деятельности и конкретизацией этих общих понятий и принципов на материале речевой деятельности. Развитием той же проблематики является вопрос о связи знаковых систем разных уровней и о возможности их взаимодополнения и взаимозамены в различных коммуникативных ситуациях. Все эти проблемы раньше решались в рамках психологии или лингвистики, в последние десятилетия на них претендует семиотика. Впрочем, она занимается в гораздо большей мере знаковыми системами в их формальной структуре, чем их функциями в знаковой деятельности (см. главу 7, а также 2).

Далее, очень важен круг вопросов, связанных с соотношением врожденности и социальности в формировании и функционировании знакового общения. В последнее время этот круг вопросов в основном дискутируется в рамках психолингвистики.

И, наконец, особый интерес представляет анализ общих закономерностей речевого общения на материале моделирования его при помощи более элементарных механизмов, — скажем, анализ жестовой коммуникации глухонемых.

По-видимому, анализ речевой деятельности как объекта разных научных дисциплин позволит нам не только оценивать относительный уровень развития той или иной речеведческой дисциплины на сегодняшний день (как это сделано нами выше), но и в какой-то мере прогнозировать будущее развитие исследований в той или иной области, зная ее состояние, возможности и соответствующие практические потребности. В свете вышесказанного наиболее перспективным в плане ближайшего развития кажется круг проблем, связанных с соотношением речевых и неречевых факторов.

Видимо, в ближайшие годы следует ожидать бурного развития таких областей, как социальная психология речевого общения, речевые аспекты психологии личности, как психологический анализ мотивационного и ориентировочно-исследовательского звена речевых процессов. Однако организационная структура нашей науки в настоящее время не слишком отвечает этой тенденции,

СВОДНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Маркс К. К критике политической экономии. Собр. соч., т. 13. М., 1959.
- Маркс К. Капитал, т. I—III. Собр. соч., т. 23—25. М., 1960.
- Маркс К. Тезисы о Фейербахе. Собр. соч., т. 3. М., 1955.
- Маркс К. Теории прибавочной стоимости. Собр. соч., т. 26, ч. III. М., 1964.
- Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г.— В кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956.
- Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Собр. соч., т. 3. М., 1955.
- Энгельс Ф. Диалектика природы. Собр. соч., т. 20. М., 1961.
- Энгельс Ф. Карл Маркс. К критике политической экономии. Собр. соч., т. 13. М., 1959.
- Ленин В. И. Рецензия: Н. А. Рубакин. Среди книг. Собр. соч., т. 25. М., 1961.
- Абаев В. И. Лингвистический модернизм как дегуманизация науки о языке. — ВЯ, 1965, № 3.
- Аванесов Р. И. Очерки русской диалектологии, т. I. М., 1949.
- Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1965.
- Амосова Н. Н. Слово и контекст. «Уч. зап. ЛГУ. Сер. филологическая», № 243. Л., 1958.
- ✓ Ананьев Б. Г. К теории внутренней речи в психологии. «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 53. Л., 1946.
- Айдарова Л. И. Формирование лингвистического отношения к слову у младших школьников. «Возрастные возможности усвоения знаний». М., 1966.
- Айдарова Л. И. Формирование некоторых понятий грамматики по третьему типу ориентировки в слове. «Зависимость обучения от типа ориентировочной деятельности». М., 1968.
- Алексеев В. М. Китайская иероглифическая письменность и ее латинизация. М.— Л., 1932.
- Алексеев В. М. Китайский палиндром в его научно-педагогическом использовании. «Памяти акад. Л. В. Щербы». Л., 1951.
- Алексеев А. Н. О массовой коммуникации и ее социальных средствах. «Журналист, пресса, читатель». Л., 1969.
- Алиева Н. Ф. Выражение объективных отношений глагола как универсальное свойство языков. «Языковые универсалии и лингвистическая типология». М., 1969.
- Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. М., 1969.
- ✓ Андреев Н. Д., Зиндер Л. Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка. — ВЯ, 1963, № 3.
- Андреева Г. М. Марксистская социология и ее задачи. «О структуре марксистской социологической теории». М., 1970.
- Андреева Г. М., Никитин Е. Н. Метод объяснения в социологии. «Социология в СССР». М., 1966.
- Андреевкова Н. В. Проблема социализации личности. «Социальные исследования», вып. 3. М., 1970.
- Анохин П. К. Кибернетика и интегративная деятельность мозга. «XVIII Международный психологический конгресс. Симпозиум 2. Кибернетические аспекты интегральной деятельности мозга». М., 1966.
- Апресян Ю. Д. Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурой лингвистики. «Проблемы структурной лингвистики. 1963». М., 1963.

- Апресян Ю. Д. Идеи и методы структурной лингвистики. М., 1966.
- Арапов М. В., Шрейдер Ю. А. Характеристика сложности текста. НТП, сер. 2, № 4, 1970.
- Артемов В. А. Психология обучения иностранным языкам. М., 1969.
- Арутюнова Н. Д. Очерки по словообразованию в современном испанском языке. М., 1961.
- Арутюнова Н. Д. Стратификационная модель языка. «Филологические науки», 1968, № 1.
- Азманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
- Азманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
- Азманова О. С. и др. Вопросы оптимизации естественных коммуникативных систем. М., 1971.
- Азманова О. С., Мельчук И. А., Падучева Е. В., Фрумкина Р. М. О точных методах исследования языка. М., 1961.
- Азманова О. С., Натан Л. Н., Полторацкий А. П., Фатющенко В. И. О принципах и методах лингвистического исследования. М., 1966.
- Анциферова Л. И. Принципы связи психики и деятельности и методологии психологии. «Методологические и теоретические проблемы психологии». М., 1969.
- Анциферова Л. И. К проблеме изучения исторического развития психики. «История и психология». М., 1971.
- Баев Б. Ф. Процесс общения и внутренняя речь. «XVIII Международный психологический конгресс. Тезисы. II». М., 1966.
- Балаян А. Р. Проблемы моделирования диалога. «Материалы третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике». М., 1970.
- Балли Ш. Французская стилистика. Перевод с франц. М., 1961 (1-е франц. изд. 1909).
- Баранник Ф. Х. Устная монологическая речь. Автореф. канд. дисс. Киев, 1970.
- Бейн Э. С. О некоторых особенностях смысловой структуры слова и грамматического строя речи при сенсорной афазии. — ВП, 1957, № 4.
- Бельский А. В. Побудительная речь. «Уч. зап. I МГПИИЯ», т. VI. М., 1963.
- Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам, изд. 2. М., 1965.
- Березин Ф. М. Теория Сэпира — Уорфа и методика преподавания иностранных языков. «Научно-методическая конференция по вопросам обучения иностранным языкам в высшей школе. Тезисы докладов». М., 1967.
- Березин Ф. М. Очерки по истории языкознания в России. М., 1968.
- Бернштейн Н. А. Новые линии развития в физиологии и их соотношение с кибернетикой. «Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии». М., 1963.
- Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
- Бернштейн С. И. О методологическом значении фонетического изучения рифм. «Пушкинский сборник памяти профессора С. А. Венгерова». М.—П., 1923.
- Бернштейн С. И. Фонема.— БСЭ, изд. 1, т. 58. М., 1936.
- Бернштейн С. И. Основные понятия фонологии. — ВЯ, 1962, № 5.
- Бергалампи Л. Общая теория систем: критический обзор. Перевод с англ. «Исследования по общей теории систем». М., 1969.
- Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Системные исследования и общая теория систем. «Системные исследования. Ежегодник 1969». М., 1969.
- Блауберг И. В., Садовский В. И., Юдин Э. Г. Системный подход в современной науке. «Проблемы методологии системного исследования». М., 1970.
- Блумфилд Л. Язык. Перевод с англ. М., 1968.
- Блэк М. Лингвистическая относительность (теоретические воззрения Бенджамена Ли Уорфа). Перевод с англ. «Новое в лингвистике», вып. I. М., 1960.
- Богданов А. А. Всеобщая организационная наука (тектология), изд. 3, ч.1—3. М.—Л., 1925—1929.

- Богораз В. Г. Луораветланский (чукотский) язык. «Языки и письменность народов Севера», ч. 3. М.—Л., 1934.
- Бодалев А. А. Восприятие человека человеком. Л., 1965.
- Бодуэн де Куртене И. А. Об отношении русского письма к русскому языку. СПб., 1912.
- Бодуэн де Куртене И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Т. 1—2. М., 1963.
- Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1963.
- Бойко В. В. О двух подходах к эффективности массовой коммуникации. «Журналист, пресса, читатель». Л., 1969.
- Бондарко А. В. Система времен русского глагола. Автореф. докт. дисс. Л., 1968.
- Бондарко Л. В. Об акустической характеристике слога в русском языке. Сообщение на 6-й Всесоюзной акустической конференции. М., 1966.
- Бондарко Л. В. Слоговая структура речи и дифференциальные признаки фонем. АДД. Л., 1969.
- ✓ Боскис Р. М., Морозова Н. Г. О развитии мимической речи у глухонемого ребенка и ее роли в процессе обучения и воспитания глухонемых. «Вопросы учебно-воспитательной работы в школе для глухонемых». № 7(10). М., 1939.
- ✓ Боскис Р. М. Глухие и слабослышающие дети. М., 1963.
- Брудный А. А. Семантика и эвристические принципы узнавания. «Вопросы лексики и грамматики русского языка, II. Уч. Зап. филолог. фак-та Киргизского гос. ун-та», вып. 13, Фрунзе, 1964(а).
- ✓ Брудный А. А. О некоторых применениях теории информации. «Кибернетика, мышление, жизнь». М., 1964(б).
- Брудный А. А. К проблеме семантических состояний. «Сознание и действительность». Фрунзе, 1964(в).
- Брудный А. А. Пути и методы экспериментальных семантических исследований. «Теория речевой деятельности». М., 1968.
- Брутян Г. А. Философская сущность теории лингвистической относительности. «НДВШ. Философские науки», № 4, 1963.
- Брутян Г. А. Гипотеза Сепира — Уорфа. Ереван, 1968.
- Брутян Г. А. Язык и философия. «Философия и современность». М., 1971.
- Будагов Р. А. Введение в науку о языке. М., 1958.
- Будагов Р. А. В защиту понятия «стиль художественной литературы». «Вестник МГУ. Серия филологическая», 1962, № 4.
- Будагов Р. А. Проблемы развития языка. М., 1965.
- Будагов Р. А. Литературные языки и языковые стили. М., 1967.
- Буева Л. П. Социальная среда и сознание личности. М., 1968.
- ✓ Булыгина Т. В. Особенности структурной организации языка как знаковой системы и методы ее исследования. «Материалы конференции «Язык как знаковая система особого рода». М., 1965.
- ✓ Булыгина Т. В. Язык в сопоставлении со знаковыми системами иных типов. «Общее языкознание». М., 1970.
- Бурлаков Ю. А., Богданова И. И. Динамика кожно-гальванической реакции при становлении речевых структур. «Тезисы докладов на XVIII Международном психологическом конгрессе», ч. II, М., 1966.
- Бурлакова М. И. и др. Структурная типология и славянское языкознание. «Структурно-типологические исследования». М., 1962.
- Бюхер К. Работа и ритм. Перевод с нем. М., 1923.
- Ваксман Б. И. Очерки по молдавской стилистике (синтаксическая стилистика). Автореф. канд. дисс. М., 1964.
- Вандриес Ж. Язык. Лингвистическое введение в историю. Перевод с франц. М., 1937.
- Василевич А. П. Субъективные оценки частот элементов текста (в связи с проблемами вероятностного прогнозирования речевого поведения). Автореф. канд. дисс. М., 1968.
- Василевич А. П. Опыт получения субъективных оценок частот букв русского

го алфавита. «Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком». М., 1969.

Варшавский А. А., Литвак И. М. Исследование формантного состава и некоторых других физических характеристик звуков русской речи. «Проблемы физиологической акустики». М.—Л., 1955.

Вахек Й. Письменный язык и печатный язык. Перевод с чешского. «Пражский лингвистический кружок». М., 1967(а).

Вахек Й. К проблеме письменного языка. Перевод с чешского. «Пражский лингвистический кружок». М., 1967(б).

Вейнрейх У. О семантической структуре слова. Перевод с англ. «Новое в лингвистике», вып. V. М., 1970.

Веников В. А. Некоторые методологические вопросы моделирования. ВФ, 1964, № 11.

Вербицкая Л. А. Звуковые единицы русской речи и их соотношения с отенками и фонемами. Автореф. канд. дисс. Л., 1965.

✓ Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). М., 1969.

Винер Н. Кибернетика. Перев. с англ. М., 1958.

Виноградов В. В. О задачах стилистики. Наблюдения над стилем «Жития протопопа Аввакума». «Русская речь», I, Пг., 1923.

Виноградов В. В. К построению теории поэтического языка. «Поэтика», III, Л., 1927.

Виноградов В. В. О художественной прозе. М.—Л., 1930.

Виноградов В. В. Русская наука о русском литературном языке. «Уч. зап. МГУ», вып. 106, 1946.

Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах русского языка. «Труды Ин-та русского языка АН СССР», т. 2, М., 1950.

Виноградов В. В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. — ВЯ, 1955, № 1.

Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М., 1959.

Виноградов В. В. Русская речь, ее изучение и вопросы речевой культуры. ВЯ, 1961, № 4.

Виноградов В. В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика. М., 1963.

Виноградов В. В. Литературный язык. «Краткая литературная энциклопедия», т. 4, М., 1967.

Виноградова О. С. О некоторых особенностях ориентировочных реакций на раздражители второй сигнальной системы у нормальных и умственно отсталых школьников. — ВП, 1956, № 6.

Виноградова О. С. Роль ориентировочного рефлекса в процессе замыкания условной связи. «Конференция по проблематике ориентировочного рефлекса. Тезисы докладов». М., 1957.

✓ Виноградова О. С., Соколов Е. Н. Исследование реакций сосудов руки и головы при некоторых безусловных рефлексах. «Физиологический журнал СССР», т. XII, 1957, № 1.

✓ Виноградова О. С., Лурия А. Р. Объективное исследование смысловых связей. «Тезисы конференции по машинному переводу». М., 1958.

✓ Виноградова О. С., Эйслер Н. А. Выявление системы словесных связей при регистрации сосудистых реакций. — ВП, 1959, № 2.

Винокур Г. О. Футуристы — строители языка. — ЛЕФ, 1923, № 1 (а).

Винокур Г. О. Новая литература по поэтике. — ЛЕФ, 1923, № 1 (б).

Винокур Г. О. Культура языка. М., 1925.

Винокур Г. О. Проблемы культуры речи. «Русский язык в советской школе», 1929, № 5 (а).

Винокур Г. О. Культура языка. Изд. 2. М., 1929 (б).

Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959 (а).

Винокур Г. О. О задачах истории языка. «Избранные работы по русскому языку». М., 1959 (б).

Винокур Т. Г. Об изучении функциональных стилей русского языка советской эпохи (к постановке вопроса). «Развитие функциональных стилей современного русского языка». М., 1968.

Волкова В. Д. О некоторых особенностях образования условных рефлексов

- на речевые раздражители у детей. «Физиологический журнал СССР», т. 39, 1953, № 5.
- Волоцкая З. М., Молошная Т. Н., Николаева Т. М. Опыт описания русского языка в его письменной форме. М., 1964.
- Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. М., 1929.
- Вольская И. С. Дифференциальные признаки официально-делового стиля речи на синтаксическом уровне. — АҚД. М., 1966.
- Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969.
- Вопросы теории и практики массовых форм пропаганды. М., 1965.
- Вопросы теории лингвистической географии. Под ред. Р. И. Аванесова, М., 1962.
- Воронин Б. Ф. Психолингвистическая модель механизма порождения грамматических ошибок в устной речи на иностранном языке. «Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку», М., 1970.
- Вудвортс Р. Экспериментальная психология. Перевод с англ. М., 1950.
- Выготский Л. С. Мышление и речь. М. — Л., 1934.
- Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М., 1956.
- Выготский Л. С. Развитие высших психологических функций. М., 1960.
- [Выготский Л. С.] Из неизданных материалов Л. С. Выготского. «Психология грамматики». М., 1968 (а).
- Выготский Л. С. Психология искусства. Изд. 2, М., 1968 (б).
- Гавранек Б. О функциональном расслоении литературного языка. Перевод с чешского. «Пражский лингвистический кружок». М., 1967.
- Гайдамак В. Зависимость понимания сообщения от характера инструкции. Дипл. раб. М., 1970.
- Галунов В. И. Использование методов психологического шкалирования для изучения восприятия речи. «Материалы VI Всесоюзной акустической конференции». М., 1968.
- Галунов В. И., Чистович Л. А. О связи моторной теории с общей проблемой распознавания речи. «Акустический журнал», т. XI, вып. 4, 1965.
- Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. М., 1958.
- Гальперин И. Р. К проблеме дифференциации стилей речи. «Проблемы современной филологии». М., 1965.
- Гальперин П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий. «Психологическая наука в СССР», ч. 1, М., 1959.
- Гальперин П. Я. Основные результаты исследований по проблеме формирования умственных действий и понятий. Автореф. докт. дисс. М., 1965.
- Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. «Исследования мышления в советской психологии». М., 1966.
- Гальперин П. Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. — ВП, 1969, № 1.
- Гаузенблас К. К уточнению понятия «стиль» и к вопросу об объеме стилистического исследования. Перевод с чешского. — ВЯ, 1967, № 5.
- Гвоздев А. Н. Очерки по стилистике русского языка. М., 1952.
- Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. М., 1961.
- Гельфанд И. М., Гурфinkel В. С., Цейтлин М. Л. О тактиках управления сложными системами в связи с физиологией. «Биологические аспекты кибернетики». М., 1962.
- Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. Перевод с англ. М., 1959.
- Головин Б. Н. Введение в языкознание. М., 1966.
- Гохлернер М. М., Эйгер Г. В. О некоторых особенностях функционирования механизма порождения речи при обучении второму языку. «Материалы Второго симпозиума по психолингвистике». М., 1968.
- Гохлернер М. М., Ждан А. Н. Поэтапное формирование грамматических механизмов речи на родном и иностранном языках. М., 1970.
- Грамматика русского языка, т. I (Фонетика). М., 1952.
- Григорьев В. П. О нормализаторской деятельности и «языковом пятачке». — «Вопросы культуры речи», вып. 3, М., 1961.
- Григорьев В. П. Словарь языка русской советской поэзии. Проспект. Образцы словарных статей. Инструктивные материалы. М., 1965.

- ✓ Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов. Перевод с англ. «Новое в лингвистике», вып. 5. М., 1970.
- Гринберг Дж., Осгуд Ч., Дженкинс Дж. Меморандум о языковых универсалиях. Перевод с англ. «Новое в лингвистике», вып. 5. М., 1970.
- Гуд Г. Х., Макол Р. Э. Системотехника. Введение в проектирование больших систем. Перевод с англ. М., 1962.
- Гузман М. М. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку, ч. 1–2. М., 1959.
- Дзекиревская Л. Н. Система стилистических оппозиций лексических значений слов (на материале современного немецкого языка). Автореф. канд. дисс. М., 1965.
- Дзекиревская Л. Н., Тарасов Е. Ф. Овладение иностранным языком как социолингвистическая проблема. «Труды ВИИЯ. Иностранные языки». № 6. М., 1970.
- Добромыслов В. А. Развитие речи в связи с изучением грамматики. Морфология. М., 1954.
- Дридзе Т. М. Некоторые семиотические аспекты психосоциологии языка. Автореф. канд. дисс. М., 1969.
- Дридзе Т. М. Семиотические аспекты социального поведения в концепции Чарльза Морриса. — ВФ, 1970, № 8.
- Дукельский Н. И. Принципы сегментации речевого потока. М.—Л., 1962.
- Ельмслев Л. Прологомены к теории языка. «Новое в лингвистике», вып. I. М., 1960.
- Есперсен О. Философия грамматики. Перевод с англ. М., 1958.
- Ефимов А. И. Стилистика художественной речи. М., 1957 (2-е изд., 1961).
- Ждан А. Н. Опыт применения психологической теории о типах учения к построению учебного предмета (морфология русского языка). Автореф. канд. дисс. М., 1968.
- Жданов Ю. А. Моделирование в органической химии. — ВФ, 1963, № 6.
- Жинкин Н. И. Вопрос и вопросительное предложение. — ВЯ, 1955, № 3.
- Жинкин Н. И. Развитие письменной речи учащихся III—VII классов. «Изв. АПН РСФСР», вып. 78, М. — Л., 1956.
- Жинкин Н. И. Механизмы речи. М., 1958.
- Жинкин Н. И. Исследование внутренней речи по методике центральных речевых помех. «Изв. АПН РСФСР», вып. 113, 1960 (а).
- Жинкин Н. И. Звуковая коммуникативная система обезьян. «Изв. АПН РСФСР», вып. 113, 1960 (б).
- Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи. — ВЯ, 1964, № 6.
- Жинкин Н. И. Психологические особенности спонтанной речи. «Иностранные языки в школе», 1965, № 4.
- ✓ Жинкин Н. И. Психологические основы развития речи. «В защиту живого слова». М., 1966.
- ✓ Жинкин Н. И. Внутренние коды языка и внешние коды речи. «In honour Roman Jakobson». The Hague — Paris, 1967.
- Жирмунский В. М. Вопросы теории литературы. Л., 1928.
- Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. М., 1936.
- Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М., 1956.
- Жолковский А. К. Сопоставление по изучению поэтического языка. «Машинный перевод и прикладная лингвистика», вып. 7, М., 1962.
- Жолковский А. К., Мельчук И. А. К построению действующей модели языка «смысл → текст». «Машинный перевод и прикладная лингвистика», вып. 11. М., 1969.
- Журавлева Е. В. О соотношении сознательных и механических упражнений при обучении использованию грамматических средств в устной речи. «Вопросы обучения устной речи и чтению на иностранном языке». М., 1965.
- Зализняк А. А. Русское именное словоизменение. М., 1966.
- Запорожец А. В. Развитие произвольных движений. М., 1960.

- Засорина Л. Н.* Трансформация как метод лингвистического эксперимента. «Тезисы докладов на конференции по структурной лингвистике, посвященной проблемам трансформационного метода». М., 1961.
- Звегинцев В. А.* Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира — Уорфа. «Новое в лингвистике», вып. 1. М., 1960.
- Звегинцев В. А.* Очерки по общему языкознанию. М., 1960.
- Звегинцев В. А.* История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях, ч. 1. М., 1964; ч. 2. М., 1965.
- Звегинцев В. А.* Теоретическая и прикладная лингвистика. М., 1968.
- Здравомыслов А. Г.* Методология и процедура социологических исследований. М., 1969.
- Зейгарник Б. В.* К проблеме понимания переносного смысла предложения при патологических изменениях мышления. «Новое в учении об апраксии, агнозии и афазии». М.—Л., 1934.
- Зейгарник Б. В.* Нарушения мышления у психически больных. Автореф. докт. дисс. М., 1959.
- Зимняя И. А.* Некоторые психологические предпосылки моделирования речевой деятельности при обучении иностранному языку. «Иностранные языки в высшей школе», вып. 3. М., 1964.
- Зимняя И. А.* Условия формирования навыка говорения на иностранном языке и критерии его отработанности. «Научно-методическая конференция по вопросам обучения иностранным языкам в высшей школе. Тезисы докладов». М., 1967.
- Зимняя И. А.* О восприятии речевой интонации. «Материалы VI Всесоюзной акустической конференции». М., 1968 (а).
- ✓ *Зимняя И. А.* Речевой механизм и обучение речи на иностранном языке. «Материалы Второго симпозиума по психолингвистике». М., 1968 (б).
- Зимняя И. А., Леонтьев А. А.* Психологические особенности овладения иностранным языком. «Международная конференция преподавателей русского языка и литературы». М., 1969.
- Зимняя И. А., Скибо В. Н.* О реализации заданной вербальной программы средствами родного и неродного языка. «Материалы Третьего всесоюзного симпозиума по психолингвистике». М., 1970.
- Зиновьев А. А., Резвин И. И.* Логическая модель как средство научного исследования. ВФ, 1960, № 1.
- Зиндер Л. Р.* Русские артикуляционные таблицы. «Труды ВКАС», т. 29/30, 1951.
- Зиндер Л. Р.* О лингвистической вероятности. ВЯ, 1958, № 2.
- Зиндер Л. Р.* Общая фонетика. Л., 1960.
- Зиндер Л. Р., Бондарко Л. В.* О некоторых дифференциальных признаках русских согласных фонем. ВЯ, 1966, № 1.
- ✓ *Зинченко В. П.* Восприятие. «Общая психология». Под ред. А. В. Петровского. М., 1970.
- ✓ *Зинченко П. И.* Непроизвольное запоминание. М., 1961.
- Иванов Вяч. Вс.* Лингвистика как теория отношений между языковыми системами и ее современные практические приложения. «Лингвистические исследования по машинному переводу». Вып. 2. М., 1961 (а).
- Иванов Вяч. Вс.* Лингвистические вопросы стихотворного перевода. «Машинный перевод». М., 1961 (б).
- Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н.* Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период). М., 1965.
- Иванов В. В.* Лингвистика и исследование афазии. «Структурно-типологические исследования». М., 1962.
- ✗ *Июшин С. И.* Редакционная почта как источник социологической информации. «Журналист, пресса, читатель». Л., 1969.
- Ильенков Э. В.* Идеальное. «Философская энциклопедия», т. 2. М., 1962.
- Ильенков Э. В.* К истории вопроса о предмете логики как науки (статья вторая).— ВФ, 1966, № 1.
- Ильина В. И.* Сравнительный анализ восприятия языка реалистического и романтического методов. «Уч. Зап. МГПИИЯ», т. 6, М., 1953.

- Ильин Г. М., Лейкина Г. М.* и др. Модель семантики текста и система «запрос — ответ». — НТИ, серия 2, 1969, № 1.
- Ильясов И. И.* Экспериментальная проверка трансформационной модели порождения и понимания речи по методике Дж. Миллера на материале русского языка. «Материалы Второго симпозиума по психолингвистике». М., 1968.
- Ильясов И. И.* Эксперимент Дж. Миллера по проверке психологической реальности трансформационной модели (анализ методики). «Психология грамматики». М., 1968.
- Ингве В.* Значение исследований в области машинного перевода. Перевод с англ. — НТИ, 1965, № 7.
- Ингве В.* Гипотеза глубины. Перевод с англ. «Новое в лингвистике», вып. 4, М., 1965.
- Иорданская Л. Н.* Свойства правильной синтаксической структуры и алгоритмы ее обнаружения. «Проблемы кибернетики», вып. 11. М., 1964.
- Истомина З. М.* О взаимоотношении восприятия и названия цвета у детей дошкольного возраста (экспериментальное исследование). «Изв. АПН РСФСР», вып. 113. М., 1960.
- Истомина З. М.* Восприятие и название цвета в раннем возрасте. «Изв. АПН РСФСР», вып. 113, М., 1960.
- Исследование речи. Сб. переводов под ред. Н. Г. Загоруйко. Новосибирск, 1967.
- Ицкович В. А.* Языковая норма. М., 1968.
- Ицкович В. А.* Норма и ее кодификация. «Актуальные проблемы культуры речи». М., 1970.
- Каменский Л.* Руководство по корректуре. М., 1959.
- Карпушин В. А., Мотрошилова Н. В.* Личность сквозь призму социологического исследования. — ВФ, 1968, № 8.
- Капустин О. П.* Взаимоотношение между непосредственными условными раздражителями и словесными их символами. «Труды лаборатории физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности ребенка и подростка», т. II, 1930.
- Карри Т.* Некоторые логические аспекты грамматической структуры. Перев. с англ. «Новое в лингвистике», вып. 4, М., 1965.
- Кибрик А. Е.* Психолингвистический эксперимент в полевой лингвистике. «Материалы Третьего всесоюзного симпозиума по психолингвистике». М., 1970.
- Клименко А. П.* О психолингвистической модели семантической микросистемы времени в русском языке. «Вопросы лексики и грамматики русского языка, II. Уч. зап. филол. фак-та Кирг. гос. ун-та», вып. 13, Фрунзе, 1964.
- Клименко А. П.* Существительные со значением времени в современном русском языке (опыт психолингвистического описания одной семантической микросистемы). — АҚД, Минск, 1965.
- Клименко А. П.* К обсуждению результатов качественных парадигматических экспериментов. «Материалы Второго симпозиума по психолингвистике». М., 1968.
- Клименко А. П.* Проблема достоверности психолингвистического моделирования семантики. «Проблема модели в философии и естествознании». Фрунзе, 1969.
- Клименко А. П.* Вопросы психолингвистического изучения семантики. Минск, 1970.
- Климов Г. А.* Фонема и морфема. М., 1967.
- Климов Г. А.* Синхрония и диахрония. «Общее языкознание», т. 2, М., 1972.
- Климов Г. А., Кубрякова Е. С., Серебренников Б. А.* Язык как исторически развивающееся явление. «Общее языкознание». М., 1970.
- Ковалев А. Г.* Психология литературного творчества. Л., 1960.
- Ковалев В. А.* Многообразие стилей в советской литературе. М.—Л., 1965.
- Кодухов В. И.* Методология науки и методы лингвистического исследования. «Вопросы общего языкознания». Л., 1967.

- Кожина М. И. О стилистическом изучении речи и речевом функциональном стиле. «Уч. Зап. ПГУ, № 160. Исследования по стилистике». Пермь, 1966 (а).
- Кожина М. И. О специфике художественной и научной речи в аспекте функциональной стилистики. Пермь, 1966 (б).
- Кожина М. И. Об одной функционально-стилистической закономерности научной речи. «Исследования по стилистике». Пермь, 1966 (в).
- Кожина М. И. Проблемы специфики и системности функциональных стилей речи. Автореф. докт. дисс. М., 1970.
- Кожин В. В. О художественной речи. «Русская речь», 1970, № 5.
- «Комсомольская правда», 2 августа 1964 г., стр. 4 («От девяти до десяти»; Л. А. Кассиль, Их глазами; Т. Г. Громова, Г. Ронина, Отнесемся серьезно).
- Колианский Г. В. О правомерности различения языка и речи. «Иностранные языки в высшей школе», вып. III. М., 1967.
- Кон И. С. Социология личности. М., 1965.
- Кон И. С. Личность и ее социальные роли. «Социология и идеология». М., 1969.
- Конрад Н. И. О «языковом существовании». «Японский лингвистический сборник». М., 1959.
- Конрад Н. И. О работах В. В. Виноградова по вопросам стилистики, поэтики и теории поэтической речи. «Проблемы современной филологии». М., 1965.
- Копнин П. В. Философские проблемы языка.— В его кн. «Философия и современность». М., 1971, стр. 187—204.
- Копыленко М. М. К экспериментальному изучению сочетаемости лексем. ВЯ, 1965, № 2.
- Копыленко М. М. О различиях между производством, порождением и синтезом речи. «Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком». М., 1969.
- Коротков Н. И. Норма, система и структура как этапы анализа и описания языкового строя. «Спорные вопросы грамматики китайского языка». М., 1963.
- Коротков Н. И. Основные особенности морфологического строя китайского языка. М., 1968.
- Короткова Е. В., Кузменко И. Н., Кузнецов О. Н. Сравнительная характеристика ассоциативного процесса на иностранном и родном языке как психолингвистический показатель усвоения языка. «Материалы Второго симпозиума по психолингвистике». М., 1968.
- Косериу Э. Синхрония, диахрония и история. Перев. с исп. «Новое в лингвистике», вып. 3, М., 1963.
- ✓ Косовский Б. Н. Общее языкознание, ч. 1. Минск, 1968; ч. 2. Минск, 1969.
- ✓ Костомаров В. Г. О разграничении терминов «устный», «разговорный», «письменный», «книжный». — «Проблемы современной филологии». М., 1965.
- Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе. М., 1971.
- ✓ Котляревский Л. И. Образование зрачковых условных рефлексов и дифференцировки на непосредственный и речевой раздражитель. «Архив биологических наук», т. 39, вып. 2, 1935.
- ✓ Котляревский Л. И. Сердечно-сосудистые условные рефлексы на непосредственный и словесный раздражитель. «Физиологический журнал СССР», т. 20, 1936, № 2.
- Котарбинский Т. Вопросы рациональной организации деятельности. Перевод с польск. «Избранные произведения». М., 1963.
- Красногорский Н. И. К физиологии становления детской речи. «Журнал ВНД», т. 2, 1952, вып. 4.
- Красногорский Н. И. Труды по изучению высшей нервной деятельности человека и животных, т. I. М., Медгиз, 1954.
- Краус И. Меры оценки публицистических текстов. «Prague Studies in Mathematical Linguistics», 3. Praha, 1970.

- Кречмар А. О понятийном аппарате социологической концепции личности. «Социальные исследования», вып. 5. М., 1970.
- Критская В. П. Особенности статистической организации речевого процесса больных шизофренией. «Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова», 1966, вып. 1.
- Кручинина И. Чтения, посвященные памяти академика В. В. Виноградова. ВЯ, 1971, № 4.
- Крысин Л. П., Скворцов Л. И., Шварцкоф Б. С. Проблемы культуры русской речи (обзор). «ИАН ОЛЯ», 1961, вып. 5.
- Кузнецов П. С. О дифференциальных признаках фонем.— ВЯ, 1958, № 1.
- Кузнецов П. С. Об основных положениях фонологии.— ВЯ, 1959, № 2.
- Курилович Е. Заметки о значении слова. ВЯ, 1955, № 3.
- Лабутин В. К., Молчанов А. М. Модели нервных механизмов переработки речевых сигналов. «XI съезд Всесоюзного физиологического общества им. И. П. Павлова. Рефераты докладов». Л., 1970.
- Лангева О. А. Активное функционирование устно-разговорных синтаксических построений. «Морфология и синтаксис современного русского языка». М., 1968 (а).
- Лангева О. А. Внутрителивая эволюция современной русской научной прозы. В кн.: «Развитие функциональных стилей русского современного языка». М., 1968 (б).
- Ларин Б. А. О разновидностях художественной речи. Семантические этюды. «Русская речь», I. Пг., 1923.
- Лебедев В. К., Скалзуб Л. Г. Исследование артикуляторного давления при речи с применением тензометрирования. Сообщение на VI Всесоюзной акустической конференции. М., 1968.
- ✓ Лебединский М. С. К вопросу о речевых расстройствах шизофреников. «Советская психоневрология», 1938, № 3.
- Левада Ю. А. Социальная природа религии. М., 1965.
- Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Перевод с франц. М., 1930.
- Левин В. Д. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. М., 1964.
- Лекторский В. А. Принцип воспроизведения объекта в знании.— ВФ, 1967, № 4.
- Леонтьев А. А. И. А. Бодуэн де Куртенэ и петербургская школа русской лингвистики.— ВЯ, 1961, № 4.
- Леонтьев А. А. Психолингвистика и проблема функциональных единиц речи. «Вопросы теории языка в современной зарубежной лингвистике». М., 1961.
- Леонтьев А. А. Рец. на книги Э. Косериу.— «Структурно-типологические исследования». М., 1962.
- Леонтьев А. А. Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963.
- Леонтьев А. А. Некоторые вопросы лингвистической теории письма. «Вопросы общего языкознания». М., 1964.
- Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. М., 1965 (а).
- Леонтьев А. А. Язык и разум человека. М., 1965 (б).
- Леонтьев А. А. Психолингвистика. Л., 1967 (а).
- Леонтьев А. А. Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания. «Вопросы порождения речи и обучения языку». М., 1967 (б).
- Леонтьев А. А. Общественные функции языка и его функциональные эквиваленты. «Язык и общество». М., 1968 (а).
- Леонтьев А. А. Психолингвистическая значимость трансформационной модели. «Психология грамматики». М., 1968 (б).
- Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М., 1969 (а).
- Леонтьев А. А. Психолингвистика. «Русская речь», 1969, № 1 (б).
- Леонтьев А. А. «Словарь стереотипных ассоциаций русского языка», его теоретические основы, задачи и значение для обучения русскому языку иностранцев.— «Вопросы учебной лексикографии». М., 1969 (в).

- Леонтьев А. А. Смысл как психологическое понятие. «Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком». М., 1969 (г).
- Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969 (д).
- Леонтьев А. А. Психофизиологические механизмы речи. «Общее языкознание». М., 1970 (а).
- Леонтьев А. А. Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному (психолингвистические очерки). МГУ, 1970 (б).
- Леонтьев А. А. Папуасские языки. М., 1974.
- Леонтьев А. А., Наумова Т. Н. Гипотеза Сепира — Уорфа и семантика целого высказывания. «Вопросы семантики. Тезисы докладов». М., 1971.
- Леонтьев А. А., Рябова Т. В. Фазовая структура речевого акта и природа планов. «Планы и модели будущего в речи (материалы к обсуждению)». Тбилиси, 1970.
- Леонтьев А. Н. Психологические вопросы сознательности учения. «Изв. АПН РСФСР», вып. 7. «Вопросы психологии понимания. Труды Ин-та психологии». М., 1947.
- ✓ Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М., 1959.
- ✓ Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. Изд. 2. М., 1965.
- ✓ Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и сознание. «XVIII Международный психологический конгресс. Симпозиум 13. Мотивы и сознание в поведении человека». М., 1966.
- Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. Изд. 3. М., 1972.
- Леонтьев А. Н., Кринчик Е. П. Переработка информации человеком в ситуации выбора. «Инженерная психология». М., 1964 (а).
- ✓ Леонтьев А. Н., Кринчик Е. П. Некоторые особенности процесса переработки информации человеком. «Кибернетика, мышление, жизнь». М., 1964 (б).
- Леонтьев А. Н., Лурия А. Р. Предисловие к кн.: Выготский Л. С. «Избранные психологические исследования». М., 1956.
- Леонтьев А. Н., Панов Д. Ю. Психология человека и технический прогресс. «Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии». М., 1963.
- Леонтьева Н. Н. Анализ и синтез русских эллиптических предложений. НТИ, 1965, № 11.
- Леонтьева Н. Н. Устранение некоторых видов избыточной информации в естественном языке. «МП и ПЛ», вып. 10. М., 1967.
- ✓ Леонтьева Н. Н. О смысловой неполноте текста в связи с семантическим анализом. «МП и ПЛ», вып. 12, М., 1969.
- Лесерф И. Применение программы и модели конкретной ситуации к автоматическому синтаксическому анализу. Перевод с франц. НТИ, 1963, № 10.
- Лессис Г. А. О зависимости между размером предложения и характером текста, ВЯ, 1963, № 12.
- Леушина А. М. Развитие связной речи у дошкольника. «Уч. зап. ЛГПИ», т. 31, Л., 1941.
- Лийб Г. Э., Ээк А. Э. Синхронное изучение артикуляции и спектральных характеристик речи. Сообщение на VI Всесоюзной акустической конференции. М., 1968.
- Личность и ее ценностные ориентации, вып. II, М., 1969.
- Лосев А. Ф. Символ. «Философская энциклопедия», т. 5. М., 1971.
- Лотман Ю. М. Лекции по структурной поэтике. «Уч. зап. Тартуского ун-та», вып. 160, Тарту, 1964.
- Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
- Лотман Ю. М., Пятигорский А. М. Текст и функция. «Тезисы 3-й летней школы по вторичным моделирующим системам». Тарту, 1968.
- Лурия А. Р. Травматическая афазия. М., 1947.
- Лурия А. Р. (ред.). Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребенка, т. I и II. М., 1956—1958.
- Лурия А. Р. Мозг человека и психические процессы. М., 1963.

- ✓ *Лурия А. Р.* Словесная система выражения отношений (Курс общей психологии, лекции 41—46). М., 1965 (литограф. изд.).
- Лурия А. Р.* Проблемы и факты нейролингвистики. «Теория речевой деятельности». М., 1968.
- Лурия А. Р.* Психология как историческая наука. «История и психология». М., 1971.
- ✓ *Лурия А. Р., Юдович Ф. Я.* Речь и развитие психических процессов у ребенка. М., 1961.
- Лурия А. Р., Виноградова О. С.* Объективное исследование динамики семантических систем. «Семантическая структура слова», М., 1971.
- Луцихина И. М.* Аудирование речевых сообщений в условиях белого шума. АКД. Л., 1965 (а).
- Луцихина И. М.* Использование гипотезы Ингве о структуре фразы при изучении восприятия речи.— ВП, 1965, № 2 (б).
- Луцихина И. М.* Экспериментальное исследование психолингвистической значимости грамматической структуры высказывания. «Теория речевой деятельности (проблемы психолингвистики)». М., 1968 (а).
- Луцихина И. М.* О роли некоторых грамматических трансформаций при различных условиях речевого общения. «Материалы второго симпозиума по психолингвистике». М., 1968 (б).
- Любимова Е. Д.* К проблеме словесных и чувственных обобщений (на материале названий цвета в эвенкийском языке). «Изв. АПН РСФСР», вып. 113. М., 1960.
- Майлибаева Л. И.* О некоторых признаках английского публицистического стиля. АКД. М., 1968.
- Мальцев А. И.* Алгоритмы и рекурсивные функции. М., 1965.
- Мандельштам О.* Разговор о Данте. М., 1967.
- Мартине А.* Основы общей лингвистики. Перевод с франц. «Новое в лингвистике», вып. 3. М., 1963.
- Маслыко Е. А.* К проблеме паралингвистических явлений как побочного продукта речевого высказывания. «Проблемы активного метода обучения иностранным языкам». Минск, 1970.
- Матезиус В.* Язык и стиль. Перевод с чешск. «Пражский лингвистический кружок». М., 1967.
- Материалы Второго симпозиума по психолингвистике. М., 1968.
- Магюжина М. В.* Образование условного фотохимического рефлекса на сложные непосредственные и словесные раздражители у человека. «Изв. АПН РСФСР», вып. 2, 1956.
- Мацковский М. С.* К вопросу о количественном измерении трудности печатного материала. «Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике». М., 1970.
- Мегрелидзе К. Р.* Основные проблемы социологии мышления. Тбилиси, 1965.
- Мейлах Б.* Художественное мышление Пушкина. М.—Л., 1962.
- Мельчук И. А.* К вопросу о термине «система» в лингвистике. «Zeichen und System der Sprache», Bd. II. Berlin, 1962.
- Мельчук И. А.* Автоматический синтаксический анализ. Новосибирск, 1964 (а).
- ✓ *Мельчук И. А.* Обобщение понятия фразеологизма. «Актуальные вопросы современного языкознания и лингвистического наследия Е. Д. Поливанова, т. I. Тезисы докладов». Самарканд, 1964 (б).
- Мельчук И. А.* Строение языковых знаков и возможные формально-смысловые отношения между ними. ИАН ОЛЯ, т. 27, вып. 5. М., 1968.
- Мещанинов И. И.* Члены предложения и части речи. М.—Л., 1945.
- Миллер Дж.* Речь и язык. «Экспериментальная психология». Под редакцией С. С. Стивенса. Перевод с англ., т. II. М., 1963.
- Миллер Дж.* Психолингвисты. Перев. с англ. «Теория речевой деятельности (проблемы психолингвистики)». М., 1968.
- Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К.* Планы и структура поведения. Перевод с англ. М., 1965.

- Михайловская Н. Г.* К вопросу о категории вариантности (существительные на -ие/-ье в языке Б. Пастернака). «Вопросы культуры речи», вып. 8. М., 1967.
- Могилевский Р. И.* Аббревиация как лингвистическое явление.— АКД, Тб., 1966.
- Модели восприятия речи. Л., 1966 (XVIII Международный психологический конгресс, Симпозиум 23).
- Морен М. К., Тетерникова Н. Н.* Стилистика современного французского языка. М., 1960.
- Морозов К. Е.* Математическое моделирование в научном познании. М., 1969.
- Морозова Н. Г.* О понимании текста. «Известия АПН РСФСР». Вып. 7, М., 1947.
- Москович В. А.* Глубина и длина слов в естественном языке. ВЯ, 1967, № 6.
- Москович В. А.* Семантическое поле цветообозначений и некоторые аспекты гипотезы Сепира—Уорфа. В его кн.: «Статистика и семантика». М., 1969 (а).
- Москович В. А.* Глубина и длина слов в естественных и искусственных языках. «Языковые универсалии и лингвистическая типология». М., 1969 (б).
- Москович В. А., Вишнякова С. М.* Эксперимент по оценке качества перевода. «Материалы Второго симпозиума по психолингвистике», М., 1968.
- Мурыгина З. М.* Семантическая структура спрягаемых форм русского глагола. М., 1970.
- Мучник Б. С.* Методы регистрации первоначального восприятия текста. «Материалы Второго симпозиума по психолингвистике». М., 1968.
- Неверов С. В.* Об одном направлении лингвистической науки в Японии.— ВЯ, 1963, № 6.
- ✓ *Непомнящая Н. И.* Некоторые условия нарушения регулирующей роли речи у умственно отсталых детей. Сб. «Проблемы ВНД нормального и аномального ребенка», т. I. М., 1956.
- Никифорова О. И.* Роль представлений в восприятии слова, фразы и художественного описания. «Известия АПН РСФСР», вып. 7, М., 1947.
- Николаева Т. М.* Письменная речь и ее изучение.— ВЯ, 1961, № 3.
- Николаева Т. М.* Интонация сложного предложения в славянских языках. М., 1969.
- Николаева Т. М.* Новое направление в изучении спонтанной речи. ВЯ, 1970, № 3.
- Новикова Л. А.* Электрофизиологическое исследование речевых кинестезий. ВП, 1955, № 5.
- «Новое в лингвистике», вып. 5 (Языковые универсалии). М., 1970.
- Новые универсалии в области фонологии и синтаксиса. Перевод с англ. «Языковые универсалии и лингвистическая типология». М., 1969.
- ✓ *Норман Е. Ю.* Гипотеза Сепира—Уорфа и белорусско-русский дифференциально-семантический словарь. «Актуальные проблемы лексикологии». Минск, 1970.
- Носенко Э. Л.* Об использовании некоторых темпоральных характеристик речи для объективного установления уровня владения устной иноязычной речи. «Иностранные языки в школе». 1969, № 5.
- Носенко Э. Л.* Объективные показатели уровня владения устной иноязычной (монологической) речью.— АКД, М., 1970.
- Общее языкознание. Библиографический указатель. М., 1965.
- Общее языкознание, т. I. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.
- Общее языкознание, т. II. М., 1972.
- Общее языкознание, т. III. М. 1972.
- Овсянко-Куликовский Д.* Язык и искусство. СПб., 1895.
- Ожегов С. И.* Очередные вопросы культуры речи. «Вопросы культуры речи», вып. I. М., 1955.
- Ольшанский В. Б.* О некоторых механизмах взаимосвязи общества и личности (социально-психологическое исследование).— АКД. М., 1968.

- Орлов Е. Ф., Спиридонова И. К. Оптический анализ звуков речи. Сообщение на VI Всесоюзной акустической конференции. М., 1968.
- Осинов Г. В. Теория и практика советской социологии. «Социологические исследования», вып. 5, М., 1970.
- Основные направления структурализма. М., 1964.
- О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков. М., 1960.
- О структуре марксистской социологической теории (материалы дискуссии). М., 1970.
- О точных методах исследования языка. М., 1961.
- Павлов В. М. Развитие определительного сложного существительного в немецком языке. «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», т. 190, ч. 2, Л., 1958.
- Павлов В. М. К вопросу об отношении словосложения к синтаксису немецкого языка. «Вопросы теории немецкого языка», т. I, Иркутск, 1960.
- Павлов И. П. Полное собрание трудов, т. III. М.—Л., 1949.
- Павлов И. П. Полное собрание трудов, т. IV. М.—Л., 1947.
- Падучева Е. В. Возможности изучения языка методами теории информации. О. С. Ахманова и др. «О точных методах исследования языка». М., 1961.
- Пала К. О некоторых проблемах актуального членения. «Prague Studies in Mathematical Linguistics», I, Praha, 1966.
- Палермо О. С. Словесные ассоциации и речевое поведение детей. Перевод с англ. «Изучение развития и поведения детей». М., 1966.
- Панов М. В. О стилях произношения. «Развитие современного русского языка». М., 1963.
- Панов М. В. Русская фонетика. М., 1967.
- Парсонс Т. Общетеоретические проблемы социологии. Перевод с англ. «Социология сегодня. Проблемы и перспективы». М., 1965.
- Петрищева Е. Ф. Об эмоциональной окрашенности слов в современном русском языке (опыт лингвистического эксперимента). В кн.: «Развитие лексики современного русского языка». М., 1965.
- Пенфилд У., Джаспер Г. Эпилепсия и функциональная анатомия головного мозга человека. Перевод с англ. М., 1958.
- Пенфилд У., Робертс Л. Речь и мозговые механизмы. Перевод с англ. Л., 1964.
- Перетрухин В. Н. Введение в языкознание. Белгород, 1968.
- Пешковский А. М. Школьная и научная грамматика. Берлин, 1922.
- Пешковский А. М. Избранные труды. М., 1959 (а).
- Пешковский А. М. Объективная и нормативная точка зрения на язык. «Избранные труды». М., 1959 (б).
- Пирамидин В. Читатель и газета. Свердловск, 1967.
- Планы и модели будущего в речи (материалы к обсуждению). Тбилиси, 1970.
- Поливанов Е. Д. По поводу звуковых жестов японского языка. «Поэтика». Пг., 1919.
- Поливанов Е. Д. О литературном (стандартном) языке современности. «Родной язык в школе», 1927, кн. I.
- Поливанов Е. Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. Л., 1928.
- Поливанов Е. Д. Общий фонетический принцип всякой поэтической техники.— ВЯ, 1963, № 1.
- Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968.
- Пономарев Я. А. Психология творческого мышления. М., 1960.
- Понгильская А. Ф. Усвоение грамматического строя русского языка учащимися младших классов школы глухонемых. Автореф. канд. дисс. М., 1952.
- Понтрягин Л. С. и др. Математическая теория оптимальных процессов. Изд. 2, М., 1969.
- Попов Е. А. О некоторых расстройствах речи и мышления у больных шизофренией в патофизиологическом освещении. «Вопросы патологии речи», т. XXXII (81), Харьков, 1959.
- Пражский лингвистический кружок. Сб. статей. Перевод с чешск. М., 1967.
- Психология. Под ред. А. А. Смирнова и др. М., 1956.

Психология и методика обучения второму языку (Критерии отбора языкового материала). Тексты докладов. М., 1967.

То же. Тезисы сообщений. М., 1967.

Психология и методика обучения второму языку (Объективные методы текущей проверки уровня языковых умений). Тезисы докладов и сообщений. М., 1969.

✓ *Пятигорский А. М.* Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала. «Структурно-типологические исследования», М., 1962.

Развитие стилистических систем литературных языков народов СССР. Тезисы докладов конференции. Ашхабад, 1966.

Резинкина Н. М. О преломлении эмоциональных явлений в стиле научной прозы. «Особенности языка научной литературы». М., 1965.

Рамуль К. А. Введение в методы экспериментальной психологии. Тарту, 1963.

Ревзин И. И., Финн В. К. Рецензия на книгу Ч. Осгуда, Г. Сучи, П. Танненбаума «Измерение значения». — ВЯ, 1959, № 4.

Ревзин И. И. Две книги, посвященные грамматической правильности. — ВЯ, 1967, № 2.

Ревтова И. Д. Интонация повествования в современном английском и русском языках. Авт. канд. дисс. М., 1963.

Редозубов С. П. Методика русского языка в начальной школе. Изд. 5. М., 1963.

Реформатский А. А. Лингвистика и полиграфия. «Письменность и революция», сб. I. М.—Л., 1933.

Реформатский А. А. Введение в языкознание. Изд. 4. М., 1967.

✓ *Речь.* Артикуляция и восприятие. Под ред. В. А. Кожевникова и Л. А. Чистович. М.—Л., 1965.

Речь и интеллект деревенского, городского и беспризорного ребенка. Экспериментальное исследование под редакцией А. Р. Лурия. М.—Л., 1930.

Ржевкин С. И. Слух и речь в свете современных физических исследований. М.—Л., 1936.

Розанов Ю. А. Теория вероятностей и ее применения. «О некоторых вопросах современной математики и кибернетики». М., 1965.

Розанова Т. В., Чуприкова Н. И., Лубовский В. И., Фараопова Э. А. XIX Международный психологический конгресс. — ВП, 1970, № 2.

Розенгарт-Пупко Г. Л. Формирование речи у детей раннего возраста. М., 1963.

Розлин Л. Л. и Гребенцова Т. И. О временном преодолении разорванности мышления и речи у больных шизофренией при помощи никотиновой кислоты. «Вопросы патологии речи». Харьков, 1959.

Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. М.—Л., 1929.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. М., 1940.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Учпедгиз, М., 1946.

Рубинштейн С. Л. Принципы и пути развития психологии. М., Изд-во АН СССР, 1959.

Рябова Т. В. Механизм порождения речи по данным афазии. «Вопросы порождения речи и обучения языку». М., 1967.

Рябова Т. В., Штерн А. С. К характеристике грамматического структурирования (на материале анализа речи больных афазией). «Психология грамматики». М., 1968.

Рябова Т. В. Психолингвистический и нейропсихологический анализ динамической афазии. Канд. дисс. М., 1970.

Садовский В. Н. Аксиоматический метод построения научного знания. «Философские проблемы современной формальной логики». М., 1962.

Садовский В. Н. Методологические проблемы исследования объектов, представляющих собой системы. «Социология в СССР», т. I. М., 1966.

✓ *Сапогова Л. И.* Опыт семантико-стилистического сопоставления морфемных усечений с прототипами. — АКД, 1968.

Самарин Р. М. Проблемы стиля в современной зарубежной науке. «Тезисы

- Докладов межвузовской конференции по стилистике художественной литературы». М., 1961.
- Сахарный Л. В. К проблеме психологической реальности словообразовательной модели. «Материалы Третьего всесоюзного симпозиума по психолингвистике». М., 1970 (а).
- Сахарный Л. В. Некоторые психолингвистические аспекты словообразовательного анализа. «Actes du X^e Congrès international des linguistes», III. București, 1970 (б).
- Сахарный Л. В., Орлова О. Д. Типы употребления в речи нескольких вариантов одной гиперлексемы (опыт психолингвистического анализа текста). «Живое слово в русской речи Прикамья», вып. I. Пермь, 1969.
- Сахаров И. Сказания русского народа, т. I. СПб., 1885.
- Семенюк Н. Н. Норма. «Общее языкознание». М., 1970.
- Сепир Э. Язык. Перевод с англ. М., 1934.
- Симпсон Дж., Ингер Дж. М. Социология расовых и этнических отношений. Перевод с англ. «Социология сегодня». М., 1965.
- Симуш П. Культурная жизнь белорусской деревни. «Политическое самообразование», 1966, № 7.
- Сиротинина О. В. Некоторые жанрово-стилистические изменения советской публицистики. М., 1968.
- Скаличка В. Копенгагенский структурализм и «Пражская школа». Перевод с чешск.— В кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX и XX вв. в очерках и извлечениях, ч. II. М., 1965.
- Скворцов Л. И. Норма. Литературный язык. Культура речи. «Актуальные проблемы культуры речи». М., 1970.
- Скиба В. А. К проблеме эффективности массовой коммуникации в буржуазной социологии. «Вопросы теории и практики массовых средств пропаганды», вып. 2. М., 1969.
- Слама-Казаку Т. Принцип приспособления к контексту. «Журнал языкознания», 1956, № 1.
- Смирнов В. А. Генетический метод построения научной теории. «Философские проблемы современной формальной логики». М., 1962.
- Слюсарева Н. А. О знаковой ситуации. «Язык и мышление». М., 1967.
- ✓ Смирницкий А. И. К вопросу о слове (проблема «тождества слова»). «Труды Института языкознания АН СССР», т. 4. М., 1954.
- ✓ Смирницкий А. И. К вопросу о слове (проблема «отдельности» слова). «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию». М., 1952.
- ✓ Смирницкий А. И. Лексическое и грамматическое в слове. «Вопросы грамматического строя». М., 1955.
- ✓ Смоленская Э. П. О словесных символах условного и дифференцировочного раздражителей. «Труды лаборатории физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности ребенка и подростка», т. IV, М., 1934.
- Снегневский А. В. Симптоматология психозов. «Психиатрия. Клиника и патогенез», М., 1969.
- Советский читатель. Опыт конкретно-социологического исследования. М., 1968.
- Советское языкознание за 50 лет. М., 1967.
- ✓ Соколов А. Н. Внутренняя речь и мышление. М., 1968 (а).
- Соколов А. Н. Теория стиля. М., 1968 (б).
- Соколов Е. Н. Соотношение ориентировочного рефлекса с другими безусловными рефлексами при выработке временной связи у человека. «Конференция по проблемам ориентировочного рефлекса. Тезисы». М., 1957.
- Сорокин Ю. А. Библиопсихологическая теория Н. А. Рубакина и смежные науки. «Книга. Исследования и материалы». Сб. 17. М., 1968.
- Сорокин Ю. С. К вопросу об основных понятиях стилистики.— ВЯ, 1954, № 2.
- Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Перевод с франц. М., 1933.
- Сохин Ф. А. Начальные этапы овладения ребенком грамматическим строем языка.— АКД. М., 1955.

- Справочник невропатолога и психиатра. Под общ. ред. Н. И. Гращенкова и А. В. Снежневского. М., 1969.
- Срезневский И. П. Материалы для словаря древнерусского языка, т. 2, СПб., 1895.
- Стеблин-Каменский М. И. Культура Исландии. Л., 1967.
- Степанов Г. В. О языковой норме в странах испанской речи. «Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков». Л., 1964.
- Степанов Ю. С. Французская стилистика. М., 1965.
- Степанов Ю. С. Основы языкознания. М., 1966.
- Страхов В. И. К вопросу о психологии творческого процесса Гончарова. «Уч. зап. Саратовского пединститута», т. 25, 1956.
- Структурное и прикладное языкознание. Библиографический указатель. М., 1961.
- Судомир А. К. Расщепление речи при психозе. «Современная психоневрология», т. 8, 1927, № 6—7.
- Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 1973.
- ✓ Супрун А. Е., Клименко А. П., Толстая С. М. К сопоставлению психолингвистического и дистрибутивного анализа семантики. «Методы экспериментального анализа речи». Минск, 1968.
- Суханова Н. В. Некоторые физические свойства детской речи. Сообщение на VI Всесоюзной акустической конференции. М., 1968.
- ✓ Сыркина В. Е. Некоторые новые методы исследования и воспитания речи. «Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», в. III. Л., 1946.
- Тарасов Е. Ф. Вопросы описания и интерпретации функциональных стилей (на материале публицистического подстиля «Экономическая реклама» современного немецкого языка). Канд. дисс. М., 1963.
- Татаренко Н. П. Афазиоподобные расстройства речи у психозников. «Советская психоневрология», 1938, № 3.
- Тезисы Пражского лингвистического кружка. Перевод с франц. «Пражский лингвистический кружок». М., 1967.
- Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.
- Теория речевой деятельности (проблемы психолингвистики). М., 1968.
- Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958.
- Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. М., 1965.
- Толстой Н. И. Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии. «Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады советской делегации». М., 1968.
- Томашевский Б. В. Стих и язык. М.—Л., 1959.
- Томилин В. В. Физиология, патология и судебно-медицинская экспертиза письма. М., 1963.
- Томсен В. История языковедения до конца XIX века. М., 1938.
- ✓ Торсуев Г. П. Вопросы фонетической структуры слова. М.—Л., 1962.
- Трахтенберг В. Ф. Блатная музыка («Жаргон» тюрьмы). СПб., 1908.
- Трауготт Н. Н. Взаимоотношение непосредственной и символической проекции в процессе образования условного тормоза. «Труды лаборатории физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности ребенка и подростка», т. IV, М., 1934.
- ✓ Трофимович Г. П. К вопросу о психологии усвоения учащимися понятий о частях речи.— ВП, 1957, № 3.
- Трубецкой И. С. Основы фонологии. Перевод с нем. М., 1960.
- Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. Л., 1924.
- Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929.
- Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М., 1966.
- Уледов А. К. Общественное мнение советского общества. М., 1963.
- ✓ Ульманц С. Семантические универсалии. Перевод с англ. «Новое в лингвистике», вып. V. М., 1970.
- Умнов В. Г. Проблема читательского интереса в социально-психологической теории. «Журналист, пресса, читатель». Л., 1969.

- Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. «Новое в лингвистике», вып. 1. М., 1960 (а).
- Уорф Б. Л. О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление. «Новое в лингвистике», вып. 1. М., 1960 (б).
- Уорф Б. Л. Лингвистика и логика. «Новое в лингвистике», вып. 1. М., 1960 (в).
- Уорт Д. С. Об отображении линейных отношений в порождающих моделях языка. Перев. с англ.— ВЯ, 1964, № 5.
- Успенский Б. А. Структурная типология языков. М., 1969.
- Успенский Б. А. Проблема универсалий в языкознании. «Новое в лингвистике», вып. V. М., 1970.
- Уфимцева А. А. Понятие языкового знака. «Общее языкознание». М., 1970.
- Фадеева В. К. Особенности взаимодействий первой и второй сигнальных систем при образовании реакции на сложные раздражители у детей. «Журнал высшей нервной деятельности», т. 1, вып. 3, 1951.
- Фант Г. Акустическая теория речеобразования. Перев. с англ. М., 1964.
- Фаткин Л. В. Общие понятия теории информации и их применение в психологии и психофизиологии. «Инженерная психология», М., 1964.
- Федорова Н. А. Измерение человеком полезных акустических параметров словесного ударения. Автореф. канд. дисс. Л., 1969.
- Фейгенберг И. М. Вероятностное прогнозирование и преднастройка к действиям. «XVIII Международный психологический конгресс. Симпозиум 2. Кибернетические аспекты интегральной деятельности мозга». М., 1966.
- Филин Ф. П. Проблемы социальной обусловленности языка. «Язык и общество» (Тезисы докладов). М., 1966 (а).
- Филин Ф. П. Несколько слов о языковой норме и культуре речи. «Вопросы культуры речи», вып. 7. М., 1966 (б).
- Фигалов С. Я. Формально-математические модели языков и структуры алгоритмов перевода. «Тезисы совещания по математической лингвистике». Л., 1959.
- Фонарев А. М. Прибор для электрической регистрации микродвижений языка при скрытой артикуляции. «Известия АПН РСФСР», вып. 81, 1956.
- Франко И. Из секретов поэтического творчества. М., 1967.
- Фролов И. Т. Гносеологические проблемы моделирования биологических систем.— ВФ, 1961, № 2.
- Фрумкина Р. М. Объективные и субъективные оценки вероятностей слов.— ВЯ, 1966, № 2.
- Фрумкина Р. М. Словарь-минимум и понимание текста. «Русский язык за рубежом», 1967, № 2.
- Фрумкина Р. М. Вероятность элементов текста и речевое поведение. М., 1971.
- Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Вып. 2. Табу. Запреты. Перевод с англ. Л., 1928.
- Хоккетт Ч. Ф. Грамматика для слушающего. «Новое в лингвистике», вып. IV. М., 1965.
- Хоккетт Ч. Ф. Проблема языковых универсалий. Перев. с англ. «Новое в лингвистике», вып. V. М., 1970.
- Холодович А. А. О типологии речи. «Историко-филологические исследования. Сб. статей к 75-летию акад. Н. И. Конрада». М., 1967.
- Хомский Н. Три модели описания языка. Перев. с англ. «Кибернетический сборник», вып. 2, М., 1961.
- Хомский Н. Синтаксические структуры. Перев. с англ. «Новое в лингвистике», вып. 2, М., 1962.
- Хомский Н. О понятии «правило грамматики». Перев. с англ. «Новое в лингвистике», вып. IV. М., 1965.
- Хомский Н. и Миллер Дж. Языки с конечным числом состояний. Перев. с англ. «Кибернетический сборник», вып. IV. М., 1962.
- Хомский Н., Миллер Дж. Введение в формальный анализ естественных языков. «Кибернетический сборник, Новая серия». Вып. 1. М., 1965.

- Цветкова З. М.* Принцип организации вводного курса при обучении иностранному языку. «Материалы 6 международного методического семинара преподавателей русского языка стран социализма». М., 1966.
- Цветкова Л. С.* Нарушение анализа литературного текста у больных с поражением лобных долей мозга.— В кн.: «Лобные доли и регуляция психических процессов». М., 1966.
- Цветкова Л. С.* К нейропсихологическому анализу так называемой динамической афазии. Сообщение 1. «Психологические исследования». М., 1968.
- Цейтлин А. Г.* Труд писателя. М., 1962.
- Чистович Л. А.* и др. Речь. Артикуляция и восприятие. М.—Л., 1965.
- Чистович Л. А., Кожевников В. А.* Восприятие речи. В сб.: «Вопросы теории и методов исследования речевых сигналов. Информационные материалы Объединенного научного совета «Физиология человека и животных». Л., 1969.
- ✓ *Чистович Л. А.* Психоакустика и вопросы теории восприятия речи. «Распознавание слуховых образов», Новосибирск, 1970 (гл. 2).
- Чжао Юань-жэнь.* Модели в лингвистике и модели вообще. Перев. с англ. «Математическая логика и ее применение». М., 1965.
- Шастин Н. Р.* К физиологии вербальных раздражителей. «Физиологический журнал СССР», т. XV, вып. 3, 1932.
- ✓ *Шаумян С. К.* Преобразование информации в процессе познания и двухступенчатая теория структурной лингвистики. «Тезисы докладов на конференции по обработке информации, машинному переводу и автоматическому чтению текста». М., 1961.
- Шаумян С. К.* Проблемы теоретической фонологии. М., 1962.
- Шаумян С. К.* Эмпирическая база научной теории. В сб. «Проблемы структурной лингвистики». М., 1963.
- Шаумян С. К.* Структурная лингвистика. М., 1965.
- Шаумян С. К.* Проблема смыслового инварианта конкретно-языковых высказываний и аппликативная грамматика. «Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике», М., 1970.
- Шаумян С. К. и Соболева П. А.* Аппликативная порождающая модель и исчисление трансформаций в русском языке. М., 1963.
- Шаумян С. К. и Соболева П. А.* Основания порождающей грамматики русского языка. М., 1968.
- Шафр А.* Введение в семантику. Перев. с польского. М., 1963.
- Шварц Л. А.* Слово как условный раздражитель. «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», т. 25, вып. 4, 1948.
- Шварц Л. А.* Звуковой образ слова и его значение как условного раздражителя. «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», т. 27, вып. 6, 1949.
- ✓ *Шварц Л. А.* К вопросу о слове как условном раздражителе. «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», т. 38, вып. 12, 1954.
- Шварцкопф Б. С.* Фразеологические единицы в отношении к норме. «Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе». Вологда, 1967.
- Шварцкопф Б. С.* Проблема индивидуальных и общественно-групповых оценок речи. «Актуальные проблемы культуры речи». М., 1970 (а).
- Шварцкопф Б. С.* Очерк развития теоретических взглядов на норму в советском языкознании. «Актуальные проблемы культуры речи», М., 1970 (б).
- Шведова Н. Ю.* Синтаксис. Простое предложение. «Грамматика современного русского литературного языка». М., 1970.
- ✓ *Шеворошкин В. В.* Звуковые цепи в языках мира. М., 1969.
- ✓ *Шемакин Ф. Н.* К вопросу об отношении слова и наглядного образа (Цвет и его названия). «Изв. АПН РСФСР», вып. 113, 1960 (а).
- Шемакин Ф. Н.* К проблеме словесных и чувственных обобщений (На материале названий цвета в ненецком и селькупском языках). «Известия АПН РСФСР», вып. 113, 1960 (б).
- Шемакин Ф. Н.* К проблеме словесных и чувственных обобщений (На ма-

териале названий цвета в чукотском языке). «Изв. АПН РСФСР», вып. 113. М., 1960 (в).

Шемакин Ф. Н. Язык и чувственное познание. «Язык и мышление», М., 1967.

Шехтер М. С. Об образных компонентах речевого мышления. «Докл. АПН РСФСР», 1959, № 2 и № 3.

Шибутани Т. Социальная психология. Перев. с англ. М., 1969.

Шкловский В. Б. Искусство как прием. «Поэтика». Пг., 1919.

Шкловский В. Б. Теория прозы. М.—Л., 1925.

Шорохова Е. В. Принцип детерминизма в психологии. «Методологические и теоретические проблемы психологии». М., 1968.

Шор Р. Язык и общество. М., 1926.

▼ Шрейдер Ю. А. МП на основе смыслового кодирования текстов. НТИ, 1963, № 3.

▼ Шрейдер Ю. А. Об одной модели семантической теории информации. «Проблемы кибернетики», вып. 13. М., 1965.

Шрейдер Ю. А. Тезаурус в информатике и теоретической семантике.— НТИ, № 3, 1971.

Штофф В. А. Гносеологические функции модели.— ВФ, 1961, № 12.

Штофф В. А. Моделирование и философия. М.—Л., 1966.

Шубин Э. П. О языковой коммуникации. «Иностранные языки в школе», 1967, № 4.

✓ Шукуров Э. Д. Взаимосвязь динамики и стабильности психолингвистических единиц. «Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике», М., 1970.

Щедровицкий Г. П. Проблемы методологии системного исследования. М., 1964.

Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. Перев. с польск. М., 1969.

Щерба Л. В. Восточнолужицкое наречие, т. I. Пг., 1915.

Щерба Л. В. Практическое, общеобразовательное и воспитательное значение изучения иностранных языков.— В кн.: Л. В. Щерба. Преподавание языков в средней школе. М.—Л., 1947 (а).

Щерба Л. В. Актуальные задачи советской методики преподавания иностранных языков. В кн.: Л. В. Щерба. Преподавание иностранных языков в средней школе. М.—Л., 1947 (б).

Щерба Л. В. Преподавание иностранных языков в средней школе. М.—Л., 1947 (в).

Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

Щерба Л. В. Некоторые выводы из моих диалектологических наблюдений. «Избранные работы по языкознанию в фонетике», т. I. Л., 1958 (а).

Щерба Л. В. О понятии смещения языков. «Избранные работы по языкознанию и фонетике», т. I. Л., 1958 (б).

Щерба Л. В. Очередные проблемы языковедения. «Избранные работы по языкознанию и фонетике», т. I. Л., 1958 (в).

Щерба Л. В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. В кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях, ч. II. М., 1965.

Щупляков В. С. Акустический признак восприятия мягкости стационарных согласных. Сообщение на VI Всесоюзной акустической конференции. М., 1968.

Эдельман Д. И. Основные вопросы лингвистической географии. М., 1968.

Эйнштейн А. Письмо Жаку Адамару. Перев. с англ. «Эйнштейновский сборник. 1967». М., 1967.

Элиава Н. Л. Мыслительная деятельность и установка. «Исследования мышления в советской психологии». М., 1966.

Элиешюте С. Н. К вопросу о воздействии речевого побуждения. Автореф. канд. дисс. М., 1968.

Эльконин Д. Б. Детская психология. М., 1960.

Эткин М. У. Функционально-стилистически окрашенная лексика и фразео-

- логия языка статей и выступлений по вопросам международной жизни (40—60 гг.). Автореф. канд. дисс. Саратов, 1968.
- Язык и речь. Тезисы докладов межвузовской конференции. М., 1962.
- Яглом А. М., Яглом И. М. Вероятность и информация. Изд. 2, М., 1960.
- Язык и мышление. М., 1967.
- Языки народов СССР, т. I—V. М., 1966—1968.
- Языковые универсалии и лингвистическая типология. М., 1969.
- Якобсон Р. Новейшая русская поэзия. Виктор Хлебников. Прага, 1921.
- Якобсон Р. Итоги девятого конгресса лингвистов. Перев. с англ. «Новое в лингвистике», вып. IV. М., 1965 (а).
- Якобсон Р. Разработка целевой модели языка в европейской лингвистике в период между двумя войнами. Перев. с англ. «Новое в лингвистике», вып. IV, М., 1965 (б).
- Якобсон Р. Структура последнего стихотворения Ботева. «Язык и литература», 1961, № 2.
- Якобсон Р. Выступление по докладам М. Длуской и М. Майеновой. «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», т. I. М., 1962.
- Якубинский Л. П. Да и нет в мимике. «Язык и человек». М., 1970.
- Яковлев Р. и Халле М. Фонология и ее отношение к фонетике. Перев. с англ. «Новое в лингвистике». Вып. II, М., 1962.
- Яковлев Н. Ф. Таблицы фонетики кабардинского языка. М., 1923.
- Якубинский Л. П. Программа курса лекций «Эволюция речи». «Записки института живого слова», вып. I. Пг., 1919 (а).
- Якубинский Л. П. О звуках стихотворного языка. «Поэтика». Пг., 1919 (б).
- Якубинский Л. П. О диалогической речи. «Русская речь», I. Пг., 1923.
- Aborn M. and Rubinstein H. Perception of contextually dependent word-probabilities. «Amer. Journ. Psychol», v. 74, 1958, № 2.
- Aborn M., Rubinstein H. and Sterling T. Sources of contextual constraint upon words in sentences. «J. Exp. Psychol», v. 57, 1959, № 3.
- Ach N. Über die Willenstätigkeit und das Denken. Göttingen, 1905.
- Acquisition of Language. Ed. by U. Bellugi and R. Brown. Lafayette, 1964.
- Adorno T. W. et al. The Authoritarian Personality. N. Y., 1960.
- Ammer K. Einführung in die Sprachwissenschaft. Bd. I. Halle (Saale), 1958.
- Ammon P. R. The perception of grammatical relations in sentence: the methodological exploration.—JVLVB, v. 7, 1968.
- The analysis of communication content. N. Y., 1969.
- Appel K. O mowie dziecka. W., 1907.
- Artymovic A. Fremdwort und Schrift. «Charisteria G. Matesio». Prae-gae, 1932.
- Bačević L. Masovno komuniciranje u Jugoslaviji. Beograd, 1965.
- Baker S. J. Ontogenetic evidence of a correlation between the form and frequency of use of words. «J. Gen. Psychol», vol. 44, 1951.
- Baldwin A. L. Personality Structure Analysis. «Journ. Abnorm. Soc. Psych.», v. 37, 1942.
- Basilius H. Neo-Humboldtian Ethnolinguistics. «Word», v. 8, 1952, № 2.
- Begg J. and Patvio A. Concreteness and Imageness in Sentence Meaning.—JVLVB, v. 8, 1969, № 6.
- Bekesy G. V. Zur Theorie des Hörens. «Phys. Zeitschr», v. 30, 1929.
- Berelson B. Content Analysis in Communication Research. N. Y., 1952.
- Bever T. G. Associations to stimulus-response Theories of language. «Verbal Behavior and General Behavior Theory», Englewood Cliffs, 1968.
- Bever T. G., Fodor J. A., Wecksel W. Is Linguistics Empirical? «Psychological Review», v. 72, 1965, № 6.
- Bever T. G., Fodor J. A., Wecksel W. On the Acquisition of Syntax: a critique of «Contextual Generalization». «Psychological Review», v. 72, 1965, № 6.
- Biddle B. J., Thomas E. J. (eds). Role Theory: Concept and Research. New York — London — Sydney, 1968.
- Bier J. Ein Beitrag zur Sprache der französischen Reklame. Winterthal, 1952.
- Biological and social factors in psycholinguistics. Ed. by J. Morton. London, 1971.

- Bloch B. and Trager G. L.* Outline of Linguistic Analysis. Baltimore, 1952.
- Bloom L.* Language development. Cambridge (Mass.), 1970.
- Bloomfield L.* Outline Guide for the practical study of foreign languages. Baltimore, 1942.
- Blumenthal A. L.* Prompted recall of sentences. JVLVB, v. 6, 1967, № 2.
- Blumenthal A. L. and Boakes R.* Prompted recall of sentences.—JVLVB, v. 6, 1967, № 4.
- Boomer D. S.* Hesitation and Grammatical Encoding. «Language and Speech», v. 8, 1965.
- Bogart L.* Mass Media in the Year 2000. «Gazette», 13, 1967.
- Braine M. D. S.* The ontogeny of English phrase structure: the first phase. «Language», v. 39, 1963, № 1 (a).
- Braine M. D. S.* On the learning the grammatical order of words. «Psychological Review», v. 70, 1963(6).
- Braine M. D. S.* On the Basis of Phrase Structure. «Psychological Review», v. 72, 1965, № 6.
- Bregman A. S. and Strasberg R.* Memory for the syntactic form of the recall of English sentences.—JVLVB, v. 2, 1963.
- Brener R.* An experimental investigation of memory span. «Journal of Experimental Psychology», c. 26, 1940.
- Brown R. W.* Psycholinguistics. N. Y., 1970.
- Brown R. and Lenneberg E. H.* A study in language and cognition. «Journal of abnormal and social psychology», v. 49, 1954, № 3.
- Brown R. W. and Berko J.* Word association and the acquisition of grammar. «Child development», v. 31, 1960, № 1.
- Brown R. W. and Ford M.* Address in American English.—«Journal of Abnormal and Social Psychology», № 62, 1961.
- Brown R. and Fraser C.* The Acquisition of Syntax. «The Acquisition of Language», Lafayette, 1964.
- Brown R., McNeill D.* Tip of the Tongue Phenomenon.—JVLVB, v. 5, 1966.
- Bruce D. J.* The effect of listeners' anticipations on the intelligibility of heard speech. «Language and Speech», v. 1, 1958, p. 2.
- Bruner J. S.* On perceptual readiness. «Psychol. Rev.», v. 64, 1957.
- Budd R. W., Thorp R. K., Donohew L.* Content analysis of communication. N. Y., 1967.
- Bühler K.* Sprachtheorie. Jena, 1934.
- Buyssens E.* Mise au point de quelques notions fondamentales de la phonologie. «Cahiers F. de Saussure», vol. 8. Genève, 1949.
- Carey S.* The syntactic and referential aspect of linguistic encoding. Unpublished manuscript, 1964.
- Carroll J. B.* Process and content in psychology. «Current trends in the description and analysis of behavior». Pittsburg, 1958.
- Carroll J.* The Measurement of Meaning by C. Osgood etc. «Language», v. 35, 1959.
- Carroll J. B.* Linguistic relativity, contrastive linguistics and language learning. «IRAL», v. 1/1, 1963.
- Carroll J. B.* Language and thought. Englewood Cliffs, 1964.
- Chapman L., Chapman L. P. and Miller J. A.* A theory of verbal behavior in schizophrenia. In: B. A. Baher (ed.), Progress in experimental personality research. V. 1. N. Y., 1964.
- Chiff N.* Adverbs as Multipliers. «Psychological Review», v. 66, 1959.
- Child J. L.* Socialization. «The Handbook of Social Psychology». Cambridge (Mass.), 1954.
- Child language:* a book of readings. Englewood Cliffs, 1971.
- Chistorich L., Fant G. a. o.* Mimicking of Synthetic Vowels. «Speech Transmission Laboratory, Quarterly Progress and Status Report», July, 15, Stockholm, 1966.
- Chomsky N.* Aspects of the theory of Syntax, Cambridge (Mass.), 1965.
- Clark H. H.* Some structural properties of simple active and passive sentences.—JVLVB, v. 4, 1965.

- Clark H. H. The prediction of recall pattern in simple active sentences.— JVLVB, v. 5, 1966, № 2.
- Clark H. H. and Begun J. C. The Use of Syntax in Understanding Sentences. «British Journal of Psychology», v. 59, 1968.
- Clifton Ch. The Implication of Grammar for Word Associations. «Research of verbal behavior and some neurophysiological implications». N. Y. and London, 1967.
- Cofer C. N. and Shepp B. E. Verbal context and perceptual recognition time. «Perc. Mot. Skills», v. 7, 1957.
- Cofer C. N. and Bruce D. R. Form-class as the basis for clustering in the recall of unassociated words.— JVLVB, 1965, N 4.
- Coleman E. B. The Learning of Prose Written in Four Grammatical transformations. «Journal of Applied Psychology», v. 49, 1964.
- Coleman E. B. Responses to a scale of grammaticalness.— JVLVB, v. 4, 1965.
- Coseriu E. Sistema, norma y habla. Montevideo, 1952.
- Coseriu E. Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje. Montevideo, 1954.
- Coseriu E. La geografia linguistica. Montevideo, 1956.
- Coseriu E. Sistema, norma e «habla». «Studi linguistici in onore di Vittore Pisani», Brescia, 1969.
- Cybernetics. Transaction of the Eight Conference. N. Y., 1952.
- Danielson W., Bryan A. Computer Automation of two Readability Formules. «Journalism Quarterly», v. 40, 1963.
- Danks J. H. Grammaticalness and Meaningfulness in the Comprehension of Sentences.— JVLVB, v. 8, 1969, № 6.
- Darrendorf R. Home Sociologus. Ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der Kategorie der sozialen Rolle. Köln u. Opladen, 1965.
- Deese J. From the Isolated Verbal Unit to Connected Discourse. «Verbal Learning and Verbal Behavior». Ed. by Ch. N. Cofer and B. S. Musgrave. N. Y., 1961.
- Deese J. Form class and the determinants of association.— JVLVB, v. I, 1962, № 1.
- Deese J. The Structure of Association in Language and Thought. Baltimore, 1965.
- DeFleur M. Theories of Mass communication. N. Y., 1966.
- Delattre P., Liberman A. M., Cooper F. S. Acoustic Loci and Transitional Cues for Consonants. «Journ. Acous. Soc. Amer.», 1965, v. 27.
- Deutschmann P., Danielson W. Diffusion of knowledge of a major news story. «Journalism Quarterly», 38, 1961.
- Dingwall W. O., Tuniks G. Government and Concord in Russian: a study in developmental psycholinguistics. «Issues in linguistics». Urbana, 1973.
- Dorcus R. M. Habitual Word Associations to Colors as a Possible Factor in Advertising. «Journal of Applied Psychology», v. 32, 1932.
- Doroszewski W. Kryteria poprawnosci językowej. Warszawa, 1950.
- Drange T. Type crossings. The Hague — Paris, 1966.
- Durbin M., Michlin M. Sociolinguistics. Some Methodological Contributions from Linguistics. «Foundations of Language», v. 4, 1968.
- Durkheim E., Mauss M. Primitive classification (1-st ed. 1903). Chicago, 1963.
- Elkin F. The Child and Society: The Process of Socialization. N. Y., 1960.
- Emery E., Ault P. H., Agee W. K. Introduction to mass communication. N. Y.— Toronto, 1960.
- Epstein W. The influence of syntactical structure on learning. «American Journal of Psychology», v. 74, 1961.
- Epstein W. Recall of Word Lists following Learning of Sentences and of Anomalous and Random strings. JVLVB, v. 8, 1969, № 1.
- Ervin S. M. Change with Age in Verbal Association. «American Journal of Psychology», v. 74, 1961.
- Ervin-Tripp S. An Analysis of the Interaction of Language, Topic, and Liste-

- ner. In: «The Ethnographics of Communication» («American Anthropologist», v. 66, № 6, part 2), 1964.
- Ervin-Tripp S. M. and Slobin D.* Psycholinguistics. «Annual Review of Psychology», v. 17, 1966.
- Faaborg-Andersen K.* Electromyographic investigation of intrinsic laryngeal muscles in humans. «Acta physiologica Scandinavica», v. 41 (Supplementum ad № 140), 1957.
- Faaborg-Andersen K. and Edfeldt A. W.* Electromyography of intrinsic and extrinsic laryngeal muscles during silent speech correlation with reaching activity. «Acta oto-laryngologica», v. 49, 1958.
- Fang B. E.* The «easy listening formula». «Journal of Broadcasting», v. 11 1966—1967.
- Fant G.* The Nature of Distinctive Features. «Speech Transmission Laboratory Quarterly Progress and Status Report», October, 15. Stockholm, 1967.
- Faulstich D., Kühn G.* Stillistische Mittel und Möglichkeiten der deutschen Sprache. Halle, 1961.
- Feifel H.* Qualitative differences in the vocabulary responses of normals and abnormals. «Genet. Psychol. Monogr.», № 39, 1949.
- Feldstein S. and Jaffe J.* Language predictability as a function of psychotherapeutic interaction. «J. Consult. Psychol.», v. 27, 1963.
- Ferreira Q. J.* The semantics and the context of the schizophrenics language. «Arch. Gen. Psychiatry», v. 3, 1960.
- Festinger L.* A Theory of Cognitive Dissonance. Evanston (Ill.), 1957.
- Fillenbaum S., Jones L. V. and Rapoport A.* The predictability of words and their grammatical classes as a function of rate of deletion from a speech transcript. JVLVB, v. 2, 1963, № 2.
- Flesch R.* The Formula for Readability. In: W. Schramm (Ed.). Mass. Communications. Urbana, 1960.
- Fodor J. A. and Bever T.* The psychological reality of linguistic segments.—JVLVB, v. 4, 1965, № 5.
- Fodor J. and Garrett M.* Some reflections on competence and performance. «Psycholinguistics Papers». Edinburgh, 1966.
- Fodor J. A. and Garrett M.* Some syntactic determinants of sentential complexity. «Perception and Psychophysics», v. 2, 1967, № 7.
- Forster K. J.* Left to Right. Processes in the Construction of Sentences.—JVLVB, v. 5, 1966, № 3.
- Forster K. J.* Sentences Completion Latencies as a Function of Constituent structure.—JVLVB, v. 6, 1967, № 6.
- Forster K. J.* The Effect of Removal of Length Constraint on Sentence Completion Times.—JVLVB, v. 7, 1968, № 1 (a).
- Forster K. J.* Sentence Completion in Left and Right Branching Languages.—JVLVB, v. 7, 1968, № 2 (b).
- Foss D. J.* Decision Processes during Sentences Comprehension: Effects of Lexical Item Difficulty and Position upon Decision Times.—JVLVB, v. 8, 1969, № 4.
- Fraisse P.* La psycholinguistique. «Problèmes de psycholinguistique». Paris, 1963.
- Freedman J., Sears D.* Selective exposure. «Advances in Experimental Social Psychology». N. Y., 1965.
- Frege G.* Über Sinn und Bedeutung. «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», Bd. 100, H. 1—2, 1892.
- Fries Ch. C.* Foundation for English Teaching. Tokyo, 1961.
- Fromkin V.* Speculations on Performance Models. «Journal of Linguistics», v. 4, 1968, № 1.
- Fucks W.* Unterschied des Prosastils von Dichtern und anderen Schriftstellern. «Sprachforum», 1955, Heft 3/4.
- Galdi L.* Précis de stylistique française. Budapest, 1968.
- Galliot M.* Essai sur la langue de réclame contemporaine. Toulouse, 1955.
- Garrett M., Bever T. and Fodor J. A.* The Active Use of Grammar in Speech Perception. «Perception and Psychophysics», v. 1, 1966, № 1.

- Gastant H.* Étude electrocorticographique de la reactivité des rythmes rolandiques. «Revue Nevrol», v. 87, 1952.
- Georgin R.* La prose d'aujourd'hui. Paris, 1956.
- Guiraud P.* Pour une semiologie d'expression poétique. «Langue et littérature». Paris, 1961.
- Godel R.* Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure. Genève — Paris, 1957.
- Goldman-Eisler F.* The Determinants of the Rate of Speech Output and Their Mutual Relations. «Journal of Psychosomatic Research», v. 1, 1956.
- Goldman-Eisler F.* Speech and the predictability of words in context. «Quart. Journ. Exp. Psychol.», v. 10, 1958 (a).
- Goldman-Eisler F.* The Predictability of Words in Context and the Length of Pauses in Speech. «Language and Speech», v. 1, 1958 (6).
- Goldman-Eisler F.* Hesitation and Information in Speech. «Information Theory: fourth London symposium», ed. by C. Cherry. Washington, 1961.
- Goldman-Eisler F.* Psycholinguistics. London, 1968.
- Gudschinsky S. C.* How to Learn an Unwritten Language. Santa Ana, 1965.
- Gough P. B.* Grammatical Transformations and Speed of Understanding.—JVLVB, v. 4, 1965, № 2.
- Green D. M. and Birdsall J. G.* The effect of vocabulary size on articulation score. Sweets J. A. (ed.). Signal detection and recognition by human observers. N. Y., 1964.
- Greenberg J.* The word as a linguistic unit. «Psycholinguistics: a survey of theory and research problems». 2-nd ed. Bloomington, 1965.
- Greenberg J. B.* Media: use and believability. Some multiple correlates. «Journalism Quarterly», v. 43, 1966.
- Greenberg J. B., Tannenbaum P.* Communicator performance under cognitive stress. «Journalism Quarterly», 39, 1965.
- Gruhle H. W., Grimm H.* Psychopathologie der Schizophrenia. Brumke O. (hrsg.) Lehrbuch der Geisteskrankheiten. Bd. 9, 1924.
- Grimm H.* Fragen und Probleme zur strukturellen Beschreibung der Kindersprache. «Studia psychologica» (Bratislava), 1970, v. 13, № 1.
- de Groot A. W.* Structurele syntaxis. Den Haag, 1949.
- de Groot A. W.* Phonetics in its relation to aesthetics. «Manual of Phonetics», ed. by L. Kaiser. Amsterdam, 1957.
- de Groot A. W.* The Description of a Poem. In: «Preprints for the IX-th International Congress of Linguists». Cambridge (Mass.), 1962.
- Gumenik W. A., Dolinsky K.* Connotative meaning of sentence subjects as a function of verb and object meaning under different grammatical transformations.—JVLVB, v. 8, 1969, № 5.
- Gutjahr W.* Zur Psychologie des sprachlichen Gedächtnisses. II. Über Aktualisierungsdynamik. «Zeitschrift für Psychologie», Bd. 163, 1959, H. 1—2.
- Halle M. and Stevens K. N.* Speech Recognition: a model and a program for research. «The structure of language. Readings in the philosophy of language», Englewood Cliffs, 1964.
- Hammer M. and Salzinger K.* Some formal characteristics of schizophrenic as a measure of social deviance. «Ann. N. Y. Acad. Sci.», 105, art. 15, 1964.
- Harman G. H.* Psychological Aspects on the Theory of Syntax. «The Journal of Philosophy», v. LXIV, 1967, № 2.
- Harvard University. The Center of Cognitive Studies: Sixth Annual Report. 1965—1966. Cambridge (Mass.), 1966.
- Harris Z. S.* Methods in structural linguistics. Chicago, 1951.
- Harris Z. S.* Structural Linguistics. Chicago, 1960.
- Hatzfeld H.* Questions disputables de la stylistique. «Communications et rapports du 1-er Congrès Int. de Dialectologie Générale». Louvain, 1964.
- Hausenblas K.* Základním pojmem jazykové stylistiky.—SaS, 1965, № 1.
- Hausenblas K.* Výstavba slovesných komunikátů a stylistika. «Československé přednášky pro VI mezinárodní sjezd slavistů». Praha, 1968.
- Hausenblas K.* Základný okruhy stylistické problematiky. «Československé přednášky pro V mezinárodní Sjezd slavistů v Sofii». Praha, 1963.

- Havránek B.* Studie o spisovném jazyce. Praha, 1962.
- Head H.* Aphasia and Kindred Disorders of Speech. Cambridge, 1926.
- Healey A.* Handling Unsophisticated Linguistic Informants. Canberra, 1964.
- Herriot P.* The comprehension of sentences as a function of grammatical depth and order. *JVLVB*, v. 7, 1968, № 5.
- Herriot P.* An introduction to the psychology of language. London, 1970.
- Hertzer J. O.* A sociology of language. N. Y., 1965.
- Hockett Ch. F.* Two fundamental problems in phonemics. «*Studies in Linguistics*», v. 7, 1949, № 1.
- Hofer H.* Native Reaction as a Criterion in Linguistic Analysis. «*Proceedings of the VIII-th International Congress of Linguists*». Oslo, 1958.
- Hewes D. H. and Solomon R. L.* Visual Duration Threshold as a Function in Word Probability. «*Journal of Experimental psychology*», v. 41, 1951.
- Hewes D. and Osgood Ch.* On the Combination of Associative Probability in Linguistic Contexts. «*American Journal of Psychology*», v. 67, 1954.
- Humboldt W., von.* Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java. Bd. I. Berlin, 1836.
- Humboldt W.* Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. «*Werke*», 2. Auflage, hrsg. v. A. F. Pott. Bd. II, Berlin, 1880.
- Human communication theory. N. Y., 1967.
- Hymes D.* New Directions in the Study of Language. «*Contemporary Psychology*», v. X, 1965, № 12.
- Hymes D.* Toward Ethnographics of Communication, «*The Ethnographics of Communication*» («*American Anthropologist*», V. 66, № 6, part 2), 1964.
- Hymes D. (ed.).* Language in Culture and Society. N. Y., 1964.
- Information influence and communication. N. Y.—London, 1965.
- Iritani T.* A social psychological theory of the Japanese language based on the interrelations of linguistic, psychological, and social structures. «*XIX International Congress of Psychology. Abstracts of Submitted Papers, Specially invited Papers, and Films*». London, 1969.
- Jaffee J. and Feldstein S.* Rhythms of Dialogue. N. Y., 1970.
- Jaffee J., Feldstein S. and Cassotta L.* A Stochastic Model of Speaker Switching in Natural Dialogue. «*Research in Verbal Behavior and Some Neurophysiological Implications*». N. Y. and London, 1967.
- Jakobson R.* Kindersprache. Aphasie und allgemeine Lautgesetze. «*Selected Writings*», S.-Gravenhage, 1962.
- Jakobson R. and Halle M.* Fundamentals of language. 'S Gravenhage, 1956.
- Jakobson R.* Linguistics and Poetics. In: «*Style in Language*». New York — London, 1960.
- Janoušek J.* Das Problem der Analyse der gesellschaftlichen Wechselwirkung und Kommunikation in der marxistischen Sozialpsychologie. «*Sozialpsychologie im Sozialismus*». Berlin, 1965.
- Janoušek J.* Sociální komunikace. Praha, 1968.
- Jelínek M.* Definice pojmů «jazykový styl», «*Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university*», 1965, A 13.
- Jelínek M.* Principy srovnávání syntaktickostylistických tendencí současně proze slovanských národů. «*Ceskoslovenské přednášky pro VI mezinárodní sjezd slavistů*», Praha, 1968.
- Jenkins J., Russell W., Suci G.* An Atlas of Semantic Profiles for 360 Words. «*American Journal of Psychology*», v. 71, 1958.
- Jenkins J., Russell W., Suci G.* A Table of Distances for the Semantic Atlas, «*American Journal of Psychology*», v. 72, 1959.
- Jenkins J.* Degree of Polarisation and Scores on the Principal Factors for Concepts in Semantic Atlas Study. «*American Journal of Psychology*», v. 73, 1960.
- Jespersen O.* Mankind, nation and individual from a linguistic point of view. London, 1946.
- Johnson N. F.* Linguistic Models and Functional Units of Language Behavior. «*Directions in Psycholinguistics*». N. Y., 1965.

- Johnson N. F.* On the Relationship between Sentence Structure and the Latency in Generating the Sentence.— JVLVB, v. 5, 1966, № 4 (a).
- Johnson N. F.* The Influence of Associations between Elements on Structured Verbal Responses.— JVLVB, v. 5, 1966, N 3 (5).
- Johnson N. F.* The Psychological Reality of Phrase — Structure Rules.— JVLVB, v. 4, 1965, № 6 (5).
- Johnson N. F.* The Effect of a Difficult Word in the Transitional Error Probabilities within a sentence.— JVLVB, v. 8, 1969, № 4.
- Kainz F.* Psychologie der Sprache. Bd. I. Stuttgart, 1941.
- Karwosky T. F., Gramlich T. W., Arnott P.* Psychological Studies in Semantics: I. Free Association Reactions to Words, Drawings and Objects. «Journal of Social Psychology», v. 20, 1944.
- Kasanin J. S.* (ed.). Language and thought in schizophrenia. Berkeley, 1946.
- Katz E., Lazarsfeld P.* Personal Influence. Glencoe, 1956.
- Katz E. W.* A Content-Analytic Method for Studying Themes of Interpersonal Behavior. «Psych. Bulletin», v. 66, 1966, № 5.
- Kennedy S. L., Gottsdanker R. H., Gray F. S.* A new electroencephalogram associated with thinking. «Science», v. 108, 1948.
- Kent G. H., Rosanoff A. J.* A Study of Association in Insanity. «American Journal of Insanity», v. 67, 1910.
- Klapper J.* The Effects of Mass Communications. N. Y., 1960.
- Klare G. R.* The Measurement of Readability. Ames, 1963.
- Kloskowska M.* Kultura masowa. Warszawa, 1964.
- Koch-Grünberg Th.* Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest — Brasiliens. Stuttgart, 1921.
- Koplin J. H. and Moates D. R.* Form-class clustering in recall with relevant or irrelevant prior exposure.— JVLVB, v. 7, 1968, № 1.
- Kraus J., Polák J.* Text Factors and Characteristics. «Prague Studies in Mathematical Linguistics», v. 2. Praha, 1967.
- Kurcz I.* Inter-language comparison of word-association responses. «International Journal of Psychology», v. 1, 1966, № 2.
- Kunz H.* Zur Psychologie und Psychopathologie der mitmenschlichen Rollen. «Psyche», H. 4, Jg. 2, 1949.
- Labov W.* Phonological Correlates of Social Stratification. «Ethnographics of Communication» («American Anthropologists», v. 66, № 6, part 2), 1964.
- Ladefoged P. and Broadbent D. E.* Perception of Sequence in Auditory Events. «Quarterly Journal of Experimental Psychology», v. 52, 1956.
- Lado R., Fries Ch. C.* English Pattern Practices. Ann Arbor, 1959.
- Laffaj J., Lenkowski L. and Ameen L.* Opposite speech in a schizophrenic patient. «J. abn. soc. Psychol.», v. 52, 1956.
- Lakoff G.* Toward Generative Semantics. Cambridge (Mass.), 1964 (Mimeo).
- Lambert W.* A Social Psychology of Bilingualism. «The Journal of Social Issues», v. 23, 1967, № 2.
- Lamser V.* Komunikace a společnost. Praha, 1969.
- Landar H. Sapir, Whort* and the latent content of languages. Landar H. Language and culture. N. Y., 1966.
- Lane H.* The motor theory of speech perception: a critical review, «Psychological Review», v. 72, 1965, № 4.
- Larsen O. N., Hill R. J.* Mass Media and Interpersonal Communication in the Diffusion of News Event. «American Social Review», v. 19, 1954.
- Lasswell H. D.* The Structure and Function of Communication in Society. W. Schramm (ed.). Mass Communication. Urbana, 1960.
- Lasswell H. D.* Language of Politics. Studies on Quantitative Semantics. Cambr. (Mass.), 1968.
- Lees R. B.* Models for a Language User's Knowledge of Grammatical Form. «Journal of Communication», v. XIV, 1964, № 2.
- Lees R. B.* The grammar of English nominalisations. Fourth Printing. The Hague, 1966.
- Lem S.* Filozofia przypadkie. Kraków, 1968.
- Lenneberg E. H.* Cognition in Ethnolinguistics, «Language», v. 29, 1953, № 4.

- Lenneberg E. H.* Linguistic relativity and the relation of linguistic processes to perception and cognition. «Psycholinguistics». Bloomington, 1965.
- Lenneberg E.* Biological Foundations of Language. N. Y., 1967.
- Lenneberg E., Roberts M.* The language of experience. «Supplement to International journal of American linguistics», 1956, v. 22, № 2.
- Lerbinger O., Sullivan A.* (eds). Information Influence and Communication. N. Y.—London, 1965.
- Les langues du monde*. Paris, 1952.
- Levelt W. J. M.* Generatieve grammatica in psycholinguistiek «Nederlands Tijdschrift for de Psychologie», v. 24, 1966.
- Levelt W. J. M.* The perception of syntactic structure. «XIX International Congress of Psychology: Abstracts of submitted papers, specially invited papers and films», London, 1969 (a).
- Levelt W.* The perception of Syntactic Structure. Mimeo, Groningen, 1969 (6).
- Levin S.* Linguistic Structures in Poetry. 's-Gravenhage, 1962.
- Lieberman P.* Some effects of semantic and grammatical context on the production and perception of speech. «Language and Speech», v. 6, 1963.
- Lieberman P.* Intonation, Perception and Language. Cambridge (Mass.), 1967.
- Linton R.* The Study of Man. N. Y., 1936.
- Lorenz M. and Cobb S.* Language patterns in psychotic and psychoneurotic subjects. «A.M.A. Arch. Neural. Psych.», v. 72, 1954.
- Lorenz W.* Der Zusammenhang zwischen Sprache und Klasse unter erkenntnistheoretischem Aspekt. «Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig». Geschichtliche und sprachwissenschaftliche Reihe, 1968, H. 2—3.
- Lounsbury F.* Transitional Probability, Linguistic Structure and Systems of Habit-Family Hierarchies. «Psycholinguistics». Bloomington, 1965.
- Luria A. R., Vinogradova O. S.* An Objective Investigation of the Dynamics of Semantic Systems. «British Journal of Psychology», v. 50, 1959.
- Maclay H.* An experimental study of language and nonlinguistic behavior. «Southwestern journal of anthropology», 1958, v. 14, № 2.
- Mac Ginitie W. H.* Contextual constraint in English prose paragraphs. «J. Psychol.», vol. 51, 1961.
- Macley H. and Osgood Ch.* Hesitation phenomena in spontaneous English speech. «Word», v. 15, 1959, № 1.
- Macley H., Sleator M. D.* Responses to language: fundamentals of grammaticality.—IJAL, vol. 26, 1960.
- Maletzke G.* Psychologie der Massenkommunikation. Hamburg, 1963.
- Malinowski B.* Coral Gardens and their magic. V. I. The language of magic and gardening. London, 1935.
- Malinowski B.* The Problem of meaning in primitive languages. In: C. K. Ogden and J. A. Richards. The meaning of meaning. 16-th ed. London, 1960.
- Marks L. E.* Some structural and sequential factors in the processing of sentences.—JVLVB, v. 6, 1967, № 5.
- Marouzeau J.* Precis de stylistique francaise. 4-me ed., Paris, 1959.
- Marshall J. C.* Syntactic analysis as part of understanding. «Bulletin of the British Psychological Society», v. 18, 1965, 2 A.
- Marshall J. C. and Wales R. J.* The probabilities of error scores and grammatical encoding (in print).
- Martin E. and Roberts K. H.* Grammatical factors in sentence retention.—JVLVB, v. 5, 1966, № 3.
- Martin J. E.* Some Competence — Process Relationships in Noun Phrases with Pronominal and Postnaming Adjectives.—JVLVB, v. 8, 1969, № 4.
- Mass communication.* Urbana, 1960.
- Masucco Costa A., Fonzi A.* Psicologia del linguaggio. Torino, 1967.
- Mathesius V.* O potrete stability ve spisovnem jazyce. «Čestina a obecny jazykozpyt». Praha, 1947.
- McNeill D.* Developmental Psycholinguistics. «The Genesis of Language», Cambridge (Mass.), 1966.
- McNeill D.* The Acquisition of Language. N. Y., 1970.

- Mukařovský J.* Kapitola z české poetiky. Praha, 1948.
- Mead G. H.* Mind, Self and Society. Chicago, 1934.
- Mehler J.* Some effects of grammatical transformations on the recall of English sentences.—JVLVB, v. 2, 1963.
- Mehler J. and Carey P.* Role of surface and base structure in the perception of sentences.—JVLVB, v. 6, 1967, № 3.
- Mehler J. and Hiller Y. A.* Retroactive interference in the recall of simple sentences.—JVLVB, v. 2, 1963.
- Manyuk P.* Sentences children use. Cambridge (Mass.), 1969.
- Meriggi P.* Sur la structure des langues «groupantes».—«Psychologie du langage». Paris, 1933.
- Mewhort D. J. K.* Familiarity of letter sequences response uncertainty and the tachistoscopic recognition experiment. «Canad. Journ. Psychol.», v. 21, 1967, № 4.
- Miller D. A.* Research Note on Mass Communication. «American Sociol. Review», 1945.
- Miller G. A.* Decision units in the perception of speech. «IRE transactions on inf. theory», v. IT-8, 1962.
- Miller G. A.* Some preliminaries to psycholinguistics. «American Psychologist», v. 17, 1962.
- Miller G. A.* Some psychological studies of Grammar, «American Psychologist», v. 20, 1965, № 1 (a).
- Miller G.* The psycholinguists. Ch. Osgood, Th. Sebeok (eds.). Psycholinguistics, 2nd ed. Bloomington, 1965 (6).
- Miller G. A., Bruner J. S. and Postman L.* Familiarity of letter sequences and tachistoscopic identification. «Journ. Gen. Psychol.», v. 50, 1954.
- Miller G. and Chomsky N.* Finitary Models of Language User. «Handbook of mathematical psychology», v. 2, N. Y., 1963.
- Miller G. A., Heise G. A., Lichten W.* The Intellegibility of Speech as a Function of the Context of the Test Material. «Journal of Experimental Psychology», v. 41, 1951.
- Miller G. A., McNeill D.* Psycholinguistics. «The Handbook of Social Psychology», v. 3, N. Y., 1969.
- Miller G. A. and Isard S.* Some perceptual consequences of linguistic rules.—JVLVB, v. 2, 1963.
- Miller G. A. and Isard S.* Free recall of self-embedded English sentences. «Information and Control», v. 7, 1964.
- Miller G. A., Ojemann K. McKean.* A chronometric study of some relations between sentences. «Quarterly Journal of Experimental Psychology», v. 16, 1964.
- Miller G. A. and Selfridge J.* A Verbal context and the recall of meaningful material. «American Journal of Psychology», v. 63, 1951.
- Mirin B.* The formal aspects of schizophrenic verbal communication. «Genet. psychol. monogr.», 1955, 52.
- Mistrik J.* Meranie zrozumitel'nosti prehovoru. «Slovenská reč», v. 33, 1968.
- Mistrik J.* Slovenska stylistika. Bratislava, 1965.
- Models for the Perception of Speech and Visual Form. Ed. by W. Wathen-Dunn. Cambridge (Mass.), 1967.
- Moll K. L.* Cinefluorographic techniques in speech research. «Journal of speech and hearing research», vol. 3, 1960.
- Moran L.* Vocabulary knowledge and usage. Washington, 1954.
- Morris Ch.* Signs, Language and Behavior. N. Y., 1950.
- ✓ *Morris Ch.* Words without meanings. «Contemporary Psychology», v. III, 1958, № 8.
- Morris W. A., Rankine F. C., Reber A. S.* Sentence Comprehension, Grammatical Transformations and Response Availability. JVLVB, v. 7, 1968, № 6.
- Morton J.* A preliminary functional model for language behavior. «International Audiology», v. 3, 1964 (a).

- Morton J. A model for continuous language behavior. «Language and Speech», v. 7, 1964, № 1 (6).
- Morton J. Consideration of grammar and computation in language behavior, Cambridge, 1968 (Mimeo).
- ✓ Morton J. Interaction of information in word recognition. «Psychological Review», v. 76, 1969, № 2.
- ✓ Morton J. and Broadbent D. E. Passive versus active recognition models, or Is your homunculus really necessary? «Models for the Perception of Speech and Visual Form». Cambridge (Mass.), 1967.
- Mounin G. Les problèmes theoriques de la traduction. Paris, 1963.
- Moscovici S. Communication properties and language. «Advances in experimental social psychology», v. 3. N. Y., 1967.
- Müller K. Ein Beitrag zu Motivation und Bezeichnung im Russischen. Dissertation. Berlin, 1969.
- Newcombe F. and Marshall J. C. Immediate recall of sentences by dysphasics (in print).
- ✓ Noble G. An analysis of meaning. «Psychological Review», v. 59, 1952.
- Norms in associations. N. Y., 1970.
- North R. Content Analysis. Evanston. Ill., 1963.
- Öhman S., Stevens K. N. Cineradiographic studies of speech: procedures and objectives.— JASA, v. 35 (II), 1963.
- Oleron P. Pour une etude psychologique de la redondance. «Journ. Psychol. Norm. Pathol.», t. 55, 1958, № 3.
- Oleron P. Reconstitution de textes francais ayant subi divers taux de mutilation. «Psychol. Francaise», t. 5, 1960.
- Osgood Ch. E. A Question of Sufficiency. «Contemporary Psychology», v. III, 1958, № 8.
- Osgood Ch. E. Some Effects of Motivation on Style of Encoding. T. A. Sebeok (ed.) Style in Language. N. Y., 1960.
- Osgood Ch. E. On understanding and creating sentences. «American Psychologist», v. 18, 1963, № 12.
- Osgood Ch. E. Language Universals and Psycholinguistics. «Universals of Language». Cambridge (Mass.), 1966.
- Osgood Ch. E. Semantic Differential technique in the comparative study of Cultures. «Readings in the Psychology of language». Ed. by L. A. Jakobovits and M. S. Miron. Englewood Cliffs (New Jersey), 1967.
- Osgood Ch. E., Saporta S., Nunnally J. C. Evaluative Assertion Analysis. «Litera», v. 3, 1956.
- ✓ Osgood Ch., Suci G., Tannenbaum P. The Measurement of Meaning. Urbana, 1957.
- Palermo D. S., Jenkins S. S. Word association norms. Minneapolis, 1963.
- Pearl D. Language processing ability of process and reactive schizophrenia. «J. Psychol.», v. 55, 1963.
- Perfetti Ch. A. Lexical Density and Phrase Structure Depth as Variables in Sentence Retention. JVLVB, v. 8, 1969, № 6.
- Piaget J., Inhelder B. Les images mentales. «Traité de psychologie experimentale». Paris, 1963.
- Pike K. L. Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior. 2-nd ed. The Hague — Paris, 1967.
- «Poetics. Poetyka». Warszawa, 1961.
- Pollack J. Interaction of two sources of verbal context in word identification. «Language and Speech», v. 7, 1964, p. 1.
- Pool I., Schulman I. Newsmen's fantasies, audiences and newswriting. «Public Opinion Quaterly», v. 23, 1959.
- Postal P. M. Underlying and Superficial linguistic structure. «Language», ed. by R. C. Oldfield and J. G. Marshall. Harmondsworth, 1968.
- Prentice T. L. Response strength of single words as an influence in sentence behavior.— JVLVB, v. 5, 1966, № 5.
- Problèmes de psycholinguistique. Paris, 1963.

- Průcha J.* Contextual Constraints and the Choice of Semantic Lexical Units. «Prague Studies in Mathematical Linguistics», I. Praha, 1966.
- Průcha J.* Problems of generative models in psycholinguistics. Mimeo. Praha, 1970.
- Psycholinguistics. A Book of Readings. Ed. by S. Saporta. N. Y., 1961.
- Psycholinguistics. A Survey of Theory and Research Problems. Ed. by C. E. Osgood, T. A. Sebeok. 2nd ed. Bloomington, 1965.
- Psycholinguistics papers. Edinburgh, 1966.
- Psycholinguistique et grammaire generative. Paris, 1969.
- Razran G.* Semantic and phonetographic generalisation of unconscious anxiety. «Science», 120, № 3130, 1954.
- Reiff D. C., Tikojski R. S.* Aphasia and linguistic competence. «X-ème Congres International des Linguistes. Resumes des Communications». Bucarest, 1967.
- Riesel E.* Stilistik der deutschen Sprache. M., 1959.
- Riesel E.* Stilistik der deutschen Sprache, 2-te Aufl. Moskau, 1963.
- Riffaterre M.* Criteria for style analysis. «Word», v. 15, 1959, № 1.
- Riffaterre M.* Stylistic Context. «Word», v. 16, 1960, № 2.
- Riffaterre M.* Problemes d'analyse d'un style litteraire. «Romance philology», v. 14, 1961, № 3.
- Rigby P.* Dual symbolic classificaion among the Gogo of central Tanzania. «Africa», v. 36, 1966.
- Rommetveit R.* Words, Meanings and Messages, N. Y., 1968.
- Rommetveit R.* Studies in Context Effects in Verbal Message Transmission. «Experimental Social Psychology». Prague, 1969.
- Rommetveit R. and Turner E. A.* A study of «chunking» in transmission of messages. «Lingua», v. 18, 1967, № 4.
- Rubenstein H. and Pollack J.* Word predictability and intellegibility.—JVLVB, v. 2, 1963.
- Quirk R., Svartvik J.* Investigating linguistic acceptability. The Hague, 1966.
- Sachs J. D. S.* Recognition Memory for Syntactic and Semantic Aspects of Connected Discourse. «Perception and Psychophysics», v. 2, 1967.
- Salzinger K., Portnoy S. and Feldman R. S.* Verbal behavior of schizophrenics and normal subjects. «Ann. N. Y. Acad. Sci.», 105, 1964.
- Salzinger R., Portnoy S. and Feldman R. S.* The experimental manipulation of continuous speech in schizophrenic patients. «J. Abnorm. Soc. Psychol.», 68, 1964.
- Salzinger K. and Eckerman C.* Grammar and the recall of chains of verbal responses.—JVLVB, v. 6, 1967, № 2.
- Samarin W.* Field Linguistics. N. Y., 1965.
- Sapir E.* Culture, language and personality. Selected essays edited by David G. Mandelbaum. Berkeley and Los Angeles, 1961.
- Saporta S., Blumenthal A. L., Lackowski P., Reiff D. G.* Grammatical Models and Language Learning, «Directions in Psycholinguistics». N. Y., 1965.
- Sarbin T. R.* Role Theory. In: Lindzey G. (Ed.). Handbook of Social Psychology.—J.A.S.A., v. 35, 1958.
- Savin H.* Word-frequency Effect and Errors in the Perception of Speech. «J. A.S.A.», v. 35, 1958.
- Savin H. B. and Perchonock E.* Grammatical structure and the immediate recall of English sentences.—JVLVB, v. 4, 1965, № 5.
- Schale K. W.* Scaling the Association between Colours and Mood Tones. «American Journal of Psychology», v. 74, 1961.
- Scharf zur Fertigung und Aktivierung grammatischer Kenntnisse.* «Fremdsprachenunterricht», 1961, № 7.
- Schlesinger J.* Sentence Structure and the Reading Process. The Hague, 1968.
- Schramm W.* The Effects of Television on Children and Adolescents. N. Y., 1964.
- Schulte-Herbruggen H.* El Language y la Vision del Mundo. Santiago, 1963
- The science of human communication. N. Y., 1963.

- Sebeok T. A.* Linguistics and content analysis. «Trends in content analysis». Urbana, 1959.
- Sestier A.* Sur la nécessité et la possibilité des normalisation dans les échanges des dictionnaires en traduction automatique. «Traduction automatique», v. 3, 1962, № 2.
- Sievers E.* Grundzüge der Phonetik. Leipzig, 1885.
- Sines J.* An Indication of Specificity of Denotative Meaning Based on the Semantic Differential. «Journal of the General Psychology», v. 67, 1962.
- Skinner B.* Verbal Behavior. London, 1957.
- Slama-Cazacu T.* Limbaj si context. București, 1959.
- Slama-Cazacu T.* Language et contexte. S-Gravenhage, 1963.
- Slama-Cazacu T.* Comunicarea in procesul munci. București, 1964.
- Slama-Cazacu T.* The development of the communication function of speech. «XVIII International Congress of Psychology. Symp. 31». M., 1966.
- Slama-Cazacu T.* Introducere in psiholingvistica. București, 1968.
- Slobin D.* Grammatical Transformation and Sentence Comprehension in Childhood and Adulthood.— JVLVB, v. 5, 1966, № 3.
- Slobin D.* A field manual for cross — cultural study of acquisition of communicative competence. Berkeley, 1967.
- Slobin D.* Recall of full and truncated passive sentences in connected discourse.— JVLVB, v. 7, 1968, № 5.
- Slobin D.* Psycholinguistics. Glenview (Ill.), 1971.
- Smith F.* Reversal of Meaning as a variable in the transformation of grammatical sentences.— JVLVB, v. 4, 1965, № 1.
- Smoczyński P.* Przystawanie przez dziecko podstaw systemu językowego. Lodz, 1955.
- Spitzer L.* Stilstudien. München, 1928.
- Spitzer S.* Mass media as personal sources of information about the presidential assassination. «Journal of Broadcasting», vol. 9, 1965.
- Staats A.* Emotions and Images in Language. A Learning Analysis of Their Acquisition and Function. «Research in Verbal Behavior and Some Neurophysiological Implications». N. Y. and London, 1967.
- Staats A., Staats C.* Meaning and m: Correlated but Separate. «Psychological Review», v. 66, 1959.
- ✓ *Stankiewicz E.* Problems of emotive language. «Approaches to semiotics». The Hague, 1964.
- Statistics and Style.* N. Y., 1969.
- Steinthal H.* Abriss der Sprachwissenschaft. Berlin, 1871.
- Stockwell R. P.* The Transformational Model of Generative or Predictive Grammar. «Natural Language and the Computer», N. Y., 1963.
- Stolz W.* A probabilistic procedure for grouping words into phrases. «Language and Speech», v. 8, 1965.
- Stokoe N. C.* Sign language structure: an outline of the visual communication of American deaf. N. Y., 1960.
- ✓ *Stowe A. N., Harris Z. S. and Hapton D.* Signal and content components of word-recognition behavior. «Journ. Acoust. Soc. Amer.», 35, 1963, № 5.
- Style in language*, ed. by Th. Sebeok. N. Y.— London, 1960.
- Suci G. J.* The validity of pause as an index of units in language.— JVLVB, v. 6, 1967, № 1.
- Suci G. J.* Relations between semantic and syntactic factors in the structuring of language. «Language and speech», v. 12, 1969.
- Sutherland H.* In: «Psycholinguistic papers». Edinburgh, 1966.
- Socialization and Society.* Ed. J. A. Clausen. Boston, 1968.
- Tannenbaum P. H., Evans R. R., Williams F.* An experiment in the generation of simple sentence structure. «Journal of communication», v. 14, 1964, № 7.
- Tannenbaum P. H., Williams T. W. and Hillier C. S.* Word predictability in the environments of hesitations.— JVLVB, v. 4, 1965, № 2.
- Tannenbaum P. H., Williams F. W.* Generation of active and passive sentences as a function of subject or object focus. JVLVB, v. 7, 1968, № 1.

- Tannenbaum P. H., Greenberg B. S. Mass communication. «Annual Review of Psych.», v. 19, 1968.
- Taylor W. L. Close procedure: A new tool for measuring readability. «Journalism quarterly», 30, 1953.
- Tervoot B. T. M. Structurale analyse van visuel taalgebruik binnen een groep dove kinderen. V. I—II. Amsterdam, 1953.
- Tetelowská I. Pokus o orčení předmětu vědy o prostředcích masového sdělování informací. «Novinářský sborník», 10, 1965.
- Triandis H. C. and Osgood Ch. A comparative factorial analysis of semantic structures in monolingual Greek and American college students. «The Journal of Abnormal and Social Psychology», v. 57, 1958, № 2.
- Troldahl V. A. A field test of a modified two — step flow of communication model. «Public Opinion Quarterly», v. 30, 1966.
- Tsuru S., Fries H. A problem of meaning. «Journal of general psychology», v. 8, 1933.
- Tulving E., Gold C. Stimulus information and contextual information as determinants of tachistoscopic recognition of words. «Journ. Exp. Psychol.», vol. 66, 1963, № 4.
- ✓ Turner V. W. Colour classification in Nolemy ritual. London, 1966.
- Turner E. A., Rommetveit R. Experimental manipulation of the production of active and passive voice in children. «Language and Speech», v. 10, 1967, № 3.
- Turner E. A., Rommetveit R. Focus of attention in recall of active and passive sentences. — JVLVB, v. 7, 1968.
- Uhlenbeck E. M. An Approach on Transformational Theory. «Lingua», v. 12, 1963.
- Uhlenbeck E. M. Some Further Remarks on Transformational Grammar. «Lingua», v. 17, 1967.
- Ullmann St. Language and Style. Oxford, 1964.
- Universals of language. Cambridge (Mass.), 1966.
- Wales R. J. Some influence of grammatical structure on encoding English sentences (in print).
- Wales R. J., Marshall J. C. The organisation of linguistic performance. «Psycholinguistics Papers», Edinburgh, 1966.
- Wason P. C. The context of plausible denial. JVLVB, v. 4, 1965, № 1.
- Journal of Experimental Psychology, v. II, 1959.
- Wason P. C. Response to affirmative and negative binary statements. «British Journal of Psychology», v. 52, 1961, № 2.
- Wason P. C. The context of plausible denial JVLVB, v. 4, 1965, № 1.
- Weinreich U. Explorations in semantic theory. «Current Trends in Linguistics», v. III. The Hague, 1965.
- Weinreich U. Travels through Semantic Space. «Word», v. 14, 1958.
- Weinstein B. Discriminative delayed matching from sample. «Field of Psychology» (ed. R. Seachore). N. Y., 1942.
- Weir R. H. Language in the Crib. The Hague, 1962.
- Weisgerber L. Das Gesetz der Sprache. Heidelberg, 1951.
- Weisgerber L. Die vier Stufen in der Erforschung der Sprachen. Düsseldorf, 1963.
- Werner H., Kaplan E. Development of Word Meaning through Verbal Context: An Experimental Study. «Journal of Psychology», v. 29, 1959.
- ✓ Wells W., Smith G. Four Semantic Rating Scales Compared. «Journal of Applied Psychology», v. 44, 1960.
- Whitehorn J., Zipf G. K. Schizophrenic language. «Arch. neurol. psychiat.», vol. 49, 1934.
- Whorf R. L. Some verbal categories in Hopi, «Language», 1938, v. 14, № 4.
- Winkler E. Grundlegung der Stylistik. Leipzig, 1929.
- Wright Ch. Functional Analysis and Mass Communication. Information, Influence and Communication. N. Y.—London, 1965.
- Wright P. Transformations and the understanding of sentences. «Language and Speech», v. 12, 1969, № 3.

- Wundt W. *Völkerpsychologie*. Bd. I. Die Sprache, t. 1, 2. Aufl. Leipzig, 1904.
- Yen Ren-Chao. Meaning in Language and how it is acquired. «Cybernetics: Transactions of the 10-th conference», N. Y., 1965.
- Yngve V. A model and hypothesis for language structure. «Proceedings of the American Philological Society», vol. 104, 1960, № 5.
- Zipf G. K. Human behavior and the principle of least effort. Cambridge (Mass.), 1949.
- Zwirner E., Zwirner K. *Grundfragen der Phonometrie*. Berlin, 1936.

Виноградов В. В. Русский язык. М.—Л., 1947.

Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля соотносительно с другими. Пермь, 1972.

Миллер Дж. Магическое число плюс или минус два. «Инженерная психология». М., 1964.

Москович В. А. и Василевский А. Л. Товарные знаки (рукопись).

Селиверстова О. Н. О роли исследования свойств денотатов при выделении семантических компонентов. «Материалы второго симпозиума по психолингвистике». М., 1968 (а).

✓ Селиверстова О. Н. Значение слова и информация. «Теория речевой деятельности». М., 1968 (б).

Теория литературы. Т. I. М., 1965.

Успенский Б. А. Проблемы лингвистической типологии в аспекте различия «говорящего» (адресанта) и «слушающего» (адресата). «To Honor Roman Jakobson». The Hague — Paris, 1967.

Gottshalk L. A. Theory and application of a verbal behavior method of measuring transient psychological status. «Research in Verbal Behavior», N. Y.—London, 1967.

Kayser W. *Die sprachliche Kunstwerk*. 4. Aufl. Bern, 1956.

Miller G. A., Nicely P. E. An analysis of perceptual confusions among some English consonants. «Journal Acoust. Soc. Amer.», v. 27, 1955, N 2.

✓ Postman L., Rosenzweig M. K. Perceptual recognition of words. «Journal of Speech Disorders», v. 22, 1957.

Schramm W. *L'information et le développement national*. UNESCO, Paris, 1966.

Treisman A. M. The effect of irrelevant material on the efficiency of selective listening. «Amer. Journ. of Psych.», v. 77, 1964, N 4.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора	3
------------------------	---

Часть I

Онтология речевой деятельности

Глава 1. Общее понятие о деятельности (А. Н. Леонтьев)	5
Глава 2. Речевая деятельность (А. А. Леонтьев)	21
Глава 3. Факторы вариантности речевых высказываний (А. А. Леонтьев)	29

Часть II

Методология и проблемы моделирования

Глава 4. Лингвистическое моделирование речевой деятельности (А. А. Леонтьев)	36
Глава 5. Речевая деятельность и психология речи (И. А. Зимняя)	64
Глава 6. Проблемы математического моделирования речевой деятельности (А. А. Леонтьев).	73
✓ Глава 7. Знаковые проблемы психолингвистики (Е. Л. Гинзбург) . . .	81

Часть III

Психолингвистика

Глава 8. Психологические и физиологические методы психолингвистического исследования (И. И. Ильясов)	106
Глава 9. Лингвистический эксперимент как метод лингвистического и психолингвистического исследования (А. М. Шахнарович)	129
Глава 10. Анализ текстов и психолингвистическая значимость лингвистических универсалий (Е. М. Вольф)	135
Глава 11. Исследование фонетики (Л. В. Бондарко, Л. Р. Зиндер) . . .	145
Глава 12. Исследование грамматики (А. А. Леонтьев)	161
✓ Глава 13. Исследование лексики и семантики (А. Е. Супрун, А. П. Клименко)	188
Глава 14. Исследование внеязыковой обусловленности психолингвистических явлений (Ю. А. Сорокин)	220
Глава 15. Психолингвистические аспекты статистической организации связного текста (Р. М. Фрумкина)	233

Часть IV

Теория речевой коммуникации

Глава 16. Функции и формы речи (А. А. Леонтьев)	241
Глава 17. Социолингвистические проблемы теории речевой коммуникации (Е. Ф. Тарасов)	255
Глава 18. Стилистические проблемы теории речевой коммуникации (М. Н. Кожина)	274
Глава 19. Теория речевой деятельности и исследование массовой коммуникации (Я. Пруха)	286
Глава 20. Теория речевой деятельности и культура речи (В. Г. Костомаров, А. А. Леонтьев, Б. С. Шварцкопф)	300

Часть V

Некоторые приложения теории речевой деятельности

✓ Глава 21. Исследования детской речи (А. А. Леонтьев)	312
Глава 22. Патология речи (Б. М. Гриншпун, А. Б. Добрович, Р. М. Фрумкина)	318

Часть VI

Заключение

Глава 23. Основные проблемы и основные направления исследования речи (А. А. Леонтьев)	328
Сводная библиография	333

Основы теории речевой деятельности

Утверждено к печати Институтом языкознания АН СССР

Редактор издательства Г. Н. Корозо.

Художник С. Городкова.

Художественный редактор Т. П. Поленова.

Технические редакторы С. Г. Тихомирова, В. В. Волкова

Сдано в набор 7/IX 1973 г. Подписано к печати 24/I 1974 г. Формат 60×90¹/₁₆.

Печ. л. 23. Тираж 6200. Тип. зак. 2884. Цена 1 руб. 92 коп.

Уч.изд. л. 26,8 Бумага типографская № 1

Издательство «Наука», 103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

